

4

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1956

4



1956

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 4

Апрель, 1956 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ | |
| Н. ТОЛУБЕЕВ, секретарь Сталинского райкома партии Днепро- дзержинска — Из записок секретаря райкома | 3 |
| ДМИТРИЙ ГУЛИА — Ленин с нами, стихи. Перевод с абхазского Марка Соболя | 16 |
| СЕРГЕЙ СМИРНОВ — Рядовой гражданин, стихи | 17 |
| НАЗЫМ ХИКМЕТ — А был ли Иван Иванович? Пьеса. Перевод с турец- кого А. Бабаева и М. Павловой | 18 |
| НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ МАЯКОВСКОГО. Комментарии Н. Реформатской. Владимир Маяковский. Письмо Татьяне Яковлевой | 59 |
| ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — Маленькие праздники, стихи | 63 |
| ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ — Аист, стихи | 67 |
| АЛЕКСАНДР БЕК — Жизнь Бережкова, роман. Продолжение | 70 |
| ВИКТОР БОКОВ — Три стихотворения | 171 |
| В. ЛУГОВСКОЙ — Осенью. Звезда, стихи | 173 |
| ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА | |
| ГЕНРИХ БЁЛЛЬ — Два рассказа. Перевод с немецкого Л. Чёрной и Д. Мельникова | 175 |
| ПУБЛИЦИСТИКА | |
| Т. ЛЕОНТЬЕВА — Ленинская Шатура | 185 |
| ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ | |
| ВИТАЛИЙ ВОЛОВИЧ — Год на полюсе. (Из дневника полярника) | 204 |
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| СЕРГЕЙ ЛЬВОВ — Большой мир героя | 228 |
| ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ | |
| ВАЛЕРИЯ ГЕРАСИМОВА — По поводу рассказа Е. Рязановой | 248 |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

| | Стр. |
|---|------|
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | 251 |
| А. Письменный. Повесть о гуманности. — Б. Бялик. Ошибка Геннадия Гора. — Н. Грибачёв. Степь и человек. — И. Рахтанов. Для любого возраста... — М. Чарный. Вдохновение и упорство. — И. Лежнев. Биография Чернышевского. — Л. Копелев. Летопись отчаяния и страха. — Говард Фаст. Литературная трагедия. | |
| <i>Политика и наука</i> | 268 |
| Кандидат исторических наук Е. Черняк. Из истории международных литературных связей. — В. Корнилов. Послевоенная Корея. — Заслуженный деятель науки профессор А. Цейтлин. Путь учёного. — Доктор географических наук Э. Мурзаев. Географические исследования в Китае. — Инженер М. Голей. Издание второе, ухушенное. | |
| ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО | 278 |
| А. Рубинштейн. В. Г. Короленко в гостях у сербов и хорватов. | |
| РЕПЛИКИ | 280 |
| Вас. Захарченко. Книги-спутники. — Доктор архитектуры А. Гегелло. Кто построил этот дом? — Непонятно! | |
| МЕЖДУ ПРОЧИМ... | 282 |
| Утраченный вкус. — Спор через столетие. | |
| КОРОТКО О КНИГАХ | 283 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 286 |

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Н. ТОЛУБЕЕВ

Секретарь Сталинского райкома партии
Днепродзержинска

★

ИЗ ЗАПИСОК СЕКРЕТАРЯ РАЙКОМА

Важнейшим условием успешного выполнения задач, стоящих перед партией, является дальнейшее усиление связей партии в целом и каждой партийной организации в отдельности с широчайшими массами трудящихся.

(Из резолюции XX съезда КПСС по отчётному докладу Центрального Комитета партии).

Наше дыхание

Передо мной газеты. В них напечатаны материалы XX съезда. Сейчас, наверное, нет человека в нашей стране, который бы снова и снова не перечитывал и не передумывал их. Я знаю, уверен — каждый советский гражданин чувствует сейчас то, что чувствую я. Любое слово решений партии ощущаешь, как свою собственную, давно волнующую и наконец высказанную, чётко сформулированную мысль.

Когда-нибудь люди будут изучать пожелтевшие страницы газеты, нашей сегодняшней газеты, как документ ценнейший в истории человечества. Документ о том, как слились воедино мысли партии, рождённой народом, с мыслями каждого человека этого народа.

Это будет тогда, когда давно уже будет построено и осуществлено всё, что намечено в Директивах XX съезда на эти пять лет шестой пятилетки. Пять лет! Какой короткий срок в истории, и как сумели мы увеличить ёмкость этих пяти лет горячим накалом наших большевистских дел.

Тогда газеты сегодняшнего дня станут историческим документом.

Сейчас же опубликованные в них материалы — наше дыхание, наша радость, наши трудности. Сейчас они — программа для конкретных каждодневных поступков и дел.

Это мы должны осуществить решения XX съезда. Советским людям нашего поколения доверено воплотить в жизнь всё, что решено и задумано этим съездом.

А нам, партийным работникам, доверено самое важное — люди. Мы должны воспитывать их по-ленински, требовательно и бережно, растить из них людей высоких идеалов, людей принципиальных и смелых, людей с творческой свободной мыслью, с добрым сердцем.

Говорят: деятельность партийного работника многогранна. Нет, не так. Вернее сказать, безгранична! Потому что не может быть предела обязанностям там, где постоянно имеешь дело с людьми.

Вот и сейчас мысли переполняют меня. Мысли о будущем, о котором думается творчески широко, просторно, и думы о прошлом, которое осмысливаешь по-новому, заново выверяя каждый свой шаг, каждое слово. Обо многом в нашей партийной жизни хочется мне рассказать сейчас. Попробую рассказать о самом главном — о людях, разных людях.

О чём напомнили коммунисты

Шла районная партийная конференция.

Я смотрел в зал, где сидели пятьсот сорок делегатов, и словно читал красноречивую «карту» нашего обширного района. Вот делегация коммунистов завода имени Дзержинского; на всех совещаниях они всегда неразлучны: сидят в зале дружной группой, вместе выходят перекурить. Это представители славного металлургического гиганта — доменщики, мартеновцы, прокатчики, огнеупорщики, токари, слесари, инженеры, техники, мастера. Вот делегаты партийной организации строителей — союзного треста «Дзержинскстрой», чьи стройучастки сооружают здесь домны и мартеновские печи, строят заводские цехи, наращивают, как принято у нас говорить, новые мощности. Слева разместились представители вагонного завода имени «Правды», справа и в центре — делегаты парторганизаций промкомбината, молочного завода, многих других предприятий и учреждений, расположенных в этом центральном районе Днепродзержинска, города металлургов.

После моего отчётного доклада, затянувшегося, увы, несколько дольше, чем полагалось, начались прения. Атмосфера критики накалялась, и, признаться по чести, не всегда слова выступавших ласкали слух секретаря райкома. Было много справедливых замечаний и упрёков по моему адресу.

Доклад, над которым работали и я и аппарат райкома много дней подряд, доклад, трижды переписанный и перепроверенный, утверждённый на пленуме райкома, показался мне сейчас неполным и вялым. С трибуны говорит делегат, а я снова и снова переживаю: вот и это упустил, и о том забыл упомянуть, и, конечно, напрасно не использовал тот интересный случай, который так основательно анализирует теперь оратор. Да и весь тон моего доклада — привычно официальный, так сказать, «заредактированный», — уже представляется мне суховатым по сравнению, например, с сочной речью Бублейника, группарторга железопрокатного цеха завода имени Дзержинского.

Только значительно позднее, успокоившись и поостыв, я понял: такое ощущение, в общем, закономерно. Коллективная мудрость всегда глубже и значительнее. В конечном итоге вся наша райкомовская работа, весь её смысл, содержание, направленность зависят от того, что выдвигает в данный момент жизнь, что подскажут интересы широких масс.

А доклад — что ж? Доклад как доклад. Всё в нём было, что положено для доклада: и оценка обстановки, и попытка осмыслить и обобщить основное, то есть роль коммунистов в выполнении государственных планов, и критика недостатков с известной долей самокритики. Доклады, построенные по такой схеме, мы слышим ежегодно на отчётно-выборных собраниях. Я, молодой партийный работник, привык к ним сначала как слушатель, как рядовой участник подобных конференций, а потом, избранный секретарём райкома, и сам научился их делать. Но в тот день, о котором идёт речь, я твёрдо решил: если доведётся мне и в будущем отчитываться за работу, то при составлении доклада постараюсь ни в коем случае не оказывать ему, не придерживаясь установившихся форм и схем, а говорить ярче, свежее, полемичнее.

Пусть слово райкома будет не вытуженным, не обтекаемым, не гладким, а ершистым. И хорошо бы на будущее пореже посматривать на напечатанный текст, хорошо бы почаще встречаться взглядом со слушателями.

Считая по порядку, это был первый вывод, который я сделал для себя в ходе выступлений по докладу. А затем карандаш уже не поспевал за мыслями. Сколько восклицательных и вопросительных знаков появилось

в моём блокноте!.. Правильно, недоглядели, этим делом надо было заняться в первую очередь. А тут ещё надо разобраться. В общем, и то и другое, и пятое и десятое...

Конца-краю не видно задачам, требующим немедленного разрешения. Руководство промышленностью района. Организаторская и политическая работа в массах. Пропаганда и агитация. Кадры. Культурно-бытовое обслуживание трудящихся. Жилищное строительство. Работа торговых организаций, коммунальных предприятий и т. д. и т. п.

Здесь, на конференции, делегаты говорили о самом наболевшем, о проблемах дальнейшего нашего движения вперёд, об экономике, о внедрении новой техники. Обобщался ценный опыт. Определялись практические задачи и способы их решения. Намечались пути дальнейшего улучшения хозяйственной и партийно-политической работы.

Здесь обнажались и вскрывались конфликты — большие и малые, бичевались рутина и косность, равнодушие и бессердечность в делах и поступках. Пробовали на зубок наш райком и его секретаря — нашли или не нашли своё место в сложном, кипучем труде и борьбе коллектива, не утонули ли в текучке, не погрязли ли в мелочах, сумели ли отыскать главное в своей работе.

Ох, уж это самое «главное»! Кажется, что нащупал ты корень, а потом вдруг теряешь уверенность, начинаются сомнения. Правильно ли намеченное решение?.. Снять бы телефонную трубку да по привычке посоветоваться с секретарём горкома или же с парторгом ЦК на заводе имени Дзержинского, многоопытным Прокофием Даниловичем Рогозой... Но ведь каждый раз не спросишь. Надо и самим научиться самостоятельно находить решения.

Мы все — и второй секретарь райкома, очень энергичная Любовь Ефимовна Сидорина, и спокойный, а иногда даже чрезмерно спокойный секретарь Михаил Васильевич Цариков, и заведующий промышленно-транспортным отделом Владимир Петрович Матюхин, и отзывчивая, беспокойная и очень добросовестная Валентина Николаевна Цебриенко, наша заведующая орготделом, и многие другие работники райкома, а также члены бюро, — все мы часто бываем в первичных партийных организациях и, как нам думалось, крепко связаны с людьми, чувствуем пульс их жизни.

Вероятно, это нам не всегда удавалось, так как очередной оратор, секретарь партийной организации треста «Дзержинскстрой» Пилипенко, обрушил на меня лавину критики и тем самым доставил несколько не очень приятных минут. Его выступление было сильным, я бы сказал, даже гневным. Машинально ставлю «палочки», когда он называет мою фамилию. Раз, два, три... шесть палочек!

Столько раз он упомянул секретаря райкома в своей речи. Уж будто во мне только была вся загвоздка, весь «корень зла» того отрицательного, что, бесспорно, ещё есть в нашем районе.

Я постарался припомнить всё, что происходило между мной и Пилипенко за последнее время. Собственно говоря, ничего особенного и не было, примерно то же, что и с другими. Но кое-что всё-таки было. В своё время райком знакомился с постановкой лекционной пропаганды в тресте «Дзержинскстрой». Положение оказалось неважным. Много лекций срывалось, да и качество их было невысоким. Поговорили, что называется, крупно.

Мы не раз критиковали Пилипенко за неудовлетворительную работу с кадрами. Случалось так, что проштрафившиеся коммунисты, люди, нагрешившие немало в труде или в быту, избавлялись от партийной ответственности и с лёгкой руки секретаря парткома и управляющего трестом товарища Арешковича уезжали, переводились, исчезали с горизонта.

Так произошло, к примеру, с начальником «Промстроя» Моисеенко, суетливым, крикливым и весьма самонадеянным человеком. Он был когда-то партийным работником. Не справился. Его «бросили» на стройку. Он и здесь «добросовестно» завалил работу. Втирал очки начальству, обманывал. Казалось бы, кому, как не парткому, тому же Пилипенко, нужно было разобраться и помочь коммунисту осознать свои ошибки, почувствовать ответственность перед партией, перед государством. Ничего подобного!

Так же, как и Моисеенко, с миром «отбыли» из треста обанкротившиеся руководители: Козерод — главный инженер «Промстроя», Петрусенко — механик и председатель постройкома «Металлургстроя», потерявший облик коммуниста. Это уже начало входить в систему. Вместо того чтобы воспитывать этих людей, их спокойно посылали в райком — сниматься с учёта. Беру телефонную трубку:

— Как же так получается, товарищ Пилипенко? Вы нашли, пожалуй, самый лёгкий способ воспитания кадров. Избавляться от них, и баста.

Разговор произошёл серьёзный. По-моему, вопрос был ясен: так работать с кадрами нельзя.

И вот на партийной конференции, когда я, поёживаясь от критики, ставил злополучные «палочки», мне показалось, что Пилипенко попросту сводит личные счёты.

«Хорошо, — думал я, — конечно, недостатков немало и у меня и у райкома, который создан совсем недавно. Мы плохо помогаем первичным организациям, не всегда глубоко вникаем в их жизнь и деятельность. Но на этот раз — посмотри мне в глаза — ты же не совсем объективно выступишь, а сгущаешь краски только потому, что однажды обиделся...»

В общем, я рассуждал, вероятно, так, как это делает каждый в подобных случаях. Чувство протеста не оставляет тебя. Ты весь негодуешь и накаляешься. А потом... потом приходит спасительное раздумье, и, разбираясь во всём сказанном по твоему адресу, убеждаешься — всё правильно. Конечно, у Пилипенко критические замечания шли от души, без всякой предвзятости. Что же касается его ошибок в воспитании кадров, то они есть, и я всё же докажу ему это. И прорехи в моих делах тоже пока что при мне, а заметить и устранить их поможет не что иное, как вот такие острые выступления.

Руководить общественным трудом, разноликим производством в наше время — это значит умело подбирать и расставлять кадры. Что ни возьмёшь, всё зависит от умения и желания человека, всё решают, всё делают люди. Вникать в их дела по существу, а не декларативными постановлениями, протоколами, глубоко разбираться в экономике и технике производства — вот то, без чего невозможно обойтись в партийной работе, где бы она ни проводилась.

Районная партийная конференция напомнила нам о главном в работе райкома. Добиваться крепчайшей связи с народом — вот это главное...

Люди нашего района! Множество связующих их линий, то идеально прямых, как в учебнике геометрии, то извилистых; то прочных и надёжных, подобно стальному тросу, то едва уловимых, чуть ли не пунктирных. В своём сложнейшем переплетении все эти живые нити и ниточки тянутся по широкой дороге или узкими тропками в парторганизации и сюда, к нам, в районный комитет Коммунистической партии.

Растить людей на любом по масштабу и значению деле. Растить долго, терпеливо, настойчиво и систематически. С доброжелательностью и выскательностью. Уж тут надо всё довести до конца, не бросать на полпути. Кто-то в тени — надо помочь, ободрить; найти в глубине его души живые искорки, способности, устремления, расшевелить их и, как хорошее топливо в печи, заставить гореть жарко, неистребимо. А вот этому нужно чутко и своевременно заглянуть в душу, когда требуется, то и пожурить,

взыскать, обратить внимание человека на его положительные и отрицательные качества — пусть сам положит их на весы своей совести и определит, что перетягивает. Быть психологом? Да. Педагогом? Конечно же! А более того, уметь найти подход к человеку, заслужить его доверие, а ему внушить уверенность в силах, показать пути направления его воли.

В памяти чередой проходили знакомые лица. Сильные, сложные, подчас житейски неудобные характеры; способные и инициативные, нерешительные или потенциально перспективные, но замкнувшиеся в себе работники.

О душах живых и «замороженных»

Вспоминаю слова Н. С. Хрущёва о том, что есть ещё немало таких работников, «человеков в футлярах», которые чураются всего нового, передового, и невольно думаю о нашем товарище Т.

Не так уж давно имя этого инженера, начальника одного из крупных цехов, было знатным, и не только на металлургическом заводе в Днепро-дзержинске. Лауреат Сталинской премии, новатор, человек смелой технической мысли.

Выдвинули товарища, повысили в должности. Дали ему большую власть на заводе. Но в способностях его разобрались плохо.

Сегодня фамилию Т. чаще всего склоняют на оперативках у директора, и то в свете, весьма невыгодном для него, — когда говорят о равнодушии, инертности и прочих грехах.

Что случилось с ним? Почему такая роковая перемена?

Инженер Т. — яркий пример того, как жизнь обгоняет человека. Вчера он был ещё, так сказать, «на уровне». Сегодня отстал. Потому что новые задачи технического прогресса потребовали от людей новых качеств. Быть может, не инженер пошёл назад, деградировал, а время пошло вперёд, обогнало его, пока он топтался на одном месте.

Раньше мы считали: образцовый инженер или техник — это тот, кто хорошо знаком с технологическим процессом и, кроме того, нет-нет да и выступит где-нибудь с докладом или лекцией. Теперь этого мало. Теперь он должен творить, думать, заботиться о внедрении новой техники, помогать рационализаторам, изобретателям. Для этого он должен неустанно учиться, обогащать свои знания, читать техническую литературу. Время беспощадно. Отстал, потерял месяц, год — нагнать трудно.

На заводе говорят:

— Не товарищ Т. печами командует, а печи командуют им.

К сожалению, это так.

Сталеплавильщики отстают. Цех № 3 не выполняет плана. Кое-кто из коммунистов потерял своё место в авангарде, перебрался, как говорится, в «хвост» колонны. Решили: нужен разговор на партийном собрании.

Я пришёл в этот цех задолго до собрания. Гудят печи, пламя буйствует, словно хочет вырваться из закрытых клеток и наказать дерзких людей, обуздавших огонь. Знакомая и любимая картина!.. По специальности я инженер-сталеплавильщик и работал здесь некоторое время после окончания вечернего металлургического института. Заводские дела для меня безразличны вдвойне: во-первых, завод этот — главный объект в районе, а во-вторых, постоянно просится инженерская душа в цехи.

Встречаю машиниста завалочной машины Ермоленко. Старый производственник, человек открытой души.

Спрашиваю:

— Почему всё же отстают сталеплавильщики, Ермоленко? Бы кадровик, вам виднее, чем другим.

Посмотрел он на меня, прищурил глаз, помолчал немного. Потом усмехнулся.

— Знаешь, что такое «холодная плавка»?

— Знаю.

— Такие и люди есть. Понятно?

— Н-не совсем...

— Подумай — уразумеешь.

Я понял, конечно, мысль Ермоленко и догадался, кого он имел в виду. Равнодушие. Вероятно, это хотел сказать рабочий.

Сижу на собрании, внимательно вслушиваюсь в то, что говорят коммунисты. Глубокая партийная заинтересованность, искренняя боль по поводу неполадок и провалов в работе. Нет, нет, какое там равнодушие!

Разве можно назвать бесстрастным хотя бы выступление сталевара Михуня? Горячо говорил он о коренных проблемах цеха — о сбережении средств и материалов, о технологической дисциплине, об экономике цеха и необходимости конкретно изучать эту самую экономику, чтобы быть зрячим и прозорливым в труде. Его слова быют прямо в цель: ведь недавно 370 тонн стали ушло в подину — чрезвычайное происшествие в смене мастера Воронова.

Замечу, кстати, что цеховые партийные собрания — это великолепная школа для коммунистов, для партийных работников. Да и не только для них. Такие собрания заставляют подтягиваться, острее чувствовать ответственность перед народом. Тут каждый может многому поучиться, прикоснуться к тому богатейшему роднику народных талантов, о котором говорил Ленин.

Довелось мне недавно побывать на партийном собрании доменщиков. Здесь тоже обсуждались вопросы первостепенной важности, чувствовались большевистский накал, страстное желание устранить все недоделки, наладить ровную, ритмичную работу цехов.

С этого собрания я ушёл как бы освежённый. Словно побывал на высокой вышке, откуда хорошо видны и печи, и механизмы, и далёкий Кривбасс, поставляющий нам руду, и Министерство чёрной металлургии с его главками, которые не всегда чётко и мудро планируют работу своих предприятий. Словно на ладошке перед тобой лежала вся эта «география» чугуна...

Расходились уже поздно. Дорога, ведущая к проходной, гудела голосами. Рабочие продолжали начатый на собрании большой разговор. В темноте искорками вспыхивали огоньки папирос. Впереди меня шли двое.

— У каждого человека, — услышал я, — может быть прореха в работе. Но ежели ты равнодушный — всё равно долго не удержишься, кто бы тебя ни держал. И нечего испытывать терпение, зря место занимать в кабинетах. Сам знаешь, о ком говорю...

Было это сказано, может быть, излишне резко, но справедливо. И мне сразу вспомнилось, как однажды кто-то из рабочих сказал, и здорово сказал:

— Вот до приспособления, где зимой руду можно разморозить, у нас лодумались, а хорошо бы ещё изобрести и какой-нибудь «душеразмораживатель»... для некоторых наших работников. Вставил такого оледеневшего в механизм, подержал маленько, глядишь — вылезит живой человек...

Что ж тут говорить, прав и этот острослов, прав и Ермоленко. Есть у нас «замороженные» души, которые никак не оттаивают ни под лучами дружеских слов, ни под огнём жаркой критики. В их числе и товарищ Т.

Диву даёшься, как только могут в самом что ни на есть кипящем водовороте, в пламенных заводских делах, в единодушном страстном порыве вперёд, — как могут тут удержаться люди с холодным сердцем, люди «свысокасмотрящие», сторонние наблюдатели в жизни!

Думается мне, причины «замороженности» надо искать и в многолетней привычке ждать, пока все сложные вопросы технического прогресса решатся где-то в высших инстанциях. «Сверху» за нас подумают, спустят директивы, планы переоборудования, внедрения новой техники. Эта привычка — поджидать приказов и циркуляров из руководящих центров — и породила известную черту инертности у некоторых наших командиров производства. Я говорю об инициативе. О технической в данном случае инициативе.

Помните слова Н. С. Хрущёва на XX съезде?

«Сидит,— говорил Никита Сергеевич,— такой заскорузлый работник и рассуждает: «Зачем мне связываться с этим делом?хлопот много, ещё чего доброго — можно неприятности нажить. Говорят об усовершенствовании производства! Стоит ли над этим ломать голову! Пусть думают наверху, пусть думает начальство. Будет директива — тогда посмотрим». А другой, даже получив директиву, направляет свою энергию главным образом на то, как бы отмахнуться, отписаться от живого дела».

Под руководством товарища Т. простой вопрос о подъёме кессонов на всех большегрузных печах для ограждения газовых шлакоуловителей решался целый год! Нерешительно и вяло относятся у нас к проблеме применения кислородного дутья в мартеновском производстве. Кислород настойчиво стучится в двери наших металлургических цехов, но двери эти попрежнему закрыты, а когда откроются — трудно сказать, вряд ли так уж скоро. На вагоностроительном заводе имени «Правды» до последнего времени не применялась автоматическая сварка; примерно 90 процентов сварных работ производится здесь вручную. А ведь у соседей, на Днепропетровском заводе имени Молотова, эта самая автоматическая и полуавтоматическая сварка внедрена широко. Стоило бы по-настоящему поучиться у молотовцев, и производительность труда сварщиков на заводе имени «Правды» шагнёт далеко вперёд.

Ещё пример. Известно, что правительство разрешило банкам широкое кредитование предприятий по статьям внедрения новой техники. Однако нередки случаи, когда директора предприятий не хотят кредитоваться. Избегают. Дело в том, что банк — организация строгая, он спрашивает: а как вы намерены израсходовать государственные деньги и что из этих средств выйdet? Хозяйственники переминаются с ноги на ногу, мило улыбаются, но кредитоваться не спешат. Своё нежелание «залезать в долги» они объясняют по-разному. У одних нечего внедрять, вообще нет «технических идей». Другие не могут доказать рентабельность будущего мероприятия. Третьи боятся риска: не выйdet, а потом отвечай. Четвёртые... Впрочем, достаточно. Прав был управляющий горбанком товарищ Иванов, который на недавнем пленуме горкома подверг острой критике руководителей завода имени Дзержинского за нерешительность в использовании кредитов.

Называйте всё это как хотите — перестраховкой, формализмом, инертностью в деле технического прогресса, — не в названии суть. Но фактически — тормоз, рогатки, спица в колеснице.

И вот тут я подхожу к проблеме, которая очень меня волнует.

Неподсчитанные убытки

Руководить должны люди способные, одарённые, растущие. Немало ущерба нашему производству, общественной деятельности приносят работники, выдвинутые на руководящие посты без особых на то оснований: либо по причине железного обруча номенклатуры, иногда, быть может, по соображениям дружеских отношений с вышестоящими (и это бывает!), а то и в силу какой-то привычки к этому «удобному» человеку.

Нередко приходится слышать:

— Что ж вы, товарищи, хотите от молодого работника? Сперва воспитайте его, а потом уж и требуйте. Не боги горшки обжигают. Вспомните себя. Тоже, небось, не сразу в гору пошли...

Всё это правильно. Но только в одном случае — если работник действительно способный. Тогда не жаль ни труда, ни времени, ни затрат. Такой за короткий срок овладеет навыками организатора, искусством хозяйственного или партийного руководителя, «выработается».

Но заботливая, вдумчивая работа с кадрами ничего общего, разумеется, не имеет с либеральным, жалостливым или попросту равнодушным примиренчеством к застою, малодетельному, безответственному человеку, — отношению, к сожалению, всё ещё живущее и здравствующее среди нас. Такой работник не обязательно разваливает дело, возможно, даже не тормозит его. Но он не двигает его вперёд. Иной раз подумаешь: здесь бы, на этом месте, искриться таланту, способностям, инициативе. Вот бы дело пошло! А ведь не год и не два сидит заскорузлый «деятель» на доверенном ему посту, сидит — равнодушный и трусливый, плодит недоверие к подчинённому, глушит у него проявление творческой мысли. И как долго мы распознаём, «раскусываем» характеры таких людей, их деловые качества!

Я бы назвал это явление уже знакомым и очень метким словом: излишества. Есть «излишества» и в нашей работе с людьми. Разве не так надо понимать не обоснованное ничем назначение на руководящую должность того, кто не способен вести за собой других? Его критикуют. — он публично бьёт себя в грудь, клянётся исправиться. Его заверениям знают цену, но всё ещё на что-то надеются, не торопятся с заменой. А потом удивляются: почему, собственно, дело не двигается с места? И невдомёк окружающим, что суть-то, причина, — в нём, начальнике, застоявшемся и отставшем от требований времени.

Был у нас в области партийный работник, несомненно по ошибке выдвинутый на высокий пост. Ничего не решал этот человек, ничего не советовал, просто как бы позировал. В кулуарах все пожимали плечами, переглядывались, толковали между собой, но этим и ограничивались. понадобилось два с половиной года для того, чтобы руководители обкома поняли, что за человек сидит в одном из кабинетов. Тогда его перебросили на хозяйственную работу: «ничего, там сойдёт». Но и там не сошло. И вот ныне он, выпавший наконец из номенклатуры, — на низовой работе и, кажется, справляется с делом. Только поздновато товарищи «сверху» распознали то, что «снизу», на практических делах, было давным-давно видно. А товарищам «снизу» надо было бы посмелее доказывать непригодность этой «номенклатурной» фигуры.

У нас уже основательно привыкли считать копейку. Хозяйственники внимательно анализируют доходы и убытки предприятия. Снижение себестоимости, экономия материалов, рентабельность — всё это поддается точному учёту, взвешивается, планируется, всё это можно «пощупать рукой». Но никто, пожалуй, не подсчитает, сколько морального и материального ущерба, прямого убытка принёс рутинёр, безинициативный руководитель, работавший вхолостую, перестраховщик, «человек в футляре». Не тем, что он что-то сделал не так, а тем, что он вовсе ничего не сделал.

Хотелось бы поставить на широкое обсуждение ещё одно явление. Мы нередко поощряем в людях вкус к слову и плохо воспитываем вкус к делу. А ведь слово получает право прозвучать только тогда, когда за ним стоит дело. Только тогда, когда оно рождено убеждённой, выношенной мыслью — мыслью, которую додумал, проверил вместе с другими людьми. Как замечательно учил нас точному, продуманному, деловому слову Ильич! А мы подчас доверяем пустому громкому слову. Слишком хозяйничает оно и порой, как дымовой завесой, прикрывает собой человека, мешает разобраться в его деловых качествах.

Как справедливо и зло были высмеяны в отчётном докладе Центрального Комитета КПСС XX съезду «занятые бездельниками», любители трибуны и общих речей. Легко у нас люди дают обещания, легко берут обязательства. «Если проверить,— говорилось в докладе,— как те или иные области, районы, колхозы, совхозы, выполняют свои социалистические обязательства, то обнаружится большое несоответствие между словом и делом».

Возьмите, к примеру, некоторые наши совещания. И в этом деле мы тоже допускаем «излишества». Есть особые любители «словесности», которые так искусно овладели ею, что сплошь и рядом подменяют словом дело, и даже трудно понять, да делает ли он сам то, о чём так эффектно говорит. Это увлечение бесконечными совещаниями и словопренениями порождает безразличие, равнодушие к живому делу.

Мне часто приходится бывать на оперативках у управляющего трестом «Дзержинскстрой». Как много лишнего и ненужного говорят здесь! То, что легко решить телефонным разговором двух руководителей, обсуждается в присутствии сорока человек битый час. Мелочи царствуют на таких совещаниях. Умами владеет «спихотехника», как иронически называют попытки «спихнуть» вину с большой головы на здоровую.

На днях на заводе имени Дзержинского я услышал замечание одного молодого коммуниста:

— У нас в этом месяце должно было бы быть девяносто дней.

— Как это понять?

— Да вот совещания, заседания, собрания. Захлестнула говорильня. А те двадцать четыре рабочих дня, когда стоим у станка, всё равно из календаря не изымешь...

Теперь, читая материалы XX съезда КПСС, убеждаешься в том, как правильно поставлен вопрос о повышении роли каждого руководителя, его ответственности за порученное дело. Более гибко работать с кадрами, лучше воспитывать деловые качества — вот что нам надо. И тогда смелее будут выдвигаться способные люди, решительнее убираться те, кто мешает нам на нашем пути к прогрессу, к новым хозяйственным успехам.

Есть у нас порох в пороховницах!..

Недавно мне довелось прочитать в «Новом мире» статью Валентина Овечкина «Об инициативе и талантах». Она очень заинтересовала меня острой постановкой вопроса о воспитании кадров, об обязанности каждого партийного работника и хозяйственника заботиться о просторе для проявления местных, так сказать, доморощенных, талантов.

Днепродзержинск — город металлургов — всегда был богат отличными кадрами. У нас с гордостью называют имена многих земляков, выдвинутых на солидные посты в области, в республике, в стране. Растёт город, растёт промышленность, растут и люди.

Не так давно бывший директор завода имени Дзержинского Фоменко стал заместителем министра чёрной металлургии УССР. На его место назначили главного инженера завода Орешкина; на место Орешкина — начальника новопрокатного цеха Цуканова. Это — естественное выдвижение, закономерный рост кадров.

Но вот всё чаще и чаще ощущаешь явный недостаток подготовленных для самостоятельной работы людей. Напомню случай с инженером Т. Его давно пора заменить другим, более инициативным работником. И что же?

Вот послушайте, как обсуждался этот вопрос на заводе.

— Может быть, выдвинуть одного из начальников мартеновских цехов?

— А кого вместо него назначить? Цех тоже машина — управлять им надо умеючи,

— Что же делать?

Задумались.

Некого, выходит, выдвинуть, придётся запрашивать инженера из главка. А почему со стороны? Да потому, что не позаботились своевременно о подготовке надлежащей замены.

Так неужели же опустела богатейшая человеческая копилка в партийной организации Днепродзержинска? Неужели иссяк порох в пороховницах?

Не обязательно нам, конечно, выдвигать на руководящие посты на заводе и в городе только свои, только днепродзержинские кадры. Но если некем заменить товарища Т., если много месяцев подряд не заполнена вакансия начальника отдела технического контроля завода из-за отсутствия подходящей кандидатуры, тут волей-неволей задумаешься. Кто же, собственно говоря, в этом виноват?

Мне кажется, что виноваты прежде всего мы сами. Мало заботимся о завтрашнем дне, плохо воспитываем людей. Один коммунист рабочий сказал мне как-то:

— Дайте простор человеку, и он расцветёт, взвьётся ввысь, как ракета...

— Помилуй, друг мой... Что же мешает? Твори, дерзай, пробуй. Наше время само толкает людей вперёд.

— Так-то оно так, — заметил собеседник. — Да только за многие годы приучили работника к тому, что свет мудрости исходит только сверху, что не он сам, а за него думают. Он маленько и пообвык, крылышки сложил. Мыслишка-то его и обленилась. Успокоился человек. Инициатива улеглась, свернулась в клубочек, как кошка, и спит. А без инициативы человек — всё равно что мотор без зажигания. Одна видимость. Всё как будто на месте, а тянуть машину не будет. Вот для чего нужен простор — для собственной думки человека.

Передовой доменщик Кичко побывал на Магнитке. Возвратился домой, стал рассказывать друзьям, что больше всего ему понравилось на Магнитогорском заводе.

— Вы понимаете, там мастер — полный хозяин. Командир производства. А у нас?

На заводе имени Дзержинского действительно дело обстоит не так. Инициатива мастера зажата, стиснута. Ему мешают стать полновластным руководителем.

Мастер доменной печи Заплавный говорит:

— Надо было забросить в печь сто килограммов камня. Звоню сменному. Не отвечает. Звоню начальнику блока. Нету. Пришлось разыскивать начальника цеха. Вот и превращается мастер в телефониста. А откуда это идёт? Перестраховка.

Не создаётся иногда обстановка, для того, чтобы вспыхнула, разгорелась творческая мысль, — вот где надо искать корень зла. Поток новаторских мыслей нередко перекрывается шлюзами равнодушия, перестраховки, бюрократизма, бумаготворчества; воспитание смены, выращивание людей, способных заменить тебя, надёжных завтрашних руководителей проходит формально.

К тому же надо добавить и плохое знание людей.

Инженеру Д. 27 лет. Живой, бойкий, он произвёл на всех членов бюро райкома выгодное впечатление, когда принимали его в члены КПСС. «Кадр» как будто надёжный. Выпускник вечернего металлургического института, прокатчик. Коммуниста Д. частенько перевозносили, ставили кое-кому в пример как хорошего работника.

Однако оказался просчёт. На заводе мало интересовались судьбой молодого специалиста, не думали о том, каким он покажет себя завтра, в ладах ли будет с новой техникой. Сегодня справляется со своей рабо-

той, дело мало-мальски идёт, ну и ладно, значит всё в порядке. Но вот случилось непредвиденное. Смена инженера Д. стала отставать, даже не выполнила производственного задания. Ударили в набат. Начали разбираться в человеке. Оказался он вовсе не тем, каким «вылепила» его для себя партийная организация. И не передовик производства, и не организатор масс, и не пытливый новатор, и не бог весть какой знающий инженер.

Спрашивается: а почему же всё это обнаружилось только теперь?

Если вдуматься хорошенько, всё объясняется довольно просто. Не заинтересовались, что скрывается за «гладкописью» стили организатора производства; есть ли у него вообще огонёк, пристрастие к делу; не принадлежит ли сей руководитель к категории «деляг» в заводской жизни. А так, повидимому, оно и было. Приключилась беда в цехе — вот и вылезла наружу во всей своей неприглядности душевная холодность человека; зазнайство, самоуспокоенность неминуемо сказались и на производственной деятельности.

Количественный показатель сегодня — это ещё далеко не гарантия успеха завтра, в перспективе. Однако, к сожалению, эталон этот порой является у нас чуть ли не единственной мерой деловых качеств работника.

Цифра! Хороша она в экономике, но как бы ограничить поелико возможно её применение в работе с людьми, в практике партийной работы! Думается, что заслуг наших тогда получилось бы числом, может, и поменьше, а качеством уж бесспорно лучше; больше времени оставалось бы и для работы с каждым коммунистом в отдельности, поменьше бы козыряли «охватом». Повидимому, тогда и недостатки молодого коммуниста Д. смогли бы заметить гораздо раньше, не захваливали бы его сослепу и оградили бы от ошибок.

...Конечно, порох в пороховницах у нас есть. Славный многотысячный трудовой коллектив нашего района богат талантами. Надо только повнимательнее и заботливее работать с людьми. Поощрять инициативу, открыть «шлюзы», не забывать, что есть и трудные характеры, с которыми стоит весьма стоит повозиться.

Я говорю обо всём этом потому, что недоделки и просчёты в деятельности нашего райкома, очевидно, в той или иной мере повторяются и в работе других партийных руководителей. Поэтому мои мысли, быть может, разовьют и дополнят другие товарищи.

Райкомовцы

В отчётном докладе Центрального Комитета XX съезду КПСС справедливо говорилось о слабости организаторской работы райкомов партии. С этим нельзя не согласиться. Мы чувствуем, что много у нас ещё есть прорех и недоделок. О трудностях, с которыми сталкиваются райкомовцы, тоже нужно сказать в этих моих заметках.

Осмелюсь утверждать, что партийная работа — это призвание. Надо её любить, понимать и уметь выполнять. Умение сразу не приходит, нужно терпеливое воспитание партийного работника. Низкое звено — инструктор райкома. Хороший инструктор — какая же это ценность! А вот попробуйте найти его, попробуйте отыскать в его душе ту струнку, которая чутко зазвенит, когда прикоснётесь к ней.

Зоя В. приехала в Днепродзержинск издалека. Пришла в райком становиться на учёт, поговорили с ней и оставили работать библиотекарем. Через некоторое время решили мы повысить Зою в должности — назначили штатным пропагандистом райкома. Она как будто охотно взялась за дело, а нам показалось, что и все данные у неё для успешной работы имеются. Были искренне рады ещё и потому, что выдвинули женщину на самостоятельную ответственную работу.

А вот теперь вынуждены расстаться. Что случилось? То, что случается нередко. Не справилась. Не стала по существу партийным работником. Может быть, мы не сумели ей помочь? Нет, это не так. Совесть у райкомовцев чиста. Советовали, помогали всячески, и всё же Зоя не нашла тех путей к сердцу людей, той тесной связи с массами, которая даёт партработнику успех в работе и окрыляет. Когда всем — нам и ей — это стало вполне ясно, она пришла ко мне и совершенно откровенно заявила:

— Вкуса у меня нет, Никита Павлович, к этой работе. Отпустите.

Задерживать, конечно, не стали. Но стало очень обидно. Обидно за нашу славную профессию партработника. А ведь, наверное, были виноваты и сами — не сумели зажечь человека.

Нынче пытаемся подобрать штатпропа. Оказалось, и то трудно найти... Неужто повторяется история, о которой только что писал выше? Что же, и здесь нечем заменить? Дело здесь в другом. Постараюсь объяснить.

Возьмём, к примеру, инструктора промышленного отдела райкома. Он должен быть технически грамотным, образованным человеком. Желателен инженер. Он обязан знать основы технологии производства, экономики предприятий. Он боевой организатор, политически зрелый пропагандист, агитатор. Если это настоящий инструктор, роль его не в сборе сведений и составлении отчётов, а в конкретной помощи в деле организации и воспитания людей, в изучении передового опыта и распространении его. От нашего инструктора, работника райкома, требуют, чтобы он мог помочь и хозяину и партийному руководителю. Он же инструктор — значит, он должен уметь инструктировать, учить, помогать собственным опытом.

Всегда ли инструктор райкома отвечает этим высоким требованиям? Увы, далеко не всегда. До сих пор приходилось зачастую мириться с серьёзными недостатками райкомовцев.

Отлично понимаю: опытный работник с неба не падает. Трудно надеяться, что придет к нам готовенький инструктор — берите меня. Надо учить людей. Настойчиво, кропотливо. Помогать им расти на практической работе.

Закономерен, однако, вопрос: неужели в многотысячном партийном коллективе районной партийной организации нет подготовленных людей, обладающих нужными знаниями, людей, которых можно было бы поставить на партийную работу в райкоме? А вот и ответ: неохотно идут к нам опытные работники. Не хотят.

Нужно было укрепить промышленно-транспортный отдел в горкоме. Пригласили на должность инструктора инженера Митрофанову с завода имени Дзержинского, толкового, грамотного человека. Она отказалась. Тогда горком проявил большую настойчивость. Не хочешь — заставим. Митрофанова ещё решительнее отказалась. Ну, тут уж стали подыскивать другую кандидатуру.

Если говорить начистоту, большое значение в деле укрепления кадрами низового партийного аппарата имеет материальная заинтересованность людей. Ставка инструктора отдела райкома небольшая. Работник с техническим образованием на заводе, в цехе зарабатывает вдвое больше. Разумеется, нельзя руководствоваться только соображениями личной выгоды. Но согласимся, что и пренебрегать делом материальной заинтересованности партработника тоже нельзя.

Нечего скрывать, что иногда при подборе кадров на партийную работу ориентируются не столько на деловые качества работника, сколько на его зарплату. Думается, что укрепление аппарата райкома находится в определённой зависимости от материальных условий его работников. Надо подтянуть зарплату работника райкома к уровню инженерно-технических работников предприятий.

...О многом ещё хотелось бы поговорить, многое высказать. Каждый день приносит большие и маленькие заботы, выдвигает острые проблемы, требует вмешательства, активного вторжения в окружающую жизнь. Ты партийный работник, и тебе до всего есть дело.

Совсем по-новому вижу я сейчас свою работу. Ведь до сих пор, занимаясь каким-либо хозяйственным делом, я нет-нет да и спрашивал себя: а моё ли это дело? Теперь понимаю отчётливо — моё!

Моё потому, что за каждым этим делом — человек. Его мысли, его работа, условия его жизни, его отдых, его личное счастье, его будущее.

Мне кажется, сейчас я особенно ясно понимаю: суть не только в том, что сделано, но и как.

План выполнен, но как? Дом выстроен, но как? Собрание проведено, но как? Сумели на этом собрании люди высказать все свои соображения, найти единодушное решение, во всём понять друг друга?

Порой, подписывая отчёт, докладную, я невольно больше думал об этом самом отчёте, о том, как он будет принят, нежели о том, как сделано то дело, о котором пишется отчёт, ценой какого человеческого напряжения, и какой будет реальный результат этого дела для людей.

Люди... Ведь ради их счастья родилось и существует наше государство, живёт и действует на благо народа наша великая Коммунистическая партия.



ДМИТРИЙ ГУЛИА
Народный поэт Абхазии

★

ЛЕНИН С НАМИ

Как некогда на съезды приходил,
не разделённый с нами скорбной датой, —
живой Ильич
 пришёл на съезд двадцатый,
родной,
 простой,
 каким при жизни был.

С трибуны, в зале и со всех сторон
он видел всех
 и всем был виден он.

Во время перерыва,
 на скамье,
где сели рядом, тесно плечи сблизив,
с волжанином, украинцем, киргизом
беседовал об их житье-бытье.

Нет, не виденье, не игра ума —
бессмертен духом,
 правдою нетленен,
на съезд двадцатый
 к нам явился Ленин,
всегда живой, как партия сама.

И поднимают миллионы рук
над веком нашим ленинское знамя.
Бесстрашный воин,
 самый лучший друг,
в сердцах людских,
 во всём, что есть вокруг,
он был,
 он есть,
 он вечно будет с нами!

Перевод с абхазского Марка Соболя.



СЕРГЕЙ СМИРНОВ

★

РЯДОВОЙ ГРАЖДАНИН

Рядовой гражданин...
А в наличии
Есть Советская власть у меня,
И партийных заданий величие,
И дорога,
 и цель,
 и броня,
И страна,
 где в почёте работники,
И священное чувство одно,
Что со мной,
 как на первом субботнике.
Сам Ильич
Поднимает бревно.



НАЗЫМ ХИКМЕТ

★

А БЫЛ ЛИ ИВАН ИВАНОВИЧ?

Пьеса в 3 действиях, 9 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

| | |
|----------------------------|------------------------|
| ПЕТРОВ | ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА |
| ИВАН ИВАНОВИЧ | ЛЮСЯ |
| ЧЕЛОВЕК В КЕПКЕ | СЕКРЕТАРЬ КОНСТАНТИНА |
| ЧЕЛОВЕК В СОЛОМЕННОЙ ШЛЯПЕ | СЕРГЕЕВИЧА |
| СЕКРЕТАРЬ | БУФЕТЧИЦА |
| ШОФЕР САША | СЕМЕНОВ ИВАН РОМАНОВИЧ |
| КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | СЕМЕНОВ АЛЕКСЕИ |
| СКУЛЬПТОР | КОНДРАТЬЕВИЧ |
| ФОТОГРАФ | СЕМЕНОВА НИНА ПАВЛОВНА |
| КОРРЕСПОНДЕНТ | СОТРУДНИК ПЕТРОВА |
| КАПЕЛЬМЕЙСТЕР | АДМИНИСТРАТОР |
| АННА НИКОЛАЕВНА | ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА |
| МАРИЯ АНДРЕЕВНА | ЖЕНЩИНА В ГОСТИНИЦЕ |

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Товарищ Петров

Входят Петров, Человек в кепке и Человек в соломенной шляпе.

Петров (*зрителям*). Здравствуйте, товарищи!

Человек в соломенной шляпе (*зрителям*). Здравствуйте, уважаемые товарищи!

Человек в кепке (*зрителям*). Здравствуйте!

Петров. События, которые вы увидите в этой пьесе, произошли в одном маленьком городе. Всё это случилось со мной. Кто я такой? Секретарь городского комитета партии? Я мог быть и председателем горисполкома. Или, скажем, директором мастерских, изготавливающих детские игрушки. Может быть, я начальник одного из цехов текстильной фабрики? А может быть, редактор областной газеты? Всё, что случилось со мной, могло случиться и с ними. Но то, что это случилось именно со мной, придаёт особую важность случившемуся. Кто я такой? Я самое ответственное лицо среди тех, кого я сейчас назвал...

Человек в кепке. Почему он прямо не скажет, кто он такой и чем занимается?

Человек в соломенной шляпе. Напрасно вы полагаете, что все они (*показывает на зрителей*) так же недогадливы, как вы. Глу-

бокоуважаемый Сергей Константинович Петров своим тонким намёком прекрасно дал понять нашим уважаемым зрителям, кем он является в этом городе.

Человек в кепке. Не люблю намёков.

Человек в соломенной шляпе. Он не любит намёков! Но хороший намёк — это тоже искусство, это почти художественное слово. А вы хотите, чтобы все говорили, как у вас на партийных собраниях, — взял и всю правду выпалил?

Человек в кепке. А у вас на собраниях по-другому говорят?

Человек в соломенной шляпе. Во всяком случае, не так, как у вас. Мы говорим вежливо, не выходя из рамок приличия. Мы... простите, уважаемый Сергей Константинович, мы, кажется, вас прервали?.. Не будете ли вы так любезны представить меня нашим уважаемым зрителям?

Петров (*представляет зрителям Человека в соломенной шляпе*). Человек в соломенной шляпе.

Человек в кепке. Опять намёк!

Человек в соломенной шляпе (*зрителям*). Очень приятно. Не правда ли, вы поняли, уважаемые граждане, кто я такой?

Петров (*представляя зрителям Человека в кепке*). Человек в кепке.

Человек в кепке. Такой способ знакомства я не признаю. Наверно, многие из вас, увидев мою кепку, подумали: этот представляет в пьесе простой народ. Я вас спрашиваю: что значит «простой народ» в нашем социалистическом мире? Я просто-напросто народ. Я и рабочий, и колхозник, и интеллигент. А это (*указывает на Человека в соломенной шляпе*) тот самый, про кого говорит русская поговорка: язык болтает, а голова не знает. Это он и называет меня «простым народом».

Входит Шофёр.

Шофёр. Мы опаздываем, Сергей Константинович...

Человек в соломенной шляпе (*представляя зрителям Шофёра*). Шофёр Сергея Константиновича, Саша.

Человек в кепке. То есть шофёр машины учреждения, где работает Сергей Константинович.

Шофёр. Поехали, Сергей Константинович...

Человек в соломенной шляпе. Ну, вы можете и опоздать! Вам табель не вешать.

Петров. Я привык приходить на работу заранее.

Человек в соломенной шляпе. Сколько отсюда до места вашей работы? Нажмёт Саша на педаль...

Шофёр. Нельзя. Сергей Константинович требует, чтобы я соблюдал все правила уличного движения, как обыкновенный водитель. Шофера такси ездят свободнее, чем я! Иногда такая досада берёт... Думаю — брошу моего хозяина, перейду на скорую помощь, по крайней мере не придётся тащиться за каким-нибудь автобусом!

Петров. Когда надо, несёмся, как сумасшедшие. А уж когда нет надобности... Ну, в общем, поехали. А то и в самом деле опоздаем. (*Человеку в кепке и Человеку в соломенной шляпе*.) Поехали? Нам, кажется, по пути?

Шофёр и Человек в кепке выходят вместе. Человек в соломенной шляпе, с почтением отступив, пропускает Петрова.

Человек в соломенной шляпе. Прошу вас... Вы вперёд...

Петров (*берёт Человека в соломенной шляпе под руку*). Идёмте.

Выходят вместе.

Приёмная перед кабинетом Петрова. Два стола: один — машинистки, другой — Секретаря. В кабинете Петрова, который мы видим, Татьяна Васильевна вытирает мокрой тряпкой ковёр. Входит Петров. Проходит в свой кабинет.

Петров. Здравствуйте, Татьяна Васильевна!

Татьяна Васильевна. Доброе утро, Сергей Константинович. Сейчас я закончу.

Петров. Ничего. А почему не пылесосом?

Татьяна Васильевна. Испортился. А починить не могут...

Петров. Ну-ка, принесите, посмотрим.

Татьяна Васильевна выходит. В это время в приёмную входит Мария Андреевна. Подходит к своему столу. Снимает с машинки футляр. Вид у неё удручённый, лицо заплаканное. Входит Татьяна Васильевна с пылесосом.

Татьяна Васильевна (*торопливо проходя в кабинет Петрова*). Доброе утречко, Мария Андреевна...

Мария Андреевна. Доброе утро, Татьяна Васильевна!

Татьяна Васильевна (*входя в кабинет*). Показывала нашему электрику, говорит: тут на три дня работы.

Петров (*осматривает пылесос, потом подходит к своему столу, достаёт из ящичка коробку с инструментами и начинает ремонтировать пылесос*). Если бы не портились эти пылесосы и холодильники, я бы совсем забыл свою старую профессию. Значит, говорит, на три дня работы... А выходит — дела на три минуты. Хорошо. Мы с ним поговорим на собрании. Ну-ка, включите.

Татьяна Васильевна (*включая пылесос*). Хорошо! Ну, и золотые у вас руки, Сергей Константинович. Как новый!

Петров (*довольный*). Правда?

Татьяна Васильевна. Честное слово! Даже лучше, чем новый.

Петров. Ну, уж это вы перегнули.

Татьяна Васильевна. Ни капельки не перегнула. Лучше, ей-богу!

Петров. Ну, коли так, очень рад.

Татьяна Васильевна начинает чистить пылесосом ковёр. Петров перебирает бумаги на столе, потом проходит в приёмную.

Петров. Доброе утро, Мария Андреевна.

Мария Андреевна. Доброе утро, Сергей Константинович.

Петров. Как здоровье сына? Какая температура?

Мария Андреевна. Сегодня утром было тридцать восемь...

Петров. Идите немедленно домой. Через час за ним придёт машина, я уже договорился — его надо положить в больницу. Зря вы не сделали этого раньше. Идите. Если будет что-нибудь спешное, мы здесь печатаем сами.

Мария Андреевна. Боюсь, Сергей Константинович...

Петров. Чего же бояться больницы? Без вашего согласия никто его оперировать не будет.

Мария Андреевна. Спасибо вам, Сергей Константинович...

Петров (*смущён*). Ну что вы... Идите скорее.

Мария Андреевна выходит. Татьяна Васильевна убирает пылесос, подходит к Петрову.

Татьяна Васильевна. Завтра я уйду в отпуск.

Петров. Знаю. Отдыхайте хорошенько. Весной в Гаграх чудесно.

Татьяна Васильевна выходит. Входит Секретарь с корреспонденцией в руках.

Секретарь. Здравствуйте, Сергей Константинович!

Петров. Здравствуйте. Это почта?

Секретарь. Да, я по дороге захватил.

Петров. Хорошо сделали.

Он садится напротив Секретаря, и они вдвоём начинают разбирать письма.

Петров раскрывает и читает одно из них.

Петров (*заметно озабоченный*). Министерство настаивает, чтобы ждали заключения комиссии и до тех пор к ремонту не приступали. Но не всякий ремонт может ждать заключения комиссии. Пусть заключение придёт после — это я беру на себя. Я распоряжусь, чтобы немедленно отпустили деньги. Формальности — потом.

Секретарь. Иногда вы такую ответственность на себя берёте, что я за вас просто боюсь.

Петров (*улыбаясь*). Не бойтесь. Я верю людям больше, чем бумагам. Я предпочитаю быть виноватым, чем подчиниться формальности, — она, может быть, и спасает иногда от неприятностей, но часто вредит делу.

Секретарь. Не поймите меня превратно... Я лично от всего сердца приветствую ваши смелые решения. Вы, Сергей Константинович... как бы это выразить? Вы являетесь...

Петров (*смущённый, но довольный*). Полно, полно...

Петров берёт пачку бумаг и направляется к своему кабинету. Секретарь идёт за ним.

Петров (*на пороге кабинета оборачивается*). Вы что-нибудь ещё хотели сказать?

Секретарь. М-м... Я хотел бы поговорить... На днях распределяют квартиры в новом доме...

Петров. Квартиру? Для кого?

Секретарь. Я хотел просить для себя... Вы побывали у нас... Сами видели, тесновато живём...

Петров. Вы знаете, что я не занимаюсь распределением квартир.

Секретарь. Да... Но, может быть, вы позвонили бы...

Петров. Не могу. Я не сторонник того, чтобы один коммунист прошил другого коммуниста устроить дела третьего. У нас в городе с жилплощадью плохо. Тяжесть этого прежде всего должны нести коммунисты. Кстати, многие и несут, не прося ни у кого протекции. (*Уходит в свой кабинет, закрывая за собой дверь.*)

Секретарь (*перед закрытыми дверями*). Простите, Сергей Константинович...

Картина вторая

Иван Иванович

Входит Иван Иванович. У него есть что-то общее с Петровым.

Иван Иванович. Меня зовут Иван Иванович. Я враг Сергея Константиновича Петрова. Как червь — враг яблока, ржавчина — враг железа, туберкулёз — враг человека. Я хочу сделать такое, чтобы Петров всю жизнь меня помнил. Что бы это сделать, чтобы он всю жизнь мучился? (*Зрителям.*) Нет, у вас я не спрашиваю совета. К сожалению, большинство из вас не желает ближнему зла. С кем же мне посоветоваться? Может быть, обратиться к идеологам старого мира?

Входит Человек в соломенной шляпе.

Человек в соломенной шляпе. Здравствуйте, уважаемый Иван Иванович!

Иван Иванович. Здравствуйте.

Человек в соломенной шляпе. Уважаемый Иван Иванович, сегодня вечером в нашем городском музее состоится моя лекция. Буду очень рад, если почтите своим присутствием. Тема лекции: обязательно ли наличие положительного героя в произведении искусства. Мой ответ: обязательно!

Входит Человек в кепке.

Человек в кепке. Добрый день! (*Человеку в соломенной шляпе.*) Ты знаешь картину Шишкина «Утро в сосновом лесу»?

Человек в соломенной шляпе. Знаю, а что?

Человек в кепке. Там четыре медведя — один большой и три маленьких. Который из них положительный герой? Или, может быть, эта картина не является произведением искусства? Что скажешь?

Человек в соломенной шляпе. Демагогией занимаетесь.

Человек в кепке. А по-моему, положительный герой в этой картине — это то наслаждение, которое я от неё получаю. А как ты думаешь, Иван Иванович?

Иван Иванович. Я в таких делах не разбираюсь. У меня есть один вопрос к вам. К вам обоим.

Человек в соломенной шляпе. Пожалуйста, Иван Иванович!

Человек в кепке. Спрашивай.

Иван Иванович. Что является самым большим несчастьем для человека?

Человек в соломенной шляпе. Самым большим несчастьем?

Иван Иванович. Да. Самым большим несчастьем.

Человек в кепке. Не сдержат слово.

Человек в соломенной шляпе. Попасть в фельетон в центральной газете.

Человек в кепке. Неволя.

Человек в соломенной шляпе. Попасть под сокращение.

Человек в кепке. Невежество.

Человек в соломенной шляпе. Упасть в-глазах начальства.

Человек в кепке. Быть исключённым из партии.

Человек в соломенной шляпе. Когда тебя переводят из центра на периферию.

Человек в кепке. Сердечное страдание.

Иван Иванович. Тсс!

Проходит Петров под руку с Люсей. Люся склонила голову на плечо Петрова.

Иван Иванович (*Человеку в кепке*). Как ты сказал? Сердечное страдание? Гм... Сердечное страдание... Самое большое несчастье! Вы видели, кто сейчас прошёл?

Человек в соломенной шляпе. Сергей Константинович с Люсей.

Человек в кепке. С мастером спорта Людмилой Кудрявцевой.

Иван Иванович. Петров здорово влюбился в эту Люсю. Как безумный.

Человек в кепке. Если уж любить — так безумно. Какая же это любовь, если она от ума?

Иван Иванович. А девушка его тоже любит?

Человек в кепке. А почему бы ей не любить? Можно ли не любить Сергея Константиновича?

Человек в соломенной шляпе. Ей-богу, что касается меня, то я считаю, что нельзя доверять любви женщин, особенно молодых. Шекспир сказал: «О женщины! Ничтожество вам имя».

Человек в кепке. Ну, если уж говорить о неверности, то мужчины не отстают от женщин. Всё зависит, какой человек.

Иван Иванович. Сердечное страдание... Сердечное страдание. (Зрителям.) Можете считать, что с Петровым покончено! (Человеку в кепке и Человеку в соломенной шляпе.) Будьте добры, оставьте меня на пять минут на сцене одного.

Человек в кепке и Человек в соломенной шляпе уходят.

Иван Иванович (зрителям, указывая на экран). Сейчас на этом экране вы увидите мои мысли. Смотрите!

На экране кадры диафильма. Кадр первый: Люся сидит на скамейке в парке. Она мечтает. На небе луна.

Люся при луне в парке. Мечтает. О ком она мечтает? О Петрове. Пусть. Недолго ей мечтать. Смотрите!

На экране кадр второй: в том же парке, на той же скамейке, днём, Люся сидит с Иваном Ивановичем. Видно, что Иван Иванович рассказывает что-то интересное, девушка смеётся.

Это я сижу рядом с Люсей. Она смеётся. Я ей рассказываю интересную историю, она смеётся и... о Петрове не думает! Нельзя одновременно так хотеть и мечтать о возлюбленном.

На экране огромный вопросительный знак.

У меня в голове вопросительный знак. Каким образом зародить сомнение в сердце Петрова? Как сделать, чтобы Петров начал её подозревать? Я обдумал все способы — начиная от знаменитого платка Дездемоны до неотправленных писем из наших кинофильмов. Пересмотрел всё. И вот я нашёл такой способ...

На экране восклицательный знак.

...с помощью которого я не только зароню сомнение в сердце Петрова, но даже отобью у него девушку. Смотрите!

На экране Иван Иванович под руку с Люсей. Люся положила голову на плечо Ивана Ивановича. Фотография сделана спереди. Издалека слышна песня.

Вас интересует, как я отбил девушку? А зачем вам это знать? Просто из любопытства? Или вы тоже что-то затеваете? Но это разговор особый, он выходит за пределы нашей пьесы. Вернёмся к главному. Итак, Петров погиб. Смотрите!

На экране кадр четвёртый: Петров одетый лежит на кровати, уставившись в потолок. Вид у него измученный.

Как только Петров возвращается с работы, он бросается на кровать, глаза в потолок, в голову приходят стихи, одно печальнее другого.

Голос Петрова.

Какая ночь! Я не могу,
Не спится мне. Такая лунность.
Ещё как будто берегу
В душе утраченную юность.
Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью.

Пусть лучше этот лунный свет;
 Ко мне струится к изголовью.
 Пусть искажённые черты
 Он обрисовывает смело,
 Ведь разлюбить не сможешь ты,
 Как полюбить ты не сумела.

Иван Иванович (*зрителям*). Смотрите!

На экране другой кадр. Ночь. Петров на улице. Он задумчив.

Вот так он бродит до утра! Так он будет мучиться до конца своей жизни.

На экране другой кадр. Петров сидит на берегу моря. Рядом с ним другая девушка. У обоих счастливые лица.

Иван Иванович (*стоит спиной к экрану, он не видит этого кадра и продолжает говорить зрителям*). Сердечное страдание. Самое большое несчастье для человека. (*Видит новый кадр на экране.*) Это что такое? Петров. С другой девушкой? Петров с другой девушкой на берегу моря? Оба весёлые! Значит, сердечное страдание... Значит, если даже я отобью у него девушку, он будет страдать, но в конце концов утешится. Обманул меня Человек в кепке! (*Кричит за кулисы.*) Человек в кепке!

Входит Человек в кепке. Кадр исчезает.

Иван Иванович (*Человеку в кепке*). А ты говорил, сердечное страдание — самое большое несчастье!

Человек в кепке. Да, но оно, так же как и другие страдания, излечимо!

Иван Иванович. Мне это не подходит. Мне нужно такое страдание, которое не поддаётся излечению. Вроде рака.

Человек в кепке. Скоро и против него найдётся средство.

Иван Иванович. А мне нужно такое страдание, против которого никогда не найдётся средства!

Входит Человек в соломенной шляпе.

Человек в соломенной шляпе. Потеря чести. Особенно, когда ты невиновен.

Иван Иванович. Потеря чести? Мм... Попробуем... Будьте добры, дайте мне лист бумаги, конверт с маркой и авторучку.

Человек в соломенной шляпе (*подаёт всё требуемое*). Пожалуйста.

Человек в кепке. Что вы собираетесь делать?

Иван Иванович. Сигнализировать.

Человек в соломенной шляпе. Донос будете писать?

Иван Иванович. Нет. Я хочу пресечь преступную деятельность гражданина, который, пользуясь служебным положением, разбазаривает государственные деньги.

Человек в соломенной шляпе. В таком случае дело приобретает совсем другой оборот.

Человек в кепке. Значит, будешь писать на Петрова донос?

Иван Иванович (*начиная писать*). Да. (*Пишет и повторяет вслух.*) ...получил проценты с денег, которые выдал противозаконно, не дожидаясь заключения комиссии.

Человек в кепке. Неправда. Никаких процентов он не получал!

Иван Иванович. И пусть. А я напишу. Именно потому и напишу, что неправда. Пусть ведётся следствие. Может, даже арестуют. Пусть арестуют невинного.

Человек в кепке. Могут не арестовать.

Человек в соломенной шляпе. То, что он не дождался заключения комиссии,— это правда.

Иван Иванович. До конца дней будет он мучиться, что его честь запятнана.

Человек в кепке. Не будет мучиться. Если даже арестуют, дело выяснится, освободят. Если будет осуждён, реабилитируют. В конце концов он узнает, что всё это устроено его врагом, и обида его пройдёт, а с ней пройдёт и боль.

Иван Иванович. Тыфу ты, чёрт... *(Рвёт бумагу на клочки.)* И так ничего не получается... Что делать? Что тут придумать? *(Зрителям.)* Убыю Петрова! У-ни-что-жу! *(Человеку в кепке и Человеку в соломенной шляпе.)* Будьте добры, оставьте меня на пять минут на сцене одного.

Человек в кепке и Человек в соломенной шляпе уходят.

Иван Иванович *(зрителям)*. Надо убить Петрова таким способом, чтобы не осталось улики. Чем же его убить? Ножом? Или пулей? Может быть, задушить? Герои Шекспира часто убивают друг друга ядом. У Лермонтова тоже так. Значит, яд... Я отравлю Петрова! Но яд должен приготовить я сам. Одну минуту... *(Выходит. Через некоторое время возвращается с тачкой, нагруженной ретортами и книгами.)* Это книги по химии. В них есть рецепты всевозможных ядов. А это реторты. Значит, я, с одной стороны, буду изучать рецепты составления самых страшных ядов, а с другой стороны, я буду перегонять самый совершенный яд, не имеющий ни цвета, ни вкуса, ни запаха и не оставляющий после себя никаких следов. *(Заглядывает в книгу, которую держит в руке; в другой руке он держит реторту.)* Вот так будет добыта капля этого чудодейственного яда.

Из реторты падает в стакан одна капля.

Как сделать, чтобы Петров его выпил? *(Думает.)* Нашёл! Одну минутку... *(Выходит. Через некоторое время возвращается в одежде продавщицы мороженого.)* Превращусь в продавщицу мороженого. Капну каплю яда на эскимо! *(Капает.)* Буду ждать. *(Кладёт эскимо на лоток и, скрестив руки на груди, ждёт.)* Придёт Петров вместе с Люсей.

Входят Петров и Люся.

Люся захочет мороженого.

Люся показывает жестом Петрову, что она хочет мороженого.

Но только не перепутать! Не дать Люсе отравленного! Вот оно, с пометкой... *(Подает Люсе эскимо.)* Отравленное предлагаю Петрову... *(Протягивает.)* Петров отказывается.

Петров отрицательно качает головой.

Не потому, что догадался. А просто желания нет. Я настаиваю. Люся улыбается. Собственной рукой берёт отравленное мороженое и подаёт Петрову.

Люся берёт мороженое и подаёт с улыбкой Петрову.

Собственной рукой убивает любимого мужчину! Петров ест мороженое и..

Петров падает.

Должно быть, я положил слишком сильную дозу... Люся в отчаянии... Она ломает руки...

Люся заламывает руки, она в отчаянии.

Петров умирает... На его лице страдание... Смерть — скверная штука... Я нагибаюсь над ним. *(Нагибается над Петровым.)* Умер! Конечно. Но

страдание продлилось всего несколько секунд! Разве этого я хотел? Надо его оживить и снова убить! Оживить и снова убить! Снова оживить и снова убить! *(Он тормошит Петрова, растирает его.)* Не оживает! Всё напрасно. Не оживает! О, почему мы можем убить человека только один раз! Люся прижмёт мёртвое тело к своей груди и всю жизнь будет с ним неразлучна!

Люся берёт Петрова на руки и уносит.

Это тоже не то. Убить его — это не то, что мне нужно. Что же делать? Что изобрести? Какую медленную пытку изобрести для Петрова? *(Кричит за кулисы.)* Человек в соломенной шляпе!

Входит Человек в соломенной шляпе.

Дай мне совет. Ты человек начитанный. Вот, к примеру, если бы ты хотел кому-нибудь мстить, что бы ты сделал?

Человек в соломенной шляпе. Я нашёл бы его слабое место.

Иван Иванович. Ну и что же?

Человек в соломенной шляпе. И ударил бы его именно в это слабое место.

Иван Иванович. Отлично! *(Зрителям.)* Я буду искать его слабое место! Я буду следовать за ним, как тень. Ни на секунду не выпущу его из вида. *(Человеку в соломенной шляпе.)* Я иду!

Человек в соломенной шляпе. Куда?

Иван Иванович. В третью картину первого действия. *(Уходит.)*

Картина третья

Эврика

Раннее утро. Приёмная Петрова. Ещё никого нет. Входит Иван Иванович, оглядывается, ищет глазами, где бы спрятаться. Залезает под стол секретаря. Входит Петров. В то время как он идёт к дверям своего кабинета, открывается со скрипом другая дверь. Петров поворачивается на звук. В дверях появляется голова Анны Николаевны.

Петров. Входите, мамаша.

Анна Николаевна. Да не-знаю уж...

Петров. Чего не знаете?

Анна Николаевна. Рановато, думаю, пришла... Может, мне там обождать?

Петров. Чего же ждать? Раз уже пришли — входите.

Анна Николаевна. Ты уж, сынок, не обижайся на старуху. Вот ты меня назвал мамашей, выходит, ты душевный человек. *(Входит.)* Но я, слава богу, знаю порядок. Вот ведь сказала, коли хочешь, там подожду... Пока ты приступишь к работе. Вообще-то так и полагается. Порядок есть порядок. *(Хочет уйти.)*

Иван Иванович *(из-под стола, зрителям)*. Напрасно. Всё равно он её вернёт.

Петров *(идёт за Анной Николаевной)*. Подождите, мамаша, куда вы? Да стойте же. *(Берёт её за локти и удерживает.)* Видно, недавно приехали в наш город?

Анна Николаевна. Вчера вечером. Ничего городишко. И улицы ничего себе, чистенькие. И не только где большие начальники ездят, переулки тоже подметаются. Со станции до Дома крестьянина на автобусе ехала. И в нём ничего — и снаружи и внутри чистенько. Почти как московское метро, только не хватает мрамора и золота.

Петров. А вы бы присели, мамаша.

Иван Иванович (*из-под стола, зрителям*). Ага, угодила старуха. Хотя это он любой старухе стул-то предложил бы.

Анна Николаевна. Спасибо, присяду. (*Садится.*) Да я ведь не устала. Целый день на полке лежала. А и нужно-то мне всего-навсего одну подпись поставить. Товарища Петрова.

Петров. А почему вы это по почте не прислали?

Анна Николаевна. По почте, говоришь? А сколько лет ты здесь служишь?

Петров. Да около десяти лет.

Анна Николаевна. А раньше где служил? Чем занимался?

Петров. Слесарем был на заводе.

Анна Николаевна. Вернись к своему станку. Из тебя ни секретаря, ни начальника не выйдет. Да чтобы деловой секретарь получил по почте бумаги какой-то Анны Николаевны и тут же их схватил и понёс в кабинет начальнику на подпись! Как будто у начальника, у товарища Петрова, других дел нет, как только подписывать полученные с почты бумаги! Кому нужна подпись, пускай сам, своими ножками придёт, нужно соблюдать порядок.

Иван Иванович (*из-под стола, зрителям*). Смотри на эту старуху! Нашла кого учить порядку!

Петров. Ну-ка, дайте ваши бумаги.

Анна Николаевна подаёт бумаги Петрову.

Анна Николаевна. Ты, сынок, который секретарь у товарища Петрова? У нас там у Константина Сергеевича...

Петров (*подписывая бумаги*). У кого?

Анна Николаевна. У Константина Сергеевича, начальника твоего начальника — как его? — Сергея Константиновича. У него трое секретарей. Перво-наперво попадаешь к очкастому. Заходи, говорит, через недельку. Так уж у него заведено. Берёт твою бумагу, кладёт на правую сторону, три раза её погладит и говорит: заходи через недельку. Такой у него порядок. Не месяц, не пять дней — через неделю. Человек установил себе такой порядок. Да кто бы ни установил! Порядок нарушать нельзя. Через неделю попадаешь ко второму секретарю. Видный такой мужчина, глаза голубые, волосы кудрявые, румянец во всю щёку. Пожалуйте, мамаша, говорит, через две недели. Тот так установил: не месяц, не пять дней — две недели. Через две недели попадаешь к третьему. Брови чёрные, насуспенный, так с ног до головы и оглянет тебя. И что, думаешь, он говорит? Нет, не угадал, не через три недели, — побурчит, побурчит себе под нос и скажет: заходи через три дня. Может, внутри он на тебя и рассердится, но это одному богу известно...

Петров (*кончил рассматривать бумаги*). Ладно.

Анна Николаевна. Скажи, какой у тебя порядок? Через сколько дней зайти?

Иван Иванович (*из-под стола, зрителям*). Кажется, зря я сюда залез.

Петров (*подписывая*). Всё. (*Протягивает бумаги.*) Пожалуйста.

Входит Секретарь.

Анна Николаевна (*не берёт*). Мне нужна подпись товарища Петрова.

Секретарь. Товарищ Петров вам и подписал. (*К Петрову.*) Доброе утро, Сергей Константинович.

Петров. Доброе утро.

Анна Николаевна. Вот что, сынок, не было бы тут какой ошибки...

Петров. Какой ошибки?

Анна Николаевна. Ещё и служба ваша не началась, потом бумаги тебе принёс секретарь, и ты как-то чудно — не сел за стол, как полагается, а на ходу. Как бы тебе из-за меня не попало...

Петров. Не беспокойтесь, мамаша.

Анна Николаевна. Я, слава богу, знаю порядок. Такая подпись между делом, впопыхах, мало действительна. Делали наспех, а сделали насмех!

Петров. Я тоже, мамаша, знаю порядок.

Анна Николаевна. Похоже, что не очень-то знаешь.

Входит Мария Андреевна.

Мария Андреевна. Доброе утро.

Петров. Доброе утро, Мария Андреевна. Наверно, опять не спали? Напрасно вы так тревожитесь. Поправится ваш сын.

Мария Андреевна (*подходит к своему столу, снимает футляр с пишущей машинки*). И снотворное, которое вы мне дали, тоже не помогло. Даже два порошка приняла.

Петров. Вчера вечером я звонил профессору. Говорит, никакой опасности нет.

Мария Андреевна. Спасибо вам... Какой вы хороший человек!

Анна Николаевна с удивлением слушает этот разговор. Из кабинета Петрова доносится телефонный звонок.

Секретарь. Телефон.

Петров. Да, слышу. (*Идёт в кабинет.*)

Анна Николаевна (*Марии Андреевне*). Куда это товарищ Петров-то сорвался?

Секретарь. Телефон позвонил.

Анна Николаевна. Постой, что же это, можно прямо к нему звонить? Значит, снимай трубку, здравствуй, товарищ Петров, так, мол, и так, твой секретарь уже два месяца задерживает мои бумаги, не даёт тебе на подпись или там что другое? Значит, всем можно?

Мария Андреевна. А почему же нет?

Анна Николаевна. Ну, и дела! Батюшки светы...

Иван Иванович (*из-под стола, зрителям*). Вот тебе и батюшки светы! Чёрт бы его побрал, этого Петрова!

Входит Петров.

Петров (*Секретарю*). Дайте часть ваших бумаг мне. У меня сегодня будет время. Мы опять с Марией Андреевной вместе рассмотрим. (*Подходит к столу Марии Андреевны.*) Разрешите. (*Берёт машинку, идёт в свой кабинет, сзади идёт Мария Андреевна.*)

Петров (*проходя мимо Анны Николаевны*). Что, мамаша? У тебя ещё есть какое-нибудь дело?

Анна Николаевна. Нет, слава богу. А и было бы, так к тебе не обратилась бы.

Петров. За что ты так на меня рассердилась?

Анна Николаевна. Чего мне на тебя сердиться? Где это видано, чтобы начальник носил машинку машинистке? В каком законе, в каком уставе написано? Послушай, сынок, хоть бы ты тут сорок лет в начальниках ходил, а как ты был от станка, так и остаёшься. Недаром, как увидела тебя, вспомнила сына моего покойного, он тоже слесарем был. На войне погиб. Ну, до свиданья всем.

Выходит, в дверях сталкивается с Шофёром. Шофёр уступает ей дорогу, потом входит.

Шофёр. Сергей Константинович...

Петров. Одну минутку.

Петров и Мария Андреевна уходят в кабинет. Петров возвращается.

Петров. Ну что?

Шофёр. У нас в гараже жена диспетчера... того... рождает... Если разрешите, отвезу её в родильный дом?

Иван Иванович (*из-под стола, зрителям*). Ну, чего спрашивает?

Петров. Ну, чего спрашиваешь? Вези, конечно.

Шофёр. А потом Людмилу Алексеевну не мешало бы, так сказать, свезти на рынок, а то частенько вижу, идёт с рынка, еле-еле тащит, жалко девушку. Разрешите?

Иван Иванович (*из-под стола, зрителям*). Чудной народ эти шофера, ей-богу! Ясное дело, скажет: нельзя. Государственный бензин, государственная машина... Скажет: мы не имеем права возить своих знакомых на рынок. Обязательно так скажет. Что такое? Не отвечает? Покраснел? Вот так история... Интересно... Постой, постой, теперь, Иван Иванович, гляди в оба!

Петров (*молчит, смущённый. Потом оборачивается к Секретарю*). Я беру бумаги. (*Берёт со стола пачку бумаг.*)

Иван Иванович (*из-под стола, зрителям*). Не ответил шофёру... Сергей согласился. Очень хорошо. Отлично! Ключёт!

Секретарь. Сергей Константинович! Позвольте вам выразить наше восхищение теми новшествами, которые вы ввели в нашу организационную деятельность; они должны стать достоянием всех учреждений. Необходимо, чтобы все организации применили наши достижения. Вы лично, дорогой Сергей Константинович, являетесь примером для всех нас и даже для ваших начальников; вы, Сергей Константинович...

Петров (*смущённый, но довольный*). Полно, полно...

Иван Иванович (*из-под стола, зрителям*). Видели, с каким умилением слушал? Ну, слава тебе господи! Теперь он у меня вот где. (*Сжимает кулак.*)

Шофёр. Так я отвезу Людмилу Алексеевну на рынок.

Иван Иванович (*из-под стола, сияющий*). Вези, голубчик! И к парикмахеру вези! И к портнихе!

Петров. Сегодня вечером мне машина не понадобится. Я пешком пойду. (*Уходит в кабинет.*)

Шофёр выходит.

Секретарь. Что с ним? Чем-то недоволен...

Иван Иванович (*из-под стола*). А я от радости готов плясать!

Секретарь берёт бумаги и уходит в кабинет Петрова. Иван Иванович вылезает из-под стола, оглядывается, прохаживается, пружиня колени, потирает руки, хихикает с довольным видом. Входят Человек в кепке и Человек в соломенной шляпе.

Человек в кепке (*озабоченно*). Что-нибудь случилось, Иван Иванович?

Иван Иванович. Эврика! Нашёл! Уничтожу! Всю жизнь будет мучиться! Нашёл! Не уйдёт из моих рук! (*Злорадно хохочет.*) Ха-ха-ха-ха!

Человек в кепке (*шепчет Человеку в соломенной шляпе*). Если бы я знал, какую штуку он хочет учинить с Петровым, сейчас бы пошёл и предупредил. Разве можно равнодушно смотреть, как человек готовит подлость другому человеку? Постарайся разузнать, что он собирается делать.

Человек в соломенной шляпе. Почему я? Сами узнайте.

Человек в кепке. Тебе он скорее откроется.

Человек в соломенной шляпе. Почему мне скорее? Я что, его записная книжка, что ли?

Человек в кепке. Между вами есть что-то общее.

Иван Иванович. Зря вы столько времени болтаете попусту. Никто не в силах предупредить гибель Петрова. Он будет уничтожен. Каким образом? Увидите после антракта. Во втором действии. Ха-ха-ха-ха! (С загадочным видом.) Второе действие!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина четвёртая

Портреты

Проходит Петров, его догоняет Человек в кепке.

Человек в кепке. Сергей Константинович!

Петров (*останавливается*). Что случилось?

Человек в кепке. Он тебя уничтожит! В этой картине он тебя уничтожит!

Петров. Меня? В этой картине? Кто?

Человек в кепке. Иван Иванович!

Петров. Каким образом?

Человек в кепке. Этого я не знаю.

Входит Человек в соломенной шляпе.

Человек в соломенной шляпе (*зрителям*). Разрешите вас приветствовать, уважаемые товарищи!

Человек в кепке (*Петрову, указывая на Человека в соломенной шляпе*). Если мне не веришь, спроси у него.

Человек в соломенной шляпе. Я ничего не знаю. Даже не понимаю, о чём вы говорите. Я терпеть не могу сплетни.

Человек в кепке. Разве не говорил Иван Иванович, что уничтожит товарища Петрова?

Человек в соломенной шляпе (*делает вид, что не слышал этих слов, обращается к Петрову*). Сегодня вечером в Малом зале Политехнического музея моя лекция. Буду очень рад, если пожалуете.

Петров. А какая тема?

Человек в соломенной шляпе. Обязательно ли наличие положительного героя в произведении искусства.

Петров. Ну, а как ваше мнение?

Человек в соломенной шляпе. Разумеется, нет! Совсем не обязательно наличие положительного героя.

Человек в кепке. Но прошлый раз ты утверждал обратное?

Человек в соломенной шляпе. Разве? Не помню... Да, кроме того, уважаемые товарищи (*обращается к зрителям*), что такое «обратное»? Взять хотя бы бумагу, где у неё обратная сторона? Разве нельзя писать на обеих её сторонах противоречащие друг другу мысли? И разве в этом виновата бумага? (*Спохватившись*.) Но я ведь не писчая бумага!

Человек в кепке. Ты — папиросная бумага. И силёнок-то у тебя на одну затяжку. (*Петрову*.) Куда идёшь?

Петров. Куда же рано утром идут? На работу.

Человек в кепке. Смотри, берегись. Берегись Ивана Ивановича. В случае чего, позови меня. (*Человеку в соломенной шляпе*.) Пошли. (*Подталкивает Человека в соломенной шляпе*.)

Человек в соломенной шляпе. Когда вы отвыкнете от этих грубостей? Когда вы станете культурнее!

Человек в кепке (*продолжает подталкивать в спину Человека в соломенной шляпе*). Иди, говорю, сейчас действие начнётся.

Выходят.

Петров входит в свою приёмную. Он рассеян. Приёмная пуста. На стенах висят огромные, похожие друг на друга портреты Петрова. Их так много, что не видно обоев. Не замечая всего этого, Петров входит в свой кабинет. Над его письменным столом висит такой же его портрет. Петров замечает его, в крайнем удивлении подходит к нему и начинает его рассматривать.

Петров. Мой портрет?.. Кто это сделал? Зачем это сделали? И какой огромный! Кажется, будто видишь себя в кривом зеркале. Кто его сюда повесил? Ничего не понимаю! (*Идёт в приёмную и встречается с входящим Иваном Ивановичем.*)

Петров. (*указывая на свой кабинет*). Смотрите!

Иван Иванович. Куда?

Петров. Не видите?

Иван Иванович. Вижу. Замечательный портрет! Даже сам Герасимов не мог бы нарисовать более солидно.

Петров (*замечает портреты, висящие в приёмной*). Батюшки! И здесь... И сколько их!

Иван Иванович. А разве вы не видели? Да, понимаю! Есть ли у вас время, чтобы посмотреть на стены приёмной! Если разобраться по существу, может ли человек, пекущийся о благосостоянии всего города, замечать, что висит на стенах его приёмной!

Петров. Кто их сюда повесил?

Иван Иванович. Я.

Петров. Вы?

Иван Иванович. Не собственными руками, конечно. Но я распорядился. (*Глядя на портрет в кабинете.*) Мне кажется, криво висит... Влево немного взяли.

Иван Иванович входит в кабинет. Петров следует за ним.

Петров. Зачем? Для чего это нужно?

Иван Иванович (*поправляет портрет, отходит на несколько шагов и смотрит на него*). Теперь хорошо. А вы знаете, кто писал эти портреты? И знаете ли вы, каких людей рисует этот художник?

Петров. Но зачем всё это?

Иван Иванович. Будьте добры, Сергей Константинович, займите своё кресло.

Петров. Но почему вы...

Иван Иванович. Пожалуйста! (*Придвигает кресло.*) Садитесь! Не уделите ли вы мне десять минут вашего драгоценного времени?

Петров (*усмехнувшись*). Как вы странно говорите! В вас, Иван Иванович, произошла какая-то перемена...

Иван Иванович (*серьёзно*). Товарищ Петров! Давайте будем говорить, как два товарища, идущие по одному пути к единому светлому идеалу. Если разобраться по существу... (*Петров хочет что-то сказать, но Иван Иванович останавливает его движением руки.*) Прошу вас, не перебивайте меня. Знаю, вы противник таких громких слов, как «светлый идеал», «пламенный борец», «законная гордость». Очень хорошо. Но эти выражения есть колёса предложений. Наденешь четыре штуки — и предложение движется! И мысли легко находят своё выражение. Почему бы вам не воспользоваться этими словами, которые все употребляют и которые, собственно говоря, уже превратились в социалистическую собственность?

Петров (*серьёзно*). Иван Иванович! Оставьте ваши колёса! Прошу вас. Отвечайте мне коротко: почему вы велели повесить эти портреты?

Иван Иванович. Я только исполнил свой долг, которым до этого дня пренебрегал, в чём и считаю себя виноватым.

Петров. Какой долг? Я просил вас говорить коротко и ясно. Зачем вы повесили эти портреты?

Иван Иванович. Я первый раз вижу вас таким сердитым... Но сердиться вам идёт, очень идёт. Если разобраться по существу, я человек принципа. Товарищ Петров, весь наш город, даже вся наша область любят вас. Старики относятся к вам, как к сыну, молодые — как к старшему брату, дети — как к родному отцу. Все любят вас, как самого близкого друга. И это потому, что и вы тоже любите всех ваших сограждан, советских людей. Наша область развивается, процветает, благоденствует только благодаря вам. Вы, если разобраться по существу...

Петров (*смущённый, но довольный*). Прошу вас...

Иван Иванович (*другим тоном*). Но у медали есть и обратная сторона.

Петров (*невольно интересуясь*). Какая?

Иван Иванович. Любовь — это хорошо. А авторитет? Имеете ли вы авторитет? Всё, что вы делаете в нашем городе, находит единодушную поддержку, вызывает всеобщее восхищение. Но имеете ли вы здесь, скажем, у своего секретаря, даже у вашей уборщицы Татьяны, имеете ли вы авторитет? Я вас спрашиваю, отвечайте.

Петров. Не знаю... Не думал об этом.

Иван Иванович. А пора бы подумать. У человека, который является отцом целого города, нет ни на грош авторитета! Есть у вас авторитет?

Петров. Авторитет? Ей-богу, не знаю... Наверно, нет.

Иван Иванович. Нет. А должен быть. Но дело не только в одном авторитете. Дело в атмосфере! Руководитель, который не имеет этого авторитета, этой атмосферы, может ли нести лежащие на его плечах высокие обязанности, как полагается? Я вас спрашиваю, товарищ Петров, может или нет?

Петров. Наверно, нет...

Иван Иванович. Что значит «наверно»? Может или не может?

Петров. Не может.

Иван Иванович (*не в силах сдержать радость*). Слава богу!

Петров. Что вы сказали?

Иван Иванович (*овладев собой*). Я говорю, необходимо в кратчайший срок создать вам авторитет и атмосферу. Речь идёт не о вашей личности. Этого требуют интересы целого советского города. Вот почему, товарищ Петров, повешены здесь ваши портреты.

Петров. Странно...

Иван Иванович. Что странно? Я всё не могу вам втолковать!

Петров. Нет, нет. Я не про то. Мне только что сказали, что вы хотите меня уничтожить...

Иван Иванович. Я — вас? И вы поверили? Кто это сказал? Кто этот негодяй, этот интриган, этот враг авторитетов? Кто этот мерзавец? А-а, я догадываюсь! Человек в кепке! Не знаю, заметили вы или нет, но в этом человеке есть опасные пережитки мелкобуржуазной психологии...

Звонит телефон. Петров берёт трубку, но Иван Иванович вырывает её у него.

Иван Иванович. У аппарата! Да. Позвоните секретарю. Номер секретаря? Узнайте в справочном бюро. (*Кладёт трубку.*)

Петров. Зачем вы это сделали?

Иван Иванович. Опять всё сначала! Ну, как это можно, чтобы всякий кому не лень, когда ему заблагорассудится, взял трубку и по-

звонил прямо вам! Если разобраться по существу, у вас обязанности, вы заняты!

Петров. Но я отвечаю, когда у меня есть время! Если я не могу говорить, я не снимаю трубку. Только это бывает очень редко. Большею частью я могу говорить. Например, сейчас я мог бы подойти к телефону.

Иван Иванович. А ваш авторитет?

Петров. Трудное дело... Действительно, трудно...

Иван Иванович. Привыкнете. Лёгких дел нет. Вы думаете, легко завинтить гайки, обеспечить, оправдать доверие?

В приёмную входят Мария Андреевна и Секретарь. Приступают к своим делам. За ними входят Человек в соломенной шляпе, Скульптор и Фотограф. Они проходят в кабинет Петрова.

Человек в соломенной шляпе. Вот и мы.

Иван Иванович (*указывая на Скульптора*). Это наш уважаемый Фёдор Александрович Бобров. Вы лично не знакомы, но о нём, верно, слышали. Это один из наших признанных скульпторов. Его работы вызывают единогласное одобрение, признание и всеобщее восхищение.

Петров. Очень приятно. (*Здороваются.*)

Скульптор. Я буду делать ваш бюст.

Петров. Мой? Зачем?

Скульптор вопросительно смотрит на Ивана Ивановича.

Иван Иванович (*тихо Петрову*). Ваша атмосфера... (*Скульптору.*) Пожалуйста, приступайте.

Петров. Сейчас? Может быть, в другое время? После работы?

Скульптор. Вы не беспокойтесь.

В это время Фотограф приготовил аппарат и магний.

Скульптор (*Фотографу*). Можете начинать.

Фотограф (*Петрову*). Будьте любезны, головку чуть правее. Ещё немного. Хорошо. Так держите. Минуточку... (*Подает Человеку в соломенной шляпе магний.*) Подержите, пожалуйста.

Скульптор (*Петрову*). Не улыбайтесь. Выше голову. Сделайте вдохновенное выражение. Гордый вид.

Петров. Я не могу этого сделать!

Иван Иванович. Не мучайте товарища Петрова. Вдохновенное лицо и гордый вид сами потом добавите.

Фотограф. Не шевелитесь. (*Дает знак Человеку в соломенной шляпе. Тот зажигает магний.*) Готово.

Скульптор (*Фотографу*). Теперь в профиль.

Фотограф снимает.

Скульптор. Теперь мы подошли к самой ответственной позе. (*Петрову.*) Повернитесь, пожалуйста, спиной. (*Поворачивает Петрова спиной к аппарату.*) Мы будем снимать ваш затылок.

Петров. Кому нужна фотография моего затылка?

Скульптор. Мне нужна. Все эти снимки нужны мне. Для того, чтобы сделать ваш бюст.

Петров. Ничего не понимаю! Какая надобность делать по снимкам бюст живого человека, который может сам позировать?

Человек в соломенной шляпе. Позвольте, я объясню. Я думаю, уважаемый Сергей Константинович, этот вопрос интересует не только вас, но и наших уважаемых зрителей. (*Обращаясь в зрительный зал.*) Дорогой Сергей Константинович! Уважаемые зрители! По мере того, как развитие техники вызывает взаимную диалектическую реакцию на раз-

личных ступенях базиса, оно оказывает также известное влияние на все явления надстройки, в том числе и на искусство. Ввиду того, что в древней Греции или в древней Индии развитие техники не достигло столь высокого уровня, чтобы изобрести прибор, который получил название «фотоаппарат», скульпторы и даже художники вынуждены были создавать свои произведения, пользуясь непосредственно своей моделью, в крайнем случае под свежим впечатлением — по памяти. Но в наш век, век атома и фотографии, скульпторы и даже художники не могут применять этот старый, первобытный, ещё докапиталистический метод работы. Почему? Потому что, во-первых, художник не может отрывать свою уважаемую модель от государственных дел, а тем более заставлять часами сидеть перед собой да ещё вертеться на стуле. Во-вторых, если даже уважаемая модель, с которой будет сделан бюст, согласится позировать, это ещё не всё. Поскольку многие наши крупные скульпторы являются бригадирами, возникает необходимость приходиться к своим моделям целой бригадой.

Петров. Но я где-то читал, что в древней Греции, а также и во времена Ренессанса скульпторы и художники работали совместно со своими помощниками.

Человек в соломенной шляпе. Совершенно верно. Но, дорогие товарищи, в те времена основную часть скульптуры изготовлял сам скульптор, а помощники выполняли только вспомогательные работы.

Человек в кепке (*входит*). А теперь бывает так, что и основную и вспомогательную работу выполняют помощники. А мастеру, вроде вот этого, остаётся только принимать заказы, получать деньги да подписывать статьи по вопросам искусства, которые за него пишут другие. Доброе утро, Сергей Константинович!

Петров. Доброе утро. Видишь, что со мной делают?

Человек в кепке. Вижу.

Скульптор. Если бы вы нашли полчаса и зашли бы дней через десять на мою фабрику... то есть я хотел сказать в мастерскую?

Петров. Хорошо, хорошо. Как-нибудь после работы.

Фотограф и Скульптор прощаются и уходят.

Петров (*глядя на свой портрет*). Значит, и этот сделали с фотографией? Да что я спрашиваю. Я же никому не позировал. Но с какой фотографии? (*Подходит и разглядывает портрет.*) Похоже на меня?

Иван Иванович. Что значит «похоже»? Если разобраться по существу, этот портрет является вдохновляющим монументальным и высокохудожественным произведением искусства.

Человек в соломенной шляпе. Это — ваше зеркало.

Иван Иванович (*подходит к дверям приёмной, обращается к Секретарю и Марии Андреевне*). Товарищи, зайдите-ка сюда.

Входят Секретарь и Мария Андреевна.

Иван Иванович. Портреты товарища Петрова похожи на товарища Петрова?

Секретарь. Исключительно. Я сразу сказал! Как вы хорошо сделали, что повесили эти портреты над нашей головой, перед нашими глазами!

Петров (*Марии Андреевне*). А как вы думаете?

Мария Андреевна. Когда и не было этих портретов, мы всё равно вас уважали. По-моему, ничего не изменилось.

Петров (*смущённый*). Я не это хотел спросить... Похоже на меня?

Мария Андреевна. Не знаю, как вам сказать...

Человек в кепке. Если хотите знать моё мнение, Сергей Константинович...

Иван Иванович. Никому не интересно твоё мнение.

Человек в кепке. По-моему, Сергей Константинович, ты ростом намного ниже.

Человек в соломенной шляпе. Нашёл недостаток! Высокий рост, невысокий рост — разве в этом дело? Может ли художник вылезти из болота натурализма, если он не способен из низенького начальника сделать высокого?

Человек в кепке. Потом, Сергей Константинович, плечи у тебя узкие, а здесь — сам видишь, какие. И морщин у тебя больше. Взгляд у тебя приветливый, мягкий, а здесь ты похож на одного из трёх богатырей Васнецова.

Иван Иванович показывает знаком Секретарю и Марии Андреевне, чтобы они вышли. Секретарь и Мария Андреевна выходят. Иван Иванович закрывает за ними дверь.

Иван Иванович. Хватит. Нечего показывать здесь свою некультурность.

Петров (*рассматривает свой портрет, указывая на лауреатскую медаль, еле заметно нарисованную на портрете*). А это что такое?

Иван Иванович. Лауреатская медаль.

Петров. Но у меня нет такой медали! У меня есть медали, которые я получил на фронте... Но такой медали нет!

Иван Иванович. А кто виноват?

Петров. Не понимаю.

Иван Иванович. Кто виноват, что у вас нет этой медали? Вы, я или кто другой?

Человек в соломенной шляпе. Иван Иванович хочет сказать, что реальность не то, что у вас нет такой медали, а реальность то, что у вас должна быть такая медаль. (*Зрителям.*) С другой стороны, уважаемые товарищи, искусство должно отображать реальную действительность. Значит, с точки зрения реализма жизни и искусства, ошибся ли художник, изобразив на груди товарища Петрова медаль, которой, с точки зрения натурализма, у него нет? Конечно, товарищи, художник не ошибся.

Петров. Да, понимаю... Если разобраться по существу... Как странно, я тоже начинаю говорить, как вы, Иван Иванович. Но в таком случае надо бы уж сделать медаль более заметной... Если не подойти вплотную, её и не увидишь...

Иван Иванович. Вы правы. Я немедленно исправлю эту ошибку. (*Влезает на стул, берёт из рук Человека в соломенной шляпе кисть и банку с краской и рисует огромную медаль на месте еле заметной старой на портрете Петрова.*) Ну, как, теперь хорошо?

Петров. Да, по-моему, сейчас на что-то похоже.

Иван Иванович. Но медали не любят жить в одиночестве. (*Рядом с первой подрисовывает ещё одну медаль.*) Ну, как?

Петров. Вы, оказывается, и художник, Иван Иванович... Если разобраться по существу, так быстро нарисовать медаль — это тоже своего рода достижение...

Иван Иванович. Нужно прикрепить медали и на другие портреты. Одну минуточку!

Иван Иванович вместе с Человеком в соломенной шляпе проходит в приёмную и с помощью Секретаря начинает рисовать медали на портретах Петрова. Мария Андреевна, обхватив голову руками, сидит удручённая за своим столом. Потом встаёт, подходит к дверям кабинета Петрова, но возвращается обратно, садится и принимает прежнюю позу. В это время Петров в кабинете продолжает рассматривать свой портрет. Звонит телефон. Петров поднимает трубку.

Петров. Кого вам? Товарища Петрова? Позвоните секретарю... В секретариат. Номер телефона? Узнайте в справочном... Нет, погодите... 3-13-26. *(Кладёт трубку.)* Ох, устал... Голова болит... Если разобраться по существу... если разобраться по существу... *(Проходит по комнате, останавливается перед портретом, долго смотрит. На его лице появляется довольное выражение, оборачивается к Человеку в кепке.)* А что ты мне сегодня утром говорил?

Человек в кепке. Что я говорил?

Петров. Ты сказал: «Иван Иванович тебя уничтожит!» Ты оговорил честнейшего, добрейшего человека, который заботится обо мне больше всех. Ты хотел восстановить меня против моего друга, пламенного борца, идущего по пути великих побед и грандиозных достижений к нашему общему идеалу! Что тебе сделал Иван Иванович? За что ты его ненавидишь?

Человек в кепке. Товарищ Петров, ты погибаешь. Что бы я сейчас тебе ни говорил — всё бесполезно. У тебя уже голова кружится. Но знай: если придётся уж очень туго, позови меня. Прощай. *(Уходит.)*

Петров. Ещё ничего не сделал, а устал так, будто десять часов камни таскал. *(Кричит в приёмную.)* Андрей Тимофееч!

Секретарь *(помогая Ивану Ивановичу дорисовывать медали, удивлённо)*. Вы меня?

Петров *(не вставая из-за стола, стараясь говорить важным тоном)*. Вас, конечно!

Иван Иванович *(довольный, Секретарю)*. Бегите! Видно, сегодня начальник не в настроении. Как хорошо сердится!

Петров *(резко)*. Андрей Тимофееч!

Секретарь со всех ног влетает в кабинет.

Секретарь. Слушаю вас.

Петров. Прежде всего нужно провести в приёмную звонок. Не буду же я каждый раз так орать, чтобы вас вызывать!

Секретарь *(довольный переменной, происшедшей с Петровым)*. Совершенно верно! Завтра же!

Петров. Нет, сегодня, в обеденный перерыв. Записывайте. *(Секретарь записывает.)* На один звонок являетесь вы. *(Секретарь записывает.)* Два звонка — машинистка, записывайте. Три звонка — уборщица.

Секретарь *(записывая)*. Записал.

Иван Иванович, сияющий, слушает этот разговор, слезает со стула и входит в кабинет Петрова. За ним входит Человек в соломенной шляпе.

Иван Иванович. Прежде всего я хотел бы обратить ваше внимание, Сергей Константинович, на одну важную деталь.

Петров. Говорите.

Иван Иванович *(указывая на дверь)*. Что это такое?

Петров *(недоумевая)*. Дверь...

Человек в соломенной шляпе. Как в номере второразрядной гостиницы!

Иван Иванович. Я считаю, что не позже завтрашнего дня надо сменить.

Петров. Дверь?

Иван Иванович. Прежде всего вам нужна двойная дверь, обитая кожей с войлоком, солидная дверь, через которую ни один звук не проникает ни из кабинета в приёмную, ни из приёмной в ваш кабинет. Дверь настоящего начальника — дверь авторитетная.

Петров *(Секретарю)*. Записывайте.

Секретарь. Записал.

Петров. Пришлите мне машинистку.

Секретарь. Сию минуту.

Иван Иванович и Человек в соломенной шляпе выходят.

Секретарь идёт за ними, останавливается на пороге.

Секретарь (*с прежней манерой и интонацией*). Прислать вам часть бумаг?

Петров. Каких бумаг?

Секретарь. Я хотел сказать, если у вас есть время...

Петров. Да вы что, в своём уме? Прежде всего, будьте любезны, научитесь сами справляться со своими делами. Только таким путём можно наладить порядок, устранить шаблон и завинтить гайки...

Секретарь. Простите, Сергей Константинович!

Секретарь, сияющий от счастья, выходит из кабинета.

Секретарь. Слава богу! Наконец-то дождались настоящего начальника!

Мария Андреевна. А раньше разве не настоящий был?

Секретарь. Чего-то не хватало... Не было необходимой атмосферы! Пусть сделает сердитую мину, пусть говорит со мной, не глядя на меня, не надо мне никакой его помощи в моей работе, но пусть знает своё место — он начальник, я подчинённый. Завтра я стану начальником. Я буду так же обращаться со своими подчинёнными. (*Спохватившись.*) Ой, чуть не забыл — вас требует... Скорей! Сегодня очень сердитый. (*Потирает руки.*)

Мария Андреевна, захватив машинку, идёт в кабинет Петрова. Секретарь подходит к Ивану Ивановичу, который продолжает подрисовывать медали на портретах Петрова. Человек в соломенной шляпе держит краски.

Мария Андреевна (*сделав шаг от дверей в кабинете Петрова, останавливается*). Вы меня вызывали?

Петров (*поднимает голову от бумаг*). Что? Да.

Мария Андреевна тяжёлыми шагами идёт к другому столу. Петров, видя, что ей тяжело, невольно встаёт, хочет ей помочь, но борется с этим желанием.

Мария Андреевна. Машинку на прежнее место?

Петров (*поборов свои колебания, подбегает к Марии Андреевне, берёт из её рук машинку*). Простите... (*Ставит машинку на стол.*)

Мария Андреевна (*облегчённо вздыхает*). Ох... (*Радостным тоном.*) Благодарю вас, Сергей Константинович!

Из открытой двери эту сцену видят Иван Иванович, Секретарь и Человек в соломенной шляпе. Иван Иванович падает со стула на руки Секретаря и Человека в соломенной шляпе.

Иван Иванович. Проклятье! Долго ещё придётся с ним возиться!

Картина пятая

Буфет

Буфет учреждения. Мария Андреевна, Татьяна Васильевна, Шофёр и другие сотрудники сидят за столиками. Человек в кепке и Человек в соломенной шляпе стоят на переднем плане.

Человек в соломенной шляпе. Не придёт.

Человек в кепке. Почему не придёт? Ежедневно здесь со всеми вместе завтракает.

Человек в соломенной шляпе. Категория «ежедневно» антидиалектична. Что значит «ежедневно»?

Человек в кепке. Бедная диалектика!

Входит Иван Иванович.

Человек в соломенной шляпе. Иван Иванович!

Иван Иванович *(делает вид, что не видит Человека в кепке. Человеку в соломенной шляпе)*. Привет!

Человек в кепке. А с нами не здороваешься?

Иван Иванович. Я вас не знаю и знать не желаю.

Человек в кепке. Я тоже. *(Идёт и садится за столик Марии Андреевны.)*

Человек в соломенной шляпе. Как вы думаете, придёт?

Иван Иванович. Неизвестно. Но я, учитывая любую неожиданность, явился на место боя раньше его.

Входит Секретарь, оглядывается, ищет, где бы сесть.

Татьяна Васильевна. Пожалуйста, присаживайтесь.

Секретарь. Благодарю. *(Проходит мимо Татьяны Васильевны и садится за столик с Шофёром.)*

Татьяна Васильевна. Смотрите на него! Раньше не разбирался, где сесть, а теперь считает ниже своего достоинства... Заважничал!

Сотрудник. Разве он один заважничал? Теперь тут важный на важном сидит.

Мария Андреевна *(Человеку в кепке)*. Вы догадываетесь, на кого он намекает? Ну, почему он такой стал! Горе прямо...

Человек в соломенной шляпе *(подходит к Сотруднику)*. Позвольте спросить, на кого это вы намекали?

Сотрудник *(растерявшись)*. Я?.. Ни на кого. Я имел в виду только себя! Я заважничал! Не моё дело судить о начальнике...

Человек в соломенной шляпе. Ну, это другое дело. *(Возвращается к Ивану Ивановичу.)*

Входит Люся, проходит мимо стола Шофёра и Секретаря.

Секретарь *(встаёт)*. Пожалуйста, Людмила Алексеевна. *(Показывает на свой стул.)*

Люся. Спасибо, я там сяду. *(Проходит дальше.)*

Шофёр. Людмила Алексеевна!

Люся. Да?

Шофёр. Если надо, я сегодня подам машину...

Люся. Нет, спасибо, не надо. *(Садится за столик к Марии Андреевне.)* Ещё не приходил?

Мария Андреевна. А придёт ли?

Люся. Почему же не прийти? Вот он пришёл!

Иван Иванович *(с досадой)*. Пришёл!

Мария Андреевна *(радостно)*. Пришёл!

Секретарь *(удивлённо)*. Пришёл...

Сотрудник *(испуганно)*. Пришёл...

Входит Петров. С важным видом, не глядя ни на кого, проходит и садится за пустой столик.

Петров. Колбасы. И стакан чаю с лимоном.

Буфетчица. Печенья не желаете?

Петров. Нет.

Люся *(подходит к столу Петрова)*. Здравствуй, Серёжа!

Петров *(увидев Люсю, мгновенно преображается. У него радостное лицо)*. Здравствуй, Люся... Садись! Где ты пропадаешь? Почему не звонишь? Ты меня совсем забыла...

Люся. А ты? Вошёл, как лунатик, не сел с нами, как всегда... Да, милый, позавчера приходил Саша и приставал ко мне с машиной — на рынок хотел меня везти.

Петров. И хорошо сделал.

Люся. Как ты сказал? Хорошо сделал? Чтобы Саша на государственной машине возил меня на рынок? Серёжа, милый, что с тобой? Опомнись! Что с тобой происходит?

Петров. Да, со мной что-то происходит... Я, наверно, болен... Голова болит... Кажется, треснет от боли...

Иван Иванович (*подходит к столу Петрова и, остановившись за его спиной, шепчет ему*). Все на вас смотрят. Что за фамильярность! Как развязно она себя держит! Начальник не может афишировать свои личные отношения.

Петров. Но я...

Иван Иванович (*всё так же шёпотом*). Зачем вы пришли?

Петров. Позавтракать...

Иван Иванович. Распорядитесь, чтобы приносили к вам в кабинет.

Петров. Чай остывает...

Иван Иванович. Значит, вы не можете принести и такую ничтожную жертву во имя построения коммунизма?

Люся. Почему вы стоите? Садитесь!

Иван Иванович. Не сяду, Людмила Алексеевна. (*Нагибается к ней*.) Я не нахожу полезным, чтобы подчинённые Сергея Константиновича слышали, о чём мы говорим.

Люся (*Петрову*). Кто этот человек?

Петров. Иван Иванович.

Иван Иванович. Людмила Алексеевна (*указывая на её столик*), ваш чай стынет.

Люся (*Петрову*). Что он хочет сказать?

Петров. Иван Иванович... Такое вмешательство в мою личную жизнь...

Иван Иванович. У вас, если разобраться по существу, нет личной жизни и не может быть. То есть считается, что нет и никогда не было. (*Шёпотом*.) отошлите её, пусть идёт за свой столик. Посмотрите на вашего секретаря. (*Петров смотрит на Секретаря*.) Видите, каким укоризненным взглядом он на вас смотрит? Получить укор от секретаря! Посмотрите на уборщицу. (*Петров смотрит на Татьяну Васильевну*.) Она осуждает вас за то, что вы афишируете здесь свои отношения с этой девушкой.

Люся. Серёжа... Кто этот человек?

Петров. Иван Иванович, прошу вас, оставьте меня.

Буфетчица (*приносит чай и колбасу*). Извините, Сергей Константинович, лимона нет.

Петров. Как так нет?

Буфетчица. Кончился!

Петров. Пошлите, пусть купят.

Буфетчица. Сейчас. (*Уходит*.)

Иван Иванович. Видели? Вас здесь ни в грош не ставят! Они не дают себе труда для вас, для начальника учреждения, для хозяина целого города, оставить несчастный кусочек лимона! Теперь вы видите! Можете ли вы с таким коллективом добиться высоких показателей на пути прогресса и грандиозных достижений?

Петров. Да, распустились.

Иван Иванович. Совершенно верно. И эта распущенность, если разобраться по существу, может принести только вред общему делу. Этим может воспользоваться враг. Разве я не прав?

Петров. Не знаю... Пожалуй... Да. Конечно!

Люся. Что с тобой, Серёжа?

Петров. Пожалуйста, не повышай голоса. Я прежде всего, если разобраться по существу...

Люся. Из-за какого-то лимона... Ты с ума сошёл!

Иван Иванович. Вы видите? Она вам сказала: «с ума сошёл», и все это слышали.

Люся. Сказать, что ты стал бюрократом,— мало! Боюсь, что тут дело похуже.

Иван Иванович. Она вам сказала: «бюрократ», и все это слышали.

Петров. Люся, в самом деле, чай у тебя стынет...

Люся. Ты меня гонишь?

Петров. Что? (*Опомнившись.*) Что ты сказала?

Люся. Ничего не сказала. (*Встаёт и уходит из буфета.*)

Петров. Люся...

Иван Иванович прикрывает ему рот рукой.

Иван Иванович. Что вы делаете? Молчите! Все на вас смотрят!

Петров. Ушла...

Иван Иванович. И кстати.

Петров. Я её почти прогнал...

Иван Иванович. Нет. Вы только исполнили высокий долг, принесли жертву, к которой вас обязывает ваше положение.

В течение этой сцены сотрудники постепенно разошлись. На сцене остались только Человек в кепке, Человек в соломенной шляпе, Иван Иванович и Петров.

Петров. Я люблю её...

Иван Иванович. Если разобраться по существу, ваше положение не позволяет вам влюбиться. Ну, а если уж вы влюбились, не позволяет заявлять об этом открыто.

Человек в кепке (*подходит к Петрову*). Нехорошо ты поступил.

Иван Иванович (*Человеку в кепке*). Когда ты будешь знать своё место? Кого ты учишь! Да ты знаешь, с кем разговариваешь? (*Петрову.*) Вот видите! Ваше мягкосердечие, ваши панибратские отношения — вот до чего они доводят!

Петров (*внезапно встаёт и, ударяя рукой по столу, кричит*). Довольно!

Человек в соломенной шляпе. На кого он кричит?

Иван Иванович. Тихо. Сейчас наступила решающая минута...

Петров. Довольно! Я требую, чтобы каждый знал своё место.

Человек в соломенной шляпе. Кто?

Иван Иванович (*берётся за сердце*). Ох, кажется, не выдержу...

Петров. Довольно. Я требую, чтобы меня уважали.

Иван Иванович (*тихо и радостно*). Bravo!

Входит Буфетчица с лимоном.

Буфетчица. Пожалуйста, ваш лимон.

Петров (*садится*). Принесите ещё чаю. Садитесь, Иван Иванович. (*Человеку в соломенной шляпе.*) Хотите чаю? (*Буфетчице.*) Ещё стакан.

Иван Иванович и Человек в соломенной шляпе садятся напротив Петрова.

Иван Иванович (*протягивает Петрову пачку папирос*). Прошу.

Петров. Не курю.

Иван Иванович. Но, может быть, начнёте когда-нибудь?

Петров. Может быть, начну.

Иван Иванович. А где вы будете покупать папиросы, то есть я хотел сказать, куда будете посылать за папиросами?

Петров. Как — куда? Туда, где продают папиросы.

Иван Иванович (*мягко*). Это не годится. Прежде всего, если разобраться по существу, вы или кто-то из ваших близких, чтобы купить папиросы, должен пойти в магазин. Разве это годится?

Человек в соломенной шляпе. Ни в коем случае!

Петров. Ну, а что же делать?

Иван Иванович. Нужно сейчас же запланировать организацию специальной базы, откуда будут присылать папиросы только вам, ну, и ещё некоторым товарищам.

Человек в соломенной шляпе. Совершенно верно! Нельзя позволить, чтобы вы или кто-нибудь из ваших близких терял время на мелочи быта.

Петров. Прежде всего разрешите вас поблагодарить за то товарищеское внимание, которое вы мне оказываете.

Буфетчица приносит чай.

Петров (*Буфетчице*). Теперь будете приносить чай ко мне в кабинет. (*Ивану Ивановичу и Человеку в соломенной шляпе.*) Да, так о чём это я говорил? Когда я приехал в этот город, здесь были одни развалины. Я решил немедленно начать восстановительные работы и превратить этот город в течение нескольких месяцев в цветущий сад. С большим энтузиазмом взялся я за лопату. Мои грандиозные достижения и высокие показатели налицо. Те великие преобразования, которые были осуществлены под моим руководством...

Человек в кепке (*вскочив с места, бросается на Ивана Ивановича*). Ах ты, бессовестный! Мерзавец! Скотина! Во что ты превратил этого золотого человека! (*Бросает Ивана Ивановича на пол, начинает бить.*)

Иван Иванович. Помогите! Убивают!

Петров и Человек в соломенной шляпе стараются освободить Ивана Ивановича из рук Человека в кепке.

Петров и Человек в соломенной шляпе. Стой! Что ты делаешь? Убьёшь человека!

Всё перемешивается, и уже непонятно, кого бьёт Человек в кепке.

Картина шестая

Бассейн

Бассейн. Вдоль бассейна скамейки. В удобном кресле сидит Петров. Вокруг него стоят Иван Иванович, Человек в соломенной шляпе, Корреспондент и Секретарь. За спиной Петрова, поодаль от группы, стоит Шофёр. На боковой скамейке сидит Человек в кепке. В бассейне идут соревнования. Девушки и юноши в купальных костюмах ходят вдоль бассейна.

Человек в соломенной шляпе (*зрителям*). Вот видите, дорогие товарищи, товарищ Петров долго не заглядывал в бассейн, но сейчас он снова среди нас. Сегодня здесь проходят соревнования по плаванию. Товарищ Петров требует, чтобы вся молодёжь, все дети и даже старики занимались спортом. Чтобы каждый гражданин города установил мировой рекорд.

Петров (*важно*). Если разобраться по существу, спорт является важнейшим фактором в деле укрепления здоровья.

Иван Иванович (*Корреспонденту*). Записали?

Корреспондент. Простите, я не расслышал последнее слово.

Человек в соломенной шляпе. Каждый раз одно и то же! Корреспондент называется!

Секретарь (*Корреспонденту*). Последнее слово: здоровье. Только не забывайте наше условие — из мыслей товарища Петрова, каждая из которых является афоризмом, вы можете записывать только часть. Ваши статьи не должны помешать, вы понимаете?..

Человек в соломенной шляпе (*продолжает*). ...выходу нашей книги. (*Зрителям.*) Между нами, дорогие товарищи (*указывая на Секретаря*), только чтобы он не знал, кроме этой книги, я лично готовлю ещё диссертацию на тему «Значение знаков препинания в бессмертных афоризмах товарища Петрова». (*Указывая на Секретаря.*) Я не хочу, чтобы он знал об этом, а то он сразу сунет и сюда свой нос. А между тем, уважаемые товарищи, я считаю неправильным, с точки зрения интересов науки, чтобы с помощью одной диссертации, даже на такую важную тему, два человека получили степень кандидата наук и продвигались дальше к докторской степени.

Петров (*указывая на одного из плавающих в бассейне*). Эта девушка в жёлтой шапочке хорошо работает руками. Таким образом, она развивает, расширяет и обеспечивает на своём участке наш советский спорт.

Иван Иванович (*Корреспонденту*). Записали? Что, опять чего-нибудь не расслышали?

Корреспондент. Простите, он сказал «в голубой шапочке»?

Человек в соломенной шляпе. Да нет, в жёлтой шапочке.

Петров. Я люблю, чтобы плавали кролем.

Секретарь (*Корреспонденту*). Это вы не должны записывать. Это для книги. (*Человеку в соломенной шляпе.*) Очень тонкое замечание!

Человек в соломенной шляпе. Исключительно!

Человек в кепке. Да вы в своём уме? «Я люблю, чтобы плавали кролем» — что же в этом исключительного? А я люблю плавать на спине! Почему не записываете?

Человек в соломенной шляпе. Вы говорите в соответствии с законами формальной логики. Ни один вопрос мы не можем обсуждать «вообще», здесь вопрос прежде всего в конкретности, то есть кто говорит эти слова? То есть в зависимости от положения говорящего слова приобретают тот или иной удельный вес и значимость.

Человек в кепке. Значит, когда какое-то слово говорит Петров — это одно, а когда его говорю я — это совсем другое?

Человек в соломенной шляпе. А вы как думали? Кроме того, вы и не можете говорить то, что говорит товарищ Петров! Каждое слово, каждую мысль вы должны говорить после Сергея Константиновича, учась у него. Ни до него, ни вместе с ним — только после.

Петров. Плавание как в пресной, так и в солёной воде является лучшим видом спорта.

Человек в соломенной шляпе (*Корреспонденту*). Только смотрите, не касайтесь знаков препинания — это моя тема.

Корреспондент. Простите, не понял?

Человек в соломенной шляпе. И не старайтесь понять. Корреспондент, который хочет всё понять, далеко не пойдёт.

Петров. Если разобраться по существу, меня интересует, кто выиграет соревнования.

Секретарь (*Корреспонденту*). Это можешь записать.

Петров. Победит тот, кто достоин победы.

Секретарь (*Корреспонденту*). Это не записывай.

Петров. Иван Иванович!

Иван Иванович. Слушаю вас.

Петров. Курить можно.

Иван Иванович. Есть! (*Оборачивается к Секретарю.*) Курить можно!

Секретарь (*оборачивается к следующей группе*). Курить можно!

Слова «курить можно» переходят от группы к группе.

Петров. Иван Иванович!

Иван Иванович. Слушаю вас.

Петров (*указывая на Человека в кепке, сидящего, положив ногу на ногу*). Смотрите, как сидит!

Иван Иванович. Некультурный субъект! (*Подходит к Человеку в кепке.*) Как тебе не стыдно?

Человек в кепке. Чего стыдно?

Иван Иванович. Как ты себя ведёшь? Как развязно! Как ты сидишь? В присутствии товарища Петрова!

Человек в кепке. Я не сую свою ногу в нос Петрову, никому не мешаю, как мне хочется, так и сижу. Кому какое дело?

Иван Иванович. А уважение к руководству?

Человек в кепке. А что, ногами будем показывать уважение? Да знаешь что? Пошёл ты отсюда... Ты у меня смотри, если я ещё раз за тебя примусь, то никто уж тебя не спасёт. Ну, проваливай!

Иван Иванович (*возвращается к Петрову*). Очень жарко, Сергей Константинович...

Петров. Да, жарко. М-м... Иван Иванович...

Иван Иванович. Слушаю.

Петров. Сколько вам лет? Ведь мы как будто с вами ровесники? А иногда посмотришь на вас — вы кажетесь намного старше.

Иван Иванович (*полушутя, полусерьёзно*). Я вам в отцы гожду. Даже в деды. Даже в прадеды!

Человек в кепке (*показывая на Ивана Ивановича и обращаясь к зрителям*). Сдаётся мне, что он жил ещё в царской России. А может быть, он проник к нам вместе с воздушными шарами, о которых писали газеты? Но, возможно, он появился несколько раньше и каким-то другим путём. Во всяком случае, не мы создали его. Это — растение не нашей почвы!

Человек в соломенной шляпе. Разрешите задать вам один вопрос, Сергей Константинович.

Петров. Спрашивайте.

Человек в соломенной шляпе. Вы как-то указывали, что балет постепенно перестает итти в ногу с жизнью.

Петров (*забыв о своём важном тоне*). Я? Когда?

Иван Иванович (*шёпотом Петрову*). Не забывайтесь.

Петров (*спохватившись*). Что? Да, да. Если разобраться по существу, я в своё время указывал...

Человек в кепке (*вскакивает с места и кричит*). Не смей ты людей! Что ты понимаешь в балете? Не берись не за своё дело!

Петров (*мягко и устало*). Товарищ, нет ничего такого, чего бы я не понимал. Я всё знаю и во всём разбираюсь.

Иван Иванович. Мы вас слушаем, Сергей Константинович.

Петров. Если разобраться по существу, в балете необходимо прежде всего развивать наши классические традиции и ещё больше обогащать русский балет достижениями советского балета. Нужно сделать так, чтобы мы все, смотря советский балет, испытывали законную гордость.

Человек в соломенной шляпе (*Человеку в кепке*). Ну, как?

Человек в кепке. Никто с этим не спорит. Но...

Человек в соломенной шляпе. Тсс!

Петров. Но не следует смешивать па-де-де, па-де-катр и па-д'эспань. Это вернуло бы нас к декадентству. Мы не допустим в балете субъективизма и индивидуализма.

Человек в кепке (*Человеку в соломенной шляпе*). Ну, что вы на это скажете? Насильно заставляете человека нести чепуху!

Петров. К сожалению, недостатки, которые мы встречаем в области балета, имеют место и в нашей астрономической науке. В астрономии прежде всего нужно обратить серьёзное внимание на то, чтобы в наблюдении за звёздами не отдавать преимущества какой-нибудь одной звезде за счёт других и тем самым не допустить серьёзных ошибок, что имело место в трудах некоторых наших заблуждающихся астрономов. Необходимо добиваться в астрономии высоких показателей, грандиозных достижений и вдохновляющих на новые подвиги результатов.

Человек в кепке (*Человеку в соломенной шляпе*). Вот полюбуйся!

Корреспондент (*Петрову*). Простите, товарищ Петров, можно узнать, кого вы имели в виду, когда говорили о заблуждающихся астрономах? Я думаю, что наши читатели хотели бы узнать имена этих астрономов, чтобы уберечь себя от их ошибок!

Петров вопросительно смотрит на Ивана Ивановича.

Иван Иванович. Если бы нужно было обнародовать имена этих товарищей, Сергей Константинович сделал бы это, не дожидаясь ваших неуместных вопросов.

Человек в соломенной шляпе. Они будут обнародованы в своё время.

Секретарь. Сергей Константинович, не желаете ли сказать несколько слов новой мировой рекордсменке?

Петров. Желаю.

Секретарь подводит Люсю. Она в мокром купальном костюме, только что после соревнования. Корреспондент наводит фотоаппарат.

Иван Иванович (*Секретарю*). На кой чёрт вы её привели?

Петров смотрит на Люсю стеклянными глазами; видно, что он её не узнаёт.

Петров (*важным тоном*). Поздравляю вас с новым мировым рекордом. В своё время я тоже занимался водным спортом. Водный спорт играет важную роль в нашей экономике и морали. Спорт, если разобраться по существу, укрепляет здоровье. Любите плавать! Плавание как в пресной, так и в солёной воде является лучшим видом спорта. Да здравствует водный спорт!

Люся (*слушает эту речь с глазами, полными слёз*). Сергей Константинович...

Петров (*ничего не замечая*). Говорите. Не стесняйтесь. Обо всех недостатках вашего спортивного общества расскажите моему секретарю. Проверим. Выкорчуем. Действуйте.

Люся (*в отчаянии*). Серёжа!

Петров. Кого вы?

Иван Иванович. Она зовёт капитана команды, чтобы объявить ему о проявленной вами заботе. (*Берёт её под руку и хочет увести.*) Не отрывайте товарища Петрова от дела... Пожалуйста, товарищ!

Люся. Сергей! (*Падает.*)

Петров. Что с ней?

Вокруг неё суетятся Человек в соломенной шляпе и Секретарь.

Секретарь. Наверно, переутомилась...

Петров. Покажите моему врачу.

Человек в соломенной шляпе и Секретарь уносят Люсю. Иван Иванович идёт за ними.

Человек в кепке (*Петрову*). Не узнал её?

Петров (*искренне*). Кого?

Человек в кепке. Люсю.

Петров (*с напряжением припоминает*). Люсю? Люся... Люся... Голова болит... Ох, кажется, разорвётся...

Вбегает Иван Иванович.

Иван Иванович. У вас голова болит? (*Подает таблетку.*) Примите пирамидон, сразу пройдёт.

Петров. Надоело глотать таблетки! Я хочу плавать! (*Уходит.*)

Входят Человек в соломенной шляпе и Секретарь.

Секретарь. Сегодня жарко.

Человек в соломенной шляпе. В жаркую погоду человек, входящий как в пресную, так и в солёную воду, охлаждается.

Секретарь. Это афоризм Сергея Константиновича.

Человек в соломенной шляпе. Да, это одна из его глубочайших мыслей.

Иван Иванович. Нужно на нашем стадионе вдоль футбольного поля протянуть полотнища кумача и написать на них эту мысль золотыми буквами.

Человек в кепке. А какое отношение эти слова имеют к футболу?

Секретарь. Каждое слово товарища Петрова имеет отношение к любому участку нашей культурной и общественной жизни.

Входит Петров в халате. Секретарь подбегает к нему, берёт у него халат. Петров остаётся в трусах.

Иван Иванович (*в ужасе*). Что вы сделали?

Секретарь (*испуганно*). А что?

Петров (*удивлённо*). Что случилось?

Иван Иванович (*Секретарю*). Немедленно накиньте халат!

Секретарь накидывает на Петрова халат.

Петров. Зачем? В чём дело, Иван Иванович!

Иван Иванович. Вы ещё спрашиваете? Как может руководитель показываться народу голым!

Петров. Но я хочу плавать! Не могу же я броситься в воду в пиджаке или в халате!

Иван Иванович. Я всё обдумал. Одну минутку. (*Шофёру.*) Саша! (*Делает знак рукой.*) Давай!

Шофёр. Есть!

Опускается перегородка, которая делит бассейн на две части, оставляя на одной стороне Петрова, Ивана Ивановича, Секретаря и Человека в соломенной шляпе, а на другой — Человека в кепке и всех остальных.

Иван Иванович (*снимает халат с Петрова*). Пожалуйста. Можете плавать. Отныне это ваш персональный бассейн. Теперь никто не потревожит ваших мыслей, направленных исключительно на благо человечества.

Петров входит в бассейн. Шофёр и Секретарь несут пробковый пояс, прикрепленный к толстому длинному бамбуку.

Секретарь (*Ивану Ивановичу*). Чуть не забыли!

Иван Иванович (*протягивает пояс Петрову, плавающему в бассейне*). Будьте любезны, Сергей Константинович, наденьте пояс.

Петров. Зачем? Я хорошо плаваю.

Человек в соломенной шляпе. Это не имеет значения, мы обязаны принять все меры предосторожности и обеспечить безопасность жизни такого бесценного руководителя, как вы.

Секретарь. Ваша жизнь принадлежит народу. Наденьте!

Петров надевает пояс. Человек в соломенной шляпе, Секретарь и Шофёр тащат его по воде при помощи бамбуковой удочки, которая прикреплена к поясу.

Петров. Хватит! Пусть даже для народа... Не могу я так жертвовать... Это не плавание, а мука! Вытащите меня!

Петрова вытаскивают. Секретарь и Шофёр снимают с Петрова пояс и уносят. Человек в соломенной шляпе накидывает на Петрова халат. За перегородкой все разошлись. Остался один Человек в кепке. Снаружи доносятся звук духового оркестра.

Петров. Не люблю эту музыку. (*Человеку в соломенной шляпе.*) Вызовите сюда капельмейстера.

Человек в соломенной шляпе выходит.

Иван Иванович. Вы не можете его принять в таком виде. Прошу вас, оденьтесь.

Петров уходит. Входит Капельмейстер.

Капельмейстер. Товарищ Петров меня вызывал?

Иван Иванович. Приготовьтесь, сейчас вам всыплют.

Входит Петров.

Петров. Ну что, сказали капельмейстеру?

Иван Иванович. Вот он сам.

Петров. А, это вы? Очень хорошо. Товарищ, что вы играете? Вы находите, что эта музыка достойна советских людей? Вы думаете, что такими произведениями вы помогаете духовному росту советской молодежи? Вы думаете, что этим ноктюрном вы боретесь против проявления мелкобуржуазных пережитков в сознании масс? В то время, как существуют гениальные произведения, составляющие гордость классического наследия!

Капельмейстер. Но мы играли Чайковского! Простите, может быть, вы не считаете произведения Чайковского классическим наследием?

Петров (*напускает на себя сердитый вид*). Вы сомневаетесь, считаю ли я Чайковского классиком? Какие у вас основания для этого сомнения? Как вы можете сомневаться, классик Чайковский или нет? «Танец лебедей» Чайковского — прекрасное произведение. Мы испытываем законную гордость, когда слушаем его. Нужно, чтобы в день десять, а то и двенадцать раз исполняли по радио это гениальное произведение. Так и передайте. Вот так. (*Отворачивается.*)

Капельмейстер уходит.

Петров. Вот я попал в лужу!.. Опозорился!

Человек в кепке. Да, опозорился.

Иван Иванович. Почему опозорился? Товарищ Петров не может опозориться перед капельмейстером.

Петров. Человек с таким презрением смотрел на меня...

И в а н И в а н о в и ч. Эта мелкобуржуазная чувствительность вам не подходит, Сергей Константинович.

П е т р о в. Наверно, уже все в этом городе издеваются надо мной...

Человек в кепке. Не все. Друзья, напротив, жалеют тебя. Хотят тебе помочь. Но тебе не до них.

И в а н И в а н о в и ч. Что ты ерунду мелешь! Кто смеет издеваться над товарищем Петровым? Кто смеет его жалеть? Просто все держатся на почтительном расстоянии. Если разобраться по существу, вы создатель и вдохновитель этого города. С вашим именем связаны все его достижения и победы.

П е т р о в. Мне тяжело... Как будто на сердце у меня камень... Ни от чего не получаю удовольствия... Я мучаюсь...

Человек в кепке. Ещё хуже будет. Встряхнись! Освободись от этого кошмара!

И в а н И в а н о в и ч. Товарищ Петров, возьмите себя в руки. У таких руководителей, как вы, должны быть крепкие нервы.

П е т р о в (*принимая важный вид*). У меня нервы крепкие. Никто не может сомневаться в силе моей воли. Ох, если бы было в этом городе немного, хотя бы ещё два таких человека, как я! Тогда увидели бы, каких бы добились мы показателей, успехов и подъёма на пути прогресса! Но нет таких людей, ни одного нет.

И в а н И в а н о в и ч. Каждый человек не может быть Петровым!

Человек в кепке. Сергей Константинович, послушай...

Входит встревоженный Секретарь.

Секретарь (*протягивает телеграмму*). Сергей Константинович, телеграмма! Вас вызывают из центра... За подписью Константина Сергеевича... Кроме того, ещё телефонограмма поступила... Заместитель Константина Сергеевича лично звонил.

П е т р о в. Без меня ничего не могут! У меня у самого дел во (*показывает на горло*), да ещё они каждый месяц вызывают.

Человек в кепке. Ничего не каждый месяц. Вот уже три года никуда тебя не вызывали.

П е т р о в. Сегодня выезжаю. Медлить нельзя ни минуты. Минутное опоздание иногда может свести на нет грандиозные достижения. Может остановить развитие, расширение и укрепление! Да, я понимаю, они вызывают меня на помощь. Я иду к ним на помощь. Иду!

Петров и Секретарь выходят.

И в а н И в а н о в и ч (*Человеку в кепке*). Видал? Каково? Не говорил ли я, что во втором действии уничтожу Петрова? Ха-ха-ха-ха!

Человек в кепке (*по другую сторону перегородки*). Ах ты, бессовестный! Ах ты, подлец! Негодяй ты этакий! (*Пытается ударить Ивана Ивановича палкой, но мешает перегородка, и это ему не удаётся.*) Ладно! Мы ещё посмотрим! Смеётся тот, кто смеётся последним!

И в а н И в а н о в и ч (*с интересом*). Что ты сказал? Кто смеётся последним? То есть в конце пьесы? (*Вдруг угодливо.*) Конечно, конечно! В конце нашей пьесы злодеи будут осуждены, заблуждающиеся с помощью самокритики исправятся, будет сыграна свадьба или, на худой конец, устроен банкет.

Человек в кепке. Так, значит, ты теперь взялся за автора — задумал и его совратить!

И в а н И в а н о в и ч. А что, думаешь, не смогу? Сейчас увидишь. Смотри! (*Кричит за кулисы.*) Эй, Назым Хикмет! Где вы там? Я знаю, Советский Союз — ваша вторая родина, вы любите советских людей, уважаете их, вы старый партиец — всё это мы знаем. Но неужели ваша пер-

вая пьеса на советскую тему непременно должна быть сатирой? Типический советский человек это разве Петров или я? Зачем вы подрываете авторитет Петрова? И чего вы именно за нас взяли? Нам и так заботы хватает. Оставьте нас в покое. Да, кроме того, неудобно как-то получается — как бы то ни было, вы здесь гость. Нехорошо злоупотреблять гостеприимством советских людей. Конечно, не принято гостя одёргивать, но всё это до поры до времени. Я хочу сказать: оставьте-ка вы эту пьесу, так будет лучше и для вас, и для нас, и для театра, где её будут играть, если, конечно, такой найдётся! Ну, а если уж обязательно хотите писать об этом, сделайте хоть хороший конец.

Г о л о с а в т о р а. Зря стараетесь, Иван Иванович. Советский Союз действительно моя вторая родина, и я очень люблю советских людей. Поэтому-то я должен поступать, как поступает здесь каждый честный человек. Но если даже я только гость в Советском Союзе, в этом самом прекрасном доме на земле, — всё равно: раз я вижу, что в этом доме ползёт змея, мой долг — раздавить её. Именно потому, что я ненавижу вас, Иван Иванович, и верю, что Петров найдёт в себе силы избавиться от вас, я допишу эту пьесу. А конец будет не такой, как вам хочется.

Человек в кепке. Конец будет такой, как нам хочется. *(Передразнивает Ивана Ивановича.)* Ха-ха-ха-ха!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина седьмая

Вокзал

Входят Человек в кепке и Человек в соломенной шляпе.

Человек в соломенной шляпе *(смотря на свои часы)*. Не опоздали?

Человек в кепке. Нет.

Человек в соломенной шляпе. Интересно, как в этом городе будут встречать Сергея?

Человек в кепке. Да, очень интересно.

Человек в соломенной шляпе. Наверно, будут цветы подносить, речи говорить, подадут «ЗИМы», а может быть, и «ЗИСы»!

Человек в кепке. Такси, автобусы, троллейбусы, трамваи.

Человек в соломенной шляпе. Ещё десять минут до прихода поезда. Хотите, расскажу вам один анекдот?

Человек в кепке. Расскажи.

Человек в соломенной шляпе. Про белую собачку. Знаете?

Человек в кепке. Про белую собачку? Не знаю.

Человек в соломенной шляпе *(зрителям)*. Среди вас, уважаемые зрители, многие, наверно, знают этот анекдот.

Человек в кепке. Да не тяни ты. Рассказывай.

Человек в соломенной шляпе *(зрителям)*. Так вот. У одного художника принимали все его работы, что бы он ни рисовал. Будь это яблони во дворе завода, урок в школе или вид на море — все его работы принимались на выставки. Товарищи его заинтересовались этим и спросили его, как это ему удаётся проталкивать всё, что он ни нарисует. Художник замаялся, а потом говорит: «Не хотел я говорить, но уж так и быть — скажу. Дело в том, что я всегда на переднем плане рисую маленькую белую собачку. Члены комиссии, конечно, сразу же возражают: «К чему здесь эта собачка? Уберите собачку!» Я отвечаю: «Нет, не могу убрать. Собачка необходима для композиции». Члены комиссии требуют убрать собачку. Я категорически отказываюсь. Всякий раз спор длится часами. Наконец я говорю: «Дайте мне подумать». Через несколько дней

прихожу и говорю: «Да, вы правы. Я принимаю вашу критику. Собаке здесь действительно не место. Я её убрал». И картину мою берут! И комиссия довольна, и я доволен...»

Человек в кепке. Смотри, кто идёт!

По сцене проходит Семёнов И. Р.

Человек в соломенной шляпе. Кто это?

Человек в кепке. Семёнов Иван Романович.

Человек в соломенной шляпе. Чем занимается?

Человек в кепке. Рабочий. Участник штурма Зимнего дворца. В гражданскую войну был партизаном в Сибири. (Семёнову.) Привет, товарищ Семёнов!

Семёнов И. Р. Добрый день!

Человек в кепке. Куда направился?

Семёнов И. Р. На станцию.

Семёнов уходит.

Человек в кепке. В годы восстановления он вернулся к своему станку. Один из первых стахановцев. Во время Отечественной снова партизанил.

Человек в соломенной шляпе. А теперь, значит, на пенсии?

Человек в кепке. Нет, не угадал. Сейчас начальник цеха.

По сцене проходит Семёнов А. К.

Человек в кепке. Смотри, кто идёт!

Человек в соломенной шляпе. Кто это?

Человек в кепке. Семёнов Алексей Кондратьевич.

Человек в соломенной шляпе. Чем занимается?

Человек в кепке. Колхозник. Один из первых комсомольцев. Во время коллективизации с кулаками воевал. Потом ДнепрогЭС строил. (Семёнову.) Привет, товарищ Семёнов!

Семёнов А. К. Добрый день!

Человек в кепке. Откуда?

Семёнов А. К. Со станции. (Уходит.)

Человек в кепке. Во время войны получил два ранения. После победы пошёл на Волго-Дон.

Человек в соломенной шляпе. А теперь, значит, собирается на пенсию?

Человек в кепке. Нет, не угадал. Член правления колхоза.

По сцене проходит Семёнова Н. П.

Человек в кепке (указывая на неё). Смотри, кто идёт!

Человек в соломенной шляпе. Кто это?

Человек в кепке. Семёнова Нина Павловна.

Человек в соломенной шляпе. Чем занимается?

Человек в кепке. Писательница. Во время блокады Ленинграда потеряла родителей. Была ещё маленькая — помогала бомбы тушить, перевязывала раненых. Потом окончила Московский университет. (Семёновой.) Привет, товарищ Семёнова!

Семёнова Н. П. Добрый день!

Человек в кепке. Куда направилась?

Семёнова Н. П. На станцию. (Уходит.)

Человек в соломенной шляпе. А теперь, значит, редактирует толстый журнал?

Человек в кепке. Нет, не угадал. Уехала на целинные земли. Вот уже третий год там живёт, сюда только в отпуск приезжает. Там и замуж вышла. Стихи пишет и в библиотеке работает. И детей воспитывает.

Человек в соломенной шляпе усмехается.

Человек в кепке. Чего усмехаешься?

Человек в соломенной шляпе. Ну, для чего это нужно было показывать здесь этих Семёновых? Хитрость нашего автора. Видит, что его положительные герои — ну, не я, конечно, а ты, например, или эта старуха Анна Николаевна, хотя её тоже нельзя назвать положительным героем, или там Мария Андреевна, — видит: остаются они на заднем плане, человек испугался, как бы его не обвинили в клевете на советских людей и — вот, пожалуйста! — ни к селу ни к городу ввёл сюда этих Семёновых.

Человек в кепке. Эх, дать бы тебе по голове этой палкой, да палку жаль. Дурья твоя голова! А Сергей Константинович Петров, потворству, это кто? Отрицательный герой? Вот после пьесы походи домой и подумай. Завтра скажешь. А сейчас пора, уже поезд подходит. Итак, Петров прибывает в большой город.

Человек в соломенной шляпе. Эх, забыли цветы купить!

Уходят.

Вокзал. Поезд только что подошёл. На перроне перед вагоном Петров и Иван Иванович.

Петров. Может, поезд прибыл раньше времени?

Иван Иванович. Вполне возможно.

Петров. Иначе никак нельзя понять, почему нас не встречают.

Иван Иванович. Да, непонятно.

Петров. Конечно, первую приветственную речь они будут говорить.

Иван Иванович. Да, как полагается.

Петров. Речей будет, я так думаю, минимум три — от профсоюзов, от рабочих и ещё кто-нибудь из руководящих работников выступит.

Иван Иванович. Наверняка.

Петров. Пионеры, конечно, цветы преподнесут.

Иван Иванович. Это уж обязательно.

Петров. Потом я буду говорить. Моё выступление готово. *(Достаёт из кармана листы.)* Рассчитано примерно минут на тридцать.

Иван Иванович. Нельзя ли растянуть подольше?

Петров. Можно. Дотяну до сорока.

Иван Иванович. Вот и отлично.

Петров. Но почему они не идут? Ведь не может же быть, чтобы все часы — мои, ваши, вокзальные — спешили? Ничего не понимаю.

Иван Иванович. Прежде всего вам необходимо сохранить своё хладнокровие и достоинство. Вот, идут! Впереди молодёжь... Сколько цветов!

Молодые девушки и юноши вбегают с букетами цветов.

Голоса. Опоздали! В каком вагоне? Всё из-за тебя! Какой номер вагона?

Петров делает движение, чтобы пойти к ним навстречу.

Иван Иванович *(удерживает его)*. Стойте. Пусть подойдут сами. Ваш авторитет. Ваше достоинство.

Голоса. Это какой вагон? Вот они!

Иван Иванович *(Петрову)*. Узнали вас. Сейчас бросятся к вам. Молодёжь бросается к вагону, где стоят Петров и Иван Иванович, но проходит мимо.

Петров. Что... Что такое? Скажите, что я здесь! Бегите за ними! Остановите их!

Иван Иванович. Бесплезно. Они не вас встречают. Они Люсю встречают.

Петров. Люсю? Это кто такая?

Иван Иванович. Новая рекордсменка. Людмила Кудрявцева. Оказывается, мы ехали в одном поезде.

Люся с букетами в руках проходит, окружённая молодёжью.

Петров. Они с ума сошли! Встречают какую-то рекордсменку, когда я здесь. А кто же меня встречает, меня — Сергея Константиновича Петрова? *(Пауза.)* Где мои цветы? Где мои речи? Где они? Ох, сердце колет... как иголкой... Ох... Какой удар!

Вестибюль гостиницы. Входят Петров и Иван Иванович. У окна администратора очередь.

Петров. Не понимаю. Ну, не встретили, так послали бы хоть «ЗИМ»! Иван Иванович. Очевидно, произошла какая-то ошибка.

Петров. Я знаю, это дело рук моих завистников!

Иван Иванович. Несомненно.

Петров *(указывая на окно администратора)*. Нам тоже надо регистрироваться?

Иван Иванович. Формальность требует. Ничего не поделаешь. Запаситесь терпением. Назовёте свою фамилию — тут же всё оформят. Номер забронирован телеграммой.

Петров подходит к окошку администратора, кричит через головы людей.

Петров. Гражданка!

Пожилой мужчина *(Петрову)*. В очередь, гражданин.

Петров *(мягко)*. Гражданин, ко мне это не относится.

Пожилой мужчина. Как это «не относится»?

Петров. Сами увидите.

Администратор. Что вам нужно?

Петров. Моя фамилия Петров.

Женщина из очереди. А моя фамилия Захарова.

Все смеются.

Петров. У меня забронирован номер.

Администратор. Может быть. Встаньте в очередь. Когда подойдёт — займёмся вами.

Голоса. Правильно! Стойте, как все!

Петров *(Администратору)*. Вы знаете, гражданка, с кем вы разговариваете?

Администратор. Знаю. Вы товарищ Петров. Вы же сами сказали!

Петров. Безобразие! У меня дела!

Голоса. А у нас, по-вашему, нет дел? Мы бездельники?

Иван Иванович *(Петрову)*. Спокойно, спокойно... Вы теряете своё достоинство. Сядьте здесь. Я постою за вас. Всё это выяснится. Всех заменить — начиная от директора, кончая швейцаром.

Петров. Да, да, всех заменить... Я скажу Константину Сергеичу. Только таким путём можно обеспечить развитие, расширение и укрепление.

Иван Иванович. Вы пока отдыхайте.

Петров садится в кресло. Иван Иванович становится в очередь.

Петров. Голова болит... Как будто ударили чем-то тяжёлым...

Входит Анна Николаевна, замечает Петрова.

Анна Николаевна. О-о, Сергей Константиныч! Здравствуй!

Петров (*обескураженный простотой обращения, стараясь её припомнить*). Здравствуйте, гражданка!

Анна Николаевна (*садится в кресло рядом с Петровым*). Ну, как дела? Какие успехи? Знаешь, сынок, кому здесь ни рассказывала о твоих странных порядках, никто не верит.

Петров. Вы, должно быть, меня с кем-то путаете.

Анна Николаевна. А чего ж путать? Слава богу, память не отшибло. Ты разве не Петров? Сергей Константиныч? Который на ходу подписывает бумаги, со всеми разговаривает по телефону и помогает старухе — ну, или не старухе, а вроде того — нести машинку? О тебе я всем здесь рассказываю, говорю — вот хоть и начальник, а такой же человек, как и мы. Ты ведь Сергей Константиныч?

Петров. Да, я Сергей Константиныч.

Анна Николаевна. Ну вот, видишь. Я очень рада, что с тобой встретила. Пришла сюда телеграмму подавать. Отсюда, говорят, телеграммы быстрее доходят. Помоги, пожалуйста, напиши, не вижу я без очков.

Петров. Я?

Анна Николаевна. Ну да, ты. Что с тобой, сынок? Я сейчас только заметила. Что-то ты какой бледный? Не заболел ли? Может быть, не дай бог, какое несчастье? Умер кто из близких? Эх, не горюй. Все там будем. Главное, чтобы жить, как человек. Друг друга не обижать зря. Вот были бы все, как ты. Прости, сынок. Тебе, конечно, сейчас не до этого... Мне кто-нибудь другой напишет. Если ещё раз приеду в ваш город, обязательно зайду тебя проведать. Прощай, сынок. (*Уходит.*)

Петров (*удивлённый*). Что это, старуха ошалела, что ли? Что она тут плела? Откуда она меня знает? (*Пауза.*) Неужели в этой проклятой гостинице даже газеты не продают? (*Встаёт, подходит к киоску, покупает пачку газет, возвращается на своё место, просматривает газету.*) Посмотрим, на какой странице они напечатали о моём приезде. Какие фотографии поместили. Что это? Здесь ничего... и здесь ничего... Ни одной строки... Да, газетное дело у нас ещё отстаёт. Особенно в центральных городах. Вот приехали бы ко мне, поучились. (*Перелистывает газету.*) Здесь тоже нет... В чём дело? Не понимаю... Приехал в этот город товарищ Петров или не приехал? Интересно об этом узнать советскому народу или не интересно? (*Перелистывает газеты.*) Здесь тоже нет... Безответственность! А может быть, пережитки? (*Пауза.*) Как сказала старуха — кто-нибудь умер из твоих близких? Может быть, я сам умер?

Иван Иванович (*подходит*). Всё в порядке. Вот ключ от номера.

Петров. Иван Иванович...

Иван Иванович. Слушаю вас.

Петров. Разве так бывало, чтобы я подписывал на ходу бумаги? Не в своём кабинете? Разве могли мне звонить по телефону все, кто хотел?

Иван Иванович. И о каких вещах вы думаете! Идите лучше к себе, помойтесь с дороги, отдохните. Скоро надо уже идти на приём к Константину Сергеичу.

Петров. Я носил машинку Марии Андреевны! Иван Иванович, отвечайте! Я с ума сойду! Этот город... этот город, который меня не встретил, сведёт меня с ума!

Иван Иванович. Поднимитесь к себе!

Петров. Не пойду я никуда! Оставьте меня! Прошу вас, оставьте меня одного... Возвращайтесь домой... Ждите меня там. Уходите от меня! Уезжайте! Я сейчас буду кричать! Уходите!

Иван Иванович пятится и уходит. Петров, обхватив голову руками, падает на стол возле кресла. Входит Человек в кепке.

Человек в кепке (*трогая Петрова за плечо*). Я пришёл.

Петров (*очнувшись*). А? Что тебе нужно?

Человек в кепке. Мне от тебя ничего не нужно. А тебе ничего от меня не нужно?

Петров (*растерянно*). А какая мне от тебя может быть помощь?

Человек в кепке. Несколько дружеских слов. Таких, какие говорит народ.

Картина восьмая

Сергей Константинович — Константин Сергеевич

Кабинет Константина Сергеевича. На стене огромный, почти во всю стену, портрет Константина Сергеевича в массивной золотой раме. Раза в два больше, чем портреты Сергея Константиновича. Портрет очень похож на портреты Петрова. Константин Сергеевич занят рассматриванием бумаг, он низко нагнулся над столом, лица его не видно. Входит Петров. Константин Сергеевич не поднимает головы. Петров оглядывает кабинет. Увидев портрет Константина Сергеевича, он делает движение изумления, подходит к портрету ближе и разглядывает его. Видно, что его поражает такое сходство. Константин Сергеевич поднимает голову. Он очень похож на Петрова.

Константин Сергеевич (*не видя лица Петрова*). Куда вы смотрите?

Петров оборачивается, и они с удивлением смотрят друг на друга.

Константин Сергеевич. А-а...

Петров. А-а...

Константин Сергеевич. Вы...

Петров. Вы...

Константин Сергеевич (*показывает на себя*). Я...

Петров (*показывает на себя*). Я...

Константин Сергеевич. Мой портрет... ваш портрет...

Петров. Наш портрет.

Константин Сергеевич. Присаживайтесь, Сергей Константинович.

Петров садится в кресло напротив стола.

Петров. Благодарю, Константин Сергеевич.

Константин Сергеевич. Мы вас вызвали для того...

Петров (*прерывая*). На вокзале меня не встретили. В гостинице я стоял в очереди. Даже паршивенькую «Победу» не прислали. На такси к вам приехал.

Константин Сергеевич. На такси?

Петров. Да, на такси. А потом вышел из такси. Шофёр начал критиковать порядки в городе. Я рассердился и вышел. Сел в автобус.

Константин Сергеевич. В автобус?

Петров. В автобусе ещё хуже. Никакого уважения. Толкаются. Никто места даже не уступил. Вышел, сел в троллейбус.

Константин Сергеевич. В троллейбус? Никогда не садился... Или, может, садился, да забыл.

Петров. И я забыл. А вот пришлось, и сел. Там я тоже не мог. Противно было ехать. Пересел на трамвай.

Константин Сергеевич. На трамвай? А разве есть ещё трамвай?

Петров. Оказывается, есть.

Оба молчат. Разглядывают друг друга.

Константин Сергеевич. Вы...

Петров. Я...

Константин Сергеевич. Вы... *(Пауза.)* Мы вас вызвали для того...

Петров. Трамвай — страшная вещь.

Константин Сергеевич. Страшная?

Петров. Да, как книга, которая не врёт.

Константин Сергеевич *(с иронией)*. Что же в этой книге написано?

Петров. Неприятные для вас вещи.

Константин Сергеевич *(с той же иронией)*. Например?

Петров. Например, пишут: заважничал Константин Сергеевич. Скоро укажут ему его место.

Константин Сергеевич *(вспыхнув, но овладев собой, превращает в шутку)*. Ну, а про вас что пишут?

Петров. Про меня тоже, наверно, пишут. Но только не здесь, в моём городе. Эта мысль пришла мне в голову. И снова я начал думать. Удивительная вещь — думать.

Константин Сергеевич. Что же нам делать? Не ездить на машине, не держать секретаря, не нажимать кнопку звонка, орать на всю комнату?

Петров. Нет... Я думаю... Я мучительно думаю... Нет... Будем и на машине ездить, почему же не ездить? И секретаря будем держать. Если нужно, не одного, а трёх секретарей будем держать. Без секретаря невозможно обойтись. Всё это правильно. И кнопку звонка нажимать лучше, чем орать на всю комнату. Нет... Не то... Я думаю... Я мучительно думаю... И машина, и секретарь, и дача — всё это должно быть. Но они не должны быть забором, отделяющим тебя от мира.

Константин Сергеевич *(становится серьёзным)*. Перейдём к делу. Если разобраться по существу, мы вас вызвали для того...

Петров *(перевивает)*. Здесь, в этом городе, никто мной не интересуется. Не меня уважают, а какую-то девчонку — мастера спорта! Я, кажется, видел её где-то раньше...

Константин Сергеевич. Сергей Константиныч...

Петров *(не слушая его)*. Но вы также поедете в большой город, и вас там никто не узнает. Какому-нибудь слесарю будет оказано больше внимания, чем вам. То есть я хочу сказать, что если вы поедете...

Константин Сергеевич. Я не понимаю, что вы говорите. Перейдём к делу. Мы вас вызвали для того...

Входит Секретарь, угрюмый человек с чёрными бровями. Вслед за ним входит Человек в кепке. Секретарь кладёт на стол пачку бумаг.

Секретарь. Заявления. *(Уходит.)*

Петров *(глядя вслед Секретарю)*. Один из ваших секретарей... *(Вспоминает что-то.)* Да, да... именно он — насуспенный, с чёрными бровями... Ещё два должны быть. Один в очках, другой кудрявый, румянец во всю щёку... И у каждого свой порядок... Откуда я всё это знаю?

Константин Сергеевич, не читая, отмечает бумаги огромными цветными карандашами — красным, синим, зелёным — и кладёт в три разные стопки.

Человек в кепке *(указывая Петрову на Константина Сергеевича)*. Ты догадываешься, что он делает?

Петров. Сортирует заявления.

Человек в кепке. Не читая!

Петров. Потом будет читать.

Человек в кепке. Смотри, одну отмечает красным, другую — синим, а третью — зелёным карандашом.

Петров. Вижу.

Человек в кепке. Те, которые отмечены красным, завтра будет читать, отмеченные синим — пошлёт обратно на рассмотрение, а третья стопа, где зелёные пометки, — этим откажет. И всё это не читая.

Константин Сергеевич (*поднимает голову, замечает Человека в кепке*). Что вам здесь надо? Кто вы такой? Выйдите из кабинета. (*Нажимает кнопку звонка*.)

Человек в кепке. Не нужно никого вызывать. А будешь так разговаривать — то скоро тебя самого отсюда так попросят, что ты дорогу обратно не найдёшь. (*Уходит*.)

Константин Сергеевич. Да, так что я говорил? Если разобраться по существу, Сергей Константиныч, я вас вызвал для того... Вы меня слушаете?

Петров. Да, да.

Константин Сергеевич. Прежде всего необходимо согласовать, санкционировать, предусмотреть...

Петров. Необходимо согласовать... (*Опомнившись*.) Константин Сергеич... Давайте поговорим о делах другим языком...

Константин Сергеевич (*не слушая Петрова*). Необходимо ударить по рукам, подвести итоги, подвинтить гайки...

Петров (*заразившись, подхватывает*). Необходимо неустанно, не покладая рук, внедрять, пресекать, комплектовать...

Константин Сергеевич (*поправляя*). Нет, сначала комплектовать, а потом уже пресекать, внедрять, регулировать...

Петров (*спохватившись*). Константин Сергеич!

Константин Сергеевич (*не слушая*). ...прорабатывать, пресекать, сигнализировать!

Петров (*заражаясь*). ...прорабатывать, пресекать, сигнализировать!

Отсюда и до конца их разговора Петров, как зеркало, повторяет жесты, интонации и даже выражение лица Константина Сергеевича.

Константин Сергеевич. Согласовывать, предусматривать, расширять...

Петров. Согласовывать, предусматривать, расширять...

Константин Сергеевич и Петров (*одновременно*). Пресекать, внедрять, поощрять, развивать, расширять.

Некоторое время продолжают играть без слов так, словно продолжают этот разговор, причём Петров повторяет, как зеркало, каждый жест Константина Сергеевича.

Дверь приоткрывается, в ней показывается голова Человека в кепке.

Человек в кепке. Стой!

Человек в кепке исчезает. Дверь закрывается. Петров и Константин Сергеевич останавливаются, как по команде.

Петров и Константин Сергеевич (*одновременно*). Кто это? Что такое?

Петров. Константин Сергеич... Вы понимаете, во что мы превратились?

Константин Сергеевич. Что вы хотите сказать?

Петров. Я всё понял! Я вдруг всё понял! (*Указывая на портрет на стене*.) Я знаю, кто повесил этот портрет... Мой портрет... Наш портрет... Иван Иванович! Так ведь? Разрешите мне немедленно вернуться к себе, в наш город.

Константин Сергеевич. В чём дело? Что с вами? Мы вас вызывали сюда для того...

Петров. Разрешите, я за сутки справлюсь... туда и обратно...

Константин Сергеевич. Но как же так...

Петров. Константин Сергеевич! Товарищ мой! Брат мой! Ближе, чем брат, мой товарищ по партии! Я понял. Иван Иванович решил меня погубить. Не знаю, что я ему сделал плохого. Здесь у вас масштаб больше, поэтому у вас не один такой Иван Иванович, их пять или десять или ещё больше... Я еду, чтобы выгнать своего Ивана Ивановича! Но раньше я должен кое о чём его спросить... Вы тоже должны выгнать своих Иванов Ивановичей... Немедленно выгнать! До свидания, Константин Сергеевич! Я скоро вернусь! *(Уходит.)*

Картина девятая

А был ли Иван Иванович?

Человек в соломенной шляпе. Петров вернулся из центра?

Человек в кепке. Вернулся. Я только что его видел. Поднимался по лестнице, шагая через четыре ступеньки. Пойдём поздороваемся.

Человек в соломенной шляпе. Пойдёмте.

Человек в кепке *(легонько подталкивая Человека в соломенной шляпе)*. Пошли.

Человек в соломенной шляпе *(морщится)*. И когда только вы отвыкнете от этой грубой привычки!

Уходят.

Кабинет и приёмная Петрова.

Петров *(проходя по приёмной, кричит Секретарю)*. Позовите Ивана Ивановича!

Секретарь *(недоумевая)*. Простите?

Петров. Мне нужен Иван Иванович. Где бы ни был, разыщите, хоть из-под земли. Немедленно пришлите ко мне.

Петров входит в свой кабинет.

Секретарь. Что с ним?

Мария Андреевна. Не знаю... Какой-то прямо ошалелый...

Секретарь *(укоризненно)*. Мария Андреевна, что это за выражение! Но кого он велит вызвать?

Мария Андреевна. Ивана Ивановича...

Секретарь. Какого Ивана Ивановича? Не понимаю...

Раздаётся один звонок.

Секретарь. Меня. Какой сердитый! Ох, и попадёт мне!

Секретарь входит в кабинет Петрова. Раздаётся два звонка.

Мария Андреевна. И меня вызывает... Что с ним сегодня? Прибежал как угорелый...

Мария Андреевна входит в кабинет Петрова. Звонок звонит три раза. Прибегает Татьяна Васильевна.

Татьяна Васильевна. Три звонка... Меня вызывает... Сохрани меня господи! *(Входит в кабинет Петрова.)*

Петров *(Секретарю)*. Нашли?

Секретарь. Кого?

Петров. Как это «кого»? Вы не слышали, кого я вызывал?

Секретарь. Слышал, Сергей Константинович... Вы велели вызвать Ивана Ивановича...

Петров. Ну и что? Почему же он не идёт? *(Стучит кулаком по столу.)* Почему он не идёт?

Мария Андреевна. Сергей Константинович...

Петров (*мягко*). Простите, Мария Андреевна... я так кричу... Но если бы вы знали, как мне это важно!

Входят Человек в кепке и Человек в соломенной шляпе.

Человек в кепке. Привет!

Человек в соломенной шляпе. Здравствуйте, Сергей Константинович! С приездом.

Петров. Здравствуйте, спасибо. Садитесь. (*Указывает на кресло.*) У меня сейчас очень важное дело. Хорошо, что вы пришли. (*Секретарю.*) Прошу вас, найдите мне Ивана Ивановича.

Секретарь. Какого Ивана Ивановича?

Человек в соломенной шляпе. Фамилия-то как?

Петров. Фамилии я не знаю... Иван Иванович! Ну тот, которого все вы прекрасно знаете! (*Секретарю.*) Ну, наш Иван Иванович!

Секретарь. Простите, Сергей Константинович. Вам, может быть, покажется странным, но среди моих знакомых нет ни одного Ивана Ивановича...

Петров. У вас что... пропала память? (*Марии Андреевне.*) Но вы-то, Мария Андреевна, знаете Ивана Ивановича?

Мария Андреевна. Я знаю двух Иванов Ивановичей. Один швейцаром в больнице, симпатичный старик, а другой — наш сосед, стекольщик.

Петров. Мне не нужен ни тот, ни другой. Но что это значит? Я сошёл с ума или вы?

Человек в соломенной шляпе. Вы всё время были вместе. Он даже вас любил.

Петров (*радостно*). Ну вот, значит вы знаете, о ком я говорю?

Человек в соломенной шляпе. К сожалению, уважаемый товарищ, я не знаю никакого Ивана Ивановича.

Петров (*указывая на свой портрет*). Кто это сюда повесил?

Секретарь. Ваш шофёр... Саша...

Петров. А кто велел ему повесить? Кто заказывал художнику?

Секретарь. Нам так показалось, что вы — как это сказать? — находите это необходимым... чтобы висел здесь ваш портрет...

Человек в соломенной шляпе. Художнику заказывал я. И этим я горжусь, уважаемый Сергей Константинович.

Петров. Ничего не понимаю. Кто мне запретил завтракать в буфете? Кто меня заставил открыть специальную базу? Кто меня заставлял говорить разную чепуху? Совать с ходу свой нос в дела, в которых я ничего не смыслю? Сделал меня посмешищем в глазах народа? Кто сделал меня самым несчастным человеком? Кто, кто, кто?

Человек в кепке. Иван Иванович.

Петров. Кто разлучил меня с Люсей? Я увидел Люсю, смотрел на неё и не узнал! Кто довёл меня до этого состояния?

Человек в кепке. Иван Иванович.

Петров. Иван Иванович! Я говорю вам: приведите его сюда. А вы отвечаете, что не знаете его! Значит, вы повесили портреты, потому что я считал это необходимым? Значит, по вашим словам выходит, что вешали Саша и секретарь?

Татьяна Васильевна. Я тоже помогала.

Петров. Кто разделил бассейн на две части?

Человек в кепке. Иван Иванович.

Петров. Но где этот Иван Иванович? Отвечайте, прошу вас, умоляю вас... (*Пауза.*) А был ли Иван Иванович?

Входит Иван Иванович.

Иван Иванович (*зрителям*). В самом деле, был я или не был?
 Петров (*Человеку в кепке*). Помнишь, ты мне сказал однажды: если с тобой случится что-нибудь, позови меня на помощь. Вот я прошу тебя помочь мне — скажи мне (*показывая на Ивана Ивановича*): был он или не был?

Человек в кепке. Раз это тебя так интересует, получай ответ. (*Ударяет Ивана Ивановича палкой по голове. Иван Иванович падает. В то время, как палка опускается на голову Ивана Ивановича, Петров хватается за свою голову.*)

Петров. Ой, больно... Ой, моя голова!..

Иван Иванович (*подняв голову*). Я Иван Иванович.

Человек в кепке (*снова бьёт его по голове*). На, получай! Сдохни!

Петров (*хватается за голову*). Ох, моя голова!.. Ой, как ты сильно бьёшь!.. Ой, голова расколется... Что ты делаешь?

Человек в соломенной шляпе. Я ничего не понимаю. Что здесь происходит? Был этот Иван Иванович или не был?

Человек в кепке ещё раз поднимает палку, чтобы ударить Ивана Ивановича, но Иван Иванович исчезает. Петров хватается за руку.

Петров. Довольно! Я понял!

Человек в кепке (*зрителям*). Вы тоже поняли? Меня очень интересует, поняли ли вы: был Иван Иванович или не был?

Ноябрь — декабрь 1955 г.

Москва.

Перевод с турецкого А. Бабаева и М. Павловой.



НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ МАЯКОВСКОГО

(К выходу нового Полного собрания сочинений поэта)

Институтом мировой литературы имени А. М. Горького Академии наук СССР начато издание Полного собрания сочинений В. В. Маяковского в тринадцати томах. Работа над подготовкой томов ведётся в основном по собранию прижизненных публикаций и изданий произведений поэта и по материалам рукописного фонда, хранящегося в Государственной Библиотеке-Музее В. В. Маяковского.

К работе над новым изданием привлечён целый ряд рукописных и печатных текстов, которые не были введены в предшествующее двенадцатитомное собрание сочинений Маяковского и дают материал для пополнения как основного текста нового издания, так и разделов «Приложений», вариантов и разночтений.

Основной текст нового издания пополнится главным образом рядом произведений Маяковского, опубликованных в различных журналах и газетах и при жизни поэта не перепечатывавшихся. Это две статьи 1914 года из газеты «Новь» — «Россия. Искусство. Мы» и «Будетляне» — и несколько стихотворений, очерков, статей советского периода, «забытых» на страницах нашей периодической печати (стихотворения «Два Берлина», «Что делать?», очерки и статьи: «Сегодняшний Берлин», «О мелочах», «Собирайте историю» и другие).

Посмертные публикации произведений Маяковского, вошедшие в предыдущее собрание его сочинений, пополнятся новым, впервые публикуемым стихотворением Маяковского, автограф которого находится в одной из записных книжек поэта.

Стихотворение называется «Письмо Татьяне Яковлевой» и относится к циклу стихов, связанных с поездкой Маяковского в Париж в октябре — ноябре 1928 года.

Стихотворение включено редакцией подготавливаемого Полного собрания сочинений в один из последних томов — девятый, куда войдут произведения 1928 года. Учитывая, что пока вышел в свет только первый том, даём читателю возможность познакомиться с этим стихотворением до выхода девятого тома.

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

★

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,
губ ли,
в дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже
должен
пламенеть.
Я не люблю
парижскую любовь:

Я не сам,
а я
ревную
за Советскую Россию.
Видел
на плечах заплаты,
их
чахотка
лижет вздохом.
Что же,
мы не виноваты —
ста миллионам
было плохо.
Мы
теперь
к таким нежны —
спортом
выпрямишь не многих —
вы и нам
в Москве нужны,
не хватает
длинноногих.
Не тебе,
в снега
и в тиф
шедшей
этими ногами,
здесь
на ласки
выдать их
в ужины
с нефтяниками.
Ты не думай,
щурясь просто
из-под выпрямленных дуг.
Иди сюда,
иди на перекрёсток
моих больших
и неуклюжих рук.
Не хочешь?
Оставайся и зимуй,
и это
оскорбление
на общий счёт нанижем.
Я всё равно
тебя
когда-нибудь возьму —
одну
или вдвоём с Парижем.

Автограф этого стихотворения — его белой текст, без поправок — находится в той же записной книжке, где записаны белые тексты двух других стихотворений парижского цикла 1928 года — «Стихотворение о проданной телятине» и «Ответ на будущее сплетни». Следы черновой работы над стихотворением «Письмо Татьяне Яковлевой» — несколько черновых набросков и заготовок-рифм — сохранились на странице другой записной книжки, рядом с черновиком стихотворения, написанного в ту же па-

рижскую поездку 1928 года,— «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви».

Оба «Письма» написаны в жанре лирического разговора и тесно связаны между собой: безымянный персонаж «Письма товарищу Кострову...» с намёком на его (персонажа) биографию («Вы к Москве порвали нить. Годы — расстояние») называется во втором «Письме» по имени и самый разговор принимает гораздо более личный, драматический характер.

Так же, как «Письмо товарищу Кострову...», это второе «Письмо» «о сущности любви», раскрывающее в личном конфликте поэта его чувства советского человека, гражданина и патриота, является одним из лучших образцов лирики Маяковского, в которой каждая личная тема раскрывается как тема общественного значения и каждая общественная тема — как личная.

Н. РЕФОРМАТСКАЯ,

заведующая Научным отделом Музея В. В. Маяковского.



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

МАЛЕНЬКИЕ ПРАЗДНИКИ

★ ★
★

Был вечер, по-зимнему синий,
когда я, безмолвен, устал,
в московском одном магазине
в недлинную очередь встал.

Затихли дневные события,
мятущийся схлынул народ.
За двадцать минут до закрытья
неспешно торговля идёт.

В отделах пустынного зала,
среди этикеток цветных,
лишь несколько жён запоздалых
да юноша с пачкою книг.

Вот в это-то самое время,
в пальтишке осеннем своём,
замеченный сразу же всеми,
китаец вошёл в «Гастроном».

Он встречен был нами привычно,
как словно, до малости, свой, —
ну, скажем, наладчик фабричный,
а то лаборант заводской.

Как будто он рос не в Кантоне
и даже подальше того,
а здесь, в Москворецком районе,
в читалках и клубах его.

Как будто совсем не в Шанхае
он сызмальства самого жил,
а в наших мотался трамваях
и наши спецовки носил.

Как словно и в самом-то деле
он здесь с незапамятных дней...
Лишь губы у всех подобрели
и стали глаза веселей.

Лишь стали радушнее лица:
зачем объяснять — почему.
И вдруг невзначай продавщица
сама улыбнулась ему.

...Я шёл и курил сигарету
и радостно думал о нём,
о маленьком празднике этом,
о митинге этом немом.

Великая суть деклараций
и лозунги русской земли
уже в повседневное братство,
в обычную жизнь перешли.

И то, что на красных знамёнах
начертано — в их широту, —
есть в жизни моей обыденной,
в моём необычном быту.

ПЕРВЫЙ БАЛ

Позабыты шахматы и стирка,
брошены вязанье и журнал.
Наша взбудоражена квартирка —
Галя собирается на бал.

В именинной этой атмосфере,
в этой бескорыстной суете
хлопают стремительные двери,
утюги пылают на плите.

В пиджаках и кофтах «Москвошвея»,
критикуя и хваля наряд,
добрые волшебники и феи
в комнатёнке галиной шумят.

Счетовод районного Совета
и немолодая травести —
все хотят хоть маленькую лепту
в это дело общее внести.

...Словно грешник посредине рая,
я с улыбкой смутною стою,
медленно, сквозь шум, припоминая
молодость суровую свою.

Девушки в лицеванных жакетках,
юноши с лопатами в руках —
на объектах первой пятилетки
мы и не слышали о балах.

Разве что под старую трёхрядку,
упираясь пальцами в бока,
кто-нибудь на площади вприсядку
к празднику отхватит трепака.

Или, обтянув косоворотку,
в клубе у Кропоткинских ворот
«Яблочко» матросское в охотку
вузовец на сцене оторвёт.

Наши невзыскательные души
были заморожены тогда
музыкой ликующего туша,
маршами ударного труда.

Но, однако, те воспоминанья,
бесконечно дорогие нам,
я ни на какое осмеянье
никому сегодня не отдам.

И в иносказаниях туманных,
старичку брюзгливому под стать,
нынешнюю молодость не стану
в чём-нибудь корить и упрекать.

Собирайся, Галя, поскорее,
над причёской меньше хлопочи —
там уже, вытягивая шеи,
первый вальс играют трубачи.

И давно стоят молодцевато
на парадной лестнице большой
с красными повязками ребята
в ожиданьи сверстницы одной.

...Вновь под нашей кровлею помалу
жизнь обыкновенная идёт:
старые листаются журналы,
пешки продвигаются вперёд.

А вдали, как в комсомольской сказке,
за увитым инеем окном
русская девчонка в полумаске
кружится с вьетнамским пареньком.

ПРИЗНАНИЕ

Не в смысле каких деклараций,
не пафоса ради, ей-ей, —
мне хочется просто признаться,
что очень люблю лошадей.

Сильнее люблю, по-другому,
чем разных животных иных...
Не тех кобылиц ипподрома,
солисток кругов беговых.

Не тех жеребцов знаменитых,
что — это считая за труд —
на дьявольских пляшут копытах
и как оглашенные ржут.

Не их, до успехов охочих,
блистающих холой своей,—
люблю неказистых, рабочих,
двужильных кобыл и коней.

Забудется нами едва ли,
что вовсе в недавние дни
всю русскую землю пахали
и жатву свозили они.

Недаром же в старой России,
пока ещё памятной нам,
старухи по ним голосили
почти как по мёртвым мужьям.

Их есть и теперь по Союзу
немало в различных местах,
таких кобылёнок кургуzych
в разбитых больших хомутах.

Недели не знавшая праздной,
прошедшая сотню работ,
она и сейчас безотказно
любую поклажу свезёт.

Но только, в отличие от прежней,
косясь, не шарахнется вбок,
когда на дороге проезжей
раздастся победный гудок.

Свой путь уступая трёхтонке,
права понимая свои,
она оглядит жеребёнка
и трудно свернёт с колеи.

Мне праздника лучшего нету,
когда во дворе дотемна
я смутно работницу эту
уввижу зимой из окна.

Я выйду из душевной конторки,
заранее радуясь сам,
и вынесу хлебные корки
и сахар последний отдам.

Стою с неумелой заботой,
осклабив улыбкою рот,
и глупо шепчу ей чего-то,
пока она мирно жуёт.



ВЛАДИМИР ЛИФШИЦ

★

АИСТ

По траве густой и влажной
ходит аист.
Ходит он походкой важной
и жука ест.

Он зовёт свою любимую
подружку,
преподносит ей зелёную
лягушку.

Отошла она с поклонами
в сторонку:
«Отнеси-ка ты лягушку
аистёнку!

Он скучает, наша лапушка.
Здоров ли?
Беспокоюсь, не свалился бы он
с кровли!..»

Солнце село. Стало сумрачно
и тихо.
Вслед за аистом взлетела
аистиха.

Вот и скрылись две задумчивые
птицы...
Хорошо, что есть на свете
небылицы!

Под землёй живут кроты.
В подполье — мыши.
То ли дело аистёнок —
он на крыше!

У него гнездо покрыто
мягким пухом.
Он лягушку может съесть
единым духом!

Молча аист с аистихой
сели рядом.
Оба смотрят на сыночка
нежным взглядом.

Красный клювик аистёнок
разевает —
он наелся, он напился,
он зевает.

Молвит аист аистихе
очень строго:
«Ждёт нас осенью далёкая,
дорога.

Ждёт нас осенью нелёгкая
дорога.
Хорошо бы с ним заняться
хоть немного!..»

«Что ты, что ты,
он совсем ещё ребёнок!
Ведь и крылышки малы
и клювик тонок!..»

«Надоело отговорки
слушать эти!
Мы к занятиям приступаем
на рассвете!..»

А теперь я расскажу,
как это было.
Солнце снизу облака
позолотило,

а когда оно взошло
ещё повыше,
сбросил аист аистёнка
клювом с крыши!

Испугался аистёнок:
упаду, мол!..
Начал, начал, начал падать...
и раздумал.

Он раздумал и, синиц
увидев стаю:
«Поглядите, — закричал им, —
я летаю!..»

Рассказать мне захотелось
вам про это,
потому что есть народная
примета:

если аисты справляют
новоселье —
значит будет в доме радость
и веселье,

а не сядет к вам разборчивая
птица —
значит кто-то на кого-то
очень злится,

значит, будет в доме ссора,
будет сваря,
если мимо пролетает
птичья пара...

Путь приметы сквозь столетья
длинный-длинный.
Показалось людям следствие
причиной.

Просто птицы эти
издавна садились
только там, где не шумели,
не бранились...

Так ли это началось
или иначе,
я желаю людям счастья
и удачи!

А ещё моё желание
такое:
чтобы жить нам,
этих птиц не беспокоя.

Возвратится аистёнок
в марте с юга.
Прилетит с ним белокрылая
подруга.

Выбирая, где спокойнее
и тише,
пусть гнездо они совьют
на вашей крыше!

Ведь не каждая примета —
суеверье.
Добрый аист, зная это,
чистит перья.



АЛЕКСАНДР БЕК

★

ЖИЗНЬ БЕРЕЖКОВА

*Роман**

23

— **Б**ыло много ещё всяких выдумок, — продолжал Бережков. — Одно набегало на другое. Всего не перескажешь. Но историю с ремонтом газогенераторов нельзя в нашей книге миновать. Завязка этой истории такова: мне предложили взяться за восстановление двигателей на фабрике «Шерсть-сукно». В годы разрухи фабрика стояла в бездействии, или была, как тогда говорили, «заморожена». Это выражение в данном случае следовало понимать буквально.

Дело было зимой. Для восстановления фабрики требовалось прежде всего оживить энергетику, то есть пустить два газогенератора, находившиеся в подвале. Помню, как я вместе с главным инженером, только что назначенным, подходил к этому подвалу. Сюда уже везли уголь и дрова. Рабочие, видимо ветераны фабрики, которых ничто — ни голодные годы, ни разруха — не оторвало от неё, выводили длинную поленницу. Некоторые присоединились к нам.

На огромных кованых, заржавленных петлях висела тяжёлая дверь. Порог замело снегом. Под усилиями нескольких рук дверь подалась и, сгребая слой снега, раскрылась. Вместо ступеней, ведущих вниз, я увидел лёд, монолит льда. Оказалось, что глубокий подвал был затоплен водой, словно шахта, и вода промёрзла во всю толщу. Этот лёд мне запомнился, как символ оцепеневшей, замёрзшей, замороженной промышленности. В те времена она у нас повсюду уже прсбуждалась.

В этом ледяном массиве были погребены газогенераторы. Кто-то из стариков рабочих обратился ко мне:

— Неужто пустим эти моторы?

— Конечно, пустим! — уверенно воскликнул я, хотя ещё ничего не видел, кроме льда. И мысленно проговорил, как говаривал в молодости: «Если я не пушу, значит никто больше не сумеет».

Предстояло сколоть лёд, добраться до машин и произвести ремонт, пока неизвестно какой.

Я взял подряд на все эти работы, быстро подобрал артель в пять человек и сам во главе их принялся орудовать ломом. Много дней мы кололи лёд. Наконец глазу открылся первый газогенератор. В нём всё прржавело, стальная рубашка оказалась лопнувшей, кирпичная обмуровка раскрошилась, медные части были разворованы. Мы задали ему капитальнейшую чистку и капитальнейший ремонт, разобрали по частям, выскребли металлическими щётками, промыли керосином, склепали лопнувшие кожура, обложили огнеупорным кирпичом. Недостающие детали,

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2, 3 с. г.

которые я начертил, были изготовлены по нашему заказу на стороне, в мастерской. Мы вмонтировали их, и настал наконец час, когда наш генератор, откопанный во льду, произвёл под крики «ура» первый выхлоп. Стронулся многопудовый маховик, и застучала, задрожала, пошла тяжёлая машина — мощный генератор. Это был праздник для всей фабрики. Предприятие получило двигательную силу для станков. Во всех корпусах шли каменные, кровельные, плотничьи работы, ремонтировались, чистились машины. Всё оживало на глазах. Ткачи — ветераны фабрики — брались за любую чёрную работу, чтобы приблизить день пуска. Работа по воскрешению газогенераторов была невероятно грязной, невероятно утомительной, но, захваченные общим порывом, мы — я и моя артель — провели её с увлечением. Удача на любимом поприще, у двигателей, первый шум оживших механизмов, радость фабричного народа — всё это привело меня в чудеснейшее настроение.

Впрочем, одно обстоятельство меня всё-таки злило. В конторе «Шерсть-сукно» нелегко было выцарапать деньги. Правда, во время производства работ, когда я начинал яриться, бухгалтерия кое-что выплачивала, но почти все эти деньги я тут же отдавал своей артели, чтобы дело шло веселее.

В будущем мне пришлось припомнить один разговор, происшедший в конторе в жаркий летний день. Я пришёл, как обычно, требовать денег, и мне в бухгалтерии дали понять, что со мной могут быстро расплатиться ремонтно-строительными материалами, на которые рынок предъявлял острый спрос.

Рынок?! Ну нет, никаких рынков. Я не торгаш, не спекулянт. Я вольный стрелок техники. Изобретатель. Дока на все руки.

И вот дирекция предложила мне ещё один грандиознейший подряд — полную электрификацию всех корпусов фабрики. Это было по мне; у меня страсть к электротехнике.

Взяв этот подряд, я, прежде чем приступить к монтажу, поработал головой, пофантазировал, а затем продемонстрировал своего рода чудо — моя артель закончила работу в ошеломляюще короткий срок. Приёмочная комиссия, несмотря на сугубую придирчивость, признала исполнение отличным. Замечания комиссии были незначительны. Артель принялась по списку замечаний производить кое-где идеальную зачистку, наводит сияние и лоск. Затем наступили дни безделья, дни ожидания денег.

Согласно договору ваш покорный слуга должен был чертовски разбогатеть. Мне причитались очень большие деньги, ведь я ещё недополучил и за ремонт газогенераторов, — в общем, за всё про всё почти двадцать пять тысяч рублей. Это уже были червонцы, наш рубль равнялся рублю золотом. В свою очередь, я должен был рассчитаться с артелью и внести налоги. Прикидывая в уме, я сбрасывал на все эти предстоящие уплаты примерно половину денег, другая половина доставалась мне. В управлении фабрики для меня уже был заготовлен чек на всю сумму. Я собственными глазами видел его в бухгалтерии. Оставались лишь какие-то последние бухгалтерские формальности. Надо было потерпеть ещё несколько дней. Всё чаще я поглядывал на этажерку, на баночку эмалевой краски.

Итак, в ближайшие дни я получу несметное богатство. А пока я слонялся по Москве, мечтал.

Выбрав вечерок, я отправился на выставку, в оформлении которой, кстати сказать, приняла ближайшее участие моя любезная сестрица. Это была «Первая сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка», открывшаяся как раз в это время в бывшем Нескучном саду.

Не скрою, я весьма слабо разбирался в проблемах механизации сельского хозяйства, хотя и побыл некоторый срок мукомолом. Удивительные зерноочистительные машины, которые, как я знал по рассказам Маши, были выставлены на обозрение, и даже грандиозный мельничный постав «Красного путиловца» не особенно меня влекли. Бог с ними, с поставами! Хотелось посмотреть некоторые другие экспонаты — о них я тоже уже был слегка наслышан.

Рабочий день, очевидно, кончился. На виадуке, перекинутом через Крымский вал, было тесно. В ворота выставки люди шли толпой. Мелькали кумачовые косынки девушек, бесчисленные кепки и фуражки. Я столь обтрепался за последний год, что и в этой скромно обряженной толпе выглядел отнюдь не шёголем. Впрочем, в воображении я уже видел себя одетым в новый костюм, в красивое демисезонное пальто с иголочки.

Я сразу направился к павильону «Металл и электричество». Я знал, что это — самое большое, единственное тут железобетонное здание. Шестигранный в плане, с шестью изящными портиками, павильон был очень хорош. А главное, перед одним из портиков, возле тонких квадратных колонн, виднелся прелестный силуэт аэросаней нового выпуска, из кольчугалюмина. Того самого кольчугалюмина, о котором когда-то мне говорил Ладошников. Теперь, вероятно, он и вспоминать обо мне не желает в своём Петрограде. Но ничего, близок день, когда он услышит обо мне!

Аэросани были огорожены несколькими металлическими столбиками, соединёнными канатом. Я всё же дотянулся рукой до пропеллера, потрогал обшивку. Вспомнилась поездка в Серпухов, вспомнился Кронштадт... Со времён Кронштадта прошло два с половиной года, а что я создал с тех пор? Эх, Бережков! Но ничего, теперь недолго ждать...

По ту сторону саней разговаривали двое. Какая-то настойчивая девица донимала экскурсовода вопросами; тот еле успевал отвечать.

— Без тормозов? — воскликнул девичий голос. — Не может быть, чтобы без тормозов! Ведь это же аэросани.

Где-то я уже слышал этот голосок... Да, да. Он и тогда звучал немилосливо строго. Точно таким же тоном строгая девочка допытывалась у Николая Егоровича: «Разве бывают аэросани?»

Я приблизился. Интересно, узнает ли меня эта особа, вспомнит ли она того, кто в далёкий весенний вечер примчал её на мотоциклете к воротам детского дома?

Представьте, мигом узнала: «Вы же ученик Жуковского!» К радости экскурсовода, получившего отставку, я был мигом засыпан вопросами.

— Что это за кольчугалюмин?

Мысленно отблагодарив Ладошникова, что в своё время просветил меня, я описал этот металл так, словно сам его изобрёл.

В процессе беседы я не без удовольствия разглядывал свою слушательницу и тут же пришёл к выводу, что самым восхитительным в женской внешности является сочетание блестящих карих глаз и светлых волос. Косы в те времена считались чем-то старорежимным, и волосы этой прелестной особы, золотистые, местами выгоревшие добела, были подстрижены в кружок. Тоненькую фигурку облакал лёгкий костюм в мелкую клетку. Такие костюмы, как вскоре пояснила мне Валентина (строгую девочку звали Валей), были сшиты всем выпускникам детского дома.

— Вы уже выпущены в жизнь? — спросил я.

— Да. И, кажется, буду работать в авиации.

— Отлично!

— Не знаю... Трудно выбирать. Чересчур много интересного вокруг.

— Интересно в жизни только одно, — безапелляционно заявил я, — интересно изобретать. Вот где необъятный простор!

Я указал на павильон «Металл и электричество», затем со свойственной мне скромностью произнёс:

— Приглашаю вас на выставку следующего года, в зал с экспонатами Бережкова. Это будут потрясающие вещи!

— Ещё бы! — отозвалась Валя. — Вы же ученик Жуковского.

Карие глаза глядели совсем не строго. Давно никто не верил Бережкову. А она верила!

Говорят, гениальные замыслы являются сразу, в миг. Меня осенило: вот на ком я должен жениться! Я буду не я, если не женюсь... Разумеется, я не спешил высказать вслух эти мысли. Я шагал рядом со своей будущей женой и слушал, как она, снова сетуя, что в жизни слишком много интересного, рассказывает о себе. Ликбез, кружок юннатов, МОПР, борьба с пережитками скаутизма... Представьте, разговор, не имеющий отношения к проблемам техники, увлёк меня так, что я чуть не растянулся, налетев на автомобильный двигатель, выставленный для обозрения. Безумно хотелось взять свою спутницу под руку, но мне уже пришлось убеждаться, что у нынешней молодёжи это не принято. Мы идём дальше и дальше. Рядом со мной вышагивают худенькие, загорелые ноги в носочках и матерчатых, видимо, самодельных туфельках.

Вскоре я убедился в том, как изменчива моя Валентина. Мы зашли в павильон лесоводства. Павильон, не скрою, роскошный. Надписи у входа: «Сила страны», «Лес — наша мощь и богатство». Валя тянет меня от стенда к стенду. Оживилась, рассказывает, как провела лето в деревне. Там, в сельскохозяйственной коммуне «Смычка», трудились многие детдомовцы.

— Вот как... — говорю я. — Отсюда и ваш прелестный загар и выцветшие прядки...

В ответ строгий взгляд и неожиданное заявление:

— Пожалуй, стану лесником.

— Кем?

— Лесником. Лесничим.

Нет... Надо скорее увести её из этого павильона. Не могу же я в течение всей своей жизни заниматься изобретениями в дремучем лесу!

Перед выходом я намеренно задержался.

Подвёл свою даму к искусно оформленной стене. Над стендами знаковая рука изобразила гроздь рябины, ветки клёна и бересклета. Эти осенние листья напоминают прощальный букет Ладошниковца.

Валя смотрит с восхищением.

— Если б я хорошо рисовала... Стала бы художницей...

И я объявляю:

— Это творения моей сестры!

Получилось эффектно. Но лучше поспешить отсюда. Кто знает, не вынырнет ли откуда-нибудь моя Машенька, не скажет ли: «Наконец-то выбрался, посетил жалкое место моей службы».

Уважение Валентины всё увеличивалось. Она выяснила, что я был ранен под Кронштадтом (спросила, что с моей ногой), узнала, что руки мои огрубели на восстановлении фабрики «Шерсть-сукно». Если так пойдёт, сегодня же сделаю ей предложение!

Смеркалось. Я решил создать соответствующее настроение и зашагал обратно, к павильону «Металл и электричество». Казалось, небо светится над ним! Дело в том, что внутри шестигранника находился двор, в центре которого бил фонтан, приводившийся в действие большим центробежным насосом. Сейчас фонтан сверкал тысячей разноцветных огней. Так же блестяли глаза моей будущей жены.

Я взял её под руку и ждал, не скажет ли она что-нибудь насчёт буржуазных замашек. Но она не сказала. Я не стал предлагать ей обме-

няться кольцами, но подошёл с ней к одному из киосков и предложил взять оттуда что-нибудь на память о нынешней встрече.

В киоске, между прочим, продавались некоторые велосипедные части и, главное, прелестные гаечки. Блестящие, никелированные. Шестигранная гайка в точности повторяла форму павильона «Металл и электричество». Я купил две и одну опустил в карман клетчатого костюма Вали.

— Храните её всю жизнь, — шепнул я.

На оставшуюся мелочь я купил своей наречённой пирожок. Я стоял и блаженно думал о том, что в ближайшее время смогу её угостить дюжиной пирожков.

— Валечка, скорей принимайтесь учиться, будем вместе работать. Удивим весь мир своими выдумками...

Валя стояла с набитым ртом. Я говорил:

— Перед нами необыкновенные перспективы... Всего несколько дней, и я стану богачом...

Валечка чуть не подавилась.

— Почему богачом?

Тут бы мне и обуздать своё красноречие, но не всем дано свойство останавливаться на полном разбеге.

В ход пошла и грядущая фирма «Вольный конструктор» и «Контора выдумок». Были развиты и некоторые мысли о службе, стесняющей свободу творчества.

— Где же вы заработали такие большие деньги? — прошептала Валя.

— На фабрике.

— Почему?

— Сумел.

И рассказал про подряд. Даже похвастал, что только Бережков может так чертовски ловко подзаработать.

Загорелое лицо стало белым, поразительно бледным. Мне в руку был вложен остаток пирожка. Я увидел затылок, прямую спину, строгий силуэт своей будущей жены. Она уходила от меня, уходила, казалось, навсегда!

На повороте девушка остановилась, взмахнула рукой. В свете фонаря что-то блеснуло и покатилося. Она выкинула мой подарок и исчезла. Я хотел её нагнать, кинулся туда-сюда, но не разыскал; не нашёл и выброшенного подарка.

Утешением служило лишь то, что хоть вторая гайка лежала у меня в кармане.

25

Наступило наконец утро получки. Изумительно приятное утро. Машенька дожидалась его почти с таким же нетерпением, как и я, — надо было уплатить один неотложный долг, который она сделала, конечно, ради братца. Помню, выдался первый заморозок, кое-где лёг иней.

Как вам известно, я ещё не являлся владельцем полноценного пальто (всё было впереди!), пришлось надеть единственную изношенную, навек измаранную ржавчиной и маслом куртку. Кепка была тоже не из новеньких. Маша критически оглядела меня, покачала головой и взяла под руку. Мы отправились.

Я шёл, легкомысленно насвистывая. Напевала и Маша. Однако, встретившись у ворот фабрики с мастеровыми из моей ватаги, я узнал сногшибательную новость: этой ночью несколько человек из управления фабрики, в том числе главный бухгалтер, были арестованы. Встревоженный за судьбу моего чека, я прибавил шагу. Пришлось прикрикнуть на Машу, которая начала бормотать, что она всегда была против этих дурацких подрядов. Я заверил её, что совершенно слокоен. Какое мне дело

до каких-то арестов? Свои деньги я заработал честно, законно. У меня на руках договоры и акты сдачи-приёмки, за мной все права, мой чек не пропадёт.

Войдя в бухгалтерский зал, я быстро посмотрел по сторонам. Да, бухгалтерия работала, сотрудники были на местах. Приблизившись к деревянному барьерчику, за которым были расположены столы, я спросил:

— Скажите, пожалуйста, к кому мне обратиться? Главный бухгалтер назначил мне сегодня прийти за моим чеком.

Сотрудник, перед которым я стоял, хотел что-то ответить. Однако откуда-то со стороны отчётливо прозвучал вопрос:

— Кто вы такой?

Я обернулся. На меня смотрел незнакомый мне человек. По каким-то признакам я всегда мгновенно отличаю людей, кому свойственна быстрота мысли, быстрота ориентировки. Этот был таким. Невысокий, смуглый, в обыкновенном пиджаке, в обыкновенной рубашке, он стоял невдалеке, ожидая ответа. Кто же он? Новый директор?

— А вы кто? — выговорил я.

Подойдя, он сухо сказал:

— Следователь отдела по борьбе с экономической контрреволюцией.

Наступила неприятная насторожённая тишина. Я искоса заметил, что все перестали работать и с любопытством взирали на меня. Я неловко буркнул:

— Бережков.

— Подрядчик Алексей Николаевич Бережков?

— Да...

— Хорошо. — Он помедлил, холодно глядя на меня. — Очень хорошо, что вы явились сами. Ваше дело у меня.

Маша молча смотрела на него. Я тоже оцепенел. Как это надо понимать: «явились сами»? Что это значит: «ваше дело»? У следователей такое слово имеет определённый смысл. Нет, нет, какое за мной дело? Не найдясь, я глупо молчал.

Но дальнейшее оказалось ещё ужаснее, ещё невероятнее. Он продолжал:

— Вам придётся некоторое время подождать. Сейчас я допрашиваю других. Вас буду допрашивать позже. А пока я вас задержу.

На один момент я поймал новое выражение в его взгляде — взгляд стал очень внимательным, острым. Несмотря на своё смятение, я сообразил, что сейчас по первому впечатлению, которое не зря называю самым сильным, он составляет мнение обо мне. Быть может, это был решающий миг. Но что я мог предпринять? Я уставился прямо на него. Вот, смотри в мои глаза, смотри на мою симпатичную, открытую физиономию; перед тобой человек, который ни в чём не виноват, который честно заработал свои деньги. Однако он вынес как будто другое впечатление.

Открыв дверь в коридор, он кого-то кликнул. Вошёл военный с пистолетом на пояском ремне. Следователь сказал:

— Задержите гражданина Бережкова.

Маша воскликнула:

— Это ошибка! Он ни в чём не виноват.

Следователь оглядел сестру.

— Не волнуйтесь, гражданка. Обвинение пока не предъявлено. —

Помолчав, он распорядился: — Проводите гражданина Бережкова.

— Куда его, товарищ начальник?

— Ко мне. К тем, кто проходит у меня.

Военный козырнул.

— Идёмте, гражданин.

Маша стояла, ухватившись за барьерчик. В бухгалтерии зашумели. Донеслось: «Взяли». Да, меня повели.

Местом моего временного заключения оказалась приёмная заместителя директора. Там уже находились несколько подрядчиков этой же фабрики — очевидно, тоже в ожидании допроса. Раньше я с ними почти не общался. В большинстве это были люди грубоватого склада, каким-то образом сколотившие деньги, для меня малоинтересные. Но теперь я кинулся к ним.

— Что случилось? За что арестовали главного бухгалтера? Почему нас привели сюда?

На меня посматривали сумрачно, буркали что-то неопределённое. Но я взволнованно продолжал, обращаясь ко всем:

— Мне сейчас следователь сказал, что он из стдела по борьбе с экономической контрреволюцией. Что такое? Какая тут была контрреволюция? И при чём мы? В чём нас могут обвинить?

У кого-то в ответ вырвалось:

— Пошёл ты...

И последовала ругань по моему адресу. Другой раздражённо спросил:

— Ты дурак или притворяешься?

— Нет, я не дурак.

— А чего же пристаёшь? Подсадили тебя сюда, что ли?

— То есть как «подсадили»? Я не понимаю...

— Ну и не понимай, чёрт с тобой. Отвяжись, не прилипай к людям!

За меня никто не вступился. Я оглядел мрачные лица и молча сел в угол. Конечно, чего я пристаю? Тут каждый встревожен; тут каждый, наверное, что-либо обделывал на своём веку в глубочайшей тайне; это вообще таинственное дело — наживать деньги. Вспомнилось, как мне наметкнули, что со мной могут расплатиться материалами, которых не хватает на рынке. Эге, вот, видимо, где преступление. Хорошо, что я не стал даже слушать такие предложения, послал к чёрту все эти комбинации.

Через комнату, ни на кого не взглянув, быстро прошёл с бумагами наш следователь. За ним — двое военных. Минуту спустя к следователю вызвали одного из подрядчиков. Поднялся рослый, тяжеловесный мужчина с большими руками, с большими ногами в сапогах. Он побледнел. Двух-или трёхдневная щетина на лице сразу обозначилась резче. На ходу он хрипло откашлялся. За ним затворилась дверь.

Все напряжённо ждали.

В полном молчании истёк час. Потом, приблизительно ещё через полчаса, дюжий подрядчик наконец вышел. Он появился не один: сзади, на расстоянии двух шагов, шёл военный.

Кто-то быстро спросил:

— Ну, что там? Ну, как?

Об этом же взглядами спрашивали все. Тут произошёл краткий эпизод, который донныне стоит в памяти. Подрядчик вдруг побагровел, остановился среди комнаты и испуганно выкрикнул, потрясая большими кулаками:

— Нет жизни! Не дают жить!

Конвойный резко скомандовал:

— Прекратить! Шагом арш! Не вступать в разговоры!

У подрядчика бессильно упали кулаки. Махнув рукой, он проговорил:

— Забрали! Не дают жить!

И тяжело зашагал.

На допрос был вызван следующий подрядчик. Он провёл тоже больше часа за дверью кабинета и тоже вышел оттуда под конвоем. Следователь и его отправил в тюрьму, под суд. Проходили часы, нас становилось всё меньше.

Вызывали к следователю одного за другим, и каждый, кто от него выходил, выходил только под стражей. Из столовой принесли обед, но я не

притронулся к еде. Я повторял себе, что, слава богу, абсолютно безупречен, совершенно чист, но, вопреки доводам рассудка, мрачные предчувствия завладели душой. Наступил вечер, зажгли электричество, а следователь всё продолжал допросы. Наконец я остался один. Протекло ещё несколько томительных минут. Потом отворилась дверь, позвали меня.

27.

Следователь сидел за массивным письменным столом заместителя директора. Я опять увидел его взгляд — всё такой же холодный, как и тогда, в бухгалтерии. Лицо не было затенено, как, судя по многим описаниям, полагалось бы следователю. После целого дня допросов он был, несомненно, утомлён. В ярком свете электричества теперь были заметнее желтоватые тона в его смуглом лице. Слегка откинувшись в кресле, он безучастно, без видимого интереса, смотрел, как я подхожу к столу, но я в какой-то момент, ещё шагая по ковру кабинета, будто прочёл в его взгляде что-то для меня очень страшное — взгляд был, как я ощутил, не только холодным, а безжалостным. Невероятно обострённым чутьём я угадал, что вопрос обо мне он в душе уже решил.

— Садитесь, — сказал он.

Я сел. Стопка зелёных папок, сложенная очень аккуратно, была придвинута к краю стола. Это были, вероятно, дела тех, кого следователь сегодня отправил в тюрьму. Одна такая же папка находилась перед ним. Он ещё минуту помедлил. Потом, чуть вздохнув, расстался с удобной позой и, подавшись корпусом к столу, откинул обложку. Я покосился и поверх разных бумаг увидел свой чек. Следователь достал из портфеля, который лежал тут же на столе, чистый бланк с крупным заголовком «Протокол допроса», вложил в папку и лаконично объявил предупреждение: ложные показания караются законом. Я ожидал, по рассказам, что он сперва предложит мне папиросу, или угостит чаем, или вступит в некий предварительный, якобы приватный разговор, как это бывает, чтобы несколько рассеять насторожённость, собранность преступника, а затем вернее его поймать, но в данном случае человек, что сидел напротив меня, без дальних слов, без околичностей, без угощений начал допрос.

— Фамилия?

— Бережков.

Он записал. Быстро следовали один за другим формальные первые вопросы:

— Имя, отчество? Место рождения? Возраст?

Я отвечал, он записывал.

— Профессия?

Нередко я с удалью отвечал на такой вопрос: «Моя профессия — фан-тазёр». Нет, здесь так не ответишь.

Замявшись, я сказал:

— Видите ли, я немного не окончил Высшее техническое училище и по специальности я, собственно говоря...

Следователь не дал досказать.

— Не окончили?

— Нет. Не сдал нескольких зачётов.

— Но, тем не менее, выдавали себя за инженера?

Я невольно воскликнул:

— Как «выдавал»? Когда?

Из лакированного высокого стаканчика для карандашей следователь достал один карандаш и положил на стол. Смысл этого движения не дошёл до меня, однако я понял в тот миг, что он ведёт допрос по обдуманному, совершенно ясному для него плану.

— Значит, инженером себя не называли? — спокойно спросил он.

— Возможно, когда-нибудь и называл, но не всерьёз. В серьёзных делах этого не было.

— А мельницу вы открыли не всерьёз?

— Мельницу?

В ту же минуту я вспомнил: да, действительно, когда-то на вывеске мельницы я с сестрой легкомысленно вывел: «Инженер Бережков». Неужели следователь знает про это?

— Видите ли, — торопливо заговорил я, — такой случай был. Однажды я назвал себя на вывеске инженером Берёжковым. Но это я совершил не злостно, а... Ну, как вам объяснить? Мельницу я открыл по вдохновению... Меня словно несли необъяснимые силы...

Он чуть прищурился.

— Необъяснимые силы?

— Да, да... Можете не верить, но я этим увлекался, как игрой. И вот ради того, чтобы всё было ещё веселей, ещё забавней...

Он опять прервал:

— За сколько же вы продали вашу мельницу?

— Я её не продавал. У меня её украли.

— Украли? И вам ничего не уплатили?

— Ничего! Один проходимец, некто Подрайский, всё оформил на себя...

— Вы жаловались?

— Нет. Решил не связываться.

— Так, — произнёс следователь.

И, вынув из стаканчика второй карандаш, опять положил на стол. Я смотрел, недоумевая. Для чего ему эти карандаши? Зачем он их кладёт перед собой?

28

Он ещё подождал, словно давая мне время что-либо добавить. Затем отчеканил:

— Значит, подарили свою мельницу. Так надобно вас понимать?

Впервые беспощадность, которую я уловил в глазах, прорвалась в голосе. Меня охватило отчаяние. Ведь за несколько минут я дважды в его глазах предстал лжецом. Как же мне быть? Как, какими словами разубедить его, переломить страшное решение, которое я вновь прочитал в его взгляде? И, с жутью понимая, что таких слов уже нет, что любые слова тут бессильны, я заговорил:

— Нет, нет, вы неправильно обо мне думаете. Я ничего не хочу скрывать. Даю вам слово: я мельницу не продавал.

Следователь лишь пожал плечами. Я видел: он не верит ни одному моему слову.

— Обозначим всё же вашу профессию.

Обмакнув перо, он опять стал писать, произнося вслух:

— Частный предприниматель, торговец...

Я вскричал:

— Нет, я не торговец!

— Пожалуйста, запишем иначе: частный предприниматель, подрядчик. Я подавленно молчал. Отложив ручку, он сказал:

— Мне известно о вас всё. У вас есть единственный путь для облегчения своей участи: расскажите сами совершенно откровенно обо всём.

— О чём?

— О преступлениях, в которых вы тут соучаствовали.

Я вскочил.

— Что? Я не знаю за собой никаких преступлений. Каждая копейка, которую я тут заработал, досталась мне честно. На каждую копейку

меня есть документы. Я не понимаю, о каких преступлениях вы мне говорите.

Следователь положил в ряд третий карандаш. И вдруг я понял его жест. Он был совершенно уверен, что я и на этот раз лгу. Карандаши, как памятные знаки, знаменовали для него мою ложь. Три неправды — три карандаша. Проклятие! Неужели нет способа его разуверить?!

Из бокового кармана я выхватил бумажник.

— Вот! — закричал я. — Со мной все акты, все договоры.

Он остановил меня движением руки.

— Не трудитесь. Эти бумаги я имею. Успокойтесь, сядьте. Подумайте, я подожду. Выпейте воды.

— Не желаю я пить воды!

Я мрачно сел. Он полистал папку, задержался взглядом на каком-то листке, поднял глаза и вновь заговорил:

— Ну-с... Не желаете всё рассказать сами?

Со всей искренностью я ответил:

— Клянусь, я не представляю, о чём вы меня спрашиваете.

Это не произвело никакого впечатления. Следователь жёстко сказал:

— В таком случае я вам расскажу.

Сжато и ясно, абсолютно логично, он изложил моё преступление. Я пришибленно слушал. Следователь не ошибся ни в одной цифре, ни в одной дате: каждая подробность, которую он привлекал для обоснования ужаснейшего обвинения, была верной. Под конец, когда мне предстало его построение, я моментами прислушивался к нему как бы со стороны и тогда с трепетом чувствовал, что сам начинаю верить, будто я, ваш покорный слуга Бережков, несомненно, преступник.

Вот какова приблизительно была цепь его доводов. Вначале он рассказал о том, как я получил первый подряд.

— Это был период, — говорил он, — когда арестованная ныне группа лиц из состава дирекции ещё не вступила на преступный путь. С вами заключили договор, но не входили в сговор. Конечно, и тогда, исполняя этот договор, вы обогатились за счёт государства, но без преступлений.

Он совершенно точно назвал сумму, которая после вычета всех моих расходов причиталась мне за ремонт газогенераторов, — что-то около двадцати пяти тысяч рублей за восемь месяцев грязной, тяжёлой работы, то есть примерно по три тысячи в месяц.

— Главный инженер любого нашего крупнейшего государственного предприятия, — продолжал он, — получает пятьсот рублей в месяц. Вы загребали в несколько раз больше, но, к сожалению, вам было этого мало. К сожалению, издавна вас влекло к лёгким деньгам. Путь к ним открылся: группа лиц из руководящего состава фабрики поддалась разложению. Это был подходящий момент, чтобы вновь заиграли ваши необъяснимые силы...

Он выговорил это с презрением. Такова вообще была его манера: он холодно и как бы бесстрастно вскрывал факты и вдруг, словно давая на момент волю живым чувствам, ожигал, как кнутом, интонацией презрения.

Содрогнувшись, я молча проглотил это. Что толку возмущаться, кричать? Нужны опровержения. А я уже видел, что их нет; я уже схватывал логическую цепь до конца — в конце была моя гибель.

Обжигающе хлестнув одной-другой фразой, следователь опять в тоне внешнего бесстрастия перешёл к фактам.

— Преступления на фабрике, — сказал он, — начались несколько месяцев назад. В разных видах и формах производилось расхищение государственных средств. Некоторые лица здесь стали брать взятки. За взятку отсюда шли на частный рынок материалы, которых не хватает в стране; за взятку здесь принимали и оплачивали недоброкачественно проделанный ремонт; за взятку здесь подписывали договоры, при помощи которых

частные предприниматели преступно обирали государство. Ныне преступления раскрыты.

Движением головы он указал на аккуратно сложенную стопку папок, отодвинутую к краю стола.

— Виновные уличены и сознались, — продолжал он. — Вы действовали тем же способом, как и другие. По второму подряду, который вы закончили на днях, вам, лично на вашу долю, то есть если исключить все ваши расходы, опять пришлось бы огромная сумма. Вам, подрядчику, за три недели работы отвалили в ваш личный карман во много раз больше, чем получил бы любой честный инженер на государственной службе, проделав работу в этот срок, — таково преступление, совершённое в вашем деле дирекцией «Шерсть-сукно». Разве вам это всё неизвестно? Чего же вы играете в невинность, пытаетесь обмануть следствие? Последний раз даю вам возможность облегчить свою участь чистосердечным признанием. С кем вы имели разговор? Через кого передали взятку?

— Никаких взяток я не передавал.

— Отрицаете своё преступление?

— Да, отрицаю.

— Можете ли вы в таком случае объяснить, почему вам позволили извлечь из государственного сундука почти в сто раз больше, чем причиталось бы любому опытному инженеру по высшей государственной ставке? Другим это позволяли за взятки. А вам? Просто из любезности? Или опять вмешались необъяснимые силы?

Он уже дважды повторил это моё словцо «необъяснимые силы» и оба раза с иронией.

— Да, — с вызовом ответил я. — Необъяснимые силы.

— Больше ничего вы не можете сказать в свою защиту?

Он помолчал, но молчал и я, чувствуя дрожь вдохновения.

— В таком случае, — жёстко сказал он, — закончим на этом. Надеюсь, вы понимаете, что следствие не может признать существования необъяснимых сил.

— А талант? — закричал я. — Это не сила?

29

Следователь смотрел прищурясь. Видно, этот аргумент несколько поразил его. А я продолжал говорить. Есть на свете слова, что запрещены человеку некоторым внутренним чувством, когда он говорит о себе. Но погибающий рвёт все запреты. А я погибал.

— Что, если перед вами человек необыкновенной одарённости?

Его губы, очерченные в высшей степени чётко, что, как я часто наблюдал, является признаком ума по преимуществу аналитического, тронула усмешка.

— Что из того? — сказал он. — У нас нет сверхчеловеков. Преступление есть преступление, кто бы его ни совершил.

— Что из того? — переспросил я, попережнему ощущая трепет и озноб вдохновения. — Дайте мне лист чистой бумаги.

Первый раз в его взгляде мелькнул некоторый интерес ко мне.

— Пожалуйста, — проговорил он.

И протянул лист с надписью «Протокол допроса», что, почти не заполненный, лежал перед ним. Я увидел слова: «частный предприниматель, подрядчик». Мелькнула мелкая мстительная мысль: «Сейчас ты посмотришь, кто я такой!» И я перевернул лист обратной, совершенно чистой стороной. Среди трёх карандашей, которые для следователя обозначали мою ложь, ложь и ложь, я давно подметил остроочинённый угольно-чёрный карандаш «Негро» — такой карандаш даёт броский, яркий чертёж.

Повертев пальцами, чтобы их несколько размять, я схватил этот карандаш, твёрдо поставил локоть и одним оборотом руки начертил идеальную, геометрически точную окружность. Для меня это не было фокусом. Я с детства люблю и умею чертить. Черчению меня учил отец, развивая способности, которые даны мне от природы. В последних классах реального училища я уже чертил так — без линейки и без циркуля. Окружность, полуокружность, дуга — это без усилия и без промаха всегда изящно и точно возникало под моей рукой.

Подняв лист, я торжествующе сказал:

— Это идеально точная окружность. Проверьте. Велите достать циркуль. Вот, не угодно ли, точкой я нанесу центр.

И, вновь положив лист, я опять одним движением руки, одной точкой обозначил центр. И вдруг вздрогнул. Окружность не была точной. Я никогда не поверил бы, что со мной это может случиться, но глазом конструктора я теперь видел воочию: мне изменил талант, изменила рука. Страшно быть обесчещенным, страшно оказаться в тюрьме, но ещё страшнее, пожалуй, была для меня потеря таланта. В ту минуту я видел впервые, что я теряю его. Сквозь бумагу будто проступили слова: «предприниматель, подрядчик». И на карандаш я смотрел с ужасом, словно теперь он действительно знаменовал какую-то глубокую ложь во всей моей жизни, то есть ложную дорогу, ложную жизнь. Чёрт знает, что я пережил тогда!

К счастью, следовательно не смотрел на меня. Заинтересовавшись, он слегка привстал и глядел на чертёж. А я уже овладел собой, уже понял, что нельзя терять ни секунды, — надо поражать и поражать, чертить и чертить.

— Это геометрически точная окружность, — уверенно повторил я. — Вот её центр:

Я указал на карандашную точку, которую только что поставил, которая, словно удар по глазам, мгновенно вскрыла мне фальшивую линию.

— Проверьте... Прикажите достать циркуль. Вот вам ещё одна окружность.

И, развернув лист, я на развороте начертил вторую окружность. Проклятие! Рука снова не слушалась меня. В одном отрезке кривизна опять не была точной. Это легко мог установить глаз профессионала или циркуль. В отчаянии я готов был бросить карандаш, но спокойно сказал:

— Теперь вот вам несколько концентрических кругов.

Это, пожалуй, самое трудное в черчении: концентрически повторить испорченную неточную окружность, в другом масштабе воспроизвести её порок, её отступление от правильного круга. Это трудно сделать даже специальными инструментами. Малейшая новая фальшь при концентрическом расположении будет кричаще заметна. Но зато при удаче, в которую я уже не мог верить, будет достигнута иллюзия абсолютной правильности всех кругов. Раз! Одним махом я начертил концентрический круг, в точности повторяя неточность. И, не веря глазам, передохнул. Удалось! Мой позор, пока ведомый только мне, был наконец-таки смыт. Иллюзия вступила в права, порок кривизны перестал быть заметным. Два! Возник следующий концентрический круг. Опять хорошо, чудесно, адски удачно! У меня, вероятно, горели глаза, горели уши, разгорелось лицо; следовательно, человек логического мышления, острого ума, смотрел на меня как-то совсем по-иному, смотрел удивлённо. А я продолжал удивлять.

— Вот прямая. Вот параллельная. Ещё одна параллельная. Вот перпендикуляр.

Линии ложились безошибочно. Я проводил их от руки, твёрдо и чисто, словно по линейке. Карандаш давал угольно-яркую линию, всё выглядело чертовски эффектно. Однако в запасе у меня был ещё один потрясающий

номер. Я вынул из кармана логарифмическую счётную линейку, которая всегда была со мной, и перочинный нож.

Взяв другой карандаш, я быстро подточил его, чтобы остриё чуть кололось. Затем провёл ещё одну очень тонкую прямую.

— Теперь я буду откладывать размеры, — сказал я. — Прошу убедиться: это я делаю на глаз с такой же точностью, как этот инструмент.

Я резко пододвинул следователю свою линейку. И тончайшими чёрточками стал отмечать размеры, объявляя вслух:

— Два миллиметра... Шесть миллиметров. Восемь. Двенадцать. Расставляя цифры. Очень прошу вас, проверьте.

И я протянул следователю лист. Он взял линейку, покачал головой, словно удивляясь, зачем он это делает, усмехнулся и принялся мерить. Я не сомневался, что размеры точны.

Способностью без промаха откладывать размеры я тоже владел с юности: этот дар был своевременно развит упорным черчением, конструкторским трудом, и хотя в последние годы я не сконструировал, не начертил ни одной стоящей вещи, но недавняя работа по электромонтажу, требующая точности в чертеже и в натуре, всё же упражняла глаз.

Следователь приложил к бумаге линейку, ещё раз покачал головой и вдруг с улыбкой, с интонацией любопытства попросил:

— Отмерьте-ка двадцать два миллиметра!

— Двадцать два? Извольте.

Привстав, я на той же бумаге, на той же прямой, моментально обозначил ещё один отрезок. Попрежнему с улыбкой любопытства следователь тотчас приложил линейку. Я видел: моя чёрточка абсолютно совпала с соответствующей чертой на линейке.

— Да, очень редкий талант, — сказал он.

Теперь улыбнулся я, расплылся в улыбке, порозовел от признания.

30

Однако, вспоминая это теперь, я предполагаю, что следователь, хотя и был, несомненно, поражён, всё же не без тайного умысла произнёс эту фразу. Способность чертить от руки, откладывать размеры на глаз ещё не является талантом. Человека, который, например, быстрее арифмометра производит головоломные подсчёты в уме или мгновенно составляет стихи, ещё нельзя назвать талантливым.

В возбуждении, в горячке минуты мне было простительно этого не понимать, но мой следователь, наверное, это отлично уяснил. И он всё-таки сказал:

— Редкий талант...

— Необъяснимая сила, — торжествуя произнёс я.

Он живо откликнулся.

— Да? Вы так определяете талант?

Он уже разговаривал со мной так, будто бы шла вольная беседа, а не следствие, — вольная беседа двух мыслящих людей о некоторых загадках природы. Я ответил:

— Есть поговорка: «Что в поле туман, то ему счастье, талан». Это — определение народа. Стихийная сила, «что в поле туман».

Я говорил уверенно, но сам же почувствовал какую-то неточность, неполноту определения. Вспомнился миг, когда я беззвучно повторял: «Теряю талант, теряю талант». Вспомнилась окружность, которая незаметно для чужого глаза мне не удалась, окружность с неправильной, неточной кривизной. Что-то неладное, чего я ещё не понимал, творилось с моим даром.

— Да, необъяснимая сила, — упрямо повторял я. — Пригласите сюда любого инженера. Дайте ему линейку и циркуль. И он потратит минуту

на то, что я совершаю в секунду. Разница, как видите, в шестьдесят раз. А может быть, и того больше. Так имею ли я право, занимаясь, скажем, черчением, абсолютно честно зарабатывать в шестьдесят или в сто раз больше, чем такой инженер?

— Да, формально это так. Но если взять вопрос по существу, то я скажу: нет, в данном случае не имеете права.

— Почему?

— Вы не честны, — мягко сказал он. — Вы отравлены погоней за деньгами. Вы не честны перед самим собой, перед своим талантом. Вместо того чтобы самоотверженно отдаться большому замыслу, большой идее, как это делали великие изобретатели и великие художники, вы превратили свой талант в средство мелкой наживы.

Я слушал, опустив голову. Этот человек, который бесспорно не заметил, как при нём мне изменила рука, как тогда меня пронзили ужас и стыд, уловил нечто более глубокое — говоря попросту, понял меня.

С той же мягкостью он продолжал:

— Ведь вы занимаетесь чёрт знает чем... В погоне за деньгами не обойтись без грязи. К чему вы влачите свой талант по грязи? Ведь вы всё-таки сунули здесь взятку. К чему это вам?

Это была последняя ловушка, которую он мне расставил. Возможно, он ожидал, что, не поднимая головы, я промолчу или как-то иначе наконец буду пойман. Меня взорвало. Я вскочил.

— Посмотрите же, чёрт побери, на меня. Я же не специально для вас надел сегодня эту куртку. А ботинки?! Поглядите на мои ботинки! Ведь я ещё почти ничего не получил из тех самых денег, о которых вы столько говорили. Из каких же средств, если уж на то пошло, я мог бы давать взятки?

Следователь помедлил.

— Ладно, Бережков, — грубовато сказал он.

И нажал кнопку звонка. Появился один из людей в военной форме. Следователь обратился к нему:

— Утром я распорядился, чтобы рабочие подрядчика Бережкова подождали моего вызова. Они здесь?

— Да. Ждут, товарищ начальник.

— Попросите их всех ко мне. А вы, Бережков, пока можете итти. Посидите в приёмной. Потом я вас ещё вызову.

31

Я вышел, приготовился ждать. За окном — темь. Под потолком тускло горит одинокая лампочка. Что-то поделывает сейчас бедная Маша? Верно, и не ужинает нынче? Я со вздохом пошарил в пустых карманах. Что это? Гаечка, принесённая с выставки... Мелькнула мысль: «Если будут обыскивать, отберут». Поглядела бы сейчас на меня та, которая не захотела хранить вторую!

Я перебирал подробности разговора со следователем. Пожалуй, мне удалось его убедить. А вдруг нет? Что станут думать обо мне Ладошников, Ганьшин, Федя? Тянулись минуты, я размышлял о своей судьбе.

В кабинет следователя, сопровождаемые конвойными, прошли мастера-вые, вся моя команда. Волнение всё сильнее разбирало меня, хотя я не сомневался, что рабочие подтвердят мои показания.

Приблизительно через полчаса они прошли обратно через комнату.

Дальше произошло невероятное. В приёмной вдруг очутились Ладошников и Ганьшин. Конвойный вёл их к следователю. Впереди шагал Ладошников, слегка наклонив голову, будто глядя себе под ноги, на свои высокие, простой дубки сапоги. До сих пор не могу понять, как он всё-таки меня заметил.

— Алёшка!

Я только и сумел произнести:

— Как ты... Как ты сюда попал?

— На самолёте... На «Лад-3». Получил утром телеграмму Маши и...

Конвойный решительно пресек наш разговор. Пришлось подчиниться, замолчать. Ганьшин, к тому времени уже ставший чуть ли не профессором, приободрил меня улыбкой. Впрочем, она у него, как всегда, получилась иронической.

Через несколько мгновений я снова остался один: оба моих друга ушли к следователю. Время потекло ещё медленнее, ожидать стало ещё томительнее. В ушах вдруг прозвучали слова Михаила Михайловича: «На самолёте... На «Лад-3». Самолёт из металла, из кольчугалюмина... Неужели эта вещь уже совсем готова? Быстро Ладошников сумел её выпустить.

Впрочем, почему же быстро? Последний раз мы виделись два года назад. Тогда я ему бросил вызов: «Повстречаемся через два-три года! Поглядишь, чего добьётся вольный конструктор Бережков!» Вот и повстречались!

Не знаю, сколько времени я так просидел, ожидая вызова. Мои друзья прошли обратно. Ни тот, ни другой не пытались перекинуться со мной словечком. Не дурной ли это знак? Однако вид у обоих не был удручённым.

Всё выяснилось, когда меня ввели к следователю.

— Ну-с, Алексей Николаевич (впервые он назвал меня так), объявляю вам моё заключение. Среди тех, кого я допрашивал, вы оказались единственным подрядчиком, который лично участвовал в работах, добросовестно исполнял подряды и не пользовался для спекуляции материалами с государственных складов. Правда, вы заработали непомерные деньги, но фактически деньги не были получены, и поэтому следствие не предъявляет вам обвинений.

Я ожидал такого решения, и всё-таки к груди, к лицу прихлынула горячая волна, я вспыхнул от радости. Следователь продолжал:

— Была у меня и долгая беседа с вашими друзьями... — Неожиданно в его глазах, которые всего час или полтора назад я видел беспощадными, мелькнула усмешка. — Пожелаю вам не забывать нашего разговора. Идите, вы свободны.

Я наивно спросил:

— А как же мои деньги? Мой чек?

Следователь холодно ответил:

— На чек я накладываю арест. Он останется в деле.

— Па... Па... — Я почему-то стал заикаться. — Позвольте, но ведь эти деньги принадлежат мне по договору, по закону. Ведь мне даже нечем расплатиться с моими рабочими, с артелью.

— Не думаю, чтобы закон был в данном случае на вашей стороне. Это преступная бесхозяйственность дирекции.

— Как так? Ведь вы сами сказали, что у меня редкий талант.

— Но разве талант — привилегия частного предпринимателя? Разве у нас, в системе государственной промышленности, нет талантливых людей, нет места таланту? Извините, такой концепции я принять не могу. Впрочем, подавайте иск. Со своей стороны я дам заключение: оплатить из расчёта фактически затраченного времени по государственной ставке.

Я хотел сказать, что этих денег мне опять-таки не хватит даже на расплату с артелью, которая работала у меня вовсе не по государственным ставкам, но следователь сухо закончил:

— Ещё раз до свидания. Я вас не задерживаю.

Я вышел на улицу. Моросил дождь. Из окон фабрики падали косые потоки света, доносилось тукание газомотора. Там шли последние работы перед пуском. Я остановился. Помню своё ощущение. Почудилось, что я

стою один где-то на безвестном полустанке и смотрю на сверкающий поезд, который через минуту умчится. А я? Я снова останусь один. Потянуло повидать своих — Ладошникову, Ганьшину, — поблагодарить их. Нет, именно перед ними я не хочу сейчас предстать! Не хочу явиться жалким, вновь потерпевшим неудачу. Подождите! Дайте ещё срок! Вскоре мы свидимся, но при иных обстоятельствах. Я буду не я, если не создам что-то изумительное, невиданное, потрясающее! Всё же настанет денёк, когда я приду к Ладошникову с настоящей Вещью — Вещью с большой буквы. Настанет день, когда я предъявлю ему свою новую конструкцию — некий замечательный мотор, столь мощный, столь необычайный, что Ладошников сможет наконец построить большой быстроходный самолёт, о котором он так давно мечтает. А пока что не пойду к своим друзьям.

Всё сильнее сказывалась усталость. Я брёл под затянутым тучей вечерним небом Москвы. Оно, это небо, теперь было не тёмным, как в годы разрухи, а подсвеченным снизу тысячами городских фонарей, светящихся вывесок, светящихся окон и, казалось, мерцало или чуть пульсировало от непрерывных, далёких и близких, вспышек трамвайных дуг. Скоро ли я найду себе место в этом звенящем, пульсирующем мире? Скоро ли удивлю свет?

32

Далее рассказ Бережкова продолжался так.

Однажды вечером, примерно через месяц с того дня, как он побывал у следователя, Бережков вошёл в аптеку и направился к будке телефона-автомата. Достаточно было бросить беглый взгляд на его всё ту же истрёпанную куртку, на стоптанные ботинки с двумя-тремя так называемыми «незаметными» заплатками, чтобы уяснить: баночка эмалевого краски, конечно, ещё не использована по назначению. Перед тем как позвонить, Бережков несколько раз прошёлся около будки, хотя она не была занята. Потом всё-таки открыл застеклённую дверцу, шагнул и плотно притворил её за собой. Вынул гривенник и опять поколебался. Слегка подкинул монету. Орёл или решка? Выпал орёл. Это было счастливое предзнаменование. Бережков решительно сунул монету в автомат, снял трубку и назвал номер — номер телефона профессора Августа Ивановича Шелеста.

— Слушаю, — раздалось в мембране.

Искусственно бодрым тоном Бережков воскликнул:

— Август Иванович?

— Да. Кто говорит?

— Август Иванович, это я, Бережков.

Он ждал в ответ какого-нибудь возгласа, слова, но Шелест молчал. Наконец в трубке раздалось:

— Бережков? Какой это Бережков?

— Август Иванович, вы не могли забыть... Помните, мы вместе строили аэросани. А потом... Ну, это я, Бережков, ваш ученик.

— А... Очень рад... (Это прозвучало крайне сухо.) Что вам угодно?

— Август Иванович, у меня есть одно изобретение. Я хотел бы, если позволите, показать его вам.

— Прошу извинить, но, к сожалению, не могу уделить времени на это. Бережков наивно спросил:

— Почему?

— В своё время мы, кажется, раз навсегда установили, что ваши изобретения не по моей части.

— Нет, Август Иванович, теперь у меня совсем не то... Я сконструировал потрясающую...

Бережков потом вспоминал, что тут он самым жалким образом запнулся. От любимого словечка шибануло на версту хвастовством, а он наме-

ревался быть смиренным и скромным. Но словечко сорвалось, натура взяла своё, и Бережков понёсся, забыв о благих намерениях.

— ...потрясающую вещь. Ещё никто на земном шаре не придумал такой вещи... Это... Вы слушаете, Август Иванович?

— Да...

Покосившись на стекло будки, Бережков продолжал, понизив голос:

— Это двигатель совершенно нового типа. По телефону, как вы понимаете, я не могу распространяться об этом. Разрешите, Август Иванович, показать вам чертежи.

Опять наступило молчание. Потом Бережков услышал:

— Хорошо... Завтра в шесть часов вечера можете прийти ко мне домой.

И вот следующим вечером, очень волнуясь, он подходил к квартире профессора Шелеста. С собой он нёс несколько свёрнутых в трубку чертежей — свою конструкцию, пока существующую лишь на бумаге. Он терзался и верил. Терзался своим неприглядным видом и верил, не переставал верить ни на миг, что свёрнутые в трубку листы ватмана, которые он бережно держал, перевернут моторное дело во всём мире.

33

Повествуя о своей жизни, в которую, как станова я жила, были вплетены всякие технические выдумки, всякие замыслы прирождённого конструктора-изобретателя, Бережков стремился изложить их так, чтобы они были совершенно понятными, кристаллически ясными, как он любил говорить.

По моей просьбе он без затруднения, буквально в минуту, представил на бумаге проект необыкновенного двигателя, с которым шёл когда-то к Шелесту.

— Представьте себе примус, — объяснял мне Бережков. — Самый обыкновенный примус. Вообразите далее, что мы заключили его пламя в горизонтальную трубу. Начнём затем продувать сквозь эту трубу воздух, создадим воздушный ток. Для этого установим на одном конце трубы нагнетающий вентилятор с небольшим моторчиком для запуска. Нагреваясь в пламени и увеличиваясь, следовательно, во много раз в объёме, воздух будет вылетать из противоположного отверстия вихрем колоссальной силы. Вас интересует: как же не допустить распространения нагретого воздуха и в обратном направлении? А мы изогнём горелку. Видите как? Теперь струя пламени под огромным давлением рвётся к устью трубы. Вот мы и создали вихрь. Подставим под этот вихрь лопасти паровой турбины (разумеется, несколько видоизменённые). Затем мы с вами можем спокойно сесть и созерцать. Наша вещь сама будет крутиться, пока есть в бачке горючее.

Таков был этот простой и, как мыслилось Бережкову, гениальный двигатель, с которым он шёл к Шелесту.

— Прошу вас, — сказал Август Иванович.

Отлично натёртый паркет блестел в его большом кабинете. В этот день, как назло, стояла оттепель, а у Бережкова не было калош. В передней он долго шаркал о половики промокшими башмаками. Теперь, стоя в дверях кабинета, он отчётливо представил, как появятся на этом паркете сыроватые следы его ног, и густо покраснел.

Шелест сидел у письменного стола в кожаном кресле. Отвлёкшись от работы, он не привстал навстречу своему гостю и холодно взирал на него. Однако, когда он увидел внезапно вспыхнувшие щёки Бережкова, выражение серых строгих глаз переменялось. Там промелькнули юмористические искорки.

— Прошу вас, — мягче повторил Шелест.

Подойдя, Бережков сел и положил на письменный стол около себя трубку чертежей. От волнения он не мог начать разговора.

— Это и есть ваша потрясающая вещь?

— Да.

— Что же, посмотрим...

Бережков лихорадочно развязал верёвочку и снял обёртку из газеты. Шелест поднялся, взял чертежи и присел на край стола, закинув ногу за ногу, лицом к электрической люстре. Смугловатый профиль склонился над развёрнутым листом. Волосы, изрядно поседевшие, цвета серебра с чернью, ещё ничуть не утратили живого, молодого блеска.

— Вы понимаете, Август Иванович, струя пламени... — стал объяснять Бережков.

— Понимаю. Всё понимаю. Действительно необыкновенное открытие.

— Да? — воскликнул Бережков. Ему почудилась ирония в тоне Шелеста.

— Да. Дольше считалось, что газовые турбины неосуществимы из-за низкого коэффициента полезного действия. Но вы, очевидно, опровергли это заблуждение. Не вижу только ваших расчётов.

— Я... Я ещё не сделал расчётов. Это только первая компоновка. Только идея. Вы видите, струя пламени под огромным давлением...

— Гм... Под огромным? А во что превратится тогда ваше горючее?

— Как то есть «во что»?

— Вы этого не знаете? В так называемую «жидкость Зеленского», лишённую способности гореть.

— Но... Но давление можно в таком случае...

— В таком случае, — жёстко перебил Шелест, — разрешите мне познакомиться вас с одним трудом.

У стен кабинета на массивных полках тесно стояли тысячи книг. Храня комплекты многих русских и иностранных технических журналов, Шелест сам на домашнем станке любовно их переплетал. Он быстро нашёл и протянул Бережкову толстый том. Это было новое издание его, Шелеста, капитального курса «Двигатели внутреннего сгорания».

— Вы это читали?

Бережков неуверенно кивнул. В студенческие годы он слушал лекции Шелеста и легко схватывал предмет, легко сдавал экзамены, почти не заглядывая в учебники. А нового издания книги Шелеста он никогда не раскрывал.

— Вы найдёте здесь, — безжалостно продолжал Шелест, — описание вашей поразительной идеи. И у нас и в других странах она уже, к вашему сведению, исследована практически и теоретически. Так потрудитесь же по крайней мере сначала узнать всё, что было сделано в этой области до вас. А пока... Пока вот вам мой совет: завяжите это опять вашей верёвочкой и никогда никому больше не показывайте. Чем ещё я могу быть вам полезен?

Бережков не ответил. Шелест вновь посмотрел на чертежи, потом на их незадачливого автора, уныло опустившего голову, и произнёс:

— Сейчас у меня в институте свободно место младшего чертёжника. Если хотите, я вас возьму на эту должность.

— Младшим чертёжником?

— Да. Если угодно, я вам напишу записку, и можете завтра выходить на службу.

— На службу? — опять переспросил Бережков. — Нет, Август Иванович, никогда!

— Ничего иного я не могу вам, к сожалению, предложить.

— Благодарю вас.

Бережков свернул в трубку чертежи, мрачно поклонился и пошёл к двери. На паркете он увидел уже подсохшие следы своих много раз запла-
танных ботинок. У порога он остановился. Обернулся. Тихо выго-
ворил:

— Ну, напишите.

34

Наконец он приплёлся домой. Бросил в передней на сундук смятый свёрток чертежей. Выбежавшая к нему сестра ни о чём не спрашивала: всё и так было понятно.

— Алёша, иди к себе. Ложись. Я сейчас принесу тебе покушать.

— Не надо. Ничего не надо.

— Обязательно ложись. Согрейся. Я у тебя печку затопила.

— Не надо. Оставь меня. Я погиб.

— Алёша, тебе надо только отоспаться. А утром ты опять встанешь таким же, как всегда.

— Нет. Утром я пойду на службу.

— На службу?

— Ну, не терзай меня. Дай побыть одному.

Сестра приготовила ему поесть, вскипятила чай, заставила разуться, надеть сухие, согретые у огня носки. А он, её кумир и баловень, поста-
нывал и повторял:

— Оставь меня. Иди. Мне ничего не надо.

— Но ведь ты упустишь печку.

— Печку? Я упустил... всё!

Оставшись в одиночестве, он долго лежал, не раздеваясь. На этажерке, на верхней полочке, красовалась нетронутая банка эмалевой краски. Сегодня, перед тем как итти к Шелесту, Бережков победоносно возгласил, потрясая скатанными чертежами и глядя на заветную банку: «Теперь или никогда!»

Да, никогда... Он поднялся с кровати, снял банку и, поддев плотно при-
лежавшую крышку перочинным ножиком, открыл её. Краска уже сохлась, за-
густела, по матовой коричневой поверхности протянулись трещинки. Бережков тронул её пальцем. Неужели он никогда не увидит, как эта при-
ятная краска, которой столько раз в мечтах он покрывал собственный авто-
мобиль и вкусно называл пеночкой, поджаристой пенкой молока, — неуже-
ли никогда он не увидит, как она ложится под упругой кистью на металл? Для этого случая, который так и не настал, у него хранились специальная кисть и бутылка прозрачного орехового масла. Он бесшумно всё это достал, принёс из кухни чистую кастрюлю, отколупнул ножом несколько кусков густой, тягучей краски и тщательно растёр её в масле.

На цыпочках, в носках, осторожно открывая двери, стараясь не скрип-
нуть половицей, он с кистью и кастрюлей прошёл опять в кухню. В чулан-
чике нашлась старая лейка. Аккуратно разостлав на кухонном столе газе-
ту, он положил лейку, обмакнул кисть, стряхнул обратно лишнюю краску и провёл первый мазок. Кисть мягко зашуршала. Нет, это всё-таки не то: нет размаха для руки. Он остановился, отодвинулся, оглядел свою работу. Не то... Лейка не очищена от старой краски; под свежим слоем заметны места, где она ранее облупилась; выступают какие-то прежние сухие пупырышки, колючки. Нет, его автомобиль не выглядел бы так. Нежная пенка эффектно ляжет только на чистый, зеркально-ровный металл. Что же ему выкрасить? А, вот что!

На стене висело большое оцинкованное железное корыто. Бережков провёл по металлу ладонью. Да, это как раз та поверхность, которая ему нужна. Он поставил корыто на табурет, прислонил под удобным углом

к стене, опять обмакнул кисть и начал красить. Хорошо! Дивно! Изумительно! Прелестный, обворожительный цвет! Блестящая точка электрической лампочки ярко светилась в свежей эмали. Бережков легко подпрыгнул и чуть покачал лампочку. Светящаяся точка закачалась в окрашенном металле, посылая снопики лучей. Вот так и солнце сияющими зайчиками отразится в лакированном блестящем кузове, когда машина на ходу будет пружинить на рессорах.

Но, боже мой, ведь это всего лишь корыто! Корыто, разбитое корыто его жизни. Нет, он не мог больше на него смотреть. Прощай, прощай навсегда, баночка эмалевой краски!

Он вернулся к себе в комнату. Початая банка опять потянула к себе. Ласково, как ребёнка, он взял её обеими руками. Подержал. Опустился на пол перед печкой, уже почти прогоревшей, где блуждали синие огоньки над крупным жаром. Возле печки на полу лежало несколько лучинок. Он отломил щепку, выковырял немного краски и бросил на пламенеющие угли. Краска сразу задымилась, запузырилась и вспыхнула, как фейерверк. Бережков повёл носом: не запахло ли горелой краской? Нет, печка всё вытягивала.

Многое промелькнуло перед ним, когда он смотрел в огонь. Вот вспыхнул его выключатель, озарил комнату отблеском яркого пламени и... И на углях остался только лёгкий пепел. Вот его всемирно знаменитая контора выдумок... Вот мельница, вот небывалый двигатель, вот вся его судьба вольного художника, свободного конструктора, который сам себе хозяин. С завтрашнего дня он пойдёт на службу, откажется от вольности, потянет лямку. Что поделаешь: жизнь не удалась.

35

И всё же утром он поднялся иным.

— Случается, — говорил мне Бережков, — проснувшись утром, вы не сразу вспоминаете, что произошло с вами вчера. Есть момент полусознания, первое ощущение после сна, которое потом остаётся где-то в памяти.

В то утро для него таким первым ощущением было: сегодня предстоит что-то неизведанное, необыкновенное. И Бережков тотчас вспомнил: сегодня он пойдёт младшим чертёжником на службу. Неожиданно прозвучал знакомый внутренний голос: «Вставай, тебя ждут великие дела!» Бережков расхохотался в постели. Какие у него теперь великие дела? Но вчерашние унылые мысли не возвращались. Он вскочил бодрым, освежённым, потянулся так, что хрустнуло в суставах.

Одевался он с волнением, ощущение необыкновенности не улеглось. Сестра собирала его, будто отправляя первый раз в школу. Перед уходом Бережков был со всех сторон осмотрен. Свежая складка на брюках, белый накрахмаленный воротничок, красивый яркий галстук придавали ему оттенок изящества и даже, может быть, франтовства.

— Поношенный франт, — пошутил он, с сокрушением поглядывая на залатанные, вычищенные чуть ли не до зеркального блеска ботинки.

Но в лице не было поношенности. Глаза молодо блестя. Бережков повернулся перед зеркалом, поправил галстук, улыбнулся. Куртка, побывавшая во многих переделках, причиняла ему, по его выражению, жесточайшие душевные муки. Обтрепавшиеся обшлага были немного подрезаны и снова подшиты; из-за этого рукава стали коротки, и Бережкову казалось, что он, как мальчишка, вырос из своей куртки. Ну, ничего, он её снимет на службе.

С двумя бутербродами на завтрак, с тридцатью копейками в кармане на трамвай, поцелуй сестре на прощание воздушный поцелуй, Бережков вышел из дому — шагнул во вторую свою жизнь.

Часть четвёртая

«АДВИ-100»

1

Итак, Бережков поступил младшим чертёжником в Научный институт авиационных двигателей, сокращённо именовавшийся АДВИ.

Институт занимал в те времена лишь одну комнату. Мне довелось её видеть; Бережков однажды повёз меня, показал первое помещение АДВИ: Это была не особенно большая комната площадью в тридцать—тридцать пять метров, в два окна. Других комнат институт моторов, созданный профессором Шелестом, тогда не имел; для бухгалтера и секретаря был выделен уголок в соседнем здании.

Явившись на службу, Бережков получил стол, ватманскую бумагу, готовальню и принялся очинять карандаши, ожидая задания. Однако как новому человеку в первый день ему дали приглядеться.

В комнате было очень тесно. За покатыми столами работали чертёжники и инженеры-конструкторы, десять—двенадцать человек. Бережков сидел, прислушиваясь к негромким разговорам, порой вставал, осторожно проходил между столами, где-нибудь останавливался и, стараясь не мешать, молча смотрел на чертежи. На всех столах чертили и рассчитывали конструкцию Шелеста — авиационный двигатель в двести лошадиных сил. На стене в деревянной рамочке висел общий вид конструкции. Некоторое время Бережков рассматривал её. Проектируемый двигатель был назван «АИШ» (Август Иванович Шелест).

К концу рабочего дня появился он, пятидесятилетний профессор, автор проекта, глава института, — быстрый, властный, энергичный. Кивнув присутствующим, Шелест подошёл к столу старшего конструктора инженера Лукина. Тот — рыхловатый добродушный блондин — встал со слабой смущённой улыбкой и уступил Шелесту стул. Беседа вполголоса, они стали обсуждать чертёж, лежавший на столе Лукина.

Недолго думая, наш младший чертёжник поднялся со стула, прошёл по комнате и остановился за спиной Шелеста. Профессор недовольно покосился, его взгляд означал: «Вас, сударь, кажется, не звали». Однако Бережков не двинулся со своей позиции: он не отличался особой чувствительностью в подобных случаях.

Ни слова ему не сказав, Шелест продолжал разговор. Бережков стоял несколько минут, посмотрел на чертёж с одной стороны, с другой стороны и удалился с безмятежным лицом, словно он прогулялся по комнате. Но не надо забывать, что он был наделён исключительной быстротой схватывания, быстротой восприятия. Иногда почти нечувствительный, почти глухой, он обладал в своей стихии, в сфере своего таланта, изумительным глазом и слухом. По чертежу, по нескольким замечаниям и вопросам Шелеста он вполне уловил суть разговора.

Положение с мотором, который работался на всех столах, было, как понял Бережков, таково: проектирование шло к завершению; главные разрезы, главные узлы были уже вычерчены; конструкция в целом была так или иначе решена; но одна существенная часть, головка цилиндра, не удавалась, получалась тяжёлой, аляповатой, не вписывалась в оставленное для неё место; конструктор не находил удобного расположения клапанов; управление этими клапанами не вытанцовывалось. Неудача с головкой означала неудачу проекта или, в лучшем случае, требовала пересмотра всей конструкции.

2

Чертёж этой головки лежал на столе у Лукина. Он смотрел на Шелеста с виноватым видом. Много раз они за чертёжным столом обсуждали проблему головки. Лукин чертил и так и этак, но злосчастная головка

оставалась громоздкой, неуклюжей, нерешённой. Служебный день истёк. Сотрудники АДВИ пошли по домам. На прощание они откланивались директору. Шелест молча кивал. Он ещё не собирався уходить. Кроме Лукина, он пригласил к чертёжному столу заведующего конструкторско-расчётной частью инженера Ниланда и ещё одного конструктора, чтобы посоветоваться о головке. Бережкова опять потянуло подойти, но он отказался от этого намерения.

Он вышел из здания, направился к трамваю и рассеянно миновал остановку. До дому было далеко, но ему захотелось шагать, пройтись в одиночку. Он был взбудоражен, возбуждён первым днём службы. Шагая, он мысленно всё ещё пребывал в комнате с некрашеными покатыми столами; перед ним мелькали эти столы, лица, разговоры, чертежи; он видел двигатель, который вычерчивали сотоварищи по будущей работе; видел смуглый профиль Шелеста, склонившегося над недающей деталью.

И вдруг — сначала смутно, потом резко, потом во всех подробностях, во всех размерах — ему предстала очень изящная, очень лёгкая головка. На ней удачно, грациозно (как выразился, рассказывая, Бережков) расположились клапаны, которые упрямо не находили себе места на чертеже Лукина.

Со странной улыбкой, незаметной в сумерках, Бережков шёл по улицам, не видя перед собой ничего, кроме головки. Дома он быстро пообедал, отвечая сестре невпопад, попрежнему, словно загипнотизированный, всматриваясь в воображаемую вещь, и тотчас сел чертить. В своём рассказе Бережков настойчиво стремился поведать мне, раскрыть психологию конструкторского творчества.

— Надо вам сказать, — говорил он, — что я никогда не начинаю чертить, пока не вижу вещь. Создавая любую конструкцию, я закрываю глаза, ясно вижу перед собой чертёж и только тогда беру карандаш или рейсфедер. Когда я употребляю выражение «вижу вещь», это значит, что я вижу чертёж. У нас, профессионалов-конструкторов, — объяснял мне Бережков, — чертёж отождествляется с предметом.

Если, например, происходит какая-нибудь поломка и Бережкову показывают: «Посмотрите, как поломалось», он всегда просит: «Дайте чертёж, в натуре я ничего не понимаю». Если его спрашивают: «Посмотрите, правильно ли сделана эта деталь», он отвечает: «Дайте чертёж». Вещь в натуре не отождествляется у него с проектом; при взгляде на неё перед ним не возникает чертёж. Но, разглядывая чертёж, он физически ощутимо представляет натуру, как бы осязает её, она предстаёт весомо, рельефно, во всех измерениях.

Таким образом, домой он пришёл с готовым чертежом в воображении. Оставалось перенести чертёж на бумагу — отпечатать, как фотоснимок с негатива. Бережков заперся в своей комнате и, ничего не слыша, не откликаясь на приглашения к ужину, окончательно расстроив Марию Николаевну, теперь уже не сомневающуюся, что он не вынесет службы, чертил до трёх часов ночи. Ему всегда нравилось дать так называемый выпуклый чертёж, то есть одни линии — тоньше, другие — толще, жирнее. Тогда, по его выражению, чертёж говорит, чертёж поёт.

И хотя в последние годы, в смутные годы Бережкова, он редко склонился над чистыми листами ватмана, но, взяв карандаш, проведя координаты, отложив главные размеры, нанеся первую контурную линию, он со счастьем ощутил, что рука попрежнему легка, что чертёж как бы сам ложится на бумагу. Конечно, тут сказалась работа над проектом турбины, что отверг Шелест; в той недавней работе Бережков поупражнял руку.

К трём часам ночи создание Бережкова — уже не в карандаше, а в туши — было отделано до последней чёрточки. Головка вышла очень компактной, клапаны хорошо разместились; задача была изящно решена.

— Прелестно! Прелестная вещичка! — в одиночестве восклицал он, любуясь своим чертежом.

Сделаем здесь одно замечание. Начало службы было, очевидно, столь значительно для Бережкова, что он повествовал о нём с особым вкусом, очень сочно и даже, я бы сказал, театрально. И, конечно, не преминул покрусоваться, поблистать. Я сохранил и тут колорит его рассказа.

Со свёрнутым в трубочку листом Бережков к десяти часам утра отправился на службу. О своих переживаниях он рассказывал так:

— Вообразите молодого художника, который несёт на выставку, на суд знатоков, только что законченное произведение. Недавно с позором забраковали его вещь, а он нарисовал ещё одну. Вообразите его переживания. Таким художником, ещё не заработавшим известности, не признанным, влюблённым в свою вещь и всё же испытывающим трепет неуверенности, — таким художником я чувствовал себя в это утро.

С чертежом он вошёл в комнату АДВИ, скромно сел на своё место, спрятал трубочку в стол. Через несколько минут Бережкова подозвал его непосредственный начальник, заведующий конструкторско-расчётным бюро инженер Ниланд, необщительный, с жёсткой складкой вокруг рта, человек лет сорока пяти.

— Начертите эту гайку и болт, — сказал он, протягивая карандашный эскиз. — Все размеры тут указаны.

— Для мотора «АИШ»? — поинтересовался Бережков.

— Да, для мотора.

Бережков критически оглядел набросок.

— А кто делал эскиз?

Вопрос раздражил начальника.

— Я делал. Приступайте к работе.

— Извините, — смиренно молвил Бережков.

3

С наброском гайки и болта, с этим элементарным первым поручением, младший чертёжник вернулся на своё рабочее место. Занимаясь гайкой, он то и дело поглядывал на дверь, ожидая Шелеста. Наконец Шелест появился. Как и вчера, он кивнул всем и посмотрел на Лукина. Тот опять неловко улыбнулся, будто принося повинную. В смуглом нервном лице Шелеста мелькнула досада. Ни с кем не разговаривая, он прошёл к своему письменному столу, к своему креслу и несколько минут молча сидел. Потом обратился к Лукину:

— Давайте!

Тон был упрям, приглашающий жест энергичен. Они опять занялись головкой. Несколько выждав, Бережков достал своё свёрнутое в трубочку произведение, поднялся и подошёл к ним. Шелест прервал разговор.

— Что вам? — резко спросил он.

— Видите ли, Август Иванович, вчера у меня зародились некоторые соображения...

— Но, как видно, не о том, что следовало бы подождать, пока я освобожусь.

— Нет, — ответил Бережков, — об этой головке! Я, конечно, подожду. Прошу извинения.

Корректно поклонившись, он повернулся, чтобы уйти.

— Какие соображения? — быстро спросил Шелест.

Бережков выдержал паузу.

— Мне подумалось, Август Иванович, что тут возможна одна комбинация. И тогда клапаны, может быть, расположатся удобнее. Дома я попробовал набросать небольшой чертёж.

— Где он?

— Пожалуйста. Правда, я не совсем уверен...

Бережков не разыгрывал скромность. Он волновался. Вдруг случится так, что Шелест с одного взгляда обнаружит некий порок вещи, ошибку, чего сам он, Бережков, сгоряча, может быть, не увидел.

Трепеща и улыбаясь, Бережков развернул трубку шероховатой бумаги.

— Ого! — вырвалось у Шелеста.

Покраснев от удовольствия, он взял лист. Ему, эрудиту и знатоку моторов, в одну минуту стало ясно: у него в руках решение, которое он почти отчаялся найти.

4

— Меня тогда поразило, — рассказывал далее Бережков, — отношение ко мне Лукина.

Бережков был уверен, что наживёт врага. А вышло вовсе не так. Глаза Лукина засветились истинным удовольствием, когда он рассматривал чертёж.

— Остроумно, очень остроумно! — сказал он. — Поздравляю. Верно решено.

Но некоторых недругов Бережков себе всё-таки нажил.

На третий день службы он сумел испортить отношения с инженером Ниландом.

Этого человека Бережков характеризовал в наших разговорах так. Инженер Ниланд, сумрачный и раздражительный, ещё до революции имел научное звание, готовил диссертацию и по своим данным был отлично приспособлен для научно-расчётных работ. Расчётчик — весьма серьёзная величина во всяком конструкторском бюро. Это антипод конструктора, штатный критик, обязанный подвергать сомнению каждый чертёж, каждый проект, обязанный без снисхождения браковать замысел конструктора, если он, замысел, под ударами анализа где-либо надломится. Ниланд считался непогрешимым мастером расчёта, все конструкторы АДВИ признавали его авторитет. Однако он не мирился с долей расчётчика, хотя бы и главного, а по неискоренимой тайной страсти упрямо стремился чертить, конструировать, создавать машины, хотя природа не наделила его таким даром.

Столкновение произошло из-за гайки. Исполняя задание, Бережков постарался покрасивее вывести нарезку болта и затем изобразил округлую лёгкую гайку. Чертёж, как полагается, поступил к Ниланду. На следующее утро, едва сев за стол, Бережков услышал его голос:

— Бережков, пожалуйста сюда!

На столе начальника лежал чертёж Бережкова. Ниланд молча взял красный карандаш и перечеркнул работу.

— Потрудитесь переделать по моему эскизу и в другой раз не фантазируйте.

— Но почему же? Я старался, чтобы гайка была легче.

— Напрасно. Незачем мудрить, когда существуют стандартные размеры. Переделайте.

Ниланд отвернулся, показывая, что разговор окончен. Бережков посмотрел на карандашный эскиз, что лежал рядом с его перечёркнутой работой, и рискнул снова сказать:

— А не тяжеловата ли будет ваша гайка?

— Не беспокойтесь. Занимайтесь тем, что вам указано.

— Но мне всё-таки кажется...

— Что вам, молодой человек, кажется? — повысив голос, перебил Ниланд.

В комнате кое-кто оглянулся.

— Мне кажется, — не смутившись, продолжал Бережков, — что ваша гайка как-то не гармонирует с изящными формами, которые свойственны современной авиации.

— Не знаю, что вам представляется изящным. Я не употребляю таких слов.

— Не смею сомневаться. Но, если угодно, я могу...

Ниланд, побагровев, вскочил.

— Прошу не иронизировать! — гаркнул он. — Вы, молодой человек, приглашены сюда не для того, чтобы меня учить.

Разговоры в комнате обычно шли вполголоса. Теперь все повернулись на окрик. Ниланд схватил объёмистый потрёпанный машиностроительный справочник, что лежал около него, и хлопнул этой книгой по столу.

— Я указал размеры на основании этого труда. Возьмите. Потрудитесь убедиться, что это общепринятая гайка.

— Поэтому-то она и не годится, — ответил Бережков. — В авиационном машиностроении употребляются другие гайки.

— Что? Может быть, вы мне их покажете?

— Пожалуйста. Сейчас вы их увидите...

Бережков знал, что ещё со времён Жуковского рядом с аэродинамической лабораторией существовал небольшой музей, или, вернее, зародыш будущего музея по истории авиации. Там, между прочим, хранилось несколько авиамоторов разных марок. И хотя эти моторы давно устарели, но и в них применялись — Бережков ясно это помнил — лёгкие гайки.

Он отправился туда и, улучив минуту, втихомолку отвернул несколько гаек, спрятал в карман и принёс в комнату АДВИ. Гайки были положены на стол инженера Ниланда рядом с перечёркнутым чертежом Бережкова. Дальше спорить не приходилось. Чертёж Бережкова и гайки с разных авиационных двигателей были подобны по характеру. Два-три сотрудника подошли будто по иным делам, взглянули. Ниланд надулся и молчал. С того дня он невзлюбил Бережкова.

5

Так началась служба Бережкова. Через год он был уже не младшим чертёжником, а полноправным конструктором АДВИ.

В своём рассказе Бережков не мог припомнить всех дел, которыми занимался в этот год. «Из меня попросту пёрло!» — восклицал он. Ему достаточно было слышать, что институту поручено разработать что-нибудь трудное, серьёзное, требующее солидного срока для выполнения, — и через три-четыре дня он предлагал своё решение, свой чертёж. Дорвавшись после нескольких непутёвых годов до чертёжной доски, до создания — пусть пока на ватмане — авиационных моторов, он чувствовал, что наконец нашёл себя; чувствовал, что из него, словно из артезианской скважины, достигшей водоносного пласта, хлынул фонтан конструкторского творчества.

Случалось, что в чертежах, которые он приносил в институт, обнаруживались ошибки, просчёты, неверные разрезы. Нередко бывало, что его били в спорах, били высшей математикой, ссылками на исследования, которых он не знал. Для того чтобы идти в ногу с инженерами, конструкторами АДВИ, чтобы не уступать им в эрудиции и, главное, чтобы вооружить себя для творчества, Бережкову пришлось упорно работать. Дома он ночами просиживал над сочинениями классиков механики и теплотехники. Овладевая языками. Курс Шелеста «Двигатели внутреннего сгорания» выучил назубок, мог цитировать наизусть.

Я уже отмечал, что Бережков не любил жаловаться на трудности жизни. О том, сколько пришлось ему навёрстывать, поступив в АДВИ, об его «адской» работоспособности, о том, как он порой почти не спал две-три ночи подряд, оставаясь тем же неизменно шутливым, бодрым, в полной «рабочей форме», я узнавал от его друзей, от сестры, от сослуживцев. Но не от самого Бережкова.

За один год он прошёл следующие служебные ступени: младший чертёжник, чертёжник-конструктор, младший инженер-конструктор.

Примерно в это время институт получил заказ Военно-Воздушного Флота: спроектировать нефтяной мотор для авиации.

Эту конструкцию опять начертил Бережков. И опять без прямого поручения, раньше своих товарищей. Ни одно настоящее, серьёзное задание, ни одно стоящее дело, которое затевалось в те годы в институте или около института, не оставляло его равнодушным. Жадный, он хотел всё охватить, объять, ко всему приложить руки.

С благословения Шелеста по чертежам Бережкова стали строить авиационный нефтяной двигатель «Аврора».

Мотор «АИШ» строился на заводе бывшем «Икар»; «Аврора» — на заводе «Прометей», который был в те времена полукустарной мастерской для ремонта автомобилей. Бережков ездил туда каждый день, сам вынимал тёплые отливки из формовочной земли, следил за обработкой на станках, уносил, как трофеи, готовые детали в кладовую и прятал их под замок, шутил, сердился, очаровывал, подгонял и подгонял.

Рассказывая об этом, Бережков опять искал слов, чтобы изобразить, с каким нетерпением, с какой страстью конструктор ждёт, торопит обыкновенную минуту, когда он увидит наконец чертёж ожившим в материале, превратившимся в машину, какой ещё не существовало на земле.

Эта минута настала, машина была выстроена. И что же? Поломки замучили автора, замучили завод. Бережков бился много месяцев, но так и не смог довести мотор. Его «Аврора», в которую он, казалось, вложил весь свой темперамент и талант, вошла под каким-то номером в печальный список неудавшихся, мертворождённых моторов. Такая же судьба постигла и мотор Шелеста. Машину долго не удавалось запустить, а после запуска пошли неисчислимы поломки. Безуспешная борьба длилась почти год, потом мотор вынесли в заводской сарай, словно на кладбище.

Все другие попытки оканчивались тем же. Ни один конструктор, ни один завод нашей страны всё ещё не могли дать авиации серийного отечественного советского мотора.

— Но почему же? — допытывался я у Бережкова.

— Доводка! — воскликнул он в ответ. — Это слово известно на любом заводе, выпускающем машины. В нашей стране давно строили паровозы, локомотивы, корабли, производились отличные артиллерийские орудия, и каждая новая конструкция требовала доводки. Но мы ещё не знали, что такое доводка авиационного мотора. Ещё не понимали, что конструктор должен обладать не упорством, а ультраупорством, ультравыдержкой, чтобы довести авиационный мотор. Доводка — вот что резало нас.

6

Для создания отечественного авиационного мотора требовались новые и новые усилия. Работа велась в конструкторских бюро нескольких заводов и в научных институтах.

В 1925 году Управление Военно-Воздушных Сил опять поставило перед АДВИ задачу сконструировать ещё один мотор мощностью в сто лошадиных сил. Институту ассигновали деньги на проектирование, на некоторое расширение штата.

Работа над проектом длилась полгода. К этому времени институт получил собственное помещение: небольшой корпус на окраине Москвы. Туда привезли десятка полтора станков. Стояла зима. Корпус ремонтировали. Конструкторы и чертёжники расположились в бревенчатой сторожке посреди отведённого для АДВИ участка. Её прозвали «избушка». Там, в двух небольших комнатах, теснилось двадцать пять—тридцать человек. Из-под полов дуло. В избушке поставили чугунную печку, которую раскаляли докрасна. Чертёжные столы время от времени стреляли — рассыхались.

В этой сторожке и спроектировали мотор, получивший название «АДВИ-100». Авторами компоновки были три человека, которых после многих ссор и примирений удалось объединить: Бережков, Мезенцев и Ниланд. Во избежание ещё одной неудачи компоновка, по директиве Шелеста, не содержала оригинальной идеи. Из нескольких известных образцов были взяты наилучшим образом решённые узлы и скомбинированы в одной композиции.

В целом проект «АДВИ-100» представлял собой пять больших синок, на которых давался общий вид, и шестьдесят—семьдесят листов ватмана, где было вычерчено не меньше тысячи деталей. Предстояло утверждение проекта в Научно-техническом комитете при Управлении Военно-Воздушных Сил.

7

Перед заседанием Бережков волновался. Сегодня он впервые войдёт в зал Научно-технического комитета. Самые видные инженеры и профессора будут обсуждать проект, под которым стоит его подпись.

Шёл май 1926 года. Установились тёплые солнечные дни, и Бережков оделся по-весеннему: в белые брюки, светлую, фисташкового цвета сорочку с широким ярким галстуком. Поверх был надет темносиний распахнутый пиджак. На улицах продавали цветы, и он, праздничный, возбуждённый, вдел в петлицу крошечный букетик. Таким в день заседания он появился перед Шелестом.

— Дорогой мой, — сказал Шелест, — вы меня погубите.

— Что такое? Почему?

Розовый от волнения, Бережков искренне недоумевал. Он не улыбался, но уголки свежих губ заметнее, чем обычно, были загнуты чуть вверх, и рисунок прирождённой улыбки проступал особенно ясно.

— К чему эти цветы? Вы собрались на свидание? Выньте, оставьте здесь...

Бережков смиренно подчинился. Затем Шелест подозрительно потянул носом.

— Вы, кажется, ещё изволили и надуться? Нет, я вас не возьму.

— Август Иванович, это после бритья, это в парикмахерской. Разрешите, я умоюсь...

— Чёрт знает что! Вы совершенно не понимаете, куда мы едем! Неужели вы не могли надеть к этому пиджаку соответствующих брюк?

— А у меня... у меня, — признался Бережков, — соответствующих нет. Есть только коричневые.

— Ещё хуже. Ей-ей, я не буду спокоен, пока вы сидите в зале.

— Но почему же? Что я, бомба?

— Вот именно. Вдруг вам взбредёт фантазия выступить.

— Ну и что же? Я готов защищать наш проект.

— Ради бога, не защищайте. Предоставьте это мне. А то вы непременно что-нибудь ляпнете.

— Август Иванович, даю вам слово...

— На заседании будут государственные люди, политики. А вы иногда такое выдумываете... Дорогой мой, вы понимаете, что для проекта лучше, чтобы вы помолчали.

— Пожалуй, — кротко согласился Бережков.

— Поэтому прошу вас, ради всего святого, не высказываться.

— Август Иванович, клянусь: я ничего не ляпну. Не раскрою рта.

— Ну хорошо. И, пожалуйста, садитесь там со мной рядом. Хотя...

Шелест снова оглядел Бережкова и ничего не добавил. Тому оставалось лишь повторить свои клятвы.

И всё-таки три часа спустя, вопреки своим намерениям, вопреки обещаниям, он вскочил на заседании и... Председатель стучал о графин, тщетно призывая Бережкова к порядку; Шелест тянул его за руку вниз; к нему повернулся и внимательно на него смотрел начальник Военно-Воздушных Сил Дмитрий Иванович Родионов, а Бережков, ничего не замечая, выпаливал фразу за фразой.

Вот как это случилось.

8

Идею проекта на заседании кратко изложил Шелест. Выступая, он порой покидал небольшую кафедру, подходил к чертежам мотора, которые были развешаны на стенах, и с уверенной плавностью, мягкостью жестов действовал лёгкой лакированной чёрной указкой. На смуглом, нимало не обрюзгшем, чуть горбоносом лице ярко выделялись серые глаза, они словно лучились. Он вполне владел собой, умел среди доклада пошутить, и всё же чувствовалось, как он, крупный русский учёный, общественный и научный деятель, волнуется за судьбу мотора, спроектированного в его институте.

После доклада стали дискутировать.

— Суждения о проекте, — рассказывал Бережков, — были крайне туманными. Мы с волнением прислушивались к каждому выступлению, замечанию, хотя и знали, что никто из находившихся в зале не мог бы сказать о себе: «Я сконструировал и довёл свой авиадвигатель». Многие из присутствующих были людьми кабинетной науки, которые вообще никогда ничего не конструировали, не строили, раньше даже не помышляли о практическом применении своих знаний. Они могли лишь предположительно гадать: это годится, а это сломается, это не пойдёт. Все мы, приступавшие к созданию первого отечественного авиадвигателя, блуждали тогда среди неясностей.

Крайне туманные, по выражению Бережкова, высказывания на заседании были по большей части благоприятны для проекта. Заняв место рядом с Шелестом и сотоварищами из АДВИ во втором ряду, следя за обсуждением, Бережков всё время невольно поглядывал на человека, который сидел в плетёном кресле у окна, в профиль к собранию, несколько поодаль от всех, поодаль от председателя. Это был начальник Военно-Воздушных Сил Дмитрий Иванович Родионов, тот самый Родионов, которого несколько лет назад, в дни, когда подготовлялся штурм Кронштадта, Бережков видел так близко, видел с винтовкой за плечом. Узнает ли Родионов его? Вряд ли... Ведь пролетело столько времени...

Одетый в летнюю, защитного цвета гимнастёрку, Родионов сидел, ничуть не облакачиваясь, может быть даже с чрезмерной прямизной. На его сухощавом лице с выпуклой родинкой на конце носа лежал красноватый здоровый загар; верхняя часть лба была заметно блее, здесь оставался след фуражки: Родионов много времени проводил на аэродромах, на учениях, манёврах, в лёгких эскадрильях, разбросанных во всех концах страны. Ничего не записывая, не задавая вопросов, он внимательно слушал, внимательно смотрел на тех, кто выступает. Бережков запомнил Родионова в будёновке с красной звездой, обведённой тёмным кантом, и, пожалуй, ещё не видел его без головного убора. Теперь его причёска поразила Бережкова. У Родионова был прямой, словно вычерченный по линейке, пробор. Тёмные, слегка рыжеватые волосы были крепко пригла-

жены щёткой; ни один волосок не выбивался над белой полоской пробора.

В те дни Родионов — да и только ли он? — был встревожен тем, что конструкторские организации и промышленность никак не могли дать авиации отечественного авиадвигателя. Не скрывая от себя, что корень неудач ему неясен, Родионов избрал путь, которому следовал всегда: лично приглядеться, послушать, познакомиться с людьми.

После многих выступлений председатель предоставил слово человеку, фамилию которого Бережков плохо расслышал. Однако он заметил, что Родионов чуть подался вперёд на своём кресле и стал, казалось, особенно внимателен. Бережков спросил Шелеста:

— Кто это?

Шелест шепнул:

— Новицкий. Наше начальство. Окончил курс в этом году и быстро пошёл — назначен здесь, в комитете, начальником отделения моторов. От него очень многое зависит.

— Очень многое?

— Да. Почти всё.

— Значит, это он маринует нас в избушке?

— Как сказать. Конечно, он мог бы всё подвинуть. С ним надо...

— Как надо с ним? — спросил с любопытством Бережков.

— Помолчите, дорогой... Послушаем, что он о нас скажет.

9

Уже с начальных фраз стало ясно, что выступает умный, очень способный человек. Вполне владея теорией мотора, как она в то время преподавалась, он легко отстранил некоторые несущественные или гадательные соображения, высказанные на заседании. Невысокого роста, плотный, тяжеловатый, с карими, очень живыми глазами, он нередко во время речи поворачивался к Родионову, как бы докладывая ему. Новицкий говорил о проекте в достаточной степени одобрительно. То обстоятельство, что конструкция не содержала в себе какой-либо оригинальной идеи, не было, по его мнению, минусом проекта.

— На первых порах, — неторопливо и веско говорил он, — нам меньше всего следует стремиться к новому и непроверенному...

Так же не торопясь, он перечислил достоинства конструкции и её уязвимые места. И наконец дал итоговую оценку — считать идею целесообразной и решение удачным.

— Поверхностная болтовня! — буркнул Бережков.

Новицкий не понравился ему. Шелест взглянул с удивлением.

— Нет, почему же? Очень толково.

В зале чётко разносился голос Новицкого:

— Это первый проект такого типа у нас, — ясно формулировал он. — Работа свидетельствует о возросшей культуре проектирования, что достигнуто под руководством одного из крупнейших специалистов, которые честно работают с нами.

Шелест с места отвесил несколько иронический поклон.

— У нас есть, — продолжал Новицкий, полуобернувшись к Родионову, вновь как бы обращаясь к нему, — наши молодые кадры, чья судьба целиком связана с судьбой нашего строя. Однако я обязан сказать, что они ещё не в силах дать нам подобный проект.

Насупясь, Бережков смотрел в пол. «А мы кто?» — с обидой мысленно вопрошал он и чувствовал себя оскорблённым. «Мы чёрт знает в каких условиях, — думалось ему, — создавали конструкцию, а он? Что сделал он для советского мотора? Чем он нам помог? Где его дела? На каком же основании он говорит о нас так свысока?»

Бережков безмолвно кидал эти вопросы. Его подмывало вскочить и что-нибудь прокричать, возразить, оборвать этого крепко сбитого, видимо, твёрдого на ногах человека, чётко произносившего фразы.

Новицкий меж тем излагал выводы. Он заявил, что мотор, по его мнению, следует строить, хотя в проекте лишь повторено то, что достигнуто несколько лет назад иностранными конструкторами.

— Таким образом, эта машина, — сказал он, — будет всё же отставать от современного мирового уровня. А нам нужны моторы, находящиеся на этом уровне.

— И превосходящие его, — негромко вставил Родионов.

— Совершенно правильно, Дмитрий Иванович. Над этой задачей ещё придётся немало работать. И мы обязаны ясно сказать, что отсутствие такого рода моторов несовместимо с перспективой развития Военно-Воздушного Флота, с задачами обороны страны.

Это была элементарная истина, бесспорная мысль, но Бережков вскочил и выпалил с места:

— А избушка совместима с обороной?

Новицкий спросил:

— Какая избушка?

Шелест сжал руку Бережкова и потянул его вниз. Но Бережков продолжал быстро говорить:

— Изба, в которой всю зиму теснятся тридцать чертёжников и конструкторов! А ремонт помещения, который почти не подвигается? А станки, которые до сих пор не распакованы? Это совместимо с обороной? У нас на всех конструкторов один истрёпанный справочник «Хютте». Вы об этом позаботились, товарищ Новицкий? Это совместимо с обороной?

Бережкова прервал председатель.

— Товарищ! — зывал он, стуча карандашом по графину. — Товарищ, это не по существу.

Тут опять прозвучал голос Родионова.

— Почему не по существу? — произнёс он.

В зале стало тихо. Родионов говорил со своего места, негромко, словно в небольшой комнате.

— Вы работали над этим проектом?

— Работал.

— Как ваша фамилия?

Задав этот вопрос, Родионов вдруг слегка прищурился, словно что-то припоминая. Бережков почувствовал, что он узнал, и радостно назвал себя.

Начальник Военно-Воздушных Сил улыбнулся одними глазами и сказал:

— Продолжайте, товарищ Бережков. Тому и слово, кто работал. Нуте-с...

10

Пять лет назад, в петроградском госпитале, Бережкову довелось услышать от одного делегата Десятого партийного съезда, делегата, тоже раненного под Кронштадтом, историю жизни человека, который поставил боевую задачу отряду аэросаней, Дмитрия Ивановича Родионова. Сейчас, в эту минуту взволнованности, перед Бережковым всплыли известные ему страницы биографии командующего авиацией.

Сын петербургского рабочего, Родионов тринадцати лет поступил мальчишкой-рассыльным в контору, стал зарабатывать для семьи. При случае выяснилось, что у него хороший почерк. Ему поручили надписывать конверты. Он старался, приобрёл учебник каллиграфии, выработал безупречный конторско-каллиграфический почерк. На службе, кроме того, он подшивал бумаги. Немногие знают, что в этом тоже можно достичь

мастерства и своего рода блеска. Родионов достиг этого: он не мог ничего делать небрежно или плохо. С виду он был благопристойным подростком в пиджачке и галстуке. Аккуратному конторщику много неприятных минут доставляли его рыжеватые волосы — непослушные, немягкие. Они вечно вихорились, торчали в стороны, сколько он их ни приглаживал. Из-за этого над ним подтрунивали. Родионов решил, что у него будет гладкая причёска, и добился своего, переупрямил собственные волосы, заставил их ложиться на пробор. Эта причёска осталась у него до конца жизни.

Как же он стал революционером, большевиком?

Семнадцати лет Родионов поступил, не оставляя службы, на вечерние курсы, где шли занятия по программе средней школы. Среди слушателей преобладала молодёжь с предприятий, рвущаяся к знанию, в большинстве передовая, революционная. У Родионова уже раньше были там знакомые, сотоварищи по конторскому труду. С некоторыми он подружился. Почти все в этой среде были несколько старше Родионова; он прислушивался к спорам, помалкивал, думал, читал.

Родионов поставил перед собой цель получить образование и рьяно учился, не давая себе послабления, не отставая от ажура, как говорят в конторском деле, и доводя до высшего балла знание предметов программы.

Юноша конторщик, ученик вечерних курсов, не подозревал, что уже близок день, который повернёт его жизнь.

Это произошло так. В 1912 году на должность управляющего петербургской конторой «Продамета» («Продажа металла»), одной из крупнейших и солиднейших столичных контор, был приглашён бывший социал-демократ, инженер Люро. Он отошёл от партии, но, как говорили, сохранил порядочность. Он принял на службу нескольких способных, развитых конторщиков, приятелей Родионова по вечерним общеобразовательным курсам.

Как-то в одном из отделов «Продаметы» освободилась вакансия помощника делопроизводителя. Друзья Родионова, служившие там, порекомендовали его на это место.

— Посмотрим. Пусть придёт, — сказал инженер Люро.

Родионов пришёл. В огромном зале за канцелярскими столами работало свыше ста сотрудников, а в углу, за перегородкой из стекла, находился кабинет Люро. Он принимал там посетителей; прозрачная перегородка не пропускала звуков, но Люро видел всех, и все видели его. В этом стеклянном кабинете он поговорил с Родионовым. Сквозь очки в тонком золотом ободке, которые Люро всегда носил, он внимательно оглядел кандидата на вакансию, затем пригласил его сесть и спросил, сколько зарабатывал Родионов. Тот правдиво ответил.

— Здесь, на вашей новой должности, вы будете получать больше. Это будет крупный шаг в вашей жизни.

— Да.

— Мне говорили о вас. Вы учитесь, это похвально. Однако надо много работать, честно работать.

— Да, — снова произнёс Родионов.

— Работать столько же, сколько работаю я. У меня правило — вечером никто не уходит, пока не уйду я.

— Но ведь, как вы знаете, я занимаюсь на вечерних курсах.

Люро рассмеялся.

— Не беспокойтесь, я не зверствую.

Разговор закончился благоприятно для Родионова, он был принят на службу. Инженер Люро действительно не зверствовал; в конце рабочего дня всем за счёт дирекции подавали чай и бутерброды, но после этого

сверх служебных часов приходилось ещё основательно поработать, корпеть над бумагами, пока не поднимался и не уходил Люро.

В конторе служили несколько социал-демократов большевиков. Они подготовили открытое массовое выступление против этого изощрённого способа эксплуатации служащих. Однажды, в час бутербродов, в конторе начался митинг. Люро вышел из кабинета.

— Что здесь? — спросил он.

— Не будем работать за бутерброды.

— Не будете? — странно тонким голосом переспросил Люро.

Он подошёл к шкафу, достал список сотрудников и произнёс первую по алфавиту фамилию.

— Агапов! Не будете работать?

Этот служащий был отцом большой семьи, он промолчал.

— Садитесь на своё место! Акимов, не желаете работать?

Акимов был делопроизводителем отдела, одним из организаторов протеста. Родионов знал, что некогда тот был дружен с Люро, они вместе провели студенческие годы.

Последовал твёрдый ответ:

— За бутерброды? Не буду!

— Вы уволены! Можете итти!

Люро нервно зачеркнул строку в списке. Акимов стоял, побледнев, среди сослуживцев. Он ждал, что будут отвечать другие. Люро посмотрел на Родионова, на аккуратный костюм юноши, на его приглаженный пробор и чуть улыбнулся.

— Родионов! Вы пока примете должность Акимова. Займите его место.

Впоследствии Родионов сам не мог объяснить, что с ним стряслось в эту минуту. Не ответив ни слова, он побагровел, шагнул к Люро и с размаху закатил ему пощёчину. Соскочили и со звоном разбились очки в золотом ободке. Закрывая рукой щёку, Люро иступлённо кричал:

— Полицию! Полицию!

А Родионов стоял, сведя брови, не опуская глаз, с неожиданно поднявшимся вихром на голове. Но его подхватили руки друзей, его быстро вывели из здания.

В ту ночь он не ночевал дома. И не только в ту ночь. Пришлось долго скрываться у товарищей. Многие теперь зазвучало для него по-иному: социализм, революция, партия. Он вошёл в партию, стал профессиональным революционером — большевиком и остался таким навсегда.

Во время мировой войны в форме солдата, всегда выбритый, подтянутый, отлично владеющий винтовкой и пулемётом, он попрежнему был работником партии, организатором и пропагандистом революции. В октябре 1917 года солдат Родионов командовал восставшими военными частями в городе Казани. В гражданскую войну был комиссаром и членом Революционного Военного Совета на фронтах, а в дальнейшем был назначен начальником Военно-Воздушных Сил нашей страны.

И вот он на заседании, посвящённом советскому авиатору.

Ничто не укрылось от Родионова. Он видел, как Шелест сжал руку Бережкова. Весь этот мир конструкторов, создателей машин, ему, Родионову, был тогда ещё не вполне ясен. Что это за люди? Как они творят? Почему до сих пор все их попытки кончались неудачей? В чём тут загадка?

И он вмешался, он сказал:

— Продолжайте, товарищ Бережков.

И добавил, будто слегка подталкивая остановившегося Бережкова:

— Ну-те-с, ну-те-с...

Как уже говорилось, это несколько нетерпеливое «нуге-с» было характерным словечком Родионова. Оно не превратилось у него в омертвевший невыразительный придаток, а как бы жило в его речи. Самые разные оттенки — от ласки до гнева — Родионов умел вкладывать в своё «нуге-с».

По тону Родионова, по его позе, по живому взгляду Бережков ощутил, что тот не только узнал его, но с интересом, с доверием ждёт его слов. Именно это — благожелательность, доверие, которое он прочёл во внимательных умных глазах, — особенно на него подействовало. Ему сразу стало легко в этом зале; кровь, прилившая к лицу, несколько схлынула; вновь проступили черты бережковской врождённой улыбки. Он красочно, в подробностях и даже в лицах, описал сторожку — «избушку», где целую зиму уютился институт, чугунную раскалённую печку, стреляющие чертёжные столы. Его рассказ порой вызывал смех, он тоже смеялся со всеми.

— Однако, товарищи, это не только смешно, — продолжал он. — Это грустно. Это невыносимо. Пусть товарищ Родионов извинит, но я скажу: это постыдно для нас, для Военно-Воздушного Флота. А здесь проносят приятные слова о возросшей культуре проектирования. Нет, говоря по правде, мы, конструкторы АДВИ, испытываем кошмарную, мучительную задержку роста.

На миг Бережков очень явственно, словно сквозь невидимый увеличитель, увидел Новицкого на одном из кресел за председательским столом. Удобно облокотившись, Новицкий слушал со спокойной снисходительной усмешкой. Но Бережков уже чувствовал своё право громко и требовательно говорить в этом зале. И он говорил:

— Я абсолютно убеждён, что мы сможем сконструировать чудеснейшие вещи, дивные моторы, которые займут первые места в мировом соревновании. Но надо дать нам, конструкторам, возможность работать в полную силу. У нас нет современных испытательных стендов, нет многих мерительных приборов, мы так и не знаем, например, что делается внутри цилиндра. Мне, к сожалению, не дано распоряжаться государственными средствами.

В зале засмеялись.

— Да, — энергично подтвердил Бережков, — я распорядился бы с размахом.

Шелест сидел, поглядывая уже одобрительно и с некоторым удивлением на стоящего рядом Бережкова. Август Иванович не раз намеревался сам поговорить с таким напором о нуждах института, но всё откладывал: в его натуре для этого, видимо, чего-то не хватало.

— Всё это, товарищи, к сожалению, вовсе не смешно! — продолжал Бережков. — Нельзя, чтобы в нашем государстве авиационные моторы проектировались в таких условиях. И тем более недопустимо называть это возросшей культурой проектирования.

Бережков сел. В зале снова прозвучал голос Родионова:

— Верно ли, товарищ Новицкий, что институт находится в таком безобразном состоянии, как сейчас здесь говорилось?

Новицкий выслушал стоя.

— Дело в том, Дмитрий Иванович, что институт нам не подведомствен.

— Нуге-с... Что из того?

Новицкий промолчал. В тишине Родионов встал, чтобы заключить заседание. Бережков второй раз в своей жизни слышал, как тот выступает: коротко, ясно, не повышая голоса, не торопясь. Чувствовалось — что он скажет, то и будет.

— Что из того? — повторил Родионов. — Сделаем его подведомственным. Если мы, люди Воздушного Флота, не позаботимся об институте, который проектирует авиационные моторы, кто же будет заботиться о нём? Мы познакомились с проектом, немного познакомились с конструкторами. Они, как показало обсуждение, стремятся и умеют работать. Умеют также, — Родионов кинул взгляд на Бережкова, — постоять за себя. Необходимо помочь институту, снабдить его лучшими современными приборами, обеспечить конструкторов всей нужной им литературой, всерьёз двинуть ремонт здания.

Он приостановился, подумал, произнёс своё «нуте-с», будто кого-то подгоняя, и продолжал:

— Эти расходы мы включим в смету Военно-Воздушного Флота. Выделим также некоторое количество валюты. Займитесь этим, товарищ Новицкий. Подготовьте мне на подпись необходимые документы.

Это было решение, которое он, начальник Военно-Воздушных Сил, принял и объявил на месте. На этом, никак не закругляя выступления, он оборвал своё слово.

Заседание кончилось. Из большого здания на Варварке, где помещалось Управление Военно-Воздушных Сил, конструкторы АДВИ выходили победителями. Улица мягко светилась в тёплых лучах вечернего низкого солнца. Близ подъезда стояла девушка с большой корзиной цветов. Бережков подбежал к ней. Вновь заправив в петлицу букетик, он с вызовом обернулся к Шелесту, поджидавшему его.

— Хорошо, хорошо, — произнёс Шелест. — Самый заправский вид для нежного свидания. Что же, бегите, очаровывайте хоть всю Москву.

— Август Иванович, ну, как я выступал?

— Потрясающе! — с довольной улыбкой сказал Шелест. — Одно слово: по-бережковски.

— По-бережковски? Как государственный муж, а?

Бережков счастливо засмеялся. Он тогда ещё сам не понимал, как много правды было в этой его шутке.

12

Рассказ Бережкова о дальнейшей судьбе мотора «АДВИ-100» продолжался так:

— Проект был утверждён. Постройка опытного экземпляра «АДВИ-100» была поручена моторному заводу на Днепре, на Украине, заводу, ранее принадлежавшему французам. Там выпускались моторы конструкции «Испано». Мы с торжеством отправили туда проект, все семьдесят листов.

Однако на заводе не приняли наших синек, заявив, что по таким чертежам нельзя строить. Действительно, имелся повод забраковать наш материал. В то время мы в институте ещё не добились полного порядка в изготовлении рабочих чертежей. Не всегда указывали допуски при обработке, порядок сборки и т. д. Несколько раз проект путешествовал из Москвы на Украину и обратно, несколько раз мы ездили на завод, спорили с пеной у рта, возвращались измочаленными, злыми, заново изображали все детали, стремясь удовлетворить требования завода, опять везли листы туда, но постройка не начиналась. Страшно сказать, целый год ушёл на то, что мы ездили и переругивались.

Нас выводили из себя разные придирки. На заводе, например, никогда не видели цилиндров с воздушными головками и упёрлись на том, что такие головки невозможно сделать. Мы доказывали своё, нервничали, требовали, но на заводе наших чертежей всё-таки не принимали. Нам не терпелось скорее узреть наше творение в металле, а вместо этого... Вместо этого мы теряли в препирательствах месяц за месяцем.

— Вы не представляете, — восклицал Бережков, — какой пыткой был этот год для нас!

Как-то в этот год, во времена тяжбы с заводом, Шелест пригласил Бережкова в свой кабинет. Институт уже перешёл в отремонтированное двухэтажное здание, где имелись мастерские, исследовательско-испытательная станция, большой чертёжный зал и кабинет директора, обставленный дубовой мебелью.

Перед Шелестом на письменном столе находился объёмистый свёрток, в котором под обёрткой угадывались книги; поверх лежал кому-то адресованный голубой конверт.

— Садитесь, Алексей Николаевич, — произнёс Шелест. — Вы похудели. Но ничего. Перечерчивание проекта вы, слава богу, кончили. И я по-прежнему верю в вашу энергию.

— От этого перечерчивания, Август Иванович, у меня начались по ночам кошмары.

— А я, дорогой, приготовил вам лекарство.

— Какое же?

— Командировку. Проедетесь, попутешествуете на Украину. Хочу послать вас снова на завод.

— Снова в атаку?

— Нет. На этот раз я предложу вашему вниманию иной план военных действий. Видите ли...— Шелест стал серьёзен.— Думается, мы в значительной степени сами виноваты, что у нас так испорчены отношения с заводом. Нельзя бесконечно переругиваться. Надо подействовать на людей иначе. Вы большой психолог, вы легко меня поймёте.

Профессор смотрел ласково и хитро. Бережков с достоинством кивнул.

— Поезжайте ещё раз туда, — продолжал Шелест. — Но будьте мудры, как змий. Плените, очаруйте там одного человека, и, я уверен, дело пойдёт.

— Кого же?

— Главного инженера.

— Пленял, — сказал со вздохом Бережков.

— Попытайтесь снова. Найдите тонкие ходы. Захватите с собой вот что...

Шелест развернул лежавший перед ним свёрток.

— Тут для него много интересного, — говорил он. — Ведь это знающий, талантливый, в прошлом даже блестящий инженер. Если не ошибаюсь, он свободно говорит на трёх или четырёх языках. Смотрите, что вы ему повезёте...

Под раскрытой обёрточной бумагой заблестело вытисненное золотом на переплёте название французского журнала, специально посвящённого проблемам моторов. Это был полный годовой комплект. Шелест откинул крышку переплёта. На чистой первой странице было написано его рукой: «Дорогому Владимиру Георгиевичу, нежному поклоннику и рыцарю моторов от огрубевшего старого моторщика, скромному труду которого посвящена разносная рецензия в этом журнале».

Бережков знал эту рецензию. В последнем томе своего курса Шелест критически разобрал высказывания иностранных теоретиков по вопросу об основных принципах конструирования авиационных моторов, установил в ряде случаев поверхностность, неясность, а порой и небеспристрастность суждений и впервые последовательно и подробно обосновал идею жёсткости мотора. Французский журнал ответил раздражённой, высокомерной рецензией.

— Жаль расставаться с этой реликвией, — проговорил Шелест. — Разрушаю к тому же собственную библиотеку. Теперь буду пользоваться институтским экземпляром. Вы покажите ему вот что... Нет, нет, я имею в виду не рецензию. — Шелест говорил, быстро листая том. — Вот... Ви-

дите, у французов на этом чертеже изображены такие же самые головки, которые мы ввели в нашу конструкцию. Пусть же он взглянет на них, растает и сделает для нас...

— О, это я ему сумею поднести!

У Бережкова уже заиграла фантазия, он увидел в воображении предстоящую встречу.

— А вот тут,— продолжал Шелест,— головки совсем другого рода.

В пачке книг вместе с комплектом специального журнала оказались художественные альбомные издания, тоже привезённые из-за границы. Шелест раскрыл один альбом и стал бережно переворачивать страницы. Там были представлены французские художники конца прошлого века.

— Он обожает эти вещи,— говорил Шелест.— Пусть полюбуется, понаслаждается. Дарить ему их я не собираюсь, но вам это поможет завоевать его душу. Сложная миссия, Алексей Николаевич, но ведь вы у нас...

— Еду! — вскричал Бережков.— Лягу костями, но обворожу этого чёрта.

13

Несколько дней спустя, в ближайшее же воскресенье, Бережков вышел из поезда на станции Заднепровье, близ которой находился завод. Он нарочно прибыл сюда в праздничный день, чтобы явиться к главному инженеру на дом. Однако, зная, как тот неумолим в вопросах этикета, Бережков не решился вломиться к нему без приглашения.

На вокзале он долго крутил ручку телефона, упорно добиваясь соединения сначала с городом, потом с квартирой. Аппарат был очень старый, дореволюционного выпуска фирмы «Эриксон», в громоздком деревянном футляре, укрепленном на стене. Такие аппараты давно уже вывелись в столице, но ими ещё пользовались в провинциальных городах. По остаткам исцарапанного, кое-где вовсе облезшего лака ещё можно было представить, как блестел когда-то, лет двадцать назад, светлокорицевым глянец этот ящичек. В трубке что-то трещало, приглушённо слышались чьи-то голоса, потом вдруг, как бы ни с того ни с сего, контакт прерывался, пропадал всякий живой звук, даже слабое гудение тока. Бережков осмотрел трубку, нашёл разболтанный, шатающийся винт со сработанной нарезкой, потянулся было в карман за перочинным ножом с разными отвёртками, но... Но улыбнулся и присвистнул.

— Ларец с секретом,— пробормотал он и, попросту прижав пальцем винт, снова стал звонить.

Наконец сквозь шумы и треск в трубке раздалось:

— Слушаю...

Наш герой почти пропел:

— Владимир Георгиевич?

— Да. Кто говорит?

— Владимир Георгиевич, я только что с поезда.. У меня к вам письмо из Москвы.

— От кого?

Бережков предпочёл пока избежать ответа. Он слегка оттянул винтик. Тотчас в мембране стало мертвенно-тихо. Снова нажав, он продолжал звать:

— Алло! Алло!.. Владимир Георгиевич, вы?

— Да. Вас плохо слышно.

— Письмо в голубом конверте! — кричал Бережков.— И книга для вас с надписью. Разрешите, я вам привезу.

Однако главный инженер завода, видимо, оберегал свой воскресный отдых. Он сухо сказал:

— Извините, сейчас у меня доктор... Я попросил бы...

Бережков решил не услышать продолжения этой фразы. Снова чуть двинулся винтик в его пальцах. Через секунду он опять кричал:

— Алло! Алло!.. Книга для вас с надписью: «Нежному поклоннику и рыцарю».

— Как, как?

— «Нежному поклоннику и рыцарю».

— Но от кого же?

— Владимир Георгиевич, я не могу кричать об этом на всю станцию. Разрешите к вам заехать.

— Но вы-то кто?

— Что? Что? Я ничего не слышу.

— Я спрашиваю: с кем имею честь?

— Да, адрес есть.

— С кем имею честь?

— Лошадей? Не беспокойтесь, доеду на извозчике.

— Фу... Ну, приезжайте.

Опустив трубку, Бережков тоже выдохнул:

— Фу-у-у... Техника на грани фантастики.

Благодарно взглянув на исцарапанный, давно отслуживший своё аппарат, он обратился с шутовой речью к ожидающим у телефона, достал перочинный нож и, используя подручные средства, то есть переставив с места на место некоторые винтики, закрепил контакт.

На привокзальной площади, куда он вышел с небольшим чемоданом, раскинулось рыночное торжище. Он там потолкался; съел для подкрепления душевных и телесных сил здесь же на солнышке добрый кусок холодца, несколько пышных оладий, всё это запил горшочком сметаны, затем подрядил извозчика и на старенькой дребезжащей пролётке направился к полю предстоящей ему схватки, в дом инженера Любарского.

14

Городок растянулся вдоль Днепра. Скоро завиднелась сияющая речная гладь, даже издали прохладная. Бережков сказал извозчику:

— К воде, дядя! Помыться.

По тропинке он сбежал с чемоданом к Днепру. Там он искупался, кувыркаясь и ныряя, проделывая всяческие номера, которые помнились с детства, со дней азартных мальчишеских состязаний на воде. Потом, высыхая на солнце, он побрился у своего чемодана и облачился во всё свежее: в белоснежные проутюженные брюки, в белые туфли, в лёгкую рубашку «фантазия». В заключение Бережков положил на руку светлый летний пиджак и с удовлетворением оглядел себя в зеркале реки.

— Теперь, дядя, не пыли, — попросил он, вновь усевшись на пролётку.

В городе было много зелени, палисадников, садов. В стороне, на фоне бледно-голубого неба, высилась чёрная железная труба завода. В тот день, в воскресенье, труба не дымила, но Бережков, рассеянно блуждая вокруг взглядом, нет-нет да поглядывал туда. На этом заводе, где он уже не раз побывал с чертежами, должны были дать жизнь его детищу, воплотить в металл проект мотора, но всё оттягивали и оттягивали это, без конца требуя переделки чертежей, терзая его душу.

Дом главного инженера, с красивой остроконечной крышей, с балконами и башенкой, с тонкими мачтами радиоантенны, стоял на прекрасном участке, над Днепром. Отпустив извозчика, Бережков с волнением приоткрыл калитку и ступил на аллею, посыпанную речным жёлтым песком. Из-за цветущих деревьев доносились заглушённые удары теннисного мячика. Слышались женские голоса. Бережков направился туда. Скоро сквозь просветы в зелени он увидел играющих. Главный инженер сражал-



ся против двух женщин. Весь в белом, с закатанными рукавами, загорелый, стройный не по летам, с бородкой клинышком, в которой тонкими блёстками вспыхивали на солнце две-три серебряные нити, Любарский легко бегал по площадке, с силой посылая «резаные», как говорят спортсмены, низкие мячи.

— Доктор,— прозвучал его голос, — вам подавать.

Смуглая, несколько тяжеловатая для этой игры женщина улыбнулась ему. «Э, — подумал Бережков, — вот какой у тебя доктор!»

В паре с доктором играла девушка — повидимому, дочь инженера. Скрытый кустами, Бережков наблюдал, не решаясь шагнуть дальше. Его вдруг охватила робость. В предыдущие приезды он уже бывал с чертежами «АДВИ-100» в служебном кабинете у Любарского, волновался, доказывал, настаивал, но главный инженер в неизменно корректной манере, от которой Бережков ещё более бесился, всегда умел его «отшить».

«Выставит! — размышлял Бережков, глядя на Любарского и невольно, глазом старого спортсмена, оценивая его искусные сильные удары.— Обязательно в два счёта выставит!.. Ну, была не была, вперёд!»

Набравшись решимости, он выступил из зелёной засады, скромно поклонился и проговорил:

— Здравствуйте...

Игра прервалась.

— А, это вы?! — протянул Любарский.

Бережков ощутил, что интонация была уничтожающей. Казалось, все его хитрости Любарский разгадал с одного взгляда. Некстати улыбаясь, Бережков стоял с чемоданом в руке под этим прищуренным взглядом. Главный инженер не спешил нарушить молчание.

— Присядьте,— предложил он наконец, указывая на скамейку.— Прошу вас подождать одну минуту.

И, обернувшись к женщинам, другим тоном воскликнул:

— Одну минуту для победы! Доктор, продолжайте. Я готов...

Бережков сел, рассеянно взглянул на докторскую сумку, которая лежала на скамейке, на дамский велосипед, прислонённый рядом.

Изволь-ка, очаруй этого Любарского! И с какой стати его очаровывать, любезить, унижаться перед ним? Ведь Бережков не милости пришёл сюда просить! Ведь этому чёрту, главному инженеру, предписано, приказано построить машину «АДВИ-100». Чего же он отлынивает? И встречает автора конструкции этаким оскорбительным прищуром, словно надоевшего маньяка-изобретателя? Бережков покраснел, ещё раз представив себе прищуренный холодный взгляд Любарского и свою, как теперь ему казалось, глупую улыбку. Он смотрел на порхающего по площадке инженера, который уже ничем не проявлял к нему внимания и даже будто забыл про него,— смотрел и злился. Его опять подмывало поскандалить. Но вспомнилось наставление Шелеста: «Будьте мудры, как змий». Да, самое умное — обойтись без драки. «Хорошо, обворожу, чёрт его возьми! Не будь я Бережков, если не обворожу! Но как? Надо немедленно придумать гениальный ход!»

Время, однако, убегало, а гениальных ходов Бережков не находил. В прошлом любитель всяческого спорта, отчаянный гонщик на мотоцикле, автомобиле, аэросанях, Бережков был когда-то и страстным теннисистом. «Плохие мячи»,— машинально отметил он, приглядываясь к игре. Один мяч подкатился к нему. Бережков с готовностью вскочил, поднял, попробовал на ощупь — мячик был очень вял. Кинув мяч и снова усевшись, он вдруг со странным вниманием посмотрел на раскрытую врачевную сумку. В ту минуту он ещё сам не осознал, чем она его так заинтересовала.

— Понимаете ли вы толк в шахматной игре? — неожиданно спросил меня в этом месте рассказа Бережков. — Представляете ли, что такое комбинация? Вы смотрите на шахматы и не замечаете её, эту комбинацию, но, тем не менее, она содержится, таится на доске. Потом вдруг что-то брезжит перед вами, какое-то первое смутное прозрение. Это ещё не сама комбинация, но уже её предчувствие.

Бережков смотрел на свою шахматную доску, видел скамейку, сумку, сад, велосипед, теннисный корт, взмахи ракетки, тяжело прыгающий мяч, и вдруг перед ним замерцала комбинация, или, пользуясь его выражением, может быть, лишь её предчувствие. Но он на ней не сосредоточился. В мыслях возникали всякие другие ходы.

Выиграв партию, поклонившись с улыбкой партнёрам, Любарский направился к скамье. Подошли и женщины. Бережков поспешил встать.

— Так... Это, значит, вы?! — произнёс прежнюю фразу Любарский. — Что же, пойдёмте. — И, обернувшись, добавил: — У дам прошу извинения. Отдохните, пожалуйста, десять минут, пока я не освобожусь.

Бережкова он не представил. Это явно означало, что он не принимает его как гостя в своём доме. Бережков торопливо заговорил:

— Нет, это я должен просить извинения. Простите, что я вторгся. Но я только что с поезда, прямо из Москвы.

— Из Москвы? — переспросила дочь инженера. — Привезли бы нам новые мячи. Я не могу этими играть. Никакого удовольствия.

— Да, ужаснейшая дрянь, — процедил Любарский. — Не догадались?

Он попрежнему разглядывал Бережкова со слегка иронической спокойной усмешкой. Его взгляд словно говорил: «Не хватило у вас, сударь, ловкости на это?» Бережков снова ощутил прилив злости. В этот же миг перед ним в воображении, словно из туманной подводной глубины, взвилась на белый свет, заблестала его выдумка, его комбинация. Уши мгновенно покраснели.

— Догадался! — выпалил он.

16

Ему ответили возгласами:

— Давайте их! Где же они, ваши мячи?

— Пожалуйста, здесь!

Сразу преобразившись, Бережков хлопнул ладонью по докторской сумке и, сложив на груди руки, вскинул голову.

— Здесь! — загадочно повторил он. — Для этого в Москву ездить не надобно. Через двадцать минут мы будем играть великолепными мячами. И обещаю вам: с этих пор вы всегда будете иметь чудесные мячи. Дайте мне...

Он умолк и, поглядывая на окружающих, стал закатывать рукава. Он уже проникся несокрушимой верой в свою выдумку, которая только что родилась в нём, уже вёл себя, как волшебник, как артист.

Девушка не выдержала.

— Что же вам дать?

— Вот видите, в сумке два медицинских шприца. Я их попрошу.

Любарский спросил:

— Два шприца? Зачем?

— Спрысну эти мячики живой водой!

— Папа! Доктор! Сейчас же! Посмотрим, как это у него... Простите, как вас зовут?

Отрекомендовавшись, наш герой спросил:

— А вас?

(Однако имени девушки, замечу в скобках, я от Бережкова не узнал. Он стал было рассказывать: «Её глаза, когда она на меня смотрела...» И попытался своими маленькими глазками изобразить восхищённый

женский взгляд. Но спохватился: «Тссс! Об этом ни звука в нашей по-вести!»)

— Теперь я попрошу,— продолжал командовать он,— велосипедный насос... И немного резинового клея.

Через минуту Бережков безбоязненно, словно хирург, проколол мяч шприцем, наполненным резиновым клеем. Затем рядом, на расстоянии двух-трёх миллиметров, вонзил ещё один шприц, соединённый со шлангом насоса.

— Прошу покачать,— сказал он, бережно поддерживая на весу всё сооружение.— Ещё! Ещё! — Мяч становился упругим, твердел в его руках.— Ещё! Теперь стоп!

Осторожно нажав на второй шприц, он ввёл каплю клея внутрь мяча. Затем быстро выдернул обе иглы.

В тот же миг публика была разочарована. Из проколов с тонким свистом вышел воздух. Перед зрителями был никому не интересный, продырявленный, куда не годный мяч. Бережкова бросило в холодный пот. Как так? Почему он оконфузился? Неужели вся выдумка ошибочна? Бережков, однако, не выказал смущения.

— Не получилось! — победоносно объявил он.— Так и должно быть по закону Аристотеля.

— Кого? — вырвалось у девушки.

— Аристотеля! — смело подтвердил Бережков.— И русского естествоиспытателя, изобретателя аэросаней, Пантелеймона Гусина. Прошу внимания! С вашего позволения беру следующий мяч!

Все процедуры, уже ранее совершённые над другим мячом, были проделаны вновь. В мыслях Бережков лихорадочно доискивался: где же, в чём же он допустил ошибку? Опять он осторожно нажимает на шприц с резиновым клеем... Осторожно?... Может быть, в этом загвоздка? Может быть, он переосторожничал, впустил маловато клею? А ну, нажмём грубей! Вот так... Теперь выдернем обе иглы.

Подвергшийся операции мяч лежал на ладони Бережкова. Тот ждал: сейчас придётся, наверное, услышать тонкий свист воздуха, который вырвется из дырочек... Нет, насторожённое ухо не улавливало ничего похожего на такой свист. Маленькое чудо конструктора Бережкова свершилось. Облезший, ослабевший, старый мяч был омоложен, стал упругим. Воздух из него не выходил: клей мгновенно закупорил проколы под сильным давлением изнутри.

— Пожалуйста! — Бережков с силой бросил мяч о землю и поймал его высоко в воздухе.— Давайте сюда все ваши мячи! Патент оставляю за собой...

— Патент? Неужели вы это придумали? — воскликнул Любарский.

— Клянусь, только что придумал.

— А ну, дайте-ка сюда.

Он взял у Бережкова оба шприца, с интересом повертел их, принял от дочери следующий вялый мяч и, держа всё это перед собой, рассмеялся.

— Просто! Удивительно просто! — проговорил он.

И воткнул в мяч одну за другой обе иглы. Бережков поймал его улыбку,— как ни странно, она напоминала сейчас прирождённую ребячливую улыбку самого Бережкова. Скрывая волнение, которое било его, как озноб, Бережков с ожесточением стал работать насосом. Любарский очень ловко проделал всю операцию. Было видно, что он тоже по натуре конструктор, что вещи легко подчиняются его умелым длинным пальцам. Омолождённый мяч и на этот раз отлично запрыгал.

Главный инженер уже смотрел без отчуждения на своего гостя. Бережкова охватил восторг.

О, он порасскажет в Москве, в институте, о своих подвигах, о том, как оттаял этот неприступный инженер с мефистофельской острой бородкой. Любарский надул ещё один мяч, потом третий, четвёртый.

— Вы тоже любите теннис? — спрашивал он.

— Ещё бы!

Позабыв о своей хромоте, Бережков готов был хоть сейчас выбежать с ракеткой на площадку. Он был так возбуждён, что и впрямь смог бы, наверное, показать неплохой класс игры. Однако Любарский уже говорил о другом:

— Где же ваш голубой конверт? По телефону вы прелестно меня заинтриговали... Сочинили целый роман.

— Что вы? Никогда не сочиняю. У меня для вас письмо от Августа Ивановича Шелеста и огромный том французского журнала с его надписью: «Нежному поклоннику и рыцарю моторов...»

— Моторов? — Любарский расхохотался. — Какой же журнал? За какой год?

Выслушав ответ, он живо сказал:

— О, для меня это новинка. С удовольствием посмотрю. Спасибо. Разрешите пригласить вас в кабинет.

— Нет! — вмешалась дочь Любарского. — Хозяйка я. Приглашаю нашего гостя к чаю.

«Нашего гостя!» Что ещё требовалось Бережкову? «Победа! Победа!» — безмолвно повторял он, словно посылая радостные радиосигналы товарищам в Москву.

Вскоре он уже сидел за чаем на террасе и расписывал дамам прелести столичной жизни.

17

После чая Любарский любезно сказал:

— Пройдёмте ко мне...

Огромный домашний кабинет главного инженера был расположен на втором этаже. Одна стена, срезанная по уголкам косыми гранями, была почти сплошь из стекла, словно фонарь. Отсюда далеко виднелось течение Днепра, кое-где будто прерванное изгибом берега, потом вновь блистающее в мареве солнца. Широко расстилалась приднепровская степь, изрезанная то свежзелёными, то желтоватыми, то тёмными полосками. Горизонт был неотчётлив; в неясной дымке степь сливалась с небом.

— Потрясающе! — воскликнул Бережков, залюбовавшись. — Потрясающий вид!

— Вам нравится? — откликнулся Любарский. — Я стал тут архитектором. Сам переоборудовал дом и устроил этот фонарик.

— Прелестно!

Бережков посмотрел направо и налево, в обе скошенные грани стеклянной стены.

— А где же завод? — спросил он.

— Позади. В это окно его не видно. Здесь только открытая даль.

У окна на специальной лакированной подставке находился радиоприёмник, что в те времена было новинкой. Рядом стояли плетёные кресла и качалка.

— Я люблю здесь отдыхать, — говорил Любарский. — Слушаешь музыку и смотришь туда.

Он помолчал и негромко продекламировал:

— «Россия, нищая Россия! Мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слёзы первые любви...» Вы помните?

К стыду нашего героя, Бережков не помнил этих строк. И серых изб в окно он не увидел. Далеко на том берегу, в селе, белели украинские

мазанки. Ни одной струны в его душе не затронуло умиление нищей Россией. Но он поспешил закивать в знак понимания.

— Присаживайтесь. Выбирайте, где удобнее,— предложил Любарский, указывая на кресло и диван.

В кабинете среди прочей мебели уместилась чертёжная доска и некрашенный рабочий стол, где Бережков заметил тиски, инструменты и миниатюрный разобранный моторчик. Бережков покосился туда и отвёл взгляд, чтобы не показаться нескромным.

— Там ваша мастерская? — деликатно спросил он.

— Да. Посмотрите-ка эту вещичку.

Они подошли к столу.

— Э, тут у вас, Владимир Георгиевич, что-то очень любопытное.

— Мотор моей конструкции в одну десятую лошадиной силы.

— Для чего же такой маленький?

— Хочу на днях запустить авиамодель с одним оригинальным пассажиром.

— С пассажиром? На таком моторчике?

— Да... Вот, не угодно ли?..

Любарский достал и протянул гостю большую фотографию. В небе парил коробчатый воздушный змей с привязанной плетёной корзинкой.

— Держите лупу... Видите, оттуда торчит собачья мордочка? Это у меня собака-лётчик... Сейчас мы её вызовем.

Повернувшись к распахнутой створке окна, Любарский заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Этот мальчишеский жест, мальчишеский свист восхитили Бережкова. Он тоже любил в свободный час поражать друзей и знакомых всяческими фокусами и с удовольствием узнавал такую же жилку в Любарском. Собака, однако, не явилась на призыв.

— Ушла, верно, с ребятами,— сказал Любарский.— Ничего, потом мы ещё раз её свистнем.

Бережкову понравилось и это — показалось очень милым, что учёная собачка где-то бегаёт на воле. Он уже чувствовал себя очень удобно и приятно в этом доме, уже не сомневался, что сумеет, когда подойдёт решающий миг, с вдохновением и блеском, как артист в ударе, добиться того, за чем приехал.

А пока Бережков склонился над моторчиком, рассмотрел его устройство.

— Чудесная идея! Я тоже, Владимир Георгиевич, когда-то сконструировал нечто подобное, но применил другой принцип.

Он вынул карандаш, попросил листок бумаги и быстро набросал схему. Любарский следил с интересом.

— Работал он у вас?

— Да. Работал по несколько минут. И ломался. Потом я его забросил.

— Потом забросил... Извечная наша история. Тема для бессмертного романа о России.

— Нет. Хочется, чтобы герой в конце концов всё-таки дожал! Вот была бы книга!

Этот ответ рассмешил Любарского.

— В технике вы мыслите куда оригинальнее,— сказал он и, не продолжая философического разговора, снова взял набросок.— Что вы скажете, если я попробую сделать маленький моторчик, используя ваш принцип?

— Пожалуйста... Доходы пополам,— пошутил Бережков.— И слава тоже.

Любарский опять рассмеялся;

— Какие доходы? Какая слава? Где вы живёте? Эти милые игрушки я делаю собственноручно для собственного удовольствия.

— Но ведь потом такой моторчик можно запустить в серию, выпустить на заводе для авиалюбителей.

— Что вы? Ей-богу, вы ребёнок! Где у нас вы найдёте завод, который смог бы производить эти вещицы, требующие тончайшей обработки? Ведь всё это я сам отшлифовал...

Здесь же на столе лежал и чертёж моторчика. Завязался разговор специалистов. Бережков снова восхитился некоторыми тонкостями в конструкторском решении, потом спросил:

— Вы позволите, Владимир Георгиевич, критиковать?

Любарский с улыбкой разрешил.

— Не кажется ли вам, что эта группа,— Бережков обвёл кончиком карандаша некоторые детали в чертеже,— не совсем вам удалась? Что она как-то тяжелит всю вещь?

Главный инженер уже не улыбался. Да, Бережков угадал. Во всей конструкции эта часть была единственной, которая не удовлетворяла и Любарского; он изорвал много чертёжной бумаги, но под конец всё-таки сдался, примирился с вариантом, который ему самому казался грубым.

— А что, если бы,— продолжал Бережков,— вы в этом месте дали ей две степени свободы. Предоставили бы ей возможность поиграть...

В один миг он что-то поправил в чертеже. И тотчас с опаской посмотрел на автора. Но Любарский сказал:

— Так, так... Развивайте вашу мысль...

Несколькими взмахами карандаша Бережков на чистом листке изобразил свою мысль.

— Видите, тогда вся эта группа...

— Верно! — воскликнул Любарский.

Не раз он в своих поисках ходил около этой же идеи, и она теперь уже казалась ему собственной.

— Верно! Я сам об этом думал! Но вы-то как это нашли?

Бережков порозовел. Он был чувствителен к похвалам.

— Чудо-ребёнок,— со свойственной ему скромностью произнёс он и развёл руками.

— Чудо-ребёнок,— повторил, смеясь, Любарский.— А ну, невинное дитя, давайте-ка ваше письмо...

Заветный чемодан тотчас был раскрыт. Вручив Любарскому письмо, Бережков положил книги аккуратной стопкой на круглый столик у дивана. Заблестело вытисненное золотом название французского журнала. У Любарского вырвалось:

— Ах, как они это умеют!

Кончиками пальцев он провёл по переплёту, по очень искусной имитации кожи. Пробежав письмо, он опять тронул переплёт, раскрыл и с улыбкой прочёл надпись:

— «Нежному поклоннику...» Жаль, что у меня давно ничего не было в печати. Я написал бы ему: «Милой лисичке Августу Ивановичу Шелесту». С удовольствием провёл бы с ним вечерок, посидели бы, пофилософствовали... Разносная статья о его книге? Любопытно...

— Сейчас я вам найду.

Бережков потянул к себе тяжёлый том и... И последовал именно тот эффект, что предсказал Шелест. Под журналом лежали альбомы. Их увидел Любарский.

— Что это? Французы? — Он сразу взял альбомы в руки и расположился поудобнее на диване.— Где вы достали?

— У Августа Ивановича. Выпросил себе в дорогу, чтобы поглядеть в поезде для развлечения.

— Боже мой! Поглядеть! В поезде! Для развлечения! — Любарский осторожно переворачивал большие шершавые листы с приклеенными репродукциями, прикрытыми тончайшей папиросной бумагой. — Ах, как переданы краски! В поезде! Варвар! Этим надо упиваться, созерцать... Ведь это художественные откровения, красота отчаяния, повесть нашего века...

— Нашего века?

— Неужели вас это не трогает? Вот, посмотрите... Одинокий пьяница перед пустой рюмкой. Взгляните на его лицо, на эту упавшую руку. Тут и рука говорит о том, что... — Любарский помолчал, не отводя взгляда от листа. — Нет, этого не скажешь словами. Какой мрак! Ничего впереди! Только эта рюмка! Какая страшная повесть о жизни...

Любарский опять помолчал. Чувствовалось, что его волнует эта живопись. Он развернул другой альбом. Открылась отлично воспроизведённая картина Ван-Гога «Прогулка заключённых». В четырёхугольнике тюремного двора шагали друг за другом по кругу на прогулке заключённые.

— А эту вещь можно ли забыть! — воскликнул Любарский.

Сдержанный, суховато корректный в служебные часы, он в иной обстановке, с людьми своей среды (а такими были для него преимущественно инженеры) любил поговорить и не мог сейчас отказать себе в этом удовольствии. Бережков лишь внимал — излияния главного инженера были для него ещё одним знаком признания.

— Вглядитесь в эти тона, — говорил Любарский. — Как в них выражена безнадежность!.. Голубые и сиреневые камни... Вечные сумерки... Здесь никогда не бывает солнца. И никуда не вырвешься из этих стен... Ходи, ходи по кругу... Для чего, зачем? Не ищи ответа... Или, вернее, художник дал ответ: наша жизнь — тюрьма.

Он вздохнул и продолжал:

— Тюрьма... Тяжёлая, жуткая бессмыслица. Кто из наших сумел так выразить трагедию существования?

Бережков не прерывал. С нетерпением выжидая момента для разговора о моторе «АДВИ-100», о головках с воздушным охлаждением, внутренне напряжённый, как перед броском, он старался быть почтительным, хотя в душе ему казалось немного комичным, что этот удобно развалившийся на диване инженер, по-спортсменски сухощавый, загорелый, небрежно-элегантный, имеющий в своём распоряжении целый завод, устроивший по собственному проекту эту комнату, кабинет-мастерскую, где сконструировал для забавы моторчик-игрушку, — казалось немного комичным, что он сокрушается о том, что «жизнь — тюрьма». Бережков попытался было ради почтительности, ради душевного контакта настроиться на такой же тон, меланхолически вздохнуть, показать и себя тонкой натурой, но ему это решительно не удавалось.

«Какая тюрьма?» — думал он.

Даже эта минута, когда главный инженер, смакуя, не спеша наслаждался раскрытым альбомом и, почти декламируя, толковал картину Ван-Гога, а Бережков с невинным лицом смиренно слушал, — даже эта минута, как ощущал Бережков, была трепетна, необыкновенно интересна, насыщена скрытым электричеством. «Жизнь — тюрьма». Что за чепуха! А эта борьба за мотор — разве это не настоящая жизнь? Каких же красок, каких страстей тут ещё не хватает?!

Вечные сумерки... Откуда ему это взбрело? Бережков посмотрел в окно, в красочный, залитый солнцем мир. Теперь, когда солнце, всё ещё яркое, горячее, перевалило на вечер, там всё стало отчётливее. Уже не сливались в одну блистающую гладь течение Днепра и пески. Вдали небо и земля разделились; само небо уже было не блёклым, а яркоголубым; разбросанные, кое-где сияющие белизной облака тоже словно приобрели форму, рельефность. Было видно, как на лёгком ветру трепетали листья

тополя, как играли в зелени тени и свет. Да, вот она, жизнь, её трепетание...

Бережкова подмывало затеять дискуссию. Когда-то, горестно макая кисть в заветную баночку эмалевой краски и окрашивая старое жестяное корыто, он хоронил мечты, предавался мыслям, похожим на те, что высказывает сейчас Любарский. Но, чёрт возьми, разве плоха вторая его, Бережкова, жизнь?! Разве он не обрёл снова мечты, дерзания, веру? Э, синьор Любарский, вы, я вижу, просто не сумели шагнуть во вторую свою жизнь, всё скорбите о первой!

Бережков, однако, удержался от возражений. «Не ляпнуть бы чего-нибудь не в лад!» — предостерегал он себя. Но что-нибудь надо же сказать! Любарский вот-вот, ища понимания, вопрошающе взглянет на него, а Бережков, сколько ни шарил, ни одной реплики в тон Любарскому не находил. Ой, худо, худо! Надо скорее выбираться с этой зыбкой почвы. Хватит живописцев! Ведь у него подготовлен ещё один эффект — самый главный, последний и неотразимый! Пора, пора! Пришло время для мотора. «Разрешите, — Бережков в воображении галантно откланялся художникам, — отпустить вас с миром». Он осторожно придвинул комплект французского журнала; покосившись, проверил, на месте ли красная шёлковая тесьма-закладка, и стал выжидать паузу.

Однако, заметив движение Бережкова, Любарский наложил руку на раскрытый альбом.

— Нет, нет, не трогайте... — Он опять обратил взор на картину Ван-Гога, вздохнул. — Тюрьма, тюрьма... Круг заключённых... Перед этим полотном я когда-то простаивал часами... Ведь художник тут рассказал и обо мне, о нас, мой дорогой... Нет, как хотите, гениальное произведение, а? Откинувшись, он наконец посмотрел на Бережкова.

18

В тот же момент Бережков протянул ему комплект журнала.

— А это, Владимир Георгиевич?! Что вы скажете об этих произведениях?

Развернув том на заложенном месте, он ловко положил его на колени Любарскому поверх альбома.

— Варвар! — вскрикнул Любарский. — Помнёте!

Бережков немедленно помог высвободить альбом из-под тяжёлой книги, и Любарский успокоился лишь после того, как цветной оттиск знаменитой «Прогулки заключённых» был прикрыт папиросной бумагой и в таком виде, под флёром, оказался в безопасности на столике. Бережков в эти минуты, по его словам, сгорал от нетерпения. Но вот главный инженер снова уселся поудобнее и обратил взор на преподнесённое ему новое произведение.

Справившись с расчётными данными, напечатанными тут же, Любарский сделал несколько тонких замечаний.

— Обратите внимание, — говорил он, — как вписалась сюда линия маслоподачи. Чисто французская лёгкость. А в общем... В общем ничего особенного. Вещь сделана способными людьми. Но где в ней откровение, волшебство, то, чем нас поражает гений?

Бережков от души соглашался. Он был такого же мнения об этой новинке. Дай он себе волю, как это бывало в жарких дискуссиях в АДВИ, и от неё полетели бы перья и пух. Да, посредственный французский моторчик. Обычный средний уровень, достигнутый европейским моторостроением. А линия маслоподачи действительно удачна. Приятно, что Любарский так верно и остро чувствует эстетику машины. Бережков деликатно высказал этот комплимент.

— Эстетика машины! — с удовольствием повторил Любарский. — Вы бывали во Франции? У французов эстетика в крови. Там всё грациозно. Вот страна, где жизнь — очарование.

Он продолжал нежно распространяться о Франции, снова почти декламируя и, казалось, совершенно позабыв, как только что он сам, трактуя новых французских художников, прочёл в их картинах отчаяние, трагедию существования. Но Бережков теперь не дал ему повитать.

— А головки? Не находите ли вы, Владимир Георгиевич, что они, пожалуй, всё-таки как-то мало эстетичны?

— Какие головки? А, эти... — Любарский опять обратился к журналу. — Нет, почему? Головки, по-моему, как раз безупречны.

Этого только и ждал Бережков. В тот же момент рядом с напечатанным в журнале чертежом лёг небольшой фотоснимок продольного разреза «АДВИ-100». Любарский так и не уловил, откуда его гость достал эту глянцевику, ничуть не помятую карточку — из кармана ли, из рукава или попросту из воздуха.

— Владимир Георгиевич, вот... — В голосе Бережкова звучали нотки и торжества и просьбы. — Вот, ведь в нашем проекте головки такого же типа!

Два чертежа лежали рядом. Что же теперь мог возразить главный инженер? Наконец-то, наконец-то он обезоружен, он пойман.

Любарский взял снимок и немного откинулся, чтобы взглянуть издали. Проведя сегодня полтора-два часа в непринуждённом общении с Бережковым, расположившись к нему, он по-новому рассматривал работу, которую дотеле в качестве главного инженера завода упорно отклонял.

— Это вы сконструировали?

— Да, принимал в этом участие, — скромно ответил Бережков.

— Что же, недурно... Тоже, конечно, ничего особенного, но приятно скопировано. Безукоризненна общая контурная линия. Она у вас, я бы сказал, женственна. Я тоже всегда стремлюсь дать такое очертание и, откровенно говоря, могу вам позавидовать. Вещица, конечно, не хуже «Испано».

— Так постройте же, Владимир Георгиевич, её!

— С удовольствием бы! Но где?

— Как «где»? На вашем заводе.

— Здесь?

Усталым движением Любарский показал куда-то за спину, за стену, где находился завод, которого не было видно отсюда, из огромного окна. На загорелом лице с острой бородкой мелькнула гримаска.

19

— Неужели вы серьёзно думаете, — говорил Любарский, — что мы можем построить ваш мотор?

— Но почему же нет? Ведь вы же сами сказали «ничего особенного». Ведь французы же...

— Боже, вы в самом деле дитя! Такие люди, как мы с вами, должны же понимать, что не нам в нашей дыре производить машины, которые теперь делаются за границей. Вы мне очень симпатичны, но, голубчик, вашего мотора мы не сделаем.

Любарский утомлённо опустил веки. Они были морщинистыми, как мелко измятая бумага. Пожалуй, лишь они выдавали возраст этого щеголеватого, барственного инженера, всё ещё каждый день игравшего в теннис. Сейчас он казался стариком.

Бережков смотрел с ненавистью на эти веки. В ту минуту он увидел под блестящим покровом таланта, артистизма, образованности омертвевшую ткань, выжженную дочерна душу. Так вот почему его сиятельство,

этот маркиз из Заднепровья, декламировал об отчаянии, опустошённости, тюрьме. Он сам опустошён, и мир для него тёмн. Можно ли найти ещё слова, чтобы как-нибудь подействовать на него? Нет, всё уже сказано, потрачено столько нервной силы, употреблено всё, чем был наделён Бережков, совершён последний, много раз продуманный, неотразимый ход и... И в ответ пустой взор, скучающе опущенные веки. Нет, здесь действительно не построят мотора, пока главным инженером останется этот равнодушный и страшный человек.

Бережков бросил взгляд на раскрытый альбом, бережно положенный на круглый столик. Из-под прозрачной бумаги просвечивала картина Ван-Гога: понурые арестанты на прогулке в тюремном дворе. Не владея собой, он вскочил и сорвал прозрачный лист.

— В тюрьму! — закричал он. — В тюрьму!

И ударил кулаком по альбому без всякого почтения к искусству. Любарский ошеломлённо выпрямился. Лицо сразу стало холодно-высокомерным.

— Вы, мне кажется...

— Нет, вам не кажется! — прервал Бережков. Он уже не кричал, он взял себя в руки и отчётливо, как бы спокойно выговаривал каждое слово. — Вот где для вас место!

— Будьте любезны, потрудитесь оставить этот дом. Сходить с ума можно и на улице.

— Да, я потружусь! Мы всё-таки построим свой мотор, а вас... Вас я сам загоню сюда!

Бережков ещё раз ударил кулаком по репродукции и, круто повернувшись, оставив альбомы, вышел от Любарского.

20

Хлопнув дверью в доме главного инженера, Бережков направился в гостиницу, устроился там. Он решил пораньше лечь, скорее уснуть. Это было его испытанным средством против всяких огорчений: во сне зарубцовывались душевные раны. Какой тяжёлый день! С языка рвались ругательства, когда он думал о Любарском. Холодный убийца! Душегуб! Удушил, негодяй, наше творение. Но как бы не так! Бережков отоспится, зарядится новой энергией, и утром что-нибудь придумает, повоюет ещё за свой мотор.

Однако он ворочался без сна. Как тут уснёшь, когда перед глазами так и стоит этот проклятый Любарский. Вот он, прищурясь, с ракеткой в загорелой руке, холодно цедит: «А, это вы?» Вот он, удобно развалившись на диване, скучающе смотрит, говорит: «Такие люди, как мы с вами, должны же понимать». Мы с вами... Прогнившая тварь! Вывести его и расстрелять! Сам его убью! Это тотчас явилось воображению. Любарского ведут к оврагу. Читается приказ: «Виновен в том, что душит творчество... Душит свой завод... Потерял честь инженера... Расстрелять!» И Бережков наводит револьвер, спускает, не дрогнув, курок.

Но как же в конце концов уснуть?

Бережков откинул одеяло, подошёл к открытому окну и вдохнул запах акации. Как тихо кругом! Повсюду в окнах темно. Городок спит. В лунной полумгле он разглядел протянувшуюся к бледным звёздам железную трубу завода. Да, слабенький заводик. Даже труба в нём не из кирпича. Однако и на таком сколько можно всего сотворить! Опять поднялась тоска. Вспомнились мастерские Технического училища: токарно-механическая, литейная, кузнечная. Какими чудесными они казались Бережкову, когда он первый раз туда вошёл. Он тогда забросил занятия в институте, потерял голову, словно влюблённый, и напролёт целыми днями мастерил свой первый двигатель, лодочный мотор. Вспомнился Люди-

новский завод — мощное передовое предприятие, где выпускались тяжёлые двигатели—локомобили. Как был счастлив Бережков на студенческой практике там! Даже сейчас, когда он стоял у раскрытого окна над кустами цветущей акации, ему почудились запахи завода: газок расплавленного чугуна, залитого в чёрную, тоже по-своему пахнущую формовочную землю, испарения мыльной эмульсии, омывающей горячие, снимающие стружку резцы, и самый аромат этой свежей стальной стружки у станков.

Подумаешь, нельзя отлить головок! Надо захотеть, увлечься. Это же чудо как интересно! В памяти всплыл пренебрежительный, усталый жест, каким Любарский ткнул в направлении завода, указал куда-то за спину, за глухую стену своего кабинета с огромным окном-фонарём. Нарочно, сибарит, поставил так это окно. Расстрелять! Только расстрелять!

Душно... Не заснуть... Почти не замечая, что он делает, Бережков оделся и вышел. Он брёл машинально, как лунатик. Но не луна его влекла. Не луна, а труба завода.

21

Бережков брёл по ночным пустынным улицам. В тишине он слышал лишь свои шаги. Нет... Всё время улавливался ещё какой-то звук. Будто ровный далёкий гул мотора. Или водопад... А, это воды Днепра kloкочут в порогах. Далеко же разносится глухой ночью этот шум.

Загудит ли когда-нибудь несчастный «АДВИ-100»? Коснётся ли Бережков когда-нибудь его металлических шершавых стенок, ощутит ли пальцами его биение и тепло?

Впереди послышалась песня. Откуда же это? Тут и домов поблизости нет. Бережков уже шёл мимо заводского забора, за которым всё было темно. Юношеский высокий голос выводил:

Волга, Волга, мать родная,
Волга, русская река...

В приднепровском городке пели о Волге. В этом, разумеется, не было ничего удивительного, но пели как-то необычно, слишком размеренно. Бережков прислушался. Запевале вторили несколько молодых голосов. Откуда же они доносятся? Кажется, поют где-то за забором. Или, пожалуй, дальше: за углом этой темнеющей длинной ограды. Гуляют? Не похоже. Никто не горланит, ни присвиста, ни пьяного вскрика. Допели «Стеньку Разина». Зазвучал другой мотив:

С неба полудённого
Жара — не подступи...

Сразу вступили те же голоса. Темп опять был слегка замедленным, очень мерным.

Конница Будённого
Раскинулась в степи.

Дойдя до угла, Бережков за поворотом забора увидел косые полосы электрического света из двух раскрытых окон главной конторы завода. В большой комнате с некрашенными покатыми столами несколько человек чертили и пели. Запевал белообрый парень, лет семнадцати на вид, с комсомольским значком на рубашке. Он чертил очень усердно. Прежде чем провести линию, он пробовал рейсфедер не только на клочке бумаги, но порой и на собственной руке. Левое запястье с той стороны, где прощупывается пульс, было до локтевого сгиба испещрено чёрточками туши. Рядом, подтягивая, работал молодой инженер в синей, сильно выцветшей парусиновой куртке, с которым Бережков уже встречался на заводе. Как его фамилия? Кажется, Никифоров. Или Никитин. Он заведовал здесь конструкторским отделом. Раньше, в предыдущие приезды, Бережков почти

не обращал на него внимания. Новых моторов здесь не проектировали, должность главного конструктора считалась ненужной, а так называемый конструкторский отдел был по существу, как понимал Бережков, заурядным чертёжным бюро, не оказывающим сколько-нибудь серьёзного влияния на заводские дела. Поэтому, видимо, туда и назначили заведующим какого-то птенца, только что выпущенного инженера.

Что же он, как его, Никифоров или Никитин, тут затеял? Чем-то очень знакомым веяло от этой картины, представшей Бережкову в раме ярко освещённого окна. Сразу припомнилось, как много месяцев назад в «избушке», вот так же по ночам, только без песен, питомцы Шелеста вычерчивали детали «АДВИ-100», стремясь скорее выпустить проект.

Из темноты Бережков невольно со вниманием обежал глазами стены. Да, на большом листе в деревянной рамке был изображён общий вид какого-то мотора. Чёткие буквы составляли надпись «Заднепровье-100». Бережков тихо присвистнул. Ого, проектируют свою машину. И тоже в сто сил. Сощурившись, он разобрал на листе и строчку помельче: «Конструкция инженера П. Никитина». Вот, значит, кто тут настоящий запевала! Пожалуй, если приглядеться, у него любопытное лицо. Несколько скуластое. Небольшая горбинка на носу. И как бы упрямо оттопыренные уши. И темнорусые слегка вьющиеся волосы.

За чертёжными столами слаженно пели:

Никто пути пройденного
У нас не отберёт...

— Можно войти? — крикнул Бережков.

Он стоял уже на свету у подоконника. Все обернулись.

— А, товарищ Бережков?! — сказал Никитин. — Пожалуйста, пожалуйста... Сейчас мы проведём вас сюда. Павлуша! (Паренёк-запевала встрепенулся.) Или... Не махнёте ли, товарищ Бережков, через окно?

— Не знаю... Кажется, отнялись ноги.

— Почему же?

— Проходил мимо и остолбенел, когда увидел...

— Наш мотор?

— Мотора-то я, собственно, ещё не разглядел.

— Так посмотрите... Интересно, что вы скажете.

Никитин подошёл и протянул руку. Бережков сжал её и одним прыжком сел на подоконник. Перекинув ноги, он оказался в комнате.

22

У Никитина слегка заходили желваки, когда Бережков остановился у большого чертежа, оправленного в деревянную рамку. На лице, по-южному смуглом, проступил темноватый, почти незаметный румянец. На лбу яснее обозначилась светлая чёрточка шрама.

Бережков молча рассматривал чертёж мотора. В первый момент, когда он охватил одним взглядом конструкцию, у него чуть не вырвалось: «Страшилище!» Ха-ха... Вздумали состязаться с нами. Посмотрел бы Август Иванович! Сработано не рейсфедером, а топором. Ну и ну, что этот Никитин натворил с динамкой. Она не вместились в габариты мотора, и конструктор — ха-ха, вот так конструктор! — не нашёл ничего лучшего, как вынести её за контурную линию. У, как она торчит!

В комнате все ждали, что скажет Бережков.

— Я вижу, что мы пробудили у вас творческую жилку, — проговорил наконец он.

— Товарищ Бережков, можно попросить вас об одной любезности?

— Конечно.

— Выскажите своё мнение напрямик.

— Что же сказать? Откровенно говоря, тут столько ещё не продумано, не найдено, что...— С невольной улыбкой превосходства столичный гость стал разбирать проект.— Ну, начать хотя бы вот с чего... Разве вы не могли бы срезать эти углы, дать более плавный естественный изгиб, уменьшающий лобовое сопротивление?

Никитин уже выглядел спокойным. У скул под смуглой кожей ничто больше не ворочалось. Схлынул темноватый румянец.

— Естественный? В этом я сомневаюсь. Углы дают мне жёсткость. Я проигрываю в лобовом сопротивлении, но выигрываю в мощности на единицу объёма и веса. Эти величины поддаются определению. И разница будет в мою пользу.

Взяв со стола карандаш, вынув из футляра счётную линейку, он тут же на стене стал вычислять. На белой штукатурке быстро возникала длинная цепь уравнений. Бережков улыбался. Смешно: ему, выученику и сотруднику профессора Шелеста, толкуют здесь о жёсткости. Однако этот Никитин, пожалуй, кое-что понимает. Оригинально строит доказательство. Неужели он сам додумался до этих формул? Бережков уже следил с интересом.

— Позвольте,— сказал он,— но у вас тут получился другой коэффициент, чем в курсе Шелеста.

— Пожалуйста. Укажите координаты этой библии.

— Координаты... библии?

— Да. Том, главу, страницу. Мы сейчас достанем и проверим.

— Кого? Шелеста?

— А что же он, непогрешим?

Никитин дошёл вычисления до конца и протянул Бережкову карандаш.

— Прошу опровергнуть!

— И нечем крыть! — выпалил белобрысый парнишка.

— Павлуша, помолчи.

Это прозвучало строго, но, покосившись, Никитин тоже не удержался, чтобы не подмигнуть уголком глаза Павлуше. А Бережков в самом деле не мог обнаружить ошибки в любопытном замысловатом расчёте. Он опять посмотрел на чертёж. Гм... В этой угловатости действительно есть некая система. Но в общем вещь, конечно, топорна. Так и подмывает поправить.

— Боюсь,— всё ещё с улыбкой превосходства сказал он,— что мне трудно будет с вами спорить. Видите ли, мне свойственно мыслить не формулами, а чертежами. И опровергать чертежами. Допускаете ли вы такой способ дискуссии?

— Предположим.

Бережков хотел было взять карандаш, но вдруг передумал. Из бокового кармана своего пиджака он вытащил фотоснимок главного разреза «АДВИ-100», в точности такой же, какой днём он положил перед Любарским.

— Разрешите приколоть?

— Пожалуйста.

Никитин сам ему помог прикрепить кнопками снимок к деревянной планке над листом, возле которого они стояли. Бережков отступил на несколько шагов. Ну, о чём, собственно, спорить? Достаточно взглянуть на эти два решения. Он даже вздохнул. Да, компоновка «АДВИ-100» ему, несомненно, удалась. Как изящно она выглядит в сравнении с этим... С этим, ну, конечно же, страшилищем!

— Посмотрите, товарищ Никитин, на обе эти вещи. И скажите совершенно искренне, как мы условились, разве вам не ясно, какая из них лучше?

— Ясно. Наша.

— Вот как?! — Бережков не сразу нашёлся.— Ну, сравним. Сегодня даже ваш главный инженер мосье Любарский, чёрт бы его побрал, который целый год от нас отмахивается, назвал конфигурацию «АДВИ-100»

безукоризненной. Или, как он соблаговолил выразиться, безукоризненно женственной. Взгляните. Подобные очертания вы встретите в природе, то есть у самого великого конструктора...

— Однако,—перебил Никитин,—природа сотворила также и мужчину, существо значительно более угловатое, жёстче сконструированное...

Никитин продолжал говорить, а Бережков опять поймал себя на том, что следит с интересом за возражениями этого забияки-инженера.

— В этой мысли что-то есть,— протянул он.— Но вы осуществили её до того грубо...

— Чем же вы это определяете?

— Чем? Конструктор это схватывает глазом, чутьём...

— Конструктор «божьей милостью»?

— Не скрою, я признаю такое выражение, хотя не верю ни в какого бога. А вы отрицаете?

— Подвергаю сомнению.

И вдруг в комнате раздалось:

С неба полудённого
Жара — не подступи...

Дирижируя исчерканной тушью рукой, Павлуша задал теперь удалой темп. Он ёрзал и привскакивал на стуле. Над белёсыми бровями блестели мелкие капельки пота. Всем, кто сидел тут за чертёжными столами, было понятно: Никитин отстоял «Заднепровье-100», не срезался, бьёт этого ферта, московского конструктора. Молодые голоса поддержали запевалу. Никитин жестом потребовал молчания, но, повернувшись к товарищам, улыбнулся им и закусил губу, чтобы сдержать эту улыбку.

— Вы, как я вижу, во всём на свете сомневаетесь,— сказал Бережков.

— Да. Лишь вот что несомненно.

Вскинув голову, Никитин показал на узкое красное полотнище, прибитое у потолка. Это был первомайский плакат. Кумач слегка выгорел. На нём мазками жидкого мела, уже кое-где потрескавшегося, были написаны слова о Первом мая и призыв: «Да здравствует победа коммунизма во всём мире!»

Бережков сел на табурет. Сколько лет этому скуластому инженеру-математику, который ничего не принимает на веру? Пожалуй, двадцати пяти ещё не стукнуло. Этот не потеряет, не растратит времени просто так, на ветер, зря. Пожалуй, — Бережков покосился на скуластое лицо, — и дня не потеряет.

23

— В каком институте вы учились? — спросил Бережков.

— В Московском Высшем техническом училище.

— О, я тоже оттуда. А у кого слушали курс авиамоторов? У Шелеста?

— Нет, у Ганьшина.

— У Ганьшина?

В самом деле, ведь его друг, очкастый Ганьшин, с кем была проведена юность, уже успел вырастить немало учеников! Бережков смотрел на Никитина и как бы видел перед собой время. Много его утекло. У Ганьшина уже ученики... А ведь в Никитине впрямь чувствуется что-то ганьшинское: математический уклон, аналитическая складка. И, пожалуй, язвительность. Но в остальном это совсем-совсем не Ганьшин.

Сразу нашлось много общих тем, помимо взволновавшего обоих спора. Дружелюбно разговаривая, перебрасываясь вопросами, они словно отдыхали после первой схватки. Снимок «АДВИ-100» был всё ещё приколот над главным разрезом конструкции, подписанной Никитиным — вот этим

улыбающимся белозубым крепышом с голубоватым косым шрамом на лбу. От чего у него шрам? От пули? Бережков спросил об этом.

— Нет,— ответил Никитин.— Я в детстве любил драться. «На камни», как у нас здесь говорят.

— Здесь? Разве вы местный?

— Да... Вы же знаете моего отца... Однажды добрались и до него со своими чертежами.

Бережков мигом сообразил. Удивительно, как он до сих пор не догадался. Да, да, у старика обер-мастера литейного цеха, с кем он как-то долго толковал, такие же скулы, такой же горбатый нос, только несколько нависший. И даже в голосе, в отрывистой манере есть что-то общее.

— Слушайте,— воскликнул Бережков,— ведь ваш отец сможет нам отлить головки! Надо лишь, чтобы завод принял чертежи.

— А Любарский не принимает?

— Нет. Хоть расшибись перед ним...

— Расшибаться перед ним не надо. Надеюсь, мы сами его скоро расшибём. Вернее, вышибем.

— Но когда же? Скажите, товарищ Никитин, мне начистоту: построим ли мы когда-нибудь здесь свой мотор?

— Начистоту? Я не верю в вашу вещь.

— Почему же? Посмотрите. Ведь это в самом деле безукоризненная конструкция. Европейского уровня, без всяких скидок.

— Согласен. Допускаю даже, что анализ, если нам удалось бы свести оба проекта к выражениям чистой математики, докажет ваше преимущество. Но необходимо иметь в виду по крайней мере два поправочных коэффициента. Первое — завод. Наша вещь опирается на возможности завода, на его оборудование, на его традицию. Она развивает завод дальше. Второе... Второе я назвал бы материнством...

— Материнством?

— Да. Это будет и при коммунизме. Мы любим своё детище. И будем за него драться, не спать ночей, выхаживать его всем заводом. И построим, доведём, дадим реальный крепкий советский мотор.

— А... а наша машина?

— Завод обязан её сделать... Но я уже сказал вам своё мнение. Это абстракция. Мне она чужда.

— Так, мой друг, повернулось дело,— говорил мне Бережков.— Я не нашёл поддержки и в конструкторском бюро, у молодого конструктора Никитина. Должен, между прочим, заметить, что у него я перенял и как-то естественно вмонтировал в свою философию творчества слово «материнство». Оно очень точно выражает отношение конструктора к своему созданию. Ведь не случайно мадонна с младенцем, множество раз изображённая художниками, считалась из века в век символом творчества. Слушайте, однако, дальше. Надо рассказать ещё про одну встречу, которая произошла у меня там же, в этом городке. Для живописания этой встречи перенесёмся-ка на заднепровский стадион, на футбольный матч Заднепровье — Мариуполь...

24

Бережков бестолково провёл день, требуя в заводоуправлении официального рассмотрения чертежей, нервничая и кипятясь, а после гудка, когда из проходной будки повалила оживлённая толпа, он ещё раз сквозь зубы чертыхнулся и, решив отвлечься, сел в переполненный рабочий поезд, отправился с завода в город и поехал на футбольный матч, о котором возвещала рукописная афиша.

Заняв место в тесном ряду зрителей на деревянной некрашеной скамейке, он уныло взирал на стадион.

Появились команды, совершили традиционную пробежку по границе поля и выстроились в центральном кругу друг против друга, оранжевые майки против темнозелёных. Судья вызвал капитанов. От мариупольцев, из зелёной шеренги, выбежал высокий, красивый, лёгкий паренёк, а от заднепровцев не спеша, вразвалку, зашагал большой, явно тяжеловатый и явно немолодой капитан с темнорусой вьющейся густой шевелюрой. Талия под чёрными трусами и оранжевой майкой была далеко не тонкой. Что-то в нём — в очертаниях профиля или в повадке — показалось знакомым Бережкову. Он попытался припомнить, но вдруг кто-то со скамеек прокричал:

— Никитину!

Заднепровцы, патриоты своего города, приветствовали, подбадривали капитана. Некоторые называли его запросто по имени. В гуле то и дело слышалось:

— Андрюша!

Юноша мариупонец чуть усмехнулся, а тот, кому кричали «Андрюша», ничем не реагировал, продолжал неторопливо шагать, помахивая слегка согнутыми в локтях, видимо, сильными руками. Никитин... Вот, значит, что в нём знакомо: опять та же никитинская родовая черта, никитинская горбинка на носу. Но минуту назад Бережкову припомнилось как будто что-то иное, очень давнее, связанное почему-то с вьюжным морозным днём, с Лефортовским плацем, укутанным в снег... С плацем? Нет, что-то не то...

Бережков спросил у соседа:

— Кто этот Никитин?

— Наш рабочий с моторного завода. Теперь учится в Москве на инженера. На лето приезжает.

— Родственник конструктора Никитина?

— Как же... Старший брат.

Так оказалось объяснённым первое впечатление. Больше не утруждая себя этим, Бережков стал следить за матчем.

Нашу книгу, наверное, украсили бы две-три яркие страницы, посвящённые футбольному матчу, этой любимой у нас игре, увлекательной и на знаменитом московском стадионе «Динамо» и на каком-нибудь истоптанном неогороженном поле, где гоняют мяч мальчишки. Как было бы соблазнительно нарисовать эту картину: мелькание оранжевых и зелёных маек, залитых склоняющимся к вечеру солнцем, взлёты мяча над выгоревшей, желтоватой травой, глухие удары, стремительный бег за мячом, прорыв к воротам, удар, ещё удар. И, наконец, гол! Первый гол в ворота заднепровцев.

У Бережкова уже пробудилась спортивная жилка, он с интересом наблюдал за состязанием. И чем больше присматривался, тем яснее различал манеру каждой команды. У мариупольцев все нити игры как бы стягивал к себе центр нападения, замечательно водивший мяч. Пленяла непринуждённость, даже грация, талантливость его игры. Тактика команды заключалась, по преимуществу, в том, чтобы подать ему мяч. А у заднепровцев такой ясно видимой, выделяющейся центральной фигуры как будто бы и не было. Никитин, капитан команды, играл в полузащите и отнюдь не стремился лично забить гол, хотя порой, в нужный момент, несмотря на возраст и некоторую тяжеловатость, мог очень быстро бегать. Он искусно отнимал мяч, сильно и точно передавал его своим. У этой команды, сложившейся в небольшом малоизвестном украинском городке, пожалуй, совсем не было блестящих игроков, но она держалась иным: сработанностью, слаженностью, сплочённостью. Только это, как понимал Бережков, позволяло заднепровцам противостоять натиску зелёных маек.

Противники сыграли вничью. После матча здесь же, на футбольном поле, заднепровцы стали качать своего капитана. Туда же, за усыпанную

песком линию, которая ещё минуту назад была неприкосновенной, хлынули зрители, друзья команды. Никитин, улыбаясь, взлетал и взлетал, подбрасываемый десятками рук. Бережкову опять почудилось что-то знакомое в его улыбке. В чём дело? Не встречался ли он всё-таки когда-нибудь с этим Никитиным? Но где же? Когда? Неужели лишь родственное сходство играет шутки с фантазией Бережкова?

25

Озарение памяти пришло наконец полчаса спустя на станции Заднепровье, куда был подан поезд, отправляющийся на завод.

Не решив ещё, что ему вечером делать, Бережков похаживал по перрону. В окне одного вагона он снова увидел Андрея Никитина. Тот был уже не в майке, а в светлой голубоватой рубашке. Ничуть не помятая, просторная, она как будто делала Никитина ещё более широкоплечим. Ещё не совсем просохшие после умывания, зачёсанные назад волосы уже распадались на вьющиеся крупные пряди. Он махал кому-то серой кепкой.

Бережков оглянулся и за решёткой перрона, на привокзальной площади, заметил Никитина-отца, рыжеусого мастера-литейщика. Перекинув ногу через седло велосипеда, мастер стоял в горделивой позе, не сдерживая довольной усмешки, пробегающей то и дело под усами. Но Бережков не успел всмотреться, ибо в тот же миг будто разряд молнии выхватил из глубин памяти забытую встречу. Бережков резко обернулся. Никитин всё ещё махал.

Да, в тот давний морозный денёк он тоже махал, сняв папаху, стоя на площадке удаляющегося последнего вагона, прощаясь с теми, кто провожал поезд. Это было в декабре 1919 года под Москвой, на станции Перово, где погрузилась на платформы, прицепленные к бронепоезду, первая эскадрилья аэросаней, выпущенных «Компасом». Да, да, этот самый Никитин, командир отряда, тогда ещё очень молодой, принимал аэросани на Лефортовском плацу. Он, прозванный «Смерть Бережкову», вместе с ним, Бережковым, проводил учения, настойчиво требуя инструктажа. Потом погрузка. Метель. Колочие вихорьки снега, несущиеся по настилу. Пулемёты, уже установленные на санях, обёрнутые брезентом. Последние рукопожатия. Прощальные слова молодого командира: «Спасибо! Когда-нибудь, наверное, ещё свидимся!».

Свидимся... Не раздумывая, Бережков вскочил в вагон. Футболисты, уже переодевшиеся, и сопричастные к команде любители футбола, главным образом заводская молодёжь, тесно расположившиеся на сиденьях и в проходе, оживлённо обсуждали перипетии матча. Бережков протиснулся к Никитину.

— Товарищ Никитин!

Тот неторопливо оторвался от окна.

— Товарищ Никитин! Андрей Степанович, если не ошибаюсь?

— Да...

— Здравствуйте. Привелось всё-таки встретиться. Вы меня помните? Мы строили для вас аэросани. Я с вами...

— Бережков?!

— Он самый... Не забыли?

Никитин порывисто протянул руку.

— Какое там забыл? Бывало, засядешь где-нибудь в снегу и поминешь Бережкова.— Никитин беззлобно, дружески расхохотался.— Ребята, дайте-ка местечко. Садитесь, товарищ Бережков... Поминали и хорошим словом... Знаете, когда мы ворвались в Ростов, то была поднята чарка и за вас, за весь ваш «Компас».

Бережков сел на уступленное ему место. Начался одинаково интересный для обоих разговор о том, как доводилось воевать на аэросанях. Никитин не отличался многословием и, видимо, больше любил слушать. Рассказывая Бережкову о некоторых фронтовых эпизодах, он порой приостанавливался, припоминал, повторял последнюю сказанную фразу. В его словах чувствовалась продуманность и правдивость, и всё же медлительная его манера немного претила натуре Бережкова. Он и не заметил, как сам, на чём-то перебив Никитина, принялся с увлечением описывать рейд аэросаней по льду в день штурма Кронштадта.

Потом разговор снова повернул к нынешнему дню. Бережкову хотелось поведать свои злоключения на заводе. Рабочий поезд тащился не спеша. За окном виднелся Днепр, уже пламенеющий в лучах заката. Кто-то окликнул Никитина:

— Андриуша! Твой старик-то... Гляди, не отстаёт.

Рядом с поездом по утоптанной тропке, вьющейся возле полотна, ехал на велосипеде рыжеусый мастер. Он быстро вертел педалями, раскраснелся, козырёк сдвинутой на затылок кепки торчал вверх, вид попрежнему был победительным. На заводе его называли дедом, хотя седина ещё лишь отдельными иголочками пробилась в пушистых усах. Заметив, что сын на него смотрит, он без видимого напряжения нададал ходу и ушёл вперёд. Андрей добродушно рассмеялся.

А Бережков уже достал из кремового пиджака ещё один (кто знает, сколько их там у него было) фотоснимок главного разреза мотора «АДВИ-100». Никитин с интересом взял.

— Только имейте в виду, — с улыбкой предупредил он, — что я всего-навсего студент.

И, по своей манере помолчав, добавил, что учится в Московском Высшем техническом училище и перешёл в этом году на четвёртый курс.

— А специальность? Надеюсь, авиамоторы?

— Конечно... Наследственное дело.

Он склонился над листом плотной глянцевитой бумаги, где был оттиснут чертёж.

— Чья это подпись? Шелеста? Профессора Августа Ивановича Шелеста?

— Да.

— Замечательный профессор, — произнёс Никитин.

— А вчера ваш брат усомнился и в его авторитете.

У Бережкова обиженно, несколько по-детски, выпятились губы. Он собирался пожаловаться старшему из братьев, но всё-таки, вопреки накипевшей обиде, ему и сейчас втайне нравилась дерзновенность младшего, которую Бережков, неуёмный конструктор, чувствовал и в себе.

— Это же Петя... Петушок, — сказал Никитин. — Так что же у вас, Алексей... Алексей?..

— Алексей Николаевич.

— Так что же у вас, Алексей Николаевич, с мотором?

В этой фразе, в имени-отчестве, Бережков различил новую нотку, новое уважение и внимание. Он выложил всю историю своих мытарств вплоть до вчерашнего ночного спора в конструкторском бюро с Петром Никитиным.

— Представляете, Андрей Степанович, вот его аргументация: вещь абстрактна, родилась не на заводской базе и ему чужда. Препятствовать, конечно, он ничем не будет, но у него нет к ней чувства материнства. Ну, что тут возразишь?

Никитин мягко улыбался.

— Это с ним случается... Он у нас не без загибов.

— Но ведь действительно же, я это знаю по себе, существует такое конструкторское материнство. Что с этим поделаешь?

— Подделаем... Отец в таких случаях хорошо с ним управляется.— Никитин опять рассмеялся.— Пётр с материнством, а мы выступим с отцовством.

Поднявшись, высунув в окно широкие плечи, он поднёс руки рупором ко рту и закричал:

— Отец!

Старый мастер, работая педалями, шёл голова в голову со стареньким небольшим пыхтящим паровозом, заводской «кукушкой». Услышав голос сына, он немного приотстал.

— Отец! Обожди меня на станции!

Мастер закивал и, отняв на секунду руку от руля, поправил кепку, усы и опять стал нагонять паровоз.

26

— Ну как, отец, что ты скажешь об этом?

Они уже подходили к домику Никитиных в заводском посёлке. Андрей вёл отцовский велосипед. Надев очки в стальной воронёной оправе и продолжая шагать, литейный мастер рассматривал чертёжник «АДВИ-100». Бережков шёл рядом.

Садящееся солнце позолотило всё кругом: траву, булыжник мостовой, выбеленные домики, ограды палисадных, вишню и акацию. В этих лучах в волосах мастера играл блеск бронзы, а кожа на его лице, как это часто бывает у рыжеволосых, казалась совсем розовой. Старческой была лишь шея. Там пролегли глубокие извивы морщин, словно какие-то прорытые русла. Они в самом деле были, наверное, за много-много лет прорыты ручейками пота, обильно струящегося в горячем цехе.

— Я это уже видел,— сказал мастер.— Товарищ Бережков в прошлый приезд консультировался со мной, просил меня подумать.

— И вы подумали? — воскликнул Бережков.

— Подумал. Тонкая работка...

— Степан Лукич, но вы сумеете отлить?

Одним лёгким движением старик лихо взбросил очки на лоб, словно это были привычные синие очки литейщика.

— Ежели я не сумею, тогда кто же сумеет?!

Бережков, по его выражению, чуть не упал в этот момент. Когда-то, в молодые годы, он часто с таким же удалством произносил подобную же фразу, но, повзрослев, уже не решался повторять её. А этот старый мастер, которому минуло по меньшей мере пятьдесят пять лет, русский самородок, работающий с расплавленным жарким металлом, искусник стального литья, всё ещё дерзал говорить так по-молодому.

— Я так и знал,— с хорошей улыбкой произнёс Андрей.— Но как же Любарский?

— Давай сюда не только что Любарского, а какого хочешь академика, я с ним возьмусь на грудки по этому вопросу и докажу практически.

Мастер покосился на сына: одобряет ли тот?

— Правильно. Теперь, отец, послушай о Петре.

— О Петре? А что?

— Послушай-ка, послушай...

— А что? — В знак серьёзности вопроса Степан Лукич сдвинул очки на нос и из-под лохматых бровей, таких же рыжих, как усы, посмотрел на Бережкова.— Вы видели его проект?

— Видел,— сдержанно сказал Бережков.— Интересная идея. Вчера мы о ней поговорили. Думаю, вещь выйдет.

Отец довольно рассмеялся.

— Выйдет! — уверенно подтвердил он.— В этот проект и моего много внесено. Петро несколько раз собирал всех стариков, проводил с нами

дискуссию. И дома, бывало, до того заспорим, что я ему кричу: «Забыл, как я ремень распоясывал?» — Он опять засмеялся. — Много от меня взято. Я и теперь захаживаю в чертёжную, проверяю, как чертятся отливки, даю ребятам предложения...

— А нашего мотора, — сказал Бережков, — ваш Пётр не желает признавать. И не поддерживает.

Бережков говорил, мастер слушал, шагал, мрачнел, крихтел. Видимо, эта жалоба на сына была ему очень неприятна. Дойдя до своего палисадника и ещё не открыв калитки, он прозно крикнул:

— Петро дома?

В раскрытом окне показалось миловидное девичье лицо, в котором угадывались несколько смягчённые родовые, никитинские черты — тот же абрис подбородка, та же бронза в волосах. («Писаная красавица!» — рассказывая, воскликнул Бережков. Впрочем, каждое женское лицо, появляющееся хотя бы на миг в его повествовании, было, как мы знаем, обязательно прелестным.)

Девушка ответила:

— Что ты? Разве в такое время он приходит?

— Приходит, приходит, — заворчал отец. — Когда надо, вечно его дома нет.

— Папа, ведь он же на заводе.

— На заводе... Конечно, на заводе...

Он опять метнул взгляд на Бережкова, явно гордясь даже под сердитую руку младшим сыном. И мгновенно принял решение:

— Айдайте к нему! Люба, заberi велосипед!

27

На воле было ещё светло, край неба был охвачен сияющими красками заката, только-только подступали сумерки, а в чертёжном бюро уже горело электричество, выделявшее запахнутые, как и вчера, окна. Листья сиреневого куста, приходившиеся выше подоконника, казались более тёмными и чёткими, чем нижние, уже неясные на глади фасада.

Степан Лукич направился было туда, к окну, но передумал и повернул к главному подъезду. Вахтер дружески его приветствовал:

— А, Лукичу, наше нижайшее...

Но литейный мастер лишь кивнул и, пройдя вестибюль, зашагал по коридору. За ним, чуть поотстав, шли его спутники — Бережков и Андрей Никитин. У дверей чертёжного бюро старик оглянулся на них, недовольно фыркнул сквозь усы, подождал, взялся за ручку и опять передумал. Достав из кармана потрёпанный чёрный футляр, он вновь водрузил на нос свои очки в тонком ободке воронёной стали. Это сразу придало значительность и даже важность его подвижному горбоносому лицу. Он и сам, видимо, почувствовал себя по-иному: не выдавая запальчивости, спокойным внушительным жестом открыл дверь и вошёл:

— Здорово, воробышки! Как работёнка? — произнёс он, улыбаясь.

— Погляди сам, — сказал Пётр Никитин. — Себя хвалить не будем. А, и Андрюша! И товарищ Бережков! Прошу, прошу...

Положив рейсфедер, он встал и движением головы откинул со лба непослушную прядь. Его волосы, тоже вьющиеся, темнорусые, казались на взгляд более тонкими, чем у старшего брата. Впрочем, потоньше была и фигура в парусиновой синей куртке, и шея, и очертания носа, и губы, и даже, пожалуй, усмешка. Он сделал знак, разрешая всем прервать работу, и продолжал:

— Прости, Андрей, никак не мог вырваться на матч. Говорят, была острая игра?

Андрей промолчал.

— И ребят ты не пустил? — спросил отец.

— Не пустил. Нельзя. Вот дожмём проект и тогда выйдем на поле всей командой... — Пётр посмотрел на лица за чертёжными столами и невольно расправил плечи, потянулся. — Побегаем, погоняем мяч.

Старик хмыкнул и опять метнул из-под бровей взгляд на Бережкова, явно довольный ответом своего младшего. Но тотчас приняв суровый вид, он стал обходить столы, внимательно склоняясь над листами ватмана. Дойдя до белобрысого парнишки, у которого, как и вчера, запястье было испещрено полосками туши, старик проговорил:

— Ишь разукрасился... Чего чертишь?

— Вкладыш, Степан Лукич.

— Вижу, что вкладыш. Какой?

— Задний. Кулачкового валка.

— Так и отвечай... А почему мал приливчик? Я же указывал, чтобы приливчик делать толще.

Пётр усмехнулся.

— Могу, отец, достать расчёт.

— Расчёт, расчёт... Знаю, что расчёт. А лить и обрабатывать так будет удобнее.

— Я твои доказательства обдумал. К сожалению, в данном случае они меня не убедили.

— Не убедили? — закричал отец и сердитым жестом взбросил очки на лоб.

Однако, сразу спохватившись, не желая растрачивать заряд, он водворил очки на место и сказал:

— Отпусти, Петро, ребят на пяток минут. Пусть поразомнутся.

Пётр снова усмехнулся.

— Пожалуйста...

Мастер пожевал губами, подошёл к висевшему на стене в рамке большому чертежу «Заднепровье-100», постоял около него и, как только затворилась дверь за последним сотрудником бюро, круто повернулся.

— Что же ты, Петро, товарища Бережкова зажимаешь? — спросил он напрямик.

— Никого не зажимаю. К этому московскому проекту я вообще не имею никакого отношения. Дело решает главный инженер. Но если у меня спрашивают мнения, я не скрываю, что вся концепция этого мотора мне чужда.

— А чем докажешь?

— Истина доказывается практикой. Вот построим наш мотор, и тем самым докажу.

— Что докажешь? У тебя будет мотор, у него калька. Ведь построить не даёшь!

— Я же сказал, что не имею к этому...

Но старик уже не слушал.

— Почему ему не даёшь доказать практикой? Что мы, не сможем, что ли, выстроить ихнюю машину?

В этот момент Бережков словно ещё раз увидел гримаску на лице Любарского, услышал, как тот цедит: «Неужели вы серьёзно думаете, что в этой дыре...»

А старик выпаливал:

— Чего затираешь человека, ежели за тобой правда? Выходи в открытую. Так я говорю, товарищ Бережков?

— Так, — сказал Бережков.

— Своё «я», вот что ты, Петро, хочешь доказать!

Пётр спокойно парировал:

— А разве социализм отрицает личность или своё «я», говоря по-твоему?

— Ах, режет, режет! — не без восторга воскликнул старик. — Да, доказывай своё «я». Но не затирай и человека. Помогите ему. Вот поставим на испытании рядом два мотора и поглядим, чей будет верх.

Степан Лукич опять покосился на Андрея и на Бережкова, проверяя, находят ли его слова одобрение. Бережков медленно кивнул.

— Вы так бы с ним и поговорили, товарищ Бережков, — продолжал старый Никитин. — Или что говорить? Сам должен знать...

Быстрым взмахом, таким же, какой Бережков уже видел у младшего сына, отец указал на красные полотнища, висевшие под потолком. Бережков снова прочёл на одном: «Да здравствует победа коммунизма во всём мире», и на другом: «Да здравствует индустриализация СССР».

— Об этом-то ты думаешь или позабыл, Пётр?

— Если бы забыл, — сказал Пётр, — то так бы не работал.

— А почему же не даёшь хода ихнему мотору? Разве в комсомоле тебя этому учили?

Пётр опять хотел что-то ответить, но старший брат проговорил:

— Да, Пётр, не по-партийному ты подошёл к этому делу.

Это были первые слова, которые он произнёс с того момента, как вошёл сюда.

28

— Если вы предполагаете, — продолжал свою повесть Бережков, — что в результате этой моей встречи с чудеснейшей семьёй Никитиных удалось сразу продвинуть наши чертежи в производство, то очень ошибаетесь. Впереди была ещё долгая борьба. И на этот раз Любарский всё-таки не принял чертежей под тем предлогом, что-де оборудование завода не позволяет изготовить столь сложную конструкцию, в которой поэтому требуются ещё упрощения. Всё это аргументировалось, казалось бы, самым деловым образом, очень обстоятельно и очень корректно, в официальном письме, под которым значилось: «главный инженер завода В. Любарский».

Бережков вернулся в Москву с этим письмом, скрежеща зубами, как выразился он. В Москве произошёл резкий разговор между ним и Шелестом. Бывший младший чертёжник впервые со дня своего поступления в АДВИ стал бунтовать против своего директора. Докладывая о встрече с Любарским, Бережков негодовал:

— Я ему крикнул, что уничтожу его.

— Глупо. В высшей степени глупо, — сказал Шелест. — Вы отправились с определённым намерением: наладить отношения. А вместо этого...

— И не раскаиваюсь. И пойду дальше. Пойду прямо к Родионову...

— Ну вот, новая выходка... Родионову, поверьте, и без вас известно, что завод отказывается строить. Я писал и говорил ему об этом.

— Не так говорили... Не теми словами. У вас, Август Иванович, нет решимости сказать, что на заводе должность главного инженера занимает человек, которого надо посадить в тюрьму. Это холодный убийца, негодяй, который спокойно удавит наш проект... Вот как надобно писать Родионову.

— Извините, доносами не занимаюсь. И, знаете ли, не люблю, когда этим занимаются другие.

— Нет, вы не любите своего дела, Август Иванович. Мало любите свой институт, мало любите мотор. Из-за этого всё может погибнуть.

— Всё... Белый свет провалится. Вечные ваши неистовые преувеличения. Я, конечно, буду у Родионова. Доложу ему, что положение нестерпимо.

— Вот-вот...

— Но без ваших выпадов. Нельзя, Алексей Николаевич, компрометировать инженера. Это непорядочно. Существует честь корпорации. А вы ведёте себя так, как будто ничего этого не признаёте.

— Не признаю!

— Следовательно, у нас, к сожалению, разные представления о чести, о порядочности, — не без яда проговорил Шелест.

— Разные! — с вызовом подтвердил Бережков.

Они не поссорились. Выговорившись перед профессором, Бережков на время угомонился, предоставив действовать Шелесту, но оба и много лет спустя помнили это столкновение.

29

Переговоры, переписка, препирательства между институтом и заводом продолжались ещё два или три месяца. Наконец последовало вмешательство Центрального Комитета партии. Родионов доложил там, в Центральном Комитете, про этот безобразный случай волокиты. Директор завода был вызван в Москву, и с ним поговорили очень круто. Ему предложили без дальнейших проволочек и придинок приступить к сооружению «АДВИ-100». Начали строить. Прошло ещё около года.

— Мы опять ездили на Украину, — рассказывал Бережков, — вмешивались, нервничали, спорили, ругались...

— Наступил всё-таки день, — продолжал он, — когда наш мотор был выстроен. Мы торжествовали. Наше творение, существовавшее дотопе в чертежах, было рождено. Однако мы побоялись запустить мотор на заводе, где мы попрежнему были людьми со стороны, где пришлось бы снова воевать, требуя или выпрашивая техническую помощь, и решили взять нашего новорождённого домой, в Москву, чтобы произвести испытания в мастерских института. Теперь завод, думалось, не нужен; дома стены помогают; доводить будем у себя, на своих станках.

Привезли мотор в Москву. Это была величайшая наша ошибка. Мы обрели сами себя на немыслимую неудачу, ибо, как оказалось, без завода, без серьёзной технической базы нельзя произвести доводку, нельзя создать надёжного, безотказно действующего авиадвигателя. Пустить можно, мотор пойдёт, но...

Как в бездонной трясине, мы увязли в этих «но»... Понадобилось много трагических уроков, чтобы мы наконец вполне убедились в одной истине, о которой я не раз вам говорил. Извините, я повторю её вновь: с пуском по существу лишь начинается работа над мотором.

Однако тогда это представлялось нам иначе. Казалось, завершён грандиознейший и решающий этап: обдуман проект, подготовлены чертежи, преодолены неисчислимые препятствия, кончены мучения, создана машина. На это ушло около двух лет. Теперь оставалось как будто немного: испытать и сдать государственной комиссии готовый мотор. Но в опробовании начались с первого же часа поломки — потекло масло, обнаружился чрезмерный нагрев подшипников, — словом, открылось множество детских болезней. Мы пытались бороться с ними собственными силами, вытаскивали детали на своих станках, но, справившись с одной бедой, встречали дюжину новых. Не теряя мужества, мы кидались поправлять несчастья, снова запускали мотор, и он снова ломался. Мы с ужасом видели, что дефекты уже насчитываются сотнями. Это не преувеличение. Порой мне казалось, что я схожу с ума. Чудилось, что отовсюду, из всех сочленений, из всех частей мотора, вылезают, как змеи, всякие пороки. Мы рубили им головы, но, словно в страшной сказке, вместо отрубленных тотчас вырастали новые. И всё множились, множились...

Кончилось тем, что через полгода с превеликим конфузом мы повезли «АДВИ-100» обратно на завод.

Тем временем на этом заводе группа молодых техников и инженеров во главе с Петром Никитиным тоже закончила сооружение авиадвигателя в сто лошадиных сил своей конструкции. Такой же мощности машина

была построена и конструкторской группой на заводе бывшем «Икар». Этим группам было легче, чем нам. Мы со своим мотором вклинивались в чужие цехи; нам приходилось проклинать ужасную медлительность, приходилось умолять, чтобы тот или иной дефект поскорее был устранён, а оба коллектива конструкторов, с которыми мы соревновались, имели к услугам свои парки станков.

Однако и они, заводские конструкторские группы, ещё немало помучились, прежде чем что-либо создали. Ни мы, ни заднепровцы, ни инженеры «Икара» так и не сумели в то время, в тот год создать маленький, мало-мощный авиамотор в сто лошадиных сил, не сумели довести машину до такого состояния, чтобы она выдержала государственное испытание — пятьдесят часов работы без поломок.

Стиснув зубы, мы доводили, дожимали «АДВИ-100». Я опять ездил в Заднепровье, проводил на заводе дни и ночи, требовал, грозил, умолял, и вдруг со мной случилось что-то странное. Он, наш мотор, в который было вложено так много усилий, вдруг стал мне неинтересен.

30

— Не знаю, сумею ли я вам это объяснить, — продолжал Бережков. — Вообразите, вы пишете интереснейший, как вам кажется, роман, остро ощущая, что ваша вещь попадает в самый нерв современности, что общество ждёт такой книги. Вы с увлечением трудитесь над ней, дожимаете, доводите её и вдруг, сначала смутно, потом всё отчётливее, чувствуете: случилось что-то странное. Вы ещё не сознаёте, что же, собственно, произошло, но чутьё подсказывает вам: ваша недописанная книга — уже вчерашний день, она не захватит читателя. Что-то резко изменилось в современности, явились новые дерзания и мечты, новые люди, которых вы не знаете. Вы по инерции дорабатываете книгу, но в душе знаете: не то.

Что этому причиной? Конечно, в каждом таком случае действует много сил. Но я сейчас хочу выделить одну причину: время. Вы упустили время.

Упрямо дожимая «АДВИ-100», я всё чаще ощущал, что время уходит, словно поезд от того, кто отстал. Поезд... Локомотив времени...

Здесь я должен рассказать про одну психологическую чёрточку, очень важную, как я убеждён, для конструкторского творчества. Я говорю о чувстве времени.

Много лет назад я держал экзамен в Московское Высшее техническое училище. Полагалось сдать русский язык, математику, физику и закон божий. Первый экзамен — русский язык, письменная работа, сочинение. Тишина, торжественная обстановка. Над профессорской кафедрой тикали огромные круглые часы. Объявили тему: «Время». Я долго думал. Можно было бы, конечно, написать какое-нибудь рассуждение о геологических эпохах, об истории земли и цивилизации или о том, что время — деньги (это выражение было тогда очень в ходу), но я сообразил, что, наверное, все будут сочинять нечто подобное. А поступать, как все, мне казалось неинтересным.

Я сидел, уставившись на круглые часы, и вдруг уловил, как минутная стрелка дрогнула и передвинулась на одно деление. И внезапно в этот миг я наглядно, физически ощутил представил себе время. В воображении сразу возникло всё сочинение, можно было братья за перо.

Я начал так. Когда человек сидит перед часами, ему кажется, что время едва ползёт. Как он ни взглянет на часовую стрелку, она словно застыла. Но если человек мчится в автомобиле, течение времени становится для него более наглядным. Пока он сосчитает «раз, два, три», мимо него уже промелькнуло и осталось позади несколько телеграфных столбов. А близлежащие предметы — например, камни мостовой — даже

сливаются в одну бесконечную ленту. Каждая секунда, каждая доля секунды — кусок этой несущейся ленты.

В такой картине я изобразил время как движение. Помню, в своём сочинении я смело заявил, что при температуре минус 273 градуса Цельсия не существует времени, ибо при такой температуре нет движения, это абсолютная смерть, абсолютный междупланетный нуль.

А наше время, двадцатый век, я уподобил несущемуся на всех парах экспрессу.

Только не улыбайтесь. Надо и здесь учитывать время и, в частности, возраст отважного философа, строчащего за партией сочинение.

Итак, наш век я уподобил экспрессу. Мне очень хотелось провести жизнь в таком экспрессе; поэтому я поместил себя туда в качестве пассажира. Однако едва я написал слово «пассажир», это сравнение резнуло меня. Нет, увлечённо писал я, не пассажиром, не в вагоне, а на локомотиве мечтаю я провести жизнь. На локомотиве, чтобы и мои усилия убыстряли его ход.

Движение поезда я представил очень красочно. Этапы жизни были станциями, на которых останавливается поезд. Здесь мы теряли некоторых спутников, вместо них входили новые. Я сочинял с воодушевлением и особенно увлёкся, когда вообразил человека, отставшего от поезда. Экспресс тронулся; в окно видно: человек бежит, догоняя последний вагон, но поезд набирает скорость, всем ясно — человеку не успеть, а он в отчаянии всё ещё бежит. Экспресс поворачивает на закруглении, здесь можно взглянуть на отставшего последний раз, и мы видим, как каждое мгновение нас отделяет от него, как между нами ложится время.

Для нас, будущих инженеров, писал я, жизнь есть яростное стремление вперёд; инженер, человек техники, кто хочет жить вместе с веком, никогда не должен отставать от времени, от экспресса современности. Этим я закончил сочинение и заработал пятёрку.

А теперь, в 1928 году, упрямо дожимая «АДВИ-100», я всё чаще ощущал, что время уходит, словно поезд, от того, кто отстал.

По ночам меня стал преследовать кошмар: я куда-то бегу — локти прижаты к бокам, корпус устремлён вперёд, мелькают колени, дыхание учащено — и вдруг с ужасом вижу, что не подвигаюсь ни на шаг, что бегу на месте. Во сне я делаю судорожные усилия, чтобы оторваться от мёртвой заколдованной точки, напрягаю силы, но напрасно: продолжается страшный бег на месте.

31

Как-то в те дни, в вечерний час, к Бережковым зашёл Ганьшин.

Бережков лежал на кушетке в своей комнате. Теперь он часто проводил так вечера — ничего не делая, не притрагиваясь к чертёжной бумаге или к книгам, не включая света.

Он услышал шум в прихожей, услышал, как Мария Николаевна здоровалась с гостем... В иные времена Бережков выбежал бы к своему другу, встретил бы его шуткой и улыбкой, а сейчас не хотелось подниматься. Он услышал голос Ганьшина:

— Бережков дома?

— Да.

— Очень хорошо. Он нужен.

Нужен? Вдруг взволнованно забилося сердце. Бережков вскочил. Ему почудилось, что вот-вот, сию минуту, в его жизни произойдёт какой-то негаданный-нежданный счастливый поворот. Это не раз бывало в прошлом. И нередко вестником новой необыкновенной эпопеи являлся Ганьшин. Вспомнилось, как много лет назад, зимним вечером 1919 года, Ганьшин вошёл сюда же, в этот дом, в эти двери, и воскликнул чуть ли

не с порога: «Бережков, погибаем без тебя! Ты нужен!» И через пять минут друзья уже неслись на мотоциклетке по залитым луной зимним улицам Москвы на заседание «Компаса». Теперь опять такая же зима, такая же луна! Вот она — в смутном прямоугольнике окна. От неё в неосвещённой комнате голубоватый полумрак.

Быстро нашарив туфли, Бережков бросился встречать того, кто только что сказал о нём, Бережкове: «Он нужен!»

Ганьшин уже снял тяжеловатую шубу на меху и меховую шапку. Носовым платком он протирал запотевшие очки. Без очков его лицо теряло обычную насмешливость, было несколько беспомощным и добрым. Уже известный профессор, теоретик-исследователь авиационных двигателей, он возглавлял винтомоторный отдел в Центральном научном институте авиации, постоянно бывал занят, сосредоточен на своих исследованиях и размышлениях и очень редко находил свободный вечер, чтобы встретиться с другом.

Бережков схватил обе руки Ганьшина и посмотрел ему в глаза.

— Подожди! Не надевай очков! Говори сразу! Скажи что попало, первую подвернувшуюся фразу. Пусть будет нелепость, ерунда, но говори, говори сразу!

Ошеломлённый этим натиском, Ганьшин неловко улыбался. Бережков вглядывался в его близорукие глаза.

— Ну! — подгонял он.

— Интересная задачка, — проговорил Ганьшин. — И тебе хорошо за неё заплатят.

— Заплатят? — Бережков разжал пальцы, его руки вяло упали.

— Что ты?

— Надевай свои очки. Не то...

Бережков уныло покачал головой.

— Не то, Ганьшин...

— А я уверен, что ты увлечёшься. Это интереснейший заказ. Я узнал о нём случайно и сразу объявил, что такую вещь может сделать только Бережков.

Ганьшин произносил фразы, которые раньше безошибочно действовали на Бережкова. Но тот сказал:

— А теперь ты врешь. Зачем?

— Вовсе не вру. Что с ним?

Ганьшину не нужен был ответ. Он знал от Марии Николаевны про подавленность, про тоску друга и составил вместе с ней небольшой заговор, чтобы как-то разбудить, воскресить прежнего жизнерадостного, вечно увлечённого, азартного и озорного Бережкова. Ганьшин никогда не одобрял прошлых заблуждений и метаний своего друга, считал, что Бережкову не следует ничем отвлекаться от работы в институте авиационных моторов, от навсегда избранного прямого пути, но на этот раз в виде исключения всё-таки решил помочь ему отвлечься. Он отыскал для Бережкова, специально этим занявшись, конструкторскую серьёзную задачу, сулящую к тому же, в случае успешного решения, немалый гонорар. А сие, как было известно с давних пор, обычно тоже задевало некоторые струнки Бережкова.

Однако что-то с первых слов было испорчено, с первых слов не удалось.

Вскоре все сидели в столовой. На электроплитке готовили кофе. Бережков не надел пиджака, так и остался в домашней фланелевой куртке. Лицо, раньше всегда розовое, заметно пожелтело, казалось обрюзгим. Уголки губ уже не загибались ребячливо вверх. Ганьшин положил на скатерть небольшой пакет, обернутый в газету, — видимо, какие-то бу-

маги, — передвинул его, многозначительно произнёс «вот!» и даже поднял по-бережковски указательный палец, но и этот приём, рассчитанный на неистребимое любопытство Бережкова, не произвёл никакого действия.

— Что с тобой, Алексей?

— Ничего... Служу. Хожу на службу.

— Но ты как будто болен?

— Нет, температура не повышена.

— Духовная? Это я вижу.

Бережков усмехнулся:

— Ничего, бывает... Отлежусь.

— Но почему ты не спросишь, что я тебе принёс?

— Я спрашивал.

— А этот свёрток? Почему не крикнешь: покажи?

— Ну, покажи...

Свёрток был раскрыт. Там оказались два американских журнала. В одном среди прочих рекламных объявлений целую страницу занимала реклама автомобиля «Кросс» с несколькими фотоснимками.

На автомобиле был установлен мотор с воздушным охлаждением. В другом журнале, в обзорной серьёзной статье, этому мотору было посвящено пятнадцать—двадцать строк. О нём там говорилось, как о последней технической новинке. Но никакого конструкторского описания, никаких расчётных данных, ни одного чертежа не приводилось.

— Надо спроектировать, — говорил Ганьшин, — тракторный мотор такого типа. Мотор в шестьдесят сил с воздушным охлаждением, с вентиляторным обдувом. Ищут конструктора. Кто сконструирует подобный мотор? Я ответил: Бережков! Только Бережков!

Далее Ганьшин очень ясно проанализировал задачу, произвёл примерный расчёт теплоотдачи, набросав на полях два-три уравнения.

— Для проектирования, — говорил он, — дают шесть месяцев. А у тебя это будет готово, знаю, в две недели. И заработаешь три тысячи рублей. Столько тебе будет уплачено по договору.

Бережков молча рассматривал снимки.

— Ну, что же ты молчишь? Сделаешь?

— Должно быть, сделаю. Спасибо тебе... Не хочется, а сделаю.

— Что с тобой? — снова спросил Ганьшин. — Чего же тебе хочется?

— Чего мне хочется? Когда-то ты хорошо понимал меня. А теперь...

Теперь мы с тобой очень разные.

— Всё-таки скажи.

— Мне хочется, — сказал Бережков, — чтобы конструкторы Америки рассматривали снимки моего мотора. Нашего мотора, Ганьшин! И говорили бы между собой: «Чёрт возьми, никакого конструкторского описания, никаких расчётных данных, как бы нам сделать такую вещь».

Ганьшин промолчал.

— Хочется необыкновенных дел! — продолжал Бережков. — Мне надоела служба, опротивел наш несчастный мотор в сто лошадиных сил, над которым мы возимся два года, который за это время безнадежно устарел. Всё опротивело, друг... Ты помнишь, мне мечталось... Э, мало ли о чём мечталось?!

— Но мы с тобой теперь хорошо знаем, — сказал Ганьшин, — что в технике не бывает необыкновенного. Всё подготовлено предыдущим развитием. Есть законы технической культуры, через них не перепрыгнешь.

— Вот в этом и проклятие!

— Почему? Ты просто хнычешь. У нас культура моторостроения развивается, мы движемся...

— Движемся... — Бережков махнул рукой.

Он не продолжал спора, опять стал безучастным. А Ганьшин высказывал свои мысли. Человек инженерного мышления ныне уже не может со-

мневаться, что советский авиамотор скоро будет создан. Если это не удалось до сих пор, то совершится через год или через два года. Для этого есть база, несколько заводов, надо лишь работать. Индустриальная культура понемногу возрастает, научные институты расширяются. Чего ты ещё хочешь? Поразить мир гениальными конструкциями? Чудесным способом перескочить через все этапы? Чепуха! Этого не бывает и не будет! Пора стать реалистом, обрести философию инженера. Возьми Ладошникова... Бережков востепенулся.

— Ну, как он? Что у него нового?

Ганьшин сказал, что новый большой самолёт Ладошникова, «Лад-8», успешно прошёл испытания в воздухе. Заинтересовавшись, Бережков расспрашивал о подробностях. Какой размах крыльев у этого «Лад-8»? Какую он показал скорость? Грузоподъёмность? Сколько на нём моторов? Один? Какой же марки? Какой мощности?

— Ладошников, — говорил Ганьшин, — облюбовал «Майбах», последнюю модель, шестьсот пятьдесят сил.

— «Майбах»? — протянул Бережков.

Ему вдруг вспомнилась история «Лад-1», для которого одно время предполагалось заполучить немецкий мотор «Майбах», снятый в дни войны со сбитого русскими зенитчиками «Цеппелина», — мотор, тогда самый мощный в мире. Лишь «Адрос» был ещё мощнее. Но где теперь «Адрос»? Заброшен, не доведён...

Ганьшин продолжал отчитывать Бережкова:

— Приглядишься, как работает Ладошников. Это подвиг последовательности. Он с железной логикой переходит от одной своей конструкции к следующей. А ты мечешься. Предаёшься пустым мечтам. Кем ты себя воображаешь? Разочарованным гением? Непонятым художником? Пора наконец уразуметь, что ты не художник, ты техник. Пожалуйста, можешь целый год прохныкать и проваливаться на своей кушетке, мотор у нас появится и без тебя. Сначала маломощный, небольшой, потом пойдёт нарастание мощности, восходящая кривая. Но пусть это будет и твой восходящий путь. Другого перед тобой нет! Претерпи мужественно неудачи и работай. И не мечтай, пожалуйста, ни о чём несбыточном.

Бережков покорно слушал. Да, Ганьшин нашёл своё место в технике, в науке, стал авторитетным учёным, вся последующая жизнь была перед ним словно прочерчена. А он, Бережков, опять маялся, опять не знал, что с собой делать, не находил себе дороги в мире.

Маша сказала:

— Ганьшин, довольно его пробирать... Давайте лучше чем-нибудь его развеселим.

— Хорошо, — сказал Ганьшин. — Где будем встречать Новый год? Чур, только не у вас!

— Почему?

— Потому что из этого субъекта, — он подтолкнул Бережкова, — мириадами выделяются флюиды мрачности. Вся квартира ими переполнена. Соберёмся у меня, идёт?! И тряхнём, Бережков, стариной. Придумай что-нибудь невероятное, чтобы гости ахнули!

— Да, — невпопад произнёс Бережков.

Маша разговорилась, была рада гостю. Лишь Бережков сидел попрежнему молча — отсутствующий, постаревший, погружённый в свои переживания.

Ганьшин рассказал о некоторых новостях. В промышленности, особенно в машиностроении и в металлургии, заметно оживилось проектирование. Проектируются новые заводы. Говорят, готовятся важные решения такого же рода и об авиапромышленности.

Бережков спросил:

— Новые заводы? Моторостроительные? Где?

Ганьшин этого не знал. Можно предполагать, сказал он, что будет выстроен завод для выпуска моторов типа «Майбах». Ладошников обратился к правительству с запиской о необходимости соорудить такой завод, чтобы обеспечить моторами его новые машины «Лад-8». Идут толки и о других новых заводах. Да и некоторые старые будут, как поговаривают, расширены, обновлены. Московский автомобильный завод «Амо» определённо будет перестроен. Там начаты уже проектные работы.

Оба друга не знали тогда, что эти толки, эти новости были предвестниками первой пятилетки, знаменитого первого пятилетнего плана; не знали, что менее чем через полгода этот план будет провозглашён с трибуны партийной конференции на всю страну и на весь мир. В тот вечер Бережков ещё не понимал, что, тоскуя и томясь, он всем сердцем ждал эту новую эпоху великих и необыкновенных дел.

— Теперь везде требуются проектировщики и конструкторы,— говорил Ганьшин.— Ты валяешься, ноешь, а между тем настаёт, кажется, твоё время. Поднимайся, берись за карандаш, черти и черти! Я уверен, ты ещё потрясёшь нас всех своей карьерой.

Бережкову вспомнилась фраза, которую он где-то прочёл: «У поэта нет карьеры, у поэта есть судьба». Он произнёс эти слова вслух. Ганьшин махнул рукой.

— Неисправим! — воскликнул он.

У Бережкова на миг радостно ёкнуло сердце. «Неисправим!» Значит, он ещё прежний?! Значит, его ещё можно узнать?!

— Слышал ли ты, горе-поэт, — продолжал Ганьшин, — что кто-то изложил в стихах правила трамвайного движения. Там есть и такое: «Старик, оставь пустые бредни, входи с задней, сходи с передней». Понял?

— А мне это неинтересно.

— «Старик, оставь пустые бредни...» — ещё раз продекламировал Ганьшин. Он рассмеялся. Ему нравилось это двустипшие. Прощаясь, Ганьшин снова пригласил всех к себе встречать Новый год.

— Тысяча девятьсот двадцать девятый,— сказал он.— И мне скоро тридцать шесть.

— А мне тридцать четыре. И ещё ничего не сделано.

— Вот и делай скорей мотор с вентиляторным обдувом. Иди завтра же заключай договор. Пойдёшь?

— Пойду. Подзаработаю.

— Иронизируешь? Перестань же ныть!

— Хорошо, не буду.

Уходя, Ганьшин долго надевал калоши, шубу. Потом, вдруг перестав укутываться, провозгласил:

— Знаешь, в запасе имеется ещё один способ вывести тебя из спячки!

— Какой там ещё способ?

— Обязательно приходи ко мне под Новый год. Приготовим тебе сюрприз. Новогодний сюрприз.

Проводив гостя, Бережков взял из столовой журналы, оставленные для него Ганьшиным, и пошёл к себе.

В комнате попрежнему был лунный полусвет. На полу в светлой голубоватой полосе вырисовывалась крестом тень оконных перекладин. Задумавшись, Бережков смотрел на этот крест. Час или полтора часа назад он услышал отсюда возглас Ганьшина: «Он нужен!» — и вскопчил, как на призыв судьбы. Но друг ушёл, а у Бережкова ничего не изменилось. Заказ? Ну, сделаю, а дальше? Он усмехнулся, включил электросвет, положил на стол журналы и рассеянно стал перелистывать.

Плотная, меловой белизны, глянцевиная бумага скользила в пальцах. Типографские краски — цветные и чёрная — были очень яркие. Журна-

лы молодой Советской страны печатались не на такой бумаге, не такими красками. Медленно переворачивая страницы, Бережков даже в пальцах ощущал иной, неизвестный ему мир — Запад, границу. Вот объявление знаменитой «Дженерал моторс компани», вот рекламы фирмы «Райт», фирмы «Сидней», вот небольшая, очерченная овальной рамкой марка Форда.

Бережков листал дальше. В рекламах, заголовках, фотоснимках, рисунках, чертежах перед ним вставала американская промышленность автомобильных и авиационных моторов, проплывала индустриальная Америка.

На раскрытой странице, занятой рекламой моторов «Сидней», был изображён леопард в прыжке. Объявление извещало о выпуске нового авиационного мотора «Сидней-Леопард» мощностью в 700 лошадиных сил. Все свои моторы фирма «Сидней» называла так: «Сидней-Пума», «Сидней-Ягуар», «Сидней-Лев». К этой мощности, к достигнутому новому пику, сразу подошли, как знал Бережков, несколько конкурирующих американских фирм. Почти такой же мощности уже достигли и последние немецкие моторы «Майбах», «БМВ», «Тайфун» и другие.

А у нас? Советские заводы с великими трудностями стали выпускать авиамоторы в 300 сил, и то иностранной конструкции, сегодня уже устаревшие, уже заменённые на Западе более современными моделями. И ни одного своего мотора, созданного русскими конструкторами! Неужели мы, чёрт возьми, творчески бессильны? Кто доказал, что американцы или немцы умнее, талантливее нас? Нет, с этим Бережков никогда не согласится.

Прошло свыше четырёх лет с тех пор, как он смиренным младшим подмастерьем поступил в учение к Шелесту, в Научный институт авиадвигателей. Он уже чувствовал, на что способен сработавшийся коллектив, руководимый таким умницей. Сам он за это время был вышколен, получил теоретическую выучку, стал, без преувеличения, отлично образованным специалистом. Он учился с жадностью; жадно вчитывался в новейшие труды по специальности, жадно всматривался в чертежи. Конечно, чертежи самых новых, самых мощных авиамоторов были коммерческим секретом той или другой иностранной фирмы и не публиковались, но в институт Шелеста теперь часто поступали моторы в натуре, приобретённые в различных странах. Эти моторы изучались на испытательной станции АДВИ. Шелест сам с любовью, с увлечением занимался оснасткой такой станции в новом здании института. Из-за границы по его выбору были выписаны многие мерительные инструменты и приборы. В Управлении Военно-Воздушных Сил он не знал отказа, когда просил об ассигнованиях в золоте для этой цели. Родионов говорил ему: «Вы получите всё, Август Иванович, только давайте скорее советский мотор для авиации». Но Шелест не удовлетворился иностранным оборудованием; он давно вынашивал мысли о некоторых собственных приборах, каких не знали за границей. Иногда он брал под руку Бережкова и, прохаживаясь с ним по испытательному залу, выложенному кафельными плитками, ласково заглядывая ему в глаза, делился с ним своими замыслами. Бывало, здесь же, в разговоре, с присущей ему лёгкостью, с улыбкой, Бережков находил конструкторские решения для какой-либо идеи Шелеста. Конечно, не все мысли поддавались так легко воплощению в некую вещь, в прибор. Кое-что удавалось не сразу, требовало переделок, доводки, упорной работы. Шелест гордился своей станцией. Он утверждал, что она не уступает ни одной подобной установке во всём мире. Для изучения очень мощных двигателей был сооружён стенд на открытом воздухе — при форсировке, когда из мотора выжимается всё, что он может дать, в институте из-за сотрясения и гула нельзя было бы работать, если бы мотор ревел в самом здании.

С неугасающей жадностью Бережков накидывался на все современные авиационные моторы иностранных марок, прибывающие в институт. Многие часы он проводил около них, разбирая и собирая механизм, чтобы схватить замысел конструктора, быстро набрасывая черновые, приблизительные чертежи главных разрезов. В заграничных конструкциях он нередко встречал то, что с совершенной ясностью давно видел в воображении, порой даже начертил, но не построил, не осуществил, не мог осуществить. Он в таких случаях ощущал, будто кто-то выхватил и отнял от него конструкторскую счастливую находку. Но он не злился: в ту пору в нём ещё не пошатнулась вера, что его время впереди, что рано или поздно он станет создателем самых замечательных двигателей на земном шаре. Узнавая конструкции, которые давно виделись ему, он как бы говорил незнакомому автору: «Ну-ка, посмотрим, как тебе это удалось?» Иногда он восхищался отдельными решениями, но в этих своих заочных встречах с иностранными конструкторами он всё же не нашёл ни одного, перед кем открыто или втайне преклонился бы, кто заставил бы его признать: «Это гений, я не могу так». Нет, всякий раз Бережков испытывал даже некоторое разочарование, всякий раз он твёрдо знал: «Можно лучше!»

Недавно и Шелесту и Бережкову очень понравилась изящная мощная машина — американский мотор фирмы «Райт», в 500 лошадиных сил, для глоссера. Автор этого мотора, пожалуй, наиболее удачно воплотил идею, которая была теоретически разъяснена и разработана Шелестом. На специфическом языке конструкторов она, эта идея, обозначалась кратко: «жесткость». В курсе Шелеста так называлась большая глава, содержащая много вычислений, расчётов и формул. Мотор «Райт» отличался так называемой блочной конструкцией, которая дотоле не употреблялась в авиационных двигателях, — все цилиндры «Райта» были отлиты в одном куске алюминия, в едином блоке, в монолите металла. Ещё до знакомства с «Райтом» Бережков пришёл к мысли, что современный авиамотор требует блока цилиндров; такая конструкция виделась ему в фантазии, он даже выразил её в набросках, и теперь, разглядывая этот прибывший из Америки мотор, разъятый в сборочном зале АДВИ, Бережков снова ощутил, будто кто-то из чужой страны выхватил и осуществил его замысел. Но теперь чувство было уже горьким. Неужели ему так и суждено лишь рассматривать чужое, неужели так и пройдёт жизнь? Снова, но на этот раз с грустью, он мысленно сказал неизвестному ему конструктору: «Что же, поглядим, как тебе это удалось». Изучая машину, он быстро уловил в ней скрытые слабости, которые для Бережкова, для его острого творческого взора, были кричащими. Талантливому конструктору, автору «Райта», всё же не хватало дара общей компоновки. Резко повысив жесткость цилиндрической группы, он не вполне справился с высшей, более трудной задачей — свою идею он не сумел сделать сквозной, провести сквозь все элементы машины, жестко скомпоновать вещь в целом.

Но вместе с тем Бережков ясно понимал — может быть, яснее, чем сам конструктор «Райта», — что в этой машине, в её блочной конструкции, заложены возможности развития, которые делают её наиболее передовой из существующих. Он ощущал в себе силу доказать это, выявить эти возможности в некоей новой машине. Он снова знал: «Я могу лучше».

Нередко после исследований на испытательных стендах его страстно тянуло к чертёжному столу, к карандашу. Хотелось нанести на бумагу воображаемые его, Бережкова, создания, которые рождались в нём, томили его, как наваждение. Никто не заказывал ему таких работ, но Бережкову становилось иногда невмоготу. Словно под гипнозом, с немного смущённой мечтательной улыбкой он, случалось, вечером записывался у себя от всего света и, мгновенно выключившись из окружающего,

начинал чертить, переносить на бумагу чертежи, которые представляли ему в воображении. Но вдруг, опомнившись, печально опускал руки. И бросал, иной раз буквально швырял в угол, скомканный лист и карандаш.

Кому, для кого, для чего он чертит? Где, на каком заводе будут строить эту вещь?

Чертить в ящик? Творить для себя, для одного себя? Заниматься искусством для искусства? Нет, Бережков никогда этим не занимался. Он попросту не понимал, как мог бы человек техники, индустрии, творец машин, находить удовлетворение в тщательно разработанных проектах, которым суждено остаться на бумаге.

Но почему же суждено? Завод, завод, могучая техническая база — вот что нужно!

34

С поникшей головой, в тоске, он стоял у своего стола, уже не перелистывая журналов, грустно уставясь на рекламы американских моторов.

Да, он сумел бы лучше! Не лукавя, не красуясь, Бережков повторил это сейчас, наедине с самим собой, перед своей совестью конструктора. Он уже знал себя, знал, что его талант созрел. Когда-то он творил, словно по наитию, по чутью, чудесным и как бы необъяснимым образом, теперь, получив серьёзное образование, поработав в коллективе Шелеста, он приобрёл теоретически ясную техническую руководящую идею, стал зрячим в технике, в её высших областях.

Но где же точка приложения его сил? Вспомнился опустошённый и словно выжженный, словно обугленный внутри Любарский, построивший для собственного удовольствия моторчик-игрушку. Как вздыхал этот инженер с мексиканской бородкой, листая французские альбомы.

Бережков машинально взял номер американского журнала. В мыслях вдруг предстал мистер Роберт Вейл, жизнерадостно кричащий, без стеснения растирающий при госте полнеющее розовое тело. Много времени утекло с тех пор, как Бережков бросил ему вызов, сказал: «Мы ещё потягаемся с Америкой!» Да, утекло много времени... Бережкову уже тридцать четыре года, а он ещё ничего не создал, ничего, кроме чертежей и нескольких заброшенных, недоведённых моторов.

Как изменить это? Что сказал бы Бережков, если бы его спросили: «Говори, что тебе надо?» Завод! Завод, где его чертежи, его фантазии становились бы машинами, — вот что ему нужно, вот где он померился бы наконец силами со всеми конструкторами Европы и Америки. На миг ему предстал такой завод. Во всех проходных будках — завеса воды. Сначала раздеться, пройти сквозь тёплый водопад, надеть по другую сторону белый костюм — только так можно вступить на территорию завода. Необыкновенная чистота во всех цехах!

Э, что мечтать?! Вздохнув, Бережков погасил свет и ещё долго стоял, смотрел на пол, на лунную дорожку, где опять косым крестом вырисовывалась тень оконных перекладин.

Часть пятая

Три вечера под Новый год

1

Бережков, не затрудняясь, назвал дату, когда случился новый поворот в его судьбе. Эту дату действительно нельзя было забыть; она была особенной, пожалуй, даже странной. Событие, о котором пойдёт речь, произошло под Новый год, в последний день, в последние часы уходящего 1928 года.

— Если нам с вами удастся правдиво написать про этот вечер,— говорил Бережков,— у нас получится настоящий новогодний рассказ нашего века. Совершенно фантастический и вместе с тем совершенно истинный. Мы с вами подходим к временам пятилетки. Это эпоха фантастических дел. Я впервые ощутил её тогда, под Новый год. Ощутил и мгновенно был захвачен.

В этот день ещё с утра Бережков удивился своему несколько приподнятому настроению. «С чего бы это?» — думал он. Одеваясь, он подошёл к календарю, оторвал очередной листок, посмотрел на новое число, тридцать первое декабря, последний день года. Хорошо, что наконец истекает этот год, который не дал ему счастья. Вот, наверное, с чего взялась его приподнятость. Что предстоит ему сегодня? Новогоднюю ночь он, как условлено, проведёт у Ганьшина. Тот посулил ему сюрприз. Что это будет? Может быть, какая-либо встреча, неожиданная и в то же времяжданная?

Бережков смотрел на листок календаря, где типографской чёрной линией была как бы подчёркнута цифра — 1928. Уже свыше пяти лет пролетело с того вечера, когда он в Выставочном киоске, близ павильона «Металл и электричество», купил две никелированные гачки. Давно он затерял маленький шестигранник, который собирался беречь всю жизнь... Где-то затерялась и строгая девочка. А что, если она найдётся? Нет, слишком нелепо было предположить, чтобы сегодня, у Ганьшина, который даже не знал о той давней встрече на выставке, могла объявиться Валентина. Однако Бережков подумал: «А вдруг?» Подумал, помечтал... Как это поворится? С Новым годом... С новым счастьем...

Бережков не запомнил, чем он занимался в этот день...

В очень светлом большом чертёжном зале института было шумнее, чем обычно. Праздник, предстоящий вечером, уже вторгся в служебный обиход, разбивал сосредоточенность. Каждому хотелось, чтобы скорее прошёл рабочий день. Каждый более или менее предвкушал традиционную ночь Нового года, когда в дружеской компании провозглашают всяческие здравицы, пьют вино и веселятся до утра.

Приблизительно в час дня в зале появился Август Иванович Шелест. С утра он где-то читал лекции и сюда, в свой институт, только что приехал. Он тоже, видимо, сегодня не был расположен приниматься за дела. Кивнув всем, он не прошёл в свой кабинет, не направился к столам конструкторов, а прислонился к горячей большой печке, облицованной молочно-белым кафелем. Смуглый, с орлиным профилем, с красивой проседью, он молча стоял, греясь у печки, и смотрел куда-то в окно с неопределённой довольной улыбкой.

Здесь вскоре нашла Шелеста его секретарша:

— Август Иванович, вам два раза звонили из Управления Военно-Воздушных Сил. Просили меня, как только вы вернётесь, сообщить туда об этом.

— Что же, сообщите,— сказал Шелест.

Через минуту произошёл следующий телефонный разговор.

— Товарищ Шелест?

— Да.

— Говорят из секретариата товарища Родионова. Дмитрий Иванович просит вас приехать.

— Когда?

— Сейчас.

— Сейчас? А что такое? Может быть, вы меня ориентируете?

— К сожалению, ничего не могу добавить. Дмитрий Иванович приказал отыскать вас и немедленно пригласить к нему.

— Но... — Шелест несколько встревожился.— Мне всё-таки следовало бы продумать, подготовить вопросы, о каких будет разговор. Не надо ли мне взять с собой те или иные материалы?

— Нет. Товарищ Родионов об этом ничего не говорил. Пожалуйста, сейчас же выезжайте. Он вас ждёт.

Шелест отправился. В АДВИ стало тотчас известно, что директор института зачем-то вызван к начальнику Военно-Воздушных Сил. Строились всяческие предположения. Может быть, новогодние премии, награды? Но за что же награждать, если институт так и не создал советского авиамотора, если злосчастный «АДВИ-100» до сих пор так и не доведён? Или заграничная командировка? Нет, вернее всего, новое задание. Но какое?

Конструкторы с интересом ожидали возвращения директора. Однако через полтора-два часа, когда служебный день уже подходил к концу, откуда же, из секретариата Родионова, вновь позвонили в институт. Было передано, что Родионов просит ведущих конструкторов института немедленно приехать к нему. Все они были перечислены в небольшом списке, утверждённом, видимо, Родионовым.

— Пусть захватят с собой удостоверения личности,— предупредили из секретариата.— Пропуска для всех этих товарищей будут готовы.

В списке значился и Бережков.

Подобных приглашений доселе не случалось. От института до Управления Военно-Воздушных Сил было не близко. Поехали на трамвае. Бережков уже успел забыть о своих предчувствиях, теперь он был по-настоящему взволнован. Уставившись в замёрзшее окно, он стоял на площадке трамвая, то и дело ощущая внутреннюю дрожь. Он не мог разговаривать от волнения, молчал всю дорогу.

2

В приёмной начальника Военно-Воздушных Сил горело электричество; на улице уже смеркалось.

Войдя вместе с товарищами, Бережков увидел нескольких конструкторов из винтомоторного отдела Центрального института авиации и среди них Ганьшина. Ганьшин сидел на подоконнике, как не полагалось бы сидеть профессору, в потёртом, мешковатом, как всегда у него, пиджаке, в очках на вздёрнутом носу, с обычной скептической полуулыбкой. Конструкторы из его отдела о чём-то спрашивали его; они, видимо, тоже только что прибыли сюда; Ганьшин что-то ствятил и пожал плечами.

В углу дивана сидел Шелест, явно раздосадованный или обиженный, надутый. Своих учеников, конструкторов АДВИ, он встретил без улыбки. «Э, тут что-то уже произошло»,— подумал Бережков. И подошёл к Ганьшину.

— Здравствуй. Что такое? Почему нас вызвали?

Ганьшин лаконично ответил:

— Сверхмощный мотор..

— Как?

— Сверхмощный мотор,— повторил Ганьшин и опять пожал плечами.

— Расскажи толком! — закричал Бережков.

На него покосился секретарь Родионова, покосился, но ничего не сказал на первый раз. А Бережков требовательно сжал обеими руками кисти Ганьшина.

— Ну, расскажи же!

Вспомнилось, как он недавно стоял вот так же перед своим другом, ожидая от него каких-то чудесных, захватывающих слов. Но тогда их не оказалось.

— Спроси у Шелеста, — произнёс Ганьшин. — Нам обоим там влетело...

Он указал на тяжёлую, плотно закрытую дверь, ведущую в кабинет Родионова. Туда вошёл секретарь. Затем дверь снова раскрылась.

— Товарищи! Дмитрий Иванович вас просит.

3

Бережков первый раз в жизни вошёл в кабинет Родионова. Вдоль стены, позади стола, где сидел Родионов, виднелись укреплённые на проволоке модели советских самолётов. Их было много. Выделялись характерные, однотипные по очертаниям, последовательно возрастающие в размерах монопланы Туполева. Его новый самолёт, тяжёлый бомбардировщик, тогда только что вступивший в строй Военно-Воздушных Сил, во много раз уменьшенный в модели, был поднят несколько выше к потолку и раскинул почти на полстены мощные крылья светлого лёгкого металла. Рядом выстроились самолёты Ладосникова, тоже большие, длиннокрылые, поблёскивающие нетронутым краской алюминием. Бережков знал: Ладосников, как и все другие русские конструкторы, страдал из-за отсутствия отечественных двигателей. Он не мог развернуться вовсю, проявить весь свой дар: в его распоряжении были лишь моторы заграничных марок; все они являли собой как бы сгустки технической мысли уже истекшего, вчерашнего дня, то есть были по существу уже отсталыми, ибо промышленность, создающая моторы, уже ушла вперёд, уже доводила, испытывала неведомые нам новинки.

В сравнении с машинами Туполева и Ладосникова казались маленькими многие другие самолёты, развешанные в кабинете, особенно разведчики и истребители. Все они были созданы советскими конструкторами. Но и для маленьких машин в стране не было своих моторов. Не было ни одной модели авиамотора и в кабинете Родионова. Правда, некоторые моторы иностранных марок выпускались на наших заводах, но Родионов не дал места в своём кабинете этим двигателям. Бережков одним взглядом охватил эту картину: самолёты без моторов.

Родионов поднялся навстречу входившим — сухощавый, высокий, прямой, в военном темносинем френче. Он приветствовал всех улыбкой, показал рукой на стулья.

— Нуте-с, нуте-с, рассаживайтесь, товарищи,— весело заговорил он.— Разговор будет о большом деле.

Он помедлил, поглядывая на лица, ожидая, пока все расположатся. Снова улыбнулся и повторил:

— О большом деле!

Бережков мгновенно уловил — в те часы он был особенно чуток, — что Родионов переживает некое особенное состояние. Сквозь красноватый здоровый загар, всегда свойственный Родионову, пробился свежий румянец. Жест был сдержанно быстрым. Глаза блестели. Чувствовалось, что в нём будто взведена незримая пружина.

— Я почувствовал тогда обаяние Родионова,— говорил Бережков.

И, увлекаясь, забегая, пожалуй, несколько вперёд, он очень тёплыми, даже влюблёнными словами нарисовал облик Родионова.

— В тот вечер я как бы вновь открыл для себя, понял Родионова,— рассказывал Бережков.— Потом Дмитрий Иванович часто вызывал нас, и я всегда восхищался его чёткостью, целеустремлённостью, деловой обаятельностью, которую он излучал. Он удивительно сочетал в себе деловую сухость, особого рода недоступность, краткость, лаконичность речи с необыкновенной привлекательностью. Всем своим видом, каждым жестом он как бы говорил: «К делу! Быстрее к делу!» Однако, когда вы ему что-либо излагали, он, перебивая вас своим любимым «нуте-с», очень внимательно глядя вам в глаза, словно стараясь прочесть мысли, которые живут в вас, кроме тех, что вы высказываете, располагал к тому, чтобы быть с ним очень откровенным. Он умел слушать, от него исходил ток доброжелательства, доверия.

Однако случалось, что Родионов мгновенно изменялся. Именно мгновенно — это было его отличительной чертой. Вот он с вами спокойно разговаривает, спокойно и внимательно выслушивает, никакого волнения или раздражения вы в нём не замечаете, и вдруг, если для него выяснилось, что ваши слова или поступки являются неверными, вредными для дела, которому он беззаветно служит, его охватывало негодование. Он как-то особенно поднимал брови, густо краснел и сразу, без промежуточных оттенков, без нарастания, брал очень круто: начинал быстро, горячо, резко говорить, резко жестиковать, гневно обрушиваясь на факты или мысли, которые, по его убеждению, являлись неправильными, нетерпимыми. В эти минуты прорывалась наружу его страстность. Потом, после такой вспышки, после того как с силой выбьет его пламя, оно, опять-таки не постепенно, а как-то сразу, будто вбиралось внутрь, пропадало, как прихлопнутое. Дмитрий Иванович несколько секунд молчал, потом становился обычным, сдержанным Родионовым.

— Приведу ещё одну чёрточку Дмитрия Ивановича, — вспоминал Бережков. — Бывают работники, которые взяли за правило, что в служебной обстановке нельзя посмеяться, пошутить. Они педантично придерживаются этого и ведут себя несколько искусственно, как, по их мнению, должны были бы вести себя на этом месте большие люди. В манере Родионова не было ничего подобного. Он был восприимчив к юмору. При обсуждении любого вопроса он легко улавливал какую-нибудь юмористическую грань, особенно если её умел мельком выделить остроумный собеседник, и Родионов тогда с удовольствием, просто и весело смеялся. Его смех обрывался тоже как-то круто, и Родионов опять в один миг становился требовательным, внимательным человеком дела. Мягких переходов я за ним не знал.

На похвалу, на всякие материальные поощрения и награды он был очень скуп. Работы без напряжения, без увлечения, без накала он не признавал. Постоянное собственное напряжение, казалось, не утомляло Родионова. Весь смысл жизни для Родионова был в его борьбе, в его работе. Он служил своим идеалам, служил партии и в этом, как я думаю, находил единственное и полное удовлетворение.

В собранной, подтянутой фигуре Дмитрия Ивановича, во всех его поступках, даже в атмосфере, всегда будто несколько наэлектризованной вокруг него, жил этот дух преданности делу, которое ему поручила партия.

Всё ради дела — вот чем всегда веяло от Дмитрия Ивановича. Мелкие люди, для которых личное благополучие, деньги, награды, карьера были самым главным в жизни, не любили Родионова и не удерживались около него. Но те, для кого счастьем жизни было творчество — например, конструкторское, — для кого высшей наградой, высшим наслаждением было само создание, сотворение нужной вещи, те обожали Родионова. Всё ближе соприкасаясь с ним в дальнейшем, мы, конструкторы, вскоре убедились, что если в том или ином изобретении, предложении имеется хоть малейший толк, оно найдёт максимальное содействие у Дмитрия Ивановича. Мы знали: он не только продвинет конструкцию в производство, он обеспечит требовательную, придирчивую проверку исполнения. А потом, в случае успеха, будет радоваться вместе с конструктором, будет не менее ярко, чем конструктор, хотя и внешне сдержанно, переживать удачу.

— Таков был человек, — заключил Бережков, — которого тогда, под Новый год, я для себя вновь как бы открыл, в которого с того вечера влюбился.

Приближался час, добавим от себя, когда Родионов в свою очередь заново открыл Бережкова.

4

Родионов стоял за своим столом.

— Придвигайтесь, товарищи, поближе,— проговорил он.

Ещё с полминуты обождав, он сел и сразу, по своей манере, перешёл к делу.

— Я не предполагал, товарищи, созывать сегодня вас. Однако, поговорив днём с вашими руководителями, с Августом Ивановичем Шелестом и Сергеем Борисовичем Ганьшиным, я, к сожалению, почувствовал, что они не передадут вам моих слов так, как я этого хотел бы.

Посмотрев на Шелеста, затем на Ганьшина, он продолжал:

— Извините, что я говорю об этом прямо. В таких вопросах прямота необходима. Иначе нам не удастся быстро мобилизовать все наши силы, прежде всего душевные, чтобы выполнить задачу, которая ныне выдвинута перед нами Центральным Комитетом партии и правительством.

Родионов снова помедлил. Сосредоточиваясь, чуть сдвинув брови, он куда-то смотрел поверх голов. Затем, будто охватив в этот краткий промежуток молчания всё, что он хотел сказать, Родионов продолжал речь, попрежнему сидя, чуть наклонив вперёд, к конструкторам, свою нимало не сутулую фигуру. Его мысли были очень ясны. Он напомнил о так называемой «доктрине малого воздушного флота». Эта доктрина дискутировалась несколько лет назад. Вопрос стоял так. По сравнению с империалистическими западными государствами мы — технически отсталая страна. Как быть, если грянет война? Как воевать в воздухе? Сможем ли мы отразить в грозный час войны налёты тяжёлых и быстрых эскадрилий врага? Сторонники «доктрины малого воздушного флота» отвечали: для того чтобы быть готовыми к войне, надо направить усилия на развитие оборонительной, лёгкой авиации, то есть главным образом одностепенных истребителей, которые могли бы подниматься и летать на маломощных моторах. Ещё в то время, несколько лет назад, партия решительно отвергла эту программу. Приняв её, мы тем самым надолго признали бы себя второстепенным государством, которое не в состоянии принимать участия в мировом соревновании за высшие достижения в авиации, за первенство в воздухе. Ещё тогда партия дала нам другую перспективу: Советская страна должна иметь большой и могучий Военно-Воздушный Флот. Мы часто повторяем это, но на деле это решается борьбой за одну ключевую позицию, которую мы до сих пор не завоевали. Больше того. Мы с вами как-то молчаливо согласились, что в ближайшее время её нельзя завоевать, то есть по существу незаметно соскользнули к той же самой, якобы нами отброшенной, доктрине малой авиации. Эта ключевая позиция — мощный мотор. Нам казалось, что надо начать с малого, с мотора в сто лошадиных сил. На этом мы сосредоточили усилия всех наших конструкторов, всех производственников. Нас постигали неудачи, но мы не отступались и, конечно, не отступимся, пока не добьёмся тут полного успеха, который, несомненно, близок.

Родионов с некоторыми подробностями рассказал о том, что на Заднепровском заводе успешно подвигается освоение мотора в сто лошадиных сил, сконструированного инженером Никитиным, работником этого завода.

— Эти моторы у нас будут,— продолжал он.— Трудности серийного выпуска завод упорно преодолевает. Однако маломощный мотор не решит больших задач нашего флота. На маломощных моторах не взлетят вот такие самолёты.

Родионов обернулся и сильным сдержанным жестом показал на се ребристую металлическую птицу, очень рельефную в свете электричества, размахнувшую крылья над совсем уже тёмным окном.

— Не всякая великая держава,— продолжал он,— имеет сейчас такие самолёты. Но для них, как вы знаете, мы вынуждены приобретать мощные моторы за границей. А что будет в случае войны? Ну-те-с...

На столе перед Родионовым лежал том сочинений Ленина, ещё первого издания, в картонном переплёте светлокорицевого цвета. Уголки переплёта несколько пообтрепались; книгой, видимо, немало пользовались. Среди страниц виднелись две-три бумажные закладки. Родионов развернул книгу на одной из закладок.

— «Война неумолима,— чётко прочитал он,— она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически... Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей». Вот, товарищи конструкторы... Погибать мы не намерены.— Родионов скупой улыбнулся. — Но тогда — на всех парах вперёд.

Родионов кратко рассказал, что на днях в Центральном Комитете партии состоялось заседание, посвящённое вопросам авиации.

— Я передаю вам, товарищи,— продолжал он,— директиву партии. Вперёд! Нам нужен темп развития, какого не знала ни одна страна, нужен небывалый, беспрецедентный в истории техники рывок. Что же это значит, если говорить об авиации и, в частности, о ваших задачах, товарищи конструкторы моторов?

Родионов назвал сумму, отпущенную на следующий год для капитальных вложений в промышленность авиационных моторов. Это были сотни миллионов рублей в золотом исчислении.

Немного подавшись вперёд, к настольной лампе под зелёным абажуром, поглядывая в большой блокнот, Родионов негромко называл цифры. Бережкова потряс этот момент, этот контраст деловитости и дерзновения. Словно не веря собственному переживанию, Бережков покосился в обе стороны. Да, сидят его сотоварищи, конструкторы, люди технического образования, технического мышления; да, перед ними, техниками, только что прозвучали слова, пронизанные зажигательной романтикой: «Погибнуть или на всех парах устремиться вперед». Их прочёл этот худощавый серьёзный человек, который держится так прямо, у которого чуть пылают щёки и блестят глаза, прочёл сидя, не повысив голоса, почти без жестов. Всё это — вся сдержанная суховатая манера Родионова, который продолжал оглашать цифры вложений,— всё это, казалось, лишь подчёркивало, резче оттеняло необыкновенный, поистине фантастический (как воскликнул, рассказывая, Бережков) смысл того, о чём конструкторы узнали в этот вечер в кабинете начальника Военно-Воздушных Сил страны.

— Таким образом, вы видите,— говорил Родионов,— что доктрина малой авиации вторично похоронена. Теперь мы не дадим ей воскреснуть. Вместе с ней отброшена и вся теория медленного, постепенного, или, как говорят, «нормального», развития техники, в частности техники моторостроения. Новые заводы авиационных моторов, или, во всяком случае, два из таких заводов, будут сооружены и пущены уже в наступающем году. Наилучшее, новейшее оборудование для них будет закуплено на Западе. Но на этом оборудовании надо выпускать советские моторы, которые вам, товарищи конструкторы, предстоит создать,— моторы, не уступающие в мощности сильнейшим заграничным двигателям. Партия поставила перед нами эту задачу — создать советский мощный авиадвигатель, самый мощный мотор в мире. Нужен проект, нужна конструкция, и не одна — несколько конструкций.

5

Родионов опять приостановился, словно давая время воспринять, освоить сознанием то, что он сказал.

— Я вызвал вас, товарищи,— добавил он,— только для того, чтобы вы лично от меня выслушали это. Ваши профессора, с которыми я сперва

поговорил, к сожалению, усомнились в осуществимости этой большой задачи. Если, конечно, я правильно их понял... Нуте-с...

Он опять взглянул на Шелеста и Ганьшина. Шелест промолчал. Но Ганьшин принял вызов:

— Вы, Дмитрий Иванович, спросили, что я об этом думаю. И я, как специалист, как инженер...

Родионов нахмурился. По тону Ганьшина он уловил, что тот придерживается своего прежнего взгляда. Румянец на щеках Родионова вдруг перестал быть заметным, всё лицо начало краснеть. Это был признак гнева. Ганьшин, однако, закончил:

— Как инженер, я не мог не высказать сомнений. Мы, Дмитрий Иванович, можем промахнуться, если сразу поставим себе эту большую цель.

Родионов справился с собой. Вспышки не последовало. Он промолчал. Вновь обозначился румянец. Но и в таких случаях, без вспышки, Родионов умел беспощадно разנסить.

— Нет, я не могу назвать вас инженером,— не громко, но резко сказал он.— Если инженеру говорят: вот всё, что тебе нужно, вот тебе завод с новейшим оборудованием, лучшие инструменты и приборы, вот тебе денежные средства для всех твоих затрат по производству, возьми всё это и построй лучшую в мире машину,— неужели настоящий конструктор, настоящий инженер не вдохновится этим? Неужели инженер откажется от таких возможностей?

Бережков сидел, не чувствуя собственного веса. От волнения его всё время будто покалывали иголки. «Возьми всё это и сделай!» Неужели он это слышит наяву? Он опять посмотрел на соседей, оглянулся, увидел помрачневшую упрямую курносую физиономию Ганьшина. «Послушайка, послушай! — подумалось ему.— Вот тебе мои фантазии!» Да, всё наяву. Как странно за один этот час перевернулись их отношения. Всего несколько дней назад Ганьшин язвительно пробирал друга, впавшего в тоску, говорил: «Перестань ныть», а теперь... Кто из них ноет теперь?

Бережков уже всей душой принимал каждое слово Родионова. Как всё это необыкновенно, какой потрясающий день!

Поднялся Шелест.

— Дмитрий Иванович!

Нервное смугловатое лицо пожилого профессора, учителя всех русских конструкторов-мотористов, было очень серьёзно.

— Дмитрий Иванович! Вы не так нас поняли. Мы указывали на затруднения, но...

— Нуте-с, нуте-с...

— Но кто из нас не мечтает о таком моторе? Для нас будет величайшей честью, если мы, коллектив института...

— Почему «если»?

Шелест осекся. Родионов смотрел требовательно: он не любил условных предложений.

— Для нас, для коллектива АДВИ, будет величайшей честью,— повторил Шелест,— представить вам, положить на этот стол конструкцию самого мощного мотора в мире. И такой день придёт, Дмитрий Иванович!

— Ну, вот! Прекрасно... Но не опоздайте. У вас будут сильные соперники. Думаю, и группа Ганьшина соберётся с духом. На этом, товарищи, сегодня мы закончим. Дискуссии излишни. Начинайте думать, работать! Вскоре, может быть, соберём большое совещание, где откроем дискуссию уже о чертежах. Нуте-с...

Родионов встал. Поднялись и конструкторы.

— Нуте-с,— улыбаясь, сказал он.— С Новым годом, товарищи! С новым мотором!

Выйдя из-за стола, Родионов подошёл к Ганьшину.

— Что, Сергей Борисович, напустили на себя такую мрачность? Не прокатиться ли нам с вами завтра по случаю Нового года на аэросанях? Ведь это, кажется, давнее ваше увлечение? Или уже перевели себя в почтенный возраст? Поостыли?

— Нет, Дмитрий Иванович. Участвую во всех пробегах.

— А сани в порядке?

— Да.

— Ну, раз сам Ганьшин заявил, что вещь в порядке, значит...

Родионов рассмеялся, не найдя слов.

— Пожалуйста, могу подать,— всё ещё хмуро проговорил Ганьшин.

— Так прокатимся, Сергей Борисович, завтра на Волгу. И обратно.

— На Волгу?

— Да. Посмотрим площадку для нового моторного завода. Нуте-с, что скажете? Вчера туда уже отправилась комиссия, которая будет выбирать площадку. А тут и мы с вами нагрянем. И, может быть, АДВИ составит нам компанию на других санях. А, Август Иванович?

— С удовольствием,— сказал Шелест.— Алексей Николаевич, поведёте сани?

Бережков не ответил. Он был странно рассеян и почти не слышал разговоров. В воображении мелькали разные моторы, порой беспорядочно разъятые на части, возникали какие-то несуразные и даже уродливые сочетания, а он как бы со стороны присматривался к этому, ещё не понимая в тот момент, что же с ним творится.

— Алексей Николаевич! — вновь окликнул его Шелест.

— А?

— Поведёте завтра сани? Разрешите, Дмитрий Иванович, вам его рекомендовать, как чемпиона аэросаней.

— Знаю, знаю,— произнёс Родионов.— Мы ведь старые знакомые. Побывали вместе... — Его левый глаз прищурился, именно левый (так целятся, наводят мушку), а правый весело, приветливо взирал на Бережкова... — Побывали вместе в некоторых переделках.

Бережков молчал. Лишь слегка вспыхнуло лицо. Да, они повоевали вместе. Родионов это помнит: и поездку на аэросанях к Николаю Егоровичу Жуковскому и встрече на балтийском берегу в ночь штурма Кронштадта. Помнится это и Бережкову. Странно, как похожа та лихорадка перед боем, тот порыв души, что Бережков познал там, в давнюю мартовскую ночь, на его теперешнее состояние. Но Бережков не нашёл слов, чтобы сказать об этом. Он согласился вести аэросани, участвовать в завтрашнем пробеге на Волгу.

— Хорошо,— сказал Родионов.— Итак, товарищи, старт с Лефортовского плаца завтра в девять утра. Возражений нет?

— Может быть, Дмитрий Иванович, в десять? — предложил Шелест.— Ведь мы сегодня встречаем Новый год.

— А я, думаете, не встречаю? Так и просижу Новый год здесь, в управлении? Если бы не Новый год, мы снялись бы на рассвете. Значит, в девять? Решено. Теперь, товарищи... Желаю вам повеселиться... Всего доброго.

Немного сгрудившись в дверях, конструкторы один за другим выходили из кабинета.

— Большое дело! — сказал Шелест, когда затворилась дверь.

Он был тоже взбудоражен и рассеян; тоже, видимо, уже думал о новом моторе. От угрюмости, с какой он сидел тут на диване, казалось, не осталось ничего.

— Алексей Николаевич,— обратился он к Бережкову,— ровно в семь утра приезжайте, пожалуйста, в гараж... Как будто опять времена «Компаса», правда?

— Да,— кратко ответил Бережков.— Хорошо, Август Иванович, в семь утра буду.

Он говорил, а в воображении шла не заметная ни для кого и ещё непонятная самому Бережкову работа. Странная улыбка, не в лад с разговором, на миг появилась на его лице. Но он опомнился.

— Да, да... Буду на месте, Август Иванович.

7

От Варварки, от Управления Военно-Воздушных Сил, Бережков и Ганьшин переулками шли к Красной площади. Дул лёгкий ветер, падал снег. Ярко светились многие окна. На свету было видно, как кружились или неслись наискось крупные хлопья. По пути, на белой мостовой, на белых тротуарах, то и дело вздымались маленькие завихрения, иногда обдавая снежной пылью.

Бережков взял Ганьшина под руку. Их обгоняли прохожие. Словно по молчаливому согласию, друзья ни словом не обмолвились о заседании, о моторах. Бережкову не хотелось говорить об этом. Он как бы по инстинкту оберегал незримую работу, которая совершалась в нём.

Дышалось легко. Бережков глубоко вбирал морозный воздух. Тротуар под ним словно пружинил. Куда делось угнетение, томившее его так долго?

На Ильинке, оживлённой улице, где сверкали витрины магазинов, сразу почувствовалась приятная предпраздничная суета. Торопливо проходили мужчины и женщины со свёртками, с последними покупками к ноготковому столу. Слышался говор, смех.

Сквозь пелену снега возник светящийся круг электрических часов.

— О, уже десятый,— сказал Ганьшин.— Пойдём прямо ко мне.

— Как же? А переодеться?

— Пустяки. Объяснишь, что такая неожиданность. Вызвали к Родионову. И завтра пробег чёрт те куда...

— А кого ты ожидаешь?

Ганьшин перечислил нескольких общих знакомых.

— И кроме того, ведь я обещал тебе сюрприз. Он будет.

— Кто же он такой? Или, может быть, это она?

— Заранее не скажу. Сюрприз.

— Если она...— Бережков остановился среди тротуара.— Тогда, брат, не могу. Лечу переодеться.

— Оставь! — Ганьшин повлёк друга.— Я чувствую, что ты сегодня и так, в чём есть, всех очаруешь.

— Знаешь, Ганьшин...— произнёс Бережков.

Мечтательная странная улыбка опять проступила на его лице.

— Знаешь, я хочу сам очароваться. Ты когда-нибудь переживал это? Ещё не самую любовь, а предчувствие любви, предчувствие, что она вот-вот тебя охватит.

— Переживал.

Бережков неожиданно продекламировал:

— «Мама! Ваш сын прекрасно болен...»

— Что это? Откуда?

— «Мама! Ваш сын прекрасно болен,— не отвечая, с улыбкой читал Бережков.— У него пожар сердца. Скажите сёстрам, Люде и Оле, — ему уже некуда деться».

— Что это? — снова спросил Ганьшин.

— Маяковский. «Облако в штанах». Необыкновенно волнующая вещь.

— «Прекрасно болен», — иронически произнёс Ганьшин. — Не понимаю. Какой-то набор слов.

— Сухарь! — крикнул Бережков.

Болтал ли он с другом, молчал ли, но в мозгу, помимо его воли, продолжалась незримая работа. Порой будто мерцала новая комбинация, новая конструкция; он всматривался, и всё распадалось. Мерещился, лез в голову глоссерный двигатель «Райт». Вот навязался! Из-за него, чёрт побери, не различишь что-то иное, своё, смутно возникавшее в сознании.

С угла улицы друзьям открылась Красная площадь. Прямо перед ними темнели зубы стены Кремля, проступали сквозь летящий наискось снег силуэты башен, ещё с двуглавыми орлами наверху. Над Кремлём трепетало по ветру полотнище красного флага, ярко подсвеченного снизу. Напротив Кремля фонари у длинного здания Торговых рядов бросали на площадь пучки света. Иногда проходили автомашины, вырывая фарами из белёсой полумглы полосы пронссящихся, кружащихся снежинок. В этой вьюге, в этом призрачном свете московской зимней ночи просторная площадь, покатаая с обоих концов, вдоль стены Кремля казалась выпуклой, сфероидальной, как бы сегментом огромного шара.

Бережков опять остановился, поднял руку в шерстяной перчатке, поднял палец.

— Что ты? — спросил Ганьшин.

— Обожди. Постоим минуту.

— Зачем?

Бережков таинственно наклонился к другу.

— Ощущаешь, — понизив голос, сказал он, — как мы несёмся в мировом пространстве?

Ганьшин усмехнулся.

— Расфантазировался. Пойдём.

— Обожди... Слышишь, мы с каким-то шуршанием рассекаем эфирные пространства...

— Нет, ничего не слышу.

— Молчи, сухарь.

Они двинулись дальше. Бережков легко шагал, наслаждаясь метелью. В полумгле воображения, словно при неверном свете фар, опять проступали какие-то очертания мотора. Идя об руку со своим маленьким другом, Бережков уже ничего не видел, кроме того, что совершалось в фантазии.

— Ты, пожалуй, на правильном пути, — вдруг проговорил Ганьшин. Бережков удивлённо посмотрел.

— О чём ты?

— Как «о чём»? Разве ты не помнишь, что сейчас ты бормотал?

— Сейчас? Честное слово, не помню... Ну, подсажи! Ну, что я бормотал?

Он тряс Ганьшина за плечи.

— Отпусти. Скажу.

— Ну, что?

— Проклятый «Райт»...

— Ты думаешь? — протянул Бережков.

Ганьшин кивнул. Они снова пошли под руку.

— Нет, ты, брат, не сухарь, — сказал Бережков. — Вовсе не сухарь.

Дорогой — опять словно по молчаливому согласию — они больше не говорили о моторе.

Вскоре друзья добрались к месту назначения. Ганьшин отомкнул и растворил перед гостем дверь своей квартиры. Впрочем, говоря точнее, под этим наименованием следовало разуметь две маленькие комнаты, ко-

торые молодой профессор, недавно обзаведшийся семьёй, занимал в многонаселённой, так называемой коммунальной, квартире. Заметим в скобках, что Бережков просил принести извинение читателям в том, что из его повествования выпали такие события, как женитьба Ганьшина, рождение его дочки, а также потрясающая эпопея обмена двух комнат в разных районах на две вместе, те самые, куда теперь переносится действие этого новогоднего рассказа, совершенно фантастического и совершенно истинного, как объявил Бережков.

...До полуночи было ещё далеко, шёл лишь одиннадцатый час. От Бережкова веяло морозцем, щёки и руки покраснелись. Он раскланивался, говорил любезности дамам, с интересом озирался, словно кого-то ища. Нет, напрасно он понадеялся на некое «вдруг»... В самом деле, откуда бы взялась здесь та, о которой он подумал утром, отрывая листок календаря?

Какую же встречу предвещал ему Ганьшин?

Из дальней комнаты кто-то окликнул Бережкова:

— Алёшка...

Удивительно знакомый, глуховатый голос. Бережков мгновенно повернулся. Люди добрые, Ладошников! Бережков ринулся к тому, с кем не виделся несколько лет, «ленинградцу», как все уже привыкли называть Ладошникова.

Михаил Михайлович стоял в углу, возле ганьшинского письменного стола, который сегодня был очищен от всего, что напоминало о науке, покрыт, как и обеденный, белоснежной скатертью, уставлен приборами и непочатыми ещё питиями. Высоченная, даже, пожалуй, исполинская, фигура Ладошникова как бы подчёркивала незначительные габариты комнаты; казалось, тут ему было тесновато. Годы пребывания в Ленинграде несколько изменили внешность Ладошникова. Как видно, он отвык от когда-то излюбленных высоких сапог и косоворотки. Теперь он был аккуратно подстрижен, одет в отлично сшитый, чтобы не сказать щегольской, костюм. И всё же это был прежний Ладошников. Даже смотрел он попрежнему из-под бровей, таких же лохматых, нависших, как и раньше, — смотрел на приближающегося Бережкова и улыбался. Шагнув навстречу, слегка задев при этом стол, на котором качнулись бутылки, Ладошников решительно сгрёб в объятия соратника по штурму Кронштадта, автора «Адроса», стиснул сильными руками, затем несколько отстранил и сказал:

— Ты, брат, помолодел...

Действительно, в этот вечер Бережков не мог погасить молодого возбуждения, блеска зеленоватых, ставших будто ярче глаз, неудержимо возникавшей улыбки. Он опять узнал прежнего Ладошникова в этом кратком восклицании: тот словно бы ничего не видел, но всё примечал. Перестав различать что-либо вокруг, Бережков не отрывал взгляда от приезжего. Давняя юношеская влюблённость мгновенно вновь завладела сердцем Бережкова. С нежностью он отмечал перемены, которые всё открывались в Ладошникове. Того, видимо, покинула прежняя скованность, угрюмая застенчивость. В прошлом он никогда таким свободным движением не обнял бы Бережкова. И улыбка стала свободнее, полнее. Может быть, надо бы сказать «счастливее». Да, этому человеку, новому Ладошникову, ведомо счастье творчества, успех...

Подшёл Ганьшин, толкнул Бережкова под бок.

— Ну, нравится сюрприз?

Потом Ладошников обратился к Бережкову:

— Ко мне, в Ленинград, доходили сведения, что ты стареешь, киснешь... А ты, оказывается...

— Какой чёрт, кисну? — перебил Бережков. — Завтра утром отправляемся в пробег.

— На аэросанях?

— Так точно. Присоединяйся!

— И Ганьшин участвует?

— Не только Ганьшин, но и сам Август Иванович... Видишь, чуть ли не весь «Компас» будет в сборе.

— Соблазнительно... Куда же вы держите путь?

Понизив голос — сведения о завтрашнем маршруте вряд ли следовало оглашать во всеулышание, — Бережков ответил:

— На Волгу... На площадку нового моторного завода.

Вдруг словно какая-то тень прошла по худощавому лицу Ладошникова. Казалось, проступила на миг его прежняя угрюмость. Пожалуй, в другое время Бережков не уловил бы этой мимолётной тени, но сейчас с проникновением влюблённого он её увидел.

— Что с тобой, Михаил?

Ладошников помолчал, потом буркнул:

— Нынче у меня день неприятностей.

— Что же случилось?

— Просил об одном деле... Но ничего не вышло... Отказали...

— О чём же просил?

— Дело большое... Касается судьбы одной моей машины.

— Какой? «Лад-8»?

Ладошников кивнул. Бережков не решился дальше расспрашивать на людях. Быстро взяв Михаила Михайловича под руку, он повлёк его в прихожую. Однако там среди вороха шуб и шапок — от некоторых ещё тянуло холодом — уединилась молодая пара. Впрочем, это уединение было весьма условным: здесь же дымил папирсой пожилой военный. Пока Бережков оглядывал прихожую, отыскивая укромный уголок, раздались пронзительные звонки над входной дверью. К кому-то из обитателей коммунальной квартиры нагрянули гости. Нет, тут, на этой площади общего пользования, не поговоришь. Однако Бережков ещё со времён новоселья Ганьшинных был знаком с местностью. Он тотчас нашёл выход — выход на чёрную лестницу.

Смутный свет зимней лунной ночи проникал сквозь заросшие изморозью стёкла небольшого окна, расположенного маршем выше. Два конструктора, очутившиеся наконец наедине, поднялись туда, к окну. На белеющем в полумгле фоне Бережков видел будто вырезанный из тёмного картона профиль Ладошникова: выпуклый лоб, выступающие, сильно развитые надбровные дуги, сжатый энергичный рот. Здесь, в тиши, Ладошников кратко рассказал о том, что называл «днём неприятностей». Приехав утром, он зашёл в Управление Военно-Воздушных Сил и тотчас был принят Родионовым, который сообщил, что правительство решило не покупать чертежей «Майбаха», а строить завод для выпуска отечественного мощного авиадвигателя. Но такого мотора ещё нет. И даже проекта нет.

— Кто знает, — продолжал Ладошников, — что станет теперь с «Лад-8»? Серийный выпуск невозможен, пока нет мотора.

Бережков слушал, но никак не мог изобразить на своём лице сочувствия. Опять неудержимо появлялась улыбка. Перед мысленным взором снова всплывали какие-то моторы-уроды, неясные, неустойчивые сочетания разных двигателей.

Перебив Ладошникова, Бережков стал с жаром излагать всё, что произошло вечером в кабинете Родионова.

— Нам было сказано: погибнуть или на всех парах вперёд! Это писал Ленин...

— Знаю...

— А сокрушаешься о «Майбахе».

Помолчав, Ладошников ответил:

— Интересный у нас получился дуэт... И печальная-то мелодия у меня.

— Развеселишься! Я тебе это предсказываю. На всех парах вперёд! Так поставлен вопрос историей! Понимаешь?

— Ты, Алёшка, кажется, совсем не замечаешь холода...

— Не замечаю... Ей-ей, не замечаю.

— А я, признаюсь, продрог.

— В таком случае пошли... Сегодня я тут всех буду развлекать. И тебя развеселю.

9

Некоторое время спустя Бережков уже рассказывал о знаменитой поездке на аэросанях.

В этом доме иные склонности и способности Бережкова нередко расценивались скептически, но его слава рассказчика здесь никогда не меркла.

— После обеда мы вышли на мороз весёлые и бодрые,— повествовал он.— Принялись запускать мотор, но не тут-то было... Это, друзья, нечто уму непостижимое. Каждое необычайное событие моей жизни до сих пор обязательно почему-то было связано с необычайным для меня конфузом.

Будто рассказывая этот эпизод впервые, Бережков с прирождённым артистизмом, с жаром изображал все перипетии. Попржнему, как и на улице, он с наслаждением ощущал, что опять обрёл себя. До Нового года, до момента, когда часы начнут отбивать двенадцать, минутной стрелке предстояло пройти ещё почти полный круг. По обычаю, первый тост, первый бокал полагалось поднять ровно в двенадцать, но Бережков, как это с ним порой случалось, был опьянён и без вина.

Он дал ещё несколько красочных штрихов, закончил рассказ, но все желали ещё слушать. Стали упрашивать:

— Расскажите что-нибудь ещё...

Бережкову и самому хотелось говорить и говорить. Только о чём? Пусть предложит Ладошников.

— Михаил! О чём рассказать?

Ладошников развёл руками.

— Уж коль рассказывать, то о самом важном. Что ты считаешь самым важным событием в своей жизни?

— Самым важным? Дайте подумать.

Бережков улыбался. Мелькнула мысль, что, может быть, самое важное событие его жизни происходит именно теперь, сегодня, начавшись с той минуты, когда его вместе с другими вызвали из института к начальнику Военно-Воздушных Сил. На миг его не то детская, не то плутовская улыбка, его сощуренные искрящиеся глазки стали совсем иными, опять не в лад с шутливым тоном, отсутствующими, очень странными. Но всего на миг. Он тотчас воскликнул:

— Есть! Вспомнил одно событие колоссальной важности! Но...

Выдержав интригующую паузу, Бережков обвёл всех взглядом.

— Но вы ни за что не угадаете, что это такое! Мои приключения многим тут известны. Попробуйте-ка угадать, о чём я расскажу...

Стали угадывать. Высказывали разные предположения, но Бережков неизменно отвечал коротким «нет».

— Ну-ка, я попробую,— проговорил Ганьшин.— Дай посмотреть в твои глаза.

— Пожалуйста.

Бережков с готовностью наклонился к другу.

— Это вот что,— сказал Ганьшин.— Это ещё одно твоё приключение на аэросанях.

— Ну, предположим... Ну, а дальше?

— Дальше... Это история твоего водяного...

— Ганьшин, довольно! Ты мне всё испортишь! Как ты?..

— Да, думаю, ты правильно идёшь...

— Куда иду?

Бережков искренне недоумевал. Он собирался преподнести обществу сильно комическую, эффектную новеллу и уже предвкушал, как в конце все рассмеются, как расхохочется и он. А другой поток в неясной глубине воображения протекал по-своему: там возникали и рассеивались всякие фантастические компоновки, возникали и рассеивались, казалось бы, без всякой связи с новогодней болтовнёй, с новогодними рассказами. Но что же означают слова Ганьшина?

— Итак, друзья,— произнёс Бережков,— до Нового года нам осталось ещё...

Стенные часы висели в другой комнате. Он вынул карманные. Весь рассказ у него уже сложился, предстал ему готовым. И вдруг его рука остановилась. Уши стали краснеть. Он так и не закончил фразы, так и не посмотрел, сколько было времени, или, может быть, смотрел, но уже не видел циферблата. Исчезла плутовская улыбка. Он хотел что-то воскликнуть, но негромко выговорил:

— Извините, я сейчас должен уйти.

И с пылающими, как маков цвет, ушами побежал в переднюю. За ним пошёл Ганьшин. Туда же поспешила Мария Николаевна.

— Что с тобой? Куда ты?

— Нашёл, Ганьшин, нашёл! — закричал Бережков.

— Подожди, но куда же ты?

— Чертить! Запрусь от всего мира...

— Стой! Ты, брат, кажется, хочешь унести чужую шапку.

— Разве? А где моя?

— Стой! Куда ты? — Ганьшин ухватил друга за пуговицу пальто.— Ведь тебе завтра вести аэросани. Ты всех своих подведёшь.

— Ганьшин, придумай что-нибудь. Позвони сейчас же Шелесту, что я внезапно заболел.

— Ты, кажется, в самом деле болен...

— Да, да. Прекрасно болен. Понимаешь? Ну,пусти.

Он вырвался и устремился к двери. Сестра крикнула:

— Алёша, и мне пойти? Тебе что-нибудь надо?

— Ничего... Только обвязать телефон подушкой. Нет, двумя подушками.

И он выскочил на лестницу. Вдогонку прогремел бас Ладощникова:

— Бегите и вы, Мария Николаевна. Мы вам поручаем этого одержимого.

10

— Что же вы там хотели рассказать? — с интересом спросил я.— И что у вас внутри в тот момент произошло?

— Хотел преподнести историю водяного бака.

— Какого бака?

— Неужели я вам не говорил про этот случай?

— Нет.

— Не понимаю, как я это упустил? Ведь это — колоссальное событие в моей жизни.

И Бережков поведал мне историю, которую не успел рассказать на вечере у Ганьшина.

— С той ночи,— сказал он,— когда мы оконфузились, не сумев завести мотор, меня не оставляла мысль, что надо придумать какую-нибудь несложную вещь для того, чтобы в любых условиях, на любом морозе быстро согреть мотор. Вскоре представилась возможность осуществить эту идею. В АДВИ имелся отдел аэросаней, и я, не оставляя многих других дел, которыми занимался в институте, стал строить аэросани собственной конструкции. Помню, я с упоением нарисовал прелестные об-

текаемые формы этих аэросаней. Все неуклюжие части, которые обычно очень грубо, очень неэстетично выпирают, я постарался втянуть внутрь под единую красиво выгнутую линию. Затем пришёл черёд моему маленькому изобретению. Я придумал очень простую вещь, такую, которую не менее сотни лет все знают без меня: самовар. Да, решил вмонтировать в мои сани самовар или водяной бак, действующий подобно самовару. Несколько щепок, несколько сухих берёзовых чурок, для которых всегда найдётся место под сиденьем, и во всякую пургу, в любом пустынном снежном поле у меня будет кипяток, чтобы быстро отогреть и легко пустить мотор. В моём рисунке бак и его трубки составляли приятную волнистую линию, вписанную в профиль саней.

Наконец сани были выстроены. Все испытания они прошли отлично. Был объявлен пробег Москва — Ярославль. В числе участников фигурировал, разумеется, и ваш покорный слуга. На старте я всех поразил моей новинкой; все критически рассматривали мои сани и необыкновенный «самовар», отпуская по этому поводу всякие шутки, со смехом проричая мне разные беды. В ответ я скромно улыбался. Через некоторое время я уже мчался впереди всех по блестящей целине, по насту. В Ярославль я пришёл первым. Пройдя черту финиша, я сделал крутой поворот, или, как мы говорим, вираж, и в облаках снежной пыли опять подкатил к этой черте, где ожидали победителя. Открываю дверцу... Красивейшая девушка преподносит мне букет цветов. Нет, два букета... Она дарит мне прелестную улыбку. И вдруг...

Тут Бережков рассмеялся.

— Для гостей Ганьшина, — сказал он, — я, наверное, ещё многое присочинил бы: какую-нибудь захватывающую вставную новеллу. Лишь потом в рассказе последовал бы потрясающий эффект. Вам я этот эффект выложу сразу. Ярославль, финиш, заветная черта победы, букет цветов и прочее и прочее — всё это было ещё очень далеко, обо всём этом я лишь размечтался, сидя за рулевым управлением моих несущихся аэросаней. Вдруг меня сильно подбросило. Крак! Раздался неприятный звук, будто что-то сломалось или треснуло. Канава! Её я не заметил. Однако после толчка сани снова скользили, лишь немного потеряв скорость. Продолжалось мерное гудение мотора. С минуту я прислушивался. Как будто всё обошлось. Я осторожно прибавил ходу. Сани слегка рванулись, и вдруг что-то забарабанило, заскрежетало по обшивке. Что такое? Ведь сани безотказно идут, отлично выдержав удар. Что же там бьёт, царапает обшивку? Уже догадываясь, я с упавшим сердцем нажал на тормоза. Сани остановились, я вылез. Так оно и есть. Мой прелестный водяной бак оторвался при толчке. Вдоль саней свисали разорванные трубки. Испустив проклятие, я достал инструменты и принялся отвинчивать болтающиеся жалкие остатки моего изобретения. Мимо проносились участники пробега, издаваясь надо мной.

— И вот тут-то, — Бережков многозначительно поднял указательный палец, — вот тут-то произошло колоссальное событие в моей жизни. Я внезапно понял, что такое жёсткость. Нет, здесь не подходит слово «понял». Это я понимал и раньше, читал о жёсткости в учебниках, много раз слышал о том же от Августа Ивановича Шелеста, который систематически отстаивал и развивал в своих трудах принцип жёсткости в конструировании авиадвигателей и воспитывал нас, своих учеников, в духе этого же принципа. Но только тут, на снегу, злясь и чертыхаясь, я впервые не только понял, я прочувствовал этот принцип.

С тех пор, какую бы я конструкцию ни чертил, я говорил себе: «Бережков, помни, водяной бак был не жёстко сконструирован». И я тайне думал, что, может быть, никто из конструкторов мира не осутил, не воспринял так глубоко принцип жёсткости, как я. Для вас, конечно, надо пояснить, что жёсткой конструкцией, жёстким креплением мы называем

такое, когда при самом сильном ударе в машине ничто не сдвинется, не шелохнётся, словно вся она отлита из одного куска металла. А ведь двигатель внутреннего сгорания, мотор, непрерывно выдерживает удары, взрывы в цилиндрах. Нетрудно повысить мощность этих взрывов, но тогда расшатается, рассыплется конструкция, в ней будут ломаться, отлетать разные части, как отлетел при ударе мой водяной бак.

В американском глассерном моторе «Райт» была, например, достигнута максимальная для того времени жёсткость цилиндровой группы, все цилиндры мотора, как однажды я уже вам говорил, составляли блок, то есть один слиток металла. Как видите, не зря мне неотвязно мерещился этот самый «Райт», когда, взбудораженный, я шёл из Управления Военно-Воздушных Сил под руку с Ганьшиным.

А потом, когда я у него в гостях рассказывал всякие истории и решил комически изобразить случай с водяным баком, вдруг как бы в одно мгновение родилась конструкция. Я увидел способ резко повысить жёсткость всей машины, а не одной лишь цилиндровой группы, то есть увидел наконец, словно при взблеске молнии, ещё нигде не существующую, кроме как в моей фантазии, конструкцию самого мощного мотора в мире.

И выбежал в чередную, как безумный. И, позабыв про Новый год, про завтрашний пробег, ничего кругом не замечая, зашагал по Москве домой — чертить, чертить.

Вот, мой друг, какие истории в наше время иногда случаются под Новый год.

11

Три дня, или, вернее, трое суток, никуда не выходя из дому, не отвечая на телефонные звонки, питаюсь главным образом лишь крепким кофе. Бережков чертил свою конструкцию, чертил в разных разрезах, в разных видах, на больших листах бумаги, размером во весь стол.

Порой, не раздеваясь, он на два-три часа забывался на кушетке, но даже и тогда перед закрытыми глазами назойливо возникали чертежи, то дико искажённые, то вдруг поразительно ясные.

Четвёртого января утром, пропустив два рабочих дня, он прибыл на службу на грузовике. Грузовик подкатил к подъезду института; Бережков стоял в кузове, бережно придерживая два лёгких деревянных щита, сложенных вместе, аккуратно завёрнутых в газеты и перевязанных бечёвкой. В жару творчества он всё же не забыл поручить сестре заказать эти щиты, на которых теперь были прикреплены кнопками его чертежи. — Бережков всегда любил отделать до блеска свою вещь и с блеском её продемонстрировать.

Осунувшийся, с желтоватыми тенями утомления, которые не согнал мороз, но не чувствующий ни этого мороза, ни усталости, наоборот, внутренне невероятно возбуждённый, он — в коротком полушубке, в шапке, в тёплых бурках — легко спрыгнул, осторожно снял щиты и расплатился с шофёром.

К подъезду, вместе с двумя-тремя другими сослуживцами, в эту минуту подходил профессор Ниланд, заведующий конструкторско-расчётным бюро института, тяжеловатый человек — тяжеловатый, как мы знаем, и в переносном смысле, — тот, кто с давних пор, с первого столкновения из-за гайки, не жаловал Бережкова.

— Здравствуйте, Филипп Богданович, — звонко крикнул Бережков. — С Новым годом!

— Здравствуйте. Поправились? Воротник советую всё же застёгивать. Грипп нынче с осложнениями. Будьте осторожны. — Ниланд покосился на странную ношу Бережкова. — Что это у вас?

— Помогите мне, пожалуйста, — попросил Бережков, — подержите дверь.

Ниланд любезно открыл дверь и пропустил Бережкова мимо себя. Они направились к барьеру вешалки.

— Что это у вас? — повторил Ниланд.

Бережков загадочно ответил:

— Одно скромное произведение. Сегодня вы узнаете.

— Не понимаю... Вы же болели эти дни?

Бережкову захотелось созорничать; он наклонился к уху Ниланда и доверительно шепнул:

— Встречал Новый год...

— Четыре дня?

— Да. Опомнился только сегодня утром.

— А мне кажется, что вы ещё и сегодня не опомнились...

Бережков не совладел с неудержимо расплывавшейся улыбкой, но увидел уже спину Ниланда.

Со своим неудобным грузом Бережков поднялся на второй этаж, где находился кабинет директора и главный чертёжный зал. На площадке он заметил объявление с крупной надписью: «Внимание!» Сотрудники в большинстве прошли мимо, не задерживаясь; очевидно, объявление уже было прочитано всеми вчера или позавчера. Бережков прислонил свои чертежи к стене и стал читать. Перед ним был приказ по институту. Внизу, под текстом, стояла подпись Шелеста. Быстро пробегая строчки, Бережков узнавал слова, которые под Новый год вместе с другими конструкторами слышал от Родионова.

В приказе говорилось о задачах индустриализации, великого преобразования всей страны, о необходимости стремительных, невиданных темпов для того, чтобы догнать и перегнать в технической вооружённости капиталистические государства. Выдержка из Ленина, которая недавно потрясла Бережкова, приводилась и здесь, в этом приказе: «Погибнуть или на всех парах устремиться вперед». Казалось бы, для Бережкова это уже не было ново, но он опять ощутил волнение.

Далее несколько фраз было посвящено авиации. «Нашему государству, — читал Бережков, — нужен большой, могущественный Воздушный Флот. Ныне мы, коллектив АДВИ, получили от правительства задание, являющееся историческим: сконструировать авиационный мотор мощностью 800—850 сил, то есть мотор, который превзойдёт в мощности и в прочих показателях лучшие заграничные авиадвигатели».

Бережков посмотрел на свои щиты, хотел улыбнуться, но губы вдруг задрожали: сказалось нервное перенапряжение, бессонница трёх суток; он сжал рот. Теперь, перед этим листком на стене, Бережков как бы заново понял значение того, что он сделал.

В заключение в приказе объявлялось, что ввиду особой ответственности и важности задания создаётся комиссия для руководства проектированием. Председательство брал на себя Шелест. Наряду с ним членами комиссии значились академики и профессора, в том числе Ниланд. Своей фамилии Бережков в этом списке не нашёл — он был в те времена лишь одним из старших конструкторов института и не имел ещё никакого учёного звания. Первое заседание по вопросу об основных принципах проектного задания было назначено через неделю. Сообщалось, что после доклада состоится широкая научная дискуссия. На заседание приглашались все сотрудники АДВИ. Теперь Бережков улыбнулся и подмигнул именитой комиссии.

Кто-то неслышно подошёл сзади и обнял Бережкова за талию. Обернувшись, он увидел Шелеста.

— Что с вами было? — ласково спросил Шелест. — Вы плохо выглядите. Может быть, вам надо ещё денёк-два полежать? Пожалуйста.

— Нет. Благодарю вас.

— Ну, вот. Я так и знал, что вы на меня обидитесь.

— За что?

— Дорогой мой, к чему нам дипломатничать? Вы же прочли приказ...

— Прочёл.

— Не обижайтесь. В комиссию, как вы видите, привлечены исключительно академики и профессора. Это нам необходимо для авторитетности, для представительства во внешнем мире. А здесь у нас, внутри, я рассчитываю в первую очередь на вас. Я хочу, чтобы вы с самого начала принимали участие во всей этой работе. А через некоторое время, прошу вас мне поверить, мы и формально включим вас в комиссию. Не дуйтесь же. Подготовьте к заседанию все ваши соображения, ваши идеи...

— Август Иванович, у меня уже нет никаких соображений...

— Значит, всё-таки обиделись?

— Ничуть. Соображения у меня были четыре дня назад, когда... Мне кажется, что я понял тогда, какую конструкцию вы хотели бы взять в качестве основы...

— Да, я и теперь это продумываю. Не следует ли нам в будущей компоновке... Пойдёмте-ка ко мне, поговорим... В будущей компоновке танцевать от «Райта»?

— Уже... Уже, Август Иванович, всё сделано.

— Что сделано?

— Я вам принёс не соображения, а конструкцию.

— Конструкцию? — Шелест внимательно посмотрел в зеленоватые глаза Бережкова. — Какую? Сверхмощного мотора?

— Да.

— Где же она?

— Вот!

Бережков щёлкнул по фанере.

— Так покажите же.

— Сам этого жажду! Разрешите, Август Иванович, показать всем.

— А ежели разнесут в пух?

— Готов повоевать.

— Что же, давайте... Идите в зал. Поглядим, покритикуем.

Бережков со щитом вошёл в чертёжный зал. Следом ту же дверь открыл Шелест. Сунув руки в карманы, с виду очень спокойный, директор встал у дверного косяка.

13

Об этом появлении Бережкова в главном конструкторском зале института с двумя чертёжными досками, которые он привёз на грузовике, ещё и поныне сохранились легенды в АДВИ.

Волнуясь, он долго не мог ни развязать, ни разорвать крепкую верёвку. Кто-то из конструкторов, сидевший возле, протянул ему перочинный нож. Упала перерезанная бечева. Упаковку из газет Бережков попросту сорвал. На стенах зала висели разные чертежи заграничных моторов, которые в то время исследовались, изучались в институте. Недолго думая, поверх двух такого рода чертежей Бережков повесил для всеобщего обозрения свои доски. Там, на листах ватмана, прикреплённых кнопками, была изображена в продольных и поперечных разрезах некая конструкция. Надпись гласила: «Авиационный двигатель в восьмьсот лошадиных сил. Компоновка конструктора А. Бережкова».

Оглянувшись, он увидел, что в зале уже никто не работал; порывистые безмолвные действия Бережкова притянули все взоры; два-три конструктора уже поднялись с мест и подошли к его чертежам. В дальнем углу Бережков заметил покрасневшее от раздражения лицо Ниланда. Тот поднялся и прошагал к Шелесту.

— Это... Это... Это что? — выговорил он.

— Проект сверхмощного мотора, насколько я могу судить, — ответил Август Иванович.

— Позвольте, ведь проект должна разработать комиссия. На каком же основании он?..

— Представьте, — рассказывал Бережков, — Ниланд в негодовании не мог даже произнести мою фамилию. Ему мой поступок в самом деле казался какой-то несправедливостью, подвохом. Ведь только что сформировали комиссию, наметили определённый порядок, составили повестку заседания, где предстояли солидные доклады, солидные прения об основных принципах проекта, и вдруг, ни у кого не спрашиваясь, вылез, как из-под земли, этот Бережков, вовсе не член комиссии, и повесил на стену свою компоновку. Безобразие! Какое он имеет право?! Это, мой друг, была непередаваемая сцена...

Увлёкшись, Бережков изобразил всё в лицах: себя, скромно, с видом барашка, потупившего взор; Шелеста, который уже сел на табурет у чьего-то стола и, закинув ногу за ногу, созерцал чертёж; возмущённую физиономию Ниланда, выкрикивающего: «Беспорядок! Комиссия! Комиссия!»

— В глазах Шелеста, — добавил Бережков, — вспыхнули искорки юмора. Он ответил Ниланду: «Что подделаешь, Филипп Богданович, стихийное бедствие... Приходится считаться с этим... с этим явлением природы. Попробуем, однако, рассмотреть сей проект. Что вы скажете, Филипп Богданович, о вещи?»

14

— Когда Шелест со свойственной ему тактичностью, — продолжал Бережков, — несколько успокоил Ниланда, оба они повернулись к проекту. Я ждал и хотел их суда. Ниланд пронзал инквизиторским взором мою компоновку. Пусть-ка он найдёт в этой вещи хоть один уязвимый пункт. Я стоял спиной к своим чертежам, но мысленно видел их перед собой, смотрел на них глазами Ниланда и вновь оценивал, вновь как бы прощупывал каждый узел. Нет, вещь неуязвима, неприступна. Замысел в целом и каждое отдельное решение опираются на опыт мировой техники, развивают уже существующие, проверенные опытом формы. Вышколенный Шелестом, я в этой работе ни в чём не отошёл от его заветов.

— Что же вы скажете? — повторил Шелест. — Каково, Филипп Богданович, ваше мнение?

— Ничего особенного, — пробурчал наконец Ниланд.

А, ничего особенного! Ура! Значит, ему не к чему придраться. Но он ядовито добавил:

— По-моему, до Бережкова всё это мы видели у «Райта».

— Простите, — скромно проговорил я. — Далеко не всё. Где вы видели «Райт» в восемьсот сил?

Ниланд не удостоил ответом.

— Конструктор «Райта», — сказал я, — сам не понимал, какие возможности таит его машина. А я их вскрыл. Только и всего. Ничего особенного.

Захваченный собственным рассказом, Бережков изобразил красочным боксёрским жестом, как он парировал удар.

— Для вашей книги, — продолжал он, — я хочу разъяснить некоторые вопросы нашей профессии. Видите ли, я по призванию компоновщик. Я обладаю от природы свойством вообразить машину в целом, сделать компоновку вещи в целом. Этим свойством не всякий профессионал конструктор одарён. В современных конструкторских бюро, скажем, в автомобилестроении, есть, например, специалист заднего моста. Такой человек годами работает над этой деталью автомобиля и совершенствует её

от модели к модели. Есть специалисты по клапанам, по коробке скоростей и т. д. А меня всегда тянуло на компоновку вещи в целом, на общий замысел машины. Это решающий момент. Это, собственно, и есть авторство.

Вместе с тем тогда я не считал зазорным для себя взять из существующих моторов то, чему, как я был убеждён, принадлежало будущее, и раскрыть в своём чертеже эту прогрессивную тенденцию, как я её видел. Меня, как вы знаете, всегда влекли необыкновенные выдумки, но не менее силен был практический дух. И теперь в моей новой компоновке, которую я принёс в АДВИ, не было ничего фантастического, никакого откровения. Воспитанный, вымуштрованный Шелестом, я тогда мыслил так: надо же с чего-то начинать! Ведь в нашей стране всё ещё нет ни одного отечественного авиадвигателя. Значит, следует учиться у чужестранцев. Или, говоря грубее, пройти этап подражательного творчества. Я понимал, что такая концепция ограничивает, обуздывает фантазию, и сознательно на это шёл. Зато любому критику, конструктору или производственнику, который стал бы доказывать, что такую вещь нельзя построить, что она не будет работать, я мог ответить: вот прообраз этой формы, она испытана практикой, она работает.

Но, как вы увидите далее, нам не помогла и такая концепция; мы и на этот раз не довели своего мотора; потерпели ещё одно жесточайшее крушение.

Однако тогда, в зале института, я свято верил в свой проект.

15

Тогда, в зале института, Бережков свято верил в свой проект.

Уже все подошли к чертежам; компоновка подверглась атакам; Бережков их отражал. В подобных спорах он всегда обращался к карандашу и бумаге, развивал в беглых набросках-чертежах ту или иную свою мысль, буквально показывая её. Его и теперь потянуло чертить; он направился было к чёрной доске, которая и здесь, в конструкторском бюро, носила своё всеместное название «классной», но Шелест сказал:

— Молодёжь, тащите-ка её сюда.

К доске кинулись несколько молодых инженеров и мигом придвинули её. Держа в одной руке тряпку, в другой — кусок мела, Бережков защищал свою работу, порой разя оппонентов остротой, вызывавшей смех и гул. Перепачкав мелом пиджак, он быстро его сбросил и подтянул рукава голубоватой рубашки.

Шелест попрежнему сидел на высоком табурете у чьего-то чертёжного стола и с видимым удовольствием слушал этот вольный, даже, пожалуй, беспорядочный спор. Спорили его ученики, питомцы его школы, воспринявшие от него систему научно-технических идей. Как быстро сумел этот разбойник подхватить и претворить в компоновку бродившую у него, Шелеста, мысль. И как пылко этот прихрамывающий шёголь с испачканным мелом лицом отстаивает девиз, который из года в год, изо дня в день внушал Шелест: «Ничего фантастического, если ты хочешь что-нибудь создать».

В разгар дискуссии вдруг застучали в боковую дверь. Эта дверь вела кратчайшим путём в мастерские и в испытательную станцию института. Её обычно держали под замком, чтобы чертёжный зал не был проходным. Колотили так энергично, видимо несколькими кулаками, что все повернулись на стук.

— Кто там?

Выяснилось, что в зал стремились студенты-практиканты, выпускники, которые, специализируясь на авиационных моторах, работали в АДВИ. Они уже проведали, что в главном зале вывешен проект восьмисотсильного мотора, что там стихийно вспыхнул диспут.

Ниланд рывкнул:

— Нельзя! Эта дверь не открывается.

— В этом,— воскликнул Бережков, продолжая рассказ,— если хотите, весь Ниланд, весь его педантизм! «Эта дверь не открывается!» А студенты поднажали и — вы представляете момент?!— высадили дверь.

Бережков опять повествовал в своём стиле, прибегая к любимым выражениям, жестикулируя и блестя глазами, будто видя тысячные толпы у своих чертежей.

— Высадили? — переспросил я.

— Ну, скажем так,— легко уступил он,— дверь с треском распахнулась. Студенты ворвались, и первым был Никитин, тот самый Андрей Степанович Никитин, который уже не раз на короткое время появлялся в нашей повести то в военной папахе, то в оранжевой майке и трусах на футбольном поле Заднепровья. Помню, я на миг удивился: неужели это он, такой, казалось бы, сдержанный, солидный, поднажал широким плечом на дверь? Среди вторгшихся студентов я увидел и Федю.

— Федю? Какого? Недолю?

— Да, да, его! Вы, вероятно, помните, как он отступился от меня во времена моих мукомольных приключений? А потом мы снова встретились. Но дайте отдышаться. Сейчас всё расскажу.

16

Охладев к своему бывшему кумиру, к Бережкову-мельнику, Недоля победил путь, по которому шли тысячи его сверстников-рабочих,— работал слесарем на большом заводе, два года занимался на вечерних общеобразовательных курсах и затем по путёвке комсомола поступил на подготовительное отделение Московского Высшего технического училища, куда хлынула в те годы рабочая волна.

Однажды с ним, уже студентом механического факультета, на улице столкнулся Бережков, теперь тоже иной — не владелец собственной мельницы или бродяга-изобретатель, вольный стрелок техники, а работник Научного института авиационных моторов, старший инженер-конструктор. Бережков сразу узнал несколько нескладную долговязую фигуру, уже в брюках навыпуск, а не в зеленюватых обмотках, с которыми Федя не расставался много лет, непогрубевшее, почти девичье лицо с очень светлыми глазами, мягкие очертания губ, узнал также в следующую минуту и попрежнему твёрдое федино рукопожатие, крепкую, не под стать лицу, мужскую руку. Они вместе провели вечер. Бережков опять расфангазировался, разговорился о великой вещи, которую он всё-таки создаст. Но прошло ещё два года, а он ничего не создал, ничего не довёл.

На последнем курсе Недоля вместе с группой товарищей выпускников был направлен на практику в АДВИ. Он держался по-студенчески скромно, в отдалении от Бережкова, но порой, при случайных встречах, тот ловил его ожидающий взгляд. Казалось, Недоля хотел разгадать: придумает ли всё-таки этот человек, увлечение его юности, когда-нибудь что-то чудесное? Или не ждать?

Теперь, вторгшись с товарищами однокурсниками в главный зал института, он сразу увидел Бережкова, разгорячённого баталией, без пиджака, с воинственно подтянутыми рукавами голубой рубашки, со следами мела на возбуждённом, порозовевшем лице, обращённом к залу, прочёл надпись на чертеже «Компоновка конструктора А. Бережкова» и вдруг сам вспыхнул, покраснел. Неужели он дождался наконец минуты, в которую поверил так давно, неужели перед ним великая вещь Бережкова?

Вытянувшись, приподнявшись на цыпочки, Недоля стоял позади всех, но Бережков мгновенно заметил его светловолосую голову, его просиявшие глаза.

— Товарищи! — произнёс Бережков, отчётливо видя во всём зале лишь глаза Недоли. — Товарищи, это ещё не Вещь с большой буквы.

Он указал на чертежи рукой, в которой всё ещё держал тряпку, и, оставив на минуту спор, сказал, обращаясь к студентам:

— Попытаюсь, молодые друзья, объективно характеризовать эту конструкцию. Вы знаете, что мотор такой мощности нигде ещё не создан. Но в этой работе ещё нет новой, оригинальной идеи. Мы сами с абсолютной прямоотой должны это сказать, нам нечего это скрывать, ибо... — Он взмахнул зажатой в кулаке тряпкой и повторил фразу, которую когда-то, много лет назад, в гостинице «Националь» преподнёс американцу. — Ибо мы ещё потягаемся с Америкой!

Он с невольной тревогой ожидал, что восторг в глазах Недоли сменится разочарованием. Нет, они попрежнему горели. В зале было тихо. Молодёжь внимала Бережкову.

— Что же для этого нужно? — продолжал он. — Я снова повторю, Август Иванович, вашу заповедь: встать обеими ногами на почву мирового опыта. Это, товарищи, традиция института. Но... — Бережков посмотрел вокруг на белые гладкие стены, увешанные чертежами, и улыбнулся. — Но, с вашего разрешения, Август Иванович, я высек бы здесь на стене один девиз.

— Какой?

— Быстрее! Быстрее! Быстрее!

— Вы несколько увлекаетесь, мой дорогой, — мягко сказал Шелест.

Кто-то выкрикнул:

— Быстрее и лучше!

— Конечно! — подхватил Бережков. — И я утверждаю: в мировой технике сейчас нет ничего лучшего, чем то, что я взял и развил в своей компоновке. Я готов это доказывать по всем пунктам.

И дискуссия продолжалась.

Уже стало смеркаться, когда наконец Шелест, всё время живо следивший за спором, воскликнул:

— Довольно, довольно!

Он сам снял чертежи со стены и положил на них руку.

— Давайте, Август Иванович, — сказал Бережков.

Шелест улыбнулся.

— Нет, Алексей Николаевич, этого я вам не отдам. Что с возу упало, то пропало. Это мы вместе будем защищать в комиссии. И назовём так...

Легко подняв фанерный щит, удобно устроив его на покато́м столе, Шелест достал карандаш и сделал одну поправку в надписи. Теперь она читалась так: «АДВИ-800. Компоновка конструктора А. Бережкова».

На первом же заседании комиссия постановила принять компоновку Бережкова.

Однако комиссия прожила недолго.

— Я опять был охвачен огнём творчества, — повествовал Бережков. — Моя компоновка была принята, теперь следовало её детально разработать. Комиссии собирали чуть ли не каждый день. Я утром прихожу, приношу наброски: такие-то блоки, такая-то схема; приносят свои предложения и другие. Начинаем спорить. У расчётчиков свои соображения. Я рисую, Ниланд возражает. Мнения членов комиссии разделяются. И вот — день, другой, третий несогласия, столкновения, свара. Коллектив разлажен, дело не идёт.

Шелест нас мирил, старался никого не обидеть. Однажды я резко с ним поговорил, поставил вопрос ребром. Положение невыносимо; если он этого так или иначе не изменит, мы ещё год протопчемся на месте.

В институте уже почти все понимали, что проектировать без главного конструктора нельзя, что по каждому пустяку нельзя созывать комиссию. И происходит большое событие в моей жизни. Август Иванович объявляет о разделении конструкторско-расчётного бюро. Вся расчётная часть остаётся Ниланду, а меня Шелест назначает главным конструктором АДВИ.

Это опять период моего серьёзного творческого роста.

Тут мы с вами подошли к одному интереснейшему противоречию конструкторского творчества. С одной стороны, это, как вы могли убедиться, следя за моим рассказом, глубоко личный, глубоко индивидуальный, даже интимный творческий процесс, вдохновение, поэзия, а с другой стороны, это чертёжный зал, десятки столов, дисциплина, чётко работающий коллектив, техника современного проектирования. Надо уметь дать каждому нагрузку, разделить труд, указать направление в работе и гармонически всё объединить.

Я многое понял в это время. Пожалуй, впервые уразумел, какое огромное значение в развитии техники имеет психология людей, создающих эту технику. Ныне, если что-нибудь случается с моим мотором, какая-либо неожиданная неприятность, я никогда не довольствуюсь техническим анализом, а стараюсь проникнуть в глубину человеческой психологии, ищу там причину аварии. Современный конструктор — это не только механик или глубокий естествоиспытатель, которому надлежит непрестанно учиться и учится у природы, но и организатор, руководитель. Он не совершит в своей области ничего подлинно большого, если не добьётся того, чтобы знать и понимать венец творения природы — человека, его духовную структуру, его душу. Современный конструктор — это и политик, и философ, и психолог, разбирающийся в мыслях, побуждениях, склонностях, способностях людей, ибо только с их участием, а потом их руками создаются все проекты и все механизмы.

Вспоминаю эти дни... Для меня это был не только рост, а буквально взлёт. Мне словно открылся ранее неведомый новый мир творчества. Надо было подумать о каждом человеке, как-то совсем заново его постигнуть, дать ему увлекательную, интересную задачу, вести его. Может быть, тогда я впервые глубоко понял, какое счастье для конструктора работать в Советской стране, опираться на помощь вдохновенной, необыкновенной молодёжи, нового поколения инженеров, уже возвращённых революцией, проникнутых идеями и романтикой нашего времени. Впервые глубоко познал, какой мощной пружиной, какой силой является в психологии человека, в нашем конструкторском деле идея, идейность.

Вы можете представить, какой творческий подъём я переживал, если тогда же между прочим, походя сделал и проект тракторного мотора, того самого, о котором мне говорил Ганьшин. Раньше, когда душа была угнетена, я не мог выжать из себя, сколько бы ни силился, ни одной стоящей мысли о конструкции такого мотора, а теперь, словно в прозрении, словно сама собой, воображению явилась готовая вещь. Я даже не могу припомнить, когда же я её начертил, знаю лишь, что сделал и сдал.

А в институте мы, весь наш молодой коллектив, сидели днём и ночью, вычерчивая тысячу деталей, или, как мы говорили, «раздраконивая» проект «АДВИ-800». Скорее, только скорее — это было нашим общим девизом. Стало известно, что Управление Военно-Воздушных Сил созывает конференцию по сверхмощному мотору, и мы решили, что придём на эту конференцию с совершенно законченным, разработанным во всех мельчайших тонкостях, стшлифованным до блеска проектом, поразим всех.

В чертёжном зале, где я уже стал дирижёром, мы по ночам работали и пели. В своё время мне безумно понравилось, как пели конструкторы

Заднепровского завода, и у нас привился такой же обычай. Почему-то чаще всего затыгивали «Садко — богатый гость».

Да, то были замечательные времена! Первая пятилетка! Мы на локомотиве времени! Вперёд, на всех парах вперёд!

18

Далее Бережков рассказал о конференции по авиационному моторостроению, созванной весной 1929 года. Он начал со своего излюбленного восклицания:

— Это было нечто уму непостижимое! В короткий срок, в какие-нибудь три-четыре месяца, появилось до сорока проектов мощного, или, как мы тогда говорили, сверхмощного мотора. Удивительное дело: лишь прозвучал призыв создать такой мотор, как оказалось, что мы, советские конструкторы, испытавшие столько неудач и ещё не имевшие у себя в стране ни одного более или менее современного, по тогдашнему мировому уровню, авиамоторного завода, как будто только этого призыва и ждали.

Мощный советский мотор, мощная авиация, мощная страна — всё это тогда как бы носилось в воздухе, этим мы жили, этим дышали. Откуда ни возмись, хлынула стихия проектов. Помимо нескольких конструкторских бюро, которые по прямому заданию занимались проблемой сверхмощного мотора, с проектами выступили и разные другие коллективы и отдельные конструкторы. Появился инженер Коломенского завода Грибков и предложил звездообразный мотор без коленчатого вала. Принёс свои чертежи Пантелеймон Гусин, наш милейший Гуся, изобретатель аэросаней, чемпион мотоциклета. Инженер АДВИ Лукин, очень скромный человек, помалкивал и помалкивал, а в один прекрасный день вдруг выложил проект сверхмощного мотора на нефти. Отыскался на Украине старейший русский конструктор авиационных моторов Макеев, который ещё в 1916 году на Русско-Балтийском заводе работал над авиадвигателем для тяжёлых самолётов «Илья Муромец». Появились проекты Микулина, Бриллинга, Швецова.

Научно-технический комитет Военно-Воздушных Сил не мог в порядке своей обычной работы справиться с этим потоком конструкций. Какие из них строить? Какие забраковать? Как отделить, отсортировать добро от зла? Ясности в этих вопросах ещё не было, ибо наше моторостроение в тот год по существу лишь начиналось и мы переживали дни творения. Тогда-то и решено было созвать конференцию по сверхмощному мотору.

И вот в зале Научно-технического комитета, на Варварке, собралось около ста человек, в том числе и все авторы проектов.

— На этой конференции,— продолжал Бережков,— мне опять запомнился Родионов, опять поразило в нём сочетание деловой сухости и дерзновения. В небольшой вступительной речи он охарактеризовал задачу конференции: поспорить о проектах и выбрать из них лучшие.

Потом как-то без переходных фраз он нам сказал: «Мы с вами, товарищи, принимаем и даём сражение. Это — сражение с капиталистическим миром за мощь мотора. Судьба нашей страны, товарищи, решается теперь в таких сражениях». Меня опять прохватывало волнение, когда этот, как всегда очень прямо державшийся, худощавый человек в синем френче с красными ромбами в петлицах произносил слово «сражение».

Больше никаких напутственных или приветственных выступлений не было. Конференция сразу перешла к делу, стали рассматривать проекты.

— О, это было Мамаево побоище! — весело воскликнул Бережков.— В зале заседания развешивались чертежи спроектированных моторов; каждый конструктор поочерёдно докладывал о своей вещи, а потом авторы других проектов разносили её в пух и прах.

Мы выступили на конференции с проектом «АДВИ-800». Конструкция была вычерчена до мельчайших деталей в натуральную величину, в нескольких разрезах. Некоторые узлы были, кроме того, изображены на отдельных листах, размеры указывались с точностью до одной десятой миллиметра. Рядом мы вывесили таблицы расчётов. Мы стремились даже самой отделкой чертежей утвердить марку АДВИ как передовой конструкторской организации и, несомненно, по сравнению почти со всеми другими проектами показали работу более высокого класса.

Обоснование проекта дал Август Иванович Шелест, с авторитетом которого все считались в этом зале. Концепция нашей вещи была совершенно ясной. В основу взята блочная конструкция «Райта», мотора в 500 сил. Вот наши изменения: мы таким-то и таким-то способом ещё усиливаем жёсткость, меняем размеры, что позволяет резко увеличить число оборотов и добиться мощности в 800 сил. Вот наши конструкторские решения, вот наши расчёты.

На конференции при поддержке Родионова мы подвергли осмеянию, взяли под обстрел зловерное, беспочвенное изобретательство, так называемую «свинтопрульщину».

Как? Вы не знаете этого словечка? Тогда я обязан доложить о его происхождении. Это выражение пустил на конференции один из её участников. Он выступил очень остроумно. И, в частности, рассказал следующее. Однажды к нему, в военное учреждение, вошёл изобретатель.

— Товарищ, государственные секреты можно вам сообщать?

— Конечно. Специально для этого сижу.

Изобретатель наклонился и таинственно сказал:

— Газов больше нет.

— Любопытно. Почему?

— Потому, что я изобрёл свинтопрульный аппарат, который отражает всякую газовую атаку.

Изобретатель показал чертёж. Представьте себе пулемёт. Над дулом помещена подвижная кассета, в которую вставлено огромное количество винтов-пропеллерчиков. Когда противник начинает газовую атаку, надо стрелять из пулемёта, который так устроен, что на носик каждой вылетающей пули садится пропеллер и, вращаясь на лету, создаёт ветер, прогоняющий газ в сторону неприятеля.

Изобретателю был задан вопрос:

— Почему же вы назвали это свинтопрульным аппаратом?

Последовал ответ:

— А как же? Пуля-то с винтом прёт.

Вся конференция хохотала.

Особенно рьяно обрушивался на всяческую «свинтопрульщину» ваш покорный слуга. И знаете почему? Ведь по природе я сам в высшей степени к ней склонен. Мне всегда мечталось о чём-то совершенно небывалом, необыкновенном, о какой-то ультрафантастической, потрясающей вещи. Однако, к моему счастью, моя судьба сложилась так, что я шёл в технике не тёмными, не дикими путями. К моему счастью, мне с детства довелось общаться с великим учёным и добрейшим человеком, Николаем Егоровичем Жуковским. Огромное значение имели и встречи с Ладошниковым. Сыграло свою роль и влияние моего друга Ганьшина, а затем строгая выучка в институте Шелеста. Всё это обуздало меня.

Видите, в каких противоречиях пребывал я тогда: изобретатель, фантазёр, я громил изобретательство; русский конструктор, который в душе жаждал потягаться с конструкторами всего мира, я требовал одного—пока лишь следовать за ними. Взять самое передовое из мирового технического опыта и только на этой основе что-то творить, изобретать — такова была наша позиция на конференции, таков был смысл конструкции «АДВИ-800».

— Это словечко «свинтопрульщина», — продолжал Бережков, — стало крылатым на конференции. Однако иной раз оно употреблялось так, что во мне опять что-то бунтовало.

Помню, выступил Новицкий. Прошло уже несколько лет с того дня, когда я с ним впервые столкнулся, или, лучше сказать, схватился, в присутствии Родионова на обсуждении проекта «АДВИ-100». Теперь он уже был не начальником отдела моторов Научно-технического комитета, а директором «Моторстроя» на Волге, одной из грандиознейших строек пятилетки. Он попрежнему ходил в полувоенном костюме, в суконной гимнастёрке с отложным воротником, в хромовых сапогах, но поступь стала потяжелее. У меня было впечатление, что среди нас, конструкторов, собравшихся со своими проектами, со своими выдумками и мечтами, он, человек большого реального дела, чувствует себя как бы взрослее всех. Наши страстные споры он слушал порой с чуть снисходительной умной усмешкой, которая, если и уходила с губ, всё же читалась в живых карих глазах. Он был вызван с площадки, чтобы сообщить конференции о ходе строительства и перспективах завода. Дело действительно было колоссальным. Уже теперь, на первом году стройки, туда вкладывалось около полумиллиона рублей в день. Думалось ли кому-нибудь в старой России о таком размахе? Мы внимали, затаив дыхание.

— Какой же мотор мы там будем выпускать? — сказал Новицкий.

Он посмотрел на стены, сплошь увешанные чертежами, и я опять уловил умную усмешку, мелькнувшую в прищуре глаз.

— Возможно, надёжнее всего будет, — продолжал он, — просто начать с выпуска проверенной иностранной модели, чтобы потом заменить её собственной конструкцией, органически выросшей на базе завода. И, разумеется, без малейшей «свинтопрульщины»!

Не скрою от вас, меня передёрнуло. Ведь Родионов сказал нам: «Сражение! Сражение с капиталистическим миром за мощность мотора». А директор «Моторстроя», этот уверенный в себе, твёрдый на ногах человек, вдруг заявляет: «Начать с иностранной модели». Неужели для него все, решительно все наши проекты, что мы принесли сюда, — лишь детские затеи, «свинтопрульщина»? Нет, что-то не то, что-то не так он говорит.

Представьте, это словечко пришлось также по вкусу не кому иному, как Любарскому. Его уже убрали с Заднепровского завода, вышибли оттуда, как выразился, если вы помните, Пётр Никитин, и перевели в аппарат Авиатреста. Попрежнему барственный, с острой холеной бородкой, он с трибуны выразил без всякой иронии благодарность за новый термин, обогативший, по его мнению, философию и науку. Я понимал: всё наше, советское, русское, для него было «свинтопрульщиной».

Он очень едко, даже злобно, выступал против проекта, разработанного на Заднепровском заводе.

Об этом проекте нельзя умолчать в нашей книге.

Этот проект представили соавторы: старейший русский конструктор авиационных моторов Макеев и его напарник, кажется, самый молодой на конференции, Пётр Никитин. Если не ошибаюсь, я уже упоминал, что Макеев в годы мировой войны участвовал на Русско-Балтийском заводе в постройке двигателя для самолётов «Илья Муромец». Во времена разрухи он жил где-то в глуши, чуть ли не в деревне, на Украине. Потом, как передавали, пришёл в один прекрасный день этаким седобородым дядей с посохом на Заднепровский завод. Впрочем, может быть, его где-то разыскал Пётр Никитин, — не могу вам об этом точно доложить. Так или иначе, они выступили с совместным проектом.

Мы отстаивали принцип максимальной жёсткости мотора. А Макеев и Никитин, который раньше тоже руководствовался теорией жёсткости, теперь выдвинули принцип максимальной гибкости конструкции. Их вещь была совершенно оригинальной для всей мировой техники и основывалась на интересных и глубоких мыслях. Известно ли вам, что такое гибкая конструкция? Это, например, Эйфелева башня. Во время ветра её вершина колеблется, отклоняется и вновь возвращается в первоначальное положение. Небоскрёбы — тоже гибкая конструкция. Эти огромные здания тоже колеблются, «ходят» от ветра. Жёсткие крепления были бы разорваны. Макеев и Никитин доказывали, что сверхмощный мотор надо делать максимально гибким, что позволит резко увеличить силу взрыва в цилиндрах. Применяя жуткую по сложности математику, они так рассчитали цилиндры, чтобы те играли на ходу, как клавиши. Это открывало новые возможности в повышении мощности мотора.

Конечно, последовала масса возражений. Их невозможно изложить, не углубляясь в сугубо специальные вопросы. Но авторы математически опровергали все сомнения. Теперь уже я мог вернуть заднепровцам упрёк в абстрактности решения. Однако и здесь их позиция была защищена. Они изложили свой план реконструкции Заднепровского завода, что позволило бы, как они доказывали, выпускать предложенный мотор. Ни у кого из нас проект не был подкреплён такого рода разработкой производственно-технических проблем.

Наряду с нашим был принят и проект заднепровцев. Мы, вся группа АДВИ, голосовали за него.

Нашему мотору был дан номер «Д-24», заднепровскому — «Д-25». Не помню, объяснял ли я вам происхождение такой нумерации. Буква «Д» означала «двигатель», цифра — порядковый номер. Эти номера уже, как видите, дошли до цифры 25, и всё же на советских самолётах ещё не был установлен ни один отечественный двигатель.

21

— Во время конференции, — продолжал Бережков, — произошёл ещё один эпизод, о котором невозможно умолчать.

Помню, взяв кого-то под руку и не без удовольствия судача на всяческие большие и маленькие злобы дня (что, как известно, именуется разговором в кулуарах), я прогуливался по коридору, примыкающему к залу заседаний. И вдруг чуть не упал. Навстречу шёл — нет, я не мог поверить собственным глазам! — навстречу преспокойно шёл Подрайский. Он опять носил усы, попрежнему с изумительной аккуратностью подстриженные, но теперь уже не чёрные, а слегка посеребрённые. Его красила и благородная седина на висках. Он выглядел в меру полноватым, благообразным, солидным. Свежее лицо свидетельствовало об отличном здравии.

Как он сюда попал? Украл, что ли, у кого-нибудь проект мотора? Или выступает на ролях соавтора, заключив условие: пятьдесят на пятьдесят? Кого же он здесь облапошил?

С каждым шагом мы неуклонно приближались друг к другу. Думалось: глазки «бархатного кота», наверное, забегают, он засуетится, когда столкнётся со мной лицом к лицу. Представьте, не случилось ничего подобного. В глазах Подрайского, которые наконец встретились с моими, не выразилось ни малейшего смятения. Наоборот, Подрайский просиял. И даже причмокнул от полноты чувств.

— Алексей Николаевич! Вот и увиделись!.. — воскликнул он.

Я буквально опешил. Он обращался ко мне, как к приятному давнему знакомому, будто ничего между нами не случилось, будто никогда и не было особнячка близ Самотёки.

— Наслышан о ваших успехах,— благодушно продолжал он.— Лёля просила вас приветствовать.

— Лёля? — переспросил я.

— Да, Лёлочка... Моя жена... Неизменная поклонница ваших талантов. Она в восторге, что мы с вами опять будем работать вместе.

Я был ошарашен невозмутимостью Подрайского.

— Почему вместе? Где? — не без испуга спросил я. Потом, набравшись духа, выпалил: — И, собственно говоря, кто вы теперь такой?

Подрайский с готовностью сообщил, что приглашён заведовать отделом опытного моторостроения в Авиатресте.

— Верю, Алексей Николаевич, в ваш мотор,— ворковал он.— Верю всей душой. Считаю своей священной обязанностью вам помогать. Вы найдёте во мне преданного друга.— Вкусно причмокивая, он расточал комплименты и обещания, а я стоял, оцепенев, бормоча что-то невнятное.

Наконец мы расстались. Я немедленно разыскал Шелеста.

— Август Иванович, нашему делу угрожает серьёзная опасность.

— Что случилось, дорогой?

— Я только что встретился здесь с величайшим проходимцем. Это тот самый, который украл у меня мельницу.

— Что, кстати сказать, пошло вам лишь на пользу...

— Август Иванович, не шутите... Это гнуснейший тип. Ради денег он готов на что угодно. Я его вижу насквозь. Советскую власть он ненавидит, нас с вами ненавидит, нашу авиацию ненавидит...

— Алексей Николаевич, к чему столько пыла? Шут с ним... плюньте.

— Не плюнешь... Мы с вами у него в руках. Он в Авиатресте будет ведать новыми моторами. Август Иванович, нельзя допустить этого.

— Позвольте, о ком вы говорите?

— Его фамилия Подрайский.

— Гм... Тот, что имел секретную военную лабораторию?

— Да... Потрясающий пройдоха.

— А не преувеличиваете ли вы, дорогой? В последнее время мне довелось иногда с ним соприкоснуться. Он казался дельным человеком.

— Где же вы его встречали?

— Здесь... Он тут, в моторном отделе, организовал испытательную лабораторию.

— И вы не сказали мне о нём?

— Извините, не догадался доложить.

— Август Иванович, поверьте, это чёрный человек. Меня трясёт от одной мысли, что Подрайский будет властен над нашим мотором.

— Во-первых, успокойтесь... Его роль в Авиатресте вряд ли будет столь значительна, как вам это представляется...

— Он нас зарежет! Найдёт способ зарезать! Август Иванович, у вас огромный авторитет. По одному вашему слову его вежливо выпроводят.

— Не так это легко, дорогой. В штат Научно-технического комитета ваш Подрайский был принят, если не ошибаюсь, ещё при Новицком. Не думаю, чтобы Новицкий мог это сделать опрометчиво. Вы знаете, как здесь строго проверяют людей.

— Так пойдёмте же сейчас к Новицкому!

— Пойдёмте...

Новицкий сидел в президиуме конференции. Август Иванович послал ему записку с просьбой выйти в коридор.

Новицкий вскоре вышел. Он шагал неторопливо, выпуклые карие глаза поглядывали несколько сонно — начальник «Моторстроя», видимо, сберегал нервную энергию, отдыхал на конференции. Шелест сказал:

— Павел Денисович, мы хотели бы с вами побеседовать. Тема довольно деликатная... Товарищ Бережков придаёт, как мне кажется, этому чрезмерное значение, но...

— Не страшно... Тирады товарища Бережкова мы научились воспринимать с поправочным коэффициентом... Так в чём же дело? Вы меня заинтересовали.

— Вопрос касается,— ответил Шелест,— одного человека. Повторяю, возможно, всё это и не так серьёзно. Одним словом, нас несколько смущает, что отдел опытного моторостроения в Авиатресте поручен товарищу Подрайскому. Достаточно ли это солидная фигура? Вы, Павел Денисович, с ним работали, поэтому мы позволили себе...

— И отлично сделали!

Новицкий словно бы мгновенно встряхнулся. На смугловатом лице уже не было и следа сонливости. Исчезло и насмешливое выражение, которое почти всегда таилось в его взгляде.

— Отлично сделали! — повторил он.— Подобные вопросы надо ставить на попа. Ложная деликатность тут может только повредить, Август Иванович.

— Позвольте... Теперь, кажется, я в чём-то виноват?

— Август Иванович, вы сказали, что всё это, быть может, несерьёзно. Разве вопрос о командных кадрах авиапромышленности можно считать несерьёзным? Постараемся безотлагательно разобраться в том, о чём вы заявили. Поднимем документы. Слава богу, находимся в своей епархии.

Минуту спустя Новицкий ввёл нас в кабинет, который сам когда-то занимал,— в кабинет начальника моторного отдела при Научно-техническом комитете Военно-Воздушных Сил. В этот час комната была свободна — её нынешний хозяин находился на заседании конференции. Предложив нам сесть, Новицкий без дальних слов, без проволочек, вызвал по телефону отдел кадров, обратился к кому-то по имени-отчеству:

— Николай Степанович, ты? У меня к тебе вот что... Возникла необходимость глубоко ознакомиться с деловым и политическим лицом Подрайского. Подбери, пожалуйста, все материалы. Кстати, они, наверное, у тебя подобраны, раз он переходит в Авиатрест. Да?.. Очень хорошо... Не посчитай за труд, приходи ко мне. Да, да... Здесь нам никто не помешает.

Закончив разговор, Новицкий подтащил к столу один из стульев, расставленных около стен, сел, закинул ногу на ногу. Мне показалось, что в карих умных глазах мелькнула его обычная насмешливость. Впрочем, может быть, я и ошибся. В следующий миг я уже не мог её поймать.

— Это вы, товарищ Бережков, забили тревогу?

Я взволнованно заговорил:

— Ещё Николай Егорович Жуковский с брезгливостью отзывался о Подрайском. Называл его жулябией.

— Жуковский?

— Да... Я готов поклясться, что за всю жизнь этот Подрайский не совершил ни одного честного поступка. Он продаст что угодно и кого угодно. Я боюсь за свой мотор, ибо к нему будет иметь какое-то касательство Подрайский. Как он вообще попал в авиацию?

В эту минуту в кабинет вошёл работник отдела кадров.— молодой военный в темносинем кителе, что носили тогда командиры Воздушного Флота. Вежливо всем нам поклонившись, он подал Новицкому принесённую им папку.

— Вот, Павел Денисович,— негромко, со сдержанной почтительностью сказал вошедший.— Тут копия личного дела... А также и некоторые дополнительные материалы.

— Благодарю,— проговорил Новицкий.— Эти товарищи,— он указал на нас,— надеюсь, вам известны?

Да, оба мы были известны работнику отдела кадров. Он подтвердил это новым поклоном. Новицкий всё же представил ему нас. Затем сказал:

— Прошу разрешить им ознакомиться с этим личным делом... Особые обстоятельства заставляют меня просить об этом.

Получив разрешение, он обратился к нам:

— Август Иванович! Товарищ Бережков! Придвигайтесь ближе. Давайте-ка почитаем вместе...

Новицкий раскрыл папку, перевернул заглавный лист. Представьте, взглянув на открывшуюся страницу, я опять чуть не упал от неожиданности. Эта страница являла собой фотокопию рекомендации, написанной Николаем Егоровичем Жуковским. Я сразу узнал его несколько небрежный крупный почерк. Письмо было датировано 1916 годом. В своей рекомендации Жуковский характеризовал лабораторию Подрайского, как интересное, заслуживающее внимания и поддержки дело, причём особо упоминал, что лаборатория оказала услугу авиации, взявшись строить самолёт Ладосникова и мотор «Адрос».

Я увидел, что Новицкий смотрит на меня.

— Это же...— растерянно заговорил я,— это же Николай Егорович написал, чтобы помочь своим ученикам. А Подрайский воспользовался...

Не возражая, Новицкий перевернул страницу. Нам предстала ещё одна записка Жуковского, на этот раз скопированная на машинке. Как я тотчас понял, с этой запиской Ганшин когда-то явился к Подрайскому. Николай Егорович выражал надежду, что молодой математик будет полезен «в разнообразных и ценных работах Вашей лаборатории». Эти слова теперь были отмечены на полях синим карандашом.

Отлично зная ухватку Подрайского, я всё же опять был поражён его ловкостью. Как он ухитрился втиснуть сюда, в своё личное дело, даже и эту короткую записку Жуковского? А я, наверное, выгляжу злопыхателем, лжецом, неведомо за что очернившим человека.

Новицкий меж тем листал папку дальше. Ряд документов характеризовал Подрайского, как выдающегося конструктора-изобретателя, автора вездехода-амфибии, руководителя большой лаборатории. Одна из бумаг была подписана военным министром царского правительства генералом Поливановым, другая — начальником штаба Верховного Главного командующего генералом Алексеевым.

— Эту амфибию он тоже прикарманил,— мрачно проговорил я.

Новицкий открыл следующую страницу. Я узрел документ, выданный Подрайскому в 1920 году Московским бюро изобретений. В бумаге сообщалось, что Подрайский является автором ценного предложения об использовании скипидара в качестве горючего для автомашин, предложения, которое в трудный период гражданской войны, в условиях почти полного отсутствия бензина, оказало существенную помощь автотранспорту. Это звучало весьма убедительно, солидно. Справка была подписана несколькими членами Московского бюро изобретений. Среди подписей затесалась, увы, и моя фамилия. Да, было дело, в своё время я подмахнул эту бумажку.

Новицкий не разглядывал её. Слегка откинувшись на стуле, он уставился куда-то вдаль. Конечно, ему не бросилась в глаза моя фамилия. Ладно, промолчу и я. Однако едва я успел это подумать, тотчас прозвучал вопрос Новицкого:

— Насколько я понимаю, тут о Подрайском писал некий другой Бережков?

Чёрт возьми, когда же он успел рассмотреть подписи? Неужели всё это он изучил ранее, ещё в те времена, когда в качестве начальника отдела восседал в этом кабинете? И неужели запомнил?..

— Нет, это не другой, а я...

— Вы? — с нескрываемой иронией изумился Новицкий.

Он ничего больше не прибавил, но я почувствовал, что мои предостережения, мои горячие слова о нечестности Подрайского почти вовсе потеряли силу. Август Иванович сидел рядом со мной. Порой, склоняясь над тем или иным листом, он подавался ко мне, я ощущал его плечо. Сейчас он отодвинулся. Наверное, считает всё случившееся одним из моих сумасбродств.

На следующих страницах была представлена история мельницы «Прогресс». Авторское свидетельство и различные справки свидетельствовали, что инженер Подрайский изобрёл и успешно применил на практике новый тип мельницы с вертикально поставленными жерновами. Упомянулась и новая насечка жерновов по принципу «архимедовой спирали». Далее удостоверилось, что своим изобретением Подрайский принёс пользу стране, облегчил положение городского населения, которое в период разрухи остро нуждалось в возможности молотить зерно.

Я молча прочитывал эти возникающие одна за другой бумаги. Ну и подал же себя, свою биографию «бархатный кот»? Во мне пробудилось любопытство. Куда же он канул, где обретался после краха мельницы? Оказывается, в Управлении артиллерии Красной Армии. Справка гласила, что Подрайский в течение ряда лет работал над своим изобретением военного характера и зарекомендовал себя серьёзным организатором и способным химиком. Вот как, ещё и химиком?! Не взрывчатое ли вещество он предложил Управлению артиллерии? Не то ли самое, которое придумал и продал Подрайскому неудачник Мамонтов, фигурировавшее сначала под названием «московит», а потом «лизит»?

Что я мог сказать, что мог противопоставить этому потоку бумаг?

— Величайший проходимец! Ультразвулик! — сказал я.

Новицкий прищурился:

— Может быть, когда-нибудь он по отношению лично к вам совершил неблагоприятный поступок? Мы слушаем... Сообщите, пожалуйста, об этом.

И вдруг по взгляду Новицкого, взгляду, который только что был острым, настороженным, а теперь стал равнодушным, даже, пожалуй, опять сонным, я понял: он опасается меня спугнуть, напряжённо ждёт ответа и намерен изобразить мой протест, как попытку свести давние личные счёты с Подрайским. Эх, как я сразу не сообразил: сейчас Новицкий защищает не столько Подрайского, сколько самого себя, свой авторитет, репутацию начальника, который не совершает ошибок.

— Пожалуйста, мы слушаем,— вновь обратился он ко мне.

Но я промолчал.

— Август Иванович,— сказал Новицкий,— как вы считаете: есть ли у нас основания требовать устранения Подрайского? Имеем ли мы моральное право бросать на него тень?

Шелест ответил:

— Признаться, Павел Денисович, я такого права за собой не чувствую.

Новицкий поинтересовался мнением и работника отдела кадров. Тот согласился с Шелестом.

Все вышли из кабинета, лишь я в одиночестве продолжал сидеть. Потом встал, постоял у окна. Куда, к кому теперь пойти? Новицкий сумел заткнуть мне рот бумагой.

Вновь хлопнула дверь. Обернувшись, я увидел Любарского. Мы поздоровались. Он с тонкой улыбкой протянул:

— Э, кто-то расстроил нашего маэстро.

После ссоры, или, вернее, стычки, в Заднепровье я не раз уже встречался с Любарским. Отношения были прохладными, но всё же иногда мы

перекидывались несколькими фразами. На днях он даже поздравил меня с успехом; правда, и тогда в его тоне слышалась ирония.

— Вас огорчили эти синьоры?—продолжал Любарский.—Они только что мне встретились. Во главе шествовал Новицкий.

Я угрюмо молчал.

— Будьте философом! — посоветовал Любарский.— Мы живём в юдоли пошлости, всепроникающего страшного стандарта, где нет места дерзаниям. Смиритесь, это единственное утешение.

Я не проявил деликатности, буркнул:

— Не нуждаюсь в утешении.

И покинул кабинет.

(Окончание следует)



ВИКТОР БОКОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

СНЕГ. ПОРОША...

Снег. Пороша. Сесть да ехать
По-простецкому, в санях,
Чтоб серебряное эхо
Откликалось в снегах.

Чтобы люди сторонились,
Озорно кричали вслед:
— Эй, откуда, дьявол, вылез? —
Пух
и пыль —
ответа нет!

Сердце, радуйся и тешься,
Отдавай себя снегам,
Догоняй босое детство,
Ведь оно, наверно, там.

За холмами, за снегами,
Средь колхозной детворы
Бьёт застывшими руками
У обкатанной горы!

ВЕСНА

Она пришла стрельбою вербных почек,
Отгадчицею долгих зимних снов.
Узнали мы её знакомый почерк
В витиеватой росписи ручьёв.

Она пришла и руки развязала
Всему, что истомилось зимним сном,
А жаворонку властно приказала
Над пашнею весь день звенеть звонком.

Идёт.
Глядится в лужи:
«Хороша ли?»
Движенья и красивы и легки.
Ей шерстяные шали помешали,
Сняла со всех и всем дала платки!

В. ЛУГОВСКОЙ

★

ОСЕНЬЮ

Тишь стареющей природы.
Звёзды осени горят.
Лает пёс плохой породы,
Непокорный пёс Пират.

Водит он хвостом, как кистью,
Цепью звякает глухой.
Облетают с яблонь листья,
Сухо шепчутся с травой.

Сколько нежности и грусти
В том, что чуть бездомен сам,
В стылых лужах, в ломком хрусте,
В заморозках по ночам.

Ходишь, ходишь, как влюблённый,
Слышишь детский свист вдали.
Тонкий холодок калёный
Выползает из земли.

Что ж в такую осень ищешь?
Молодость? Она ушла.
Золотое пепелище
Буйных листьев разнесла.

Счастья миг? Забытый голос?
Дружбы поднятый стакан?
Жжёт ли сердце тайный голод
Иль одна из старых фан?

Или та, что брови прячет
В темноту лисий жар,
И от губ её горячих
Облачком клубится пар?

Может быть, её и надо,
Только с нею мне нужны
Лист бродячий, жёсткость сада,
Одинокий стон сосны —

Всё огромное, живое,
Что зимой должно заснуть,
Что мне песней ветровою
Обещает вечный путь.

ЗВЕЗДА

Звезда, звезда, холодная звезда,
К сосновым иглам ты всё ниже пикнешь.
Ты на заре исчезнешь без следа
И на заре из пустоты возникнешь.

Твой дальний мир — крылатый вихрь огня,
Где ядра атомов сплавляются от жара.
Что ж ты глядишь так льдисто на меня —
Песчинку на коре земного шара?

Быть может, ты погибла в этот миг,
Иль, может быть, тебя давно уж нету,
И дряхлый свет твой, как слепой старик,
На ощупь нашу узнаёт планету?

Иль в дальней мощи длится жизнь твоя?
Я — тень песчинки пред твоей судьбою,
Но тем, что вижу я, но тем, что знаю я,
Но тем, что мыслю я, я властен над тобою.



ИНОСТРАННАЯ НОВЕЛЛА

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

★

ДВА РАССКАЗА

Генрих Бёлль — западногерманский писатель младшего поколения. Он начал свой творческий путь совсем недавно — в 1949 году. Литературное мастерство, своеобразие стиля и тем, яркость образов и тонкий психологический анализ очень скоро выдвинули Бёлля в ряды самых популярных и интересных писателей Федеральной Республики Германии. Романы и повести Бёлля переведены уже на многие языки.

Герой произведений Бёлля — «маленький человек» — рабочий, служащий, ремесленник, переживший тяжёлые годы фашистского режима, катастрофу войны, невзгоды и страдания послевоенных лет в Западной Германии. Писатель рисует «маленького человека» капиталистической Германии с позиций того высокого гуманизма, который был свойственен таким выдающимся писателям Германии XX века, как Гауптман, Фаллада, Томас Манн. Правда, нередко гуманизм Бёлля окрашен в религиозные тона. Писатель не подымается до больших социальных обобщений, которые могли бы указать выход «маленькому человеку», зажатому в тиски мрачной капиталистической действительности. Но страстность, с которой Бёлль бичует пороки капиталистического общества, его ненависть к несправедливости, к угнетению и, наконец, ярко выраженная антимилиитаристская направленность его книг делают творчество Бёлля близким всем прогрессивным людям Германии.

Произведения Г. Бёлля на русском языке печатаются впервые.

Почтовая открытка

Никто из людей, знавших меня, не поймёт, почему я так бережно храню клочок бумаги, который в сущности не представляет собой никакой ценности и вынуждает подозревать меня в сентиментальности, стнюдь не свойственной людям моей профессии. Я — доверенный текстильной фирмы. Бумажка эта — всего лишь воспоминание об одном-единственном дне моей жизни. Но я всегда решительно отвергаю упреки в сентиментальности, пытаюсь представить этот клочок бумаги как ценный документ. Вот он, маленький бумажный четырёхугольник, похожий на почтовую марку — правда, только по размеру, а не по форме. Он уже и длиннее и хотя, так же как и марка, клеится на почте, не представляет собой никакого интереса для филателиста.

По краям бумажки проведена чёткая красная черта, и такая же красная черта делит её на два неравных прямоугольника. В меньшем из прямоугольников стоит жирная чёрная буква «Р», а в большем чёрным же шрифтом напечатано слово «Дюссельдорф» и цифра «634». И это всё. Клочок бумаги пожелтел и почти совсем истрепался. И теперь, когда я уже подробно описал его, можно, пожалуй, выбросить эту простую почтовую наклейку от заказного письма. Такие наклейки любое почтовое отделение ежедневно расходует целыми рулонами.

Но эта наклейка напоминает мне об одном из дней моей жизни, который мне никогда не забыть, хотя я уже много раз пытался вычеркнуть его из своей памяти. К сожалению, у меня слишком хорошая память.

Вспоминая об этом дне, я прежде всего ощущаю запах ванильного крема — тёплое сладкое облачко, проникающее через дверь моей комнаты и напоминающее мне о добром сердце моей матери. Я попросил её тогда, чтобы она приготовила по случаю первого дня моего отпуска ванильное мороженое. И лишь только я проснулся, как сразу же услышал запах ванили.

Было половина одиннадцатого. Я закурил сигару, положил повыше подушку и представил себе, как проведу время после обеда. Мне хотелось поплавать; днём я поеду на пляж, немножко поплаваю и покурю, дожидаясь моей маленькой сослуживицы, которая обещала встретиться со мной там после пяти.

В кухне мать отбивала мясо. Когда она на минутку остановилась, стало слышно, что она что-то напевает про себя. Это была какая-то церковная песня. Я чувствовал себя таким счастливым. За день до этого я прошёл испытания на помощника мастера. На текстильной фабрике мне дали хорошее место, которое сулило возможности продвижения. Но теперь я отдыхал, в моём распоряжении было целых четырнадцать дней отпуска.

Стояло жаркое лето, а в то время я ещё любил жару. Через щели в ставнях я ощущал то, что называют горячим маревом; я видел зелень деревьев, росших перед нашим домом, слышал звонки трамваев. Я радовался в предвкушении завтрака. К двери моей комнаты подошла мать, чтобы узнать, проснулся ли я. Она осторожно прошла по коридору и остановилась; на секунду в квартире стало совсем тихо. Только я хотел сказать: «Мама!», как раздался звонок. Мать пошла открывать входную дверь. Я услышал, как внизу, в парадном, дребезжал звонок — четыре, пять, шесть раз, а в это время, выйдя на лестницу, мать уже разговаривала с нашей соседкой фрау Курц, жившей на той же площадке. После этого до моего слуха донёсся мужской голос, и я сразу понял, что пришёл почтальон, хотя я редко слышал его голос. Почтальон вошёл к нам в переднюю. Мать сказала:

— Что?

А почтальон ответил:

— Вот здесь распишитесь, пожалуйста.

Потом на мгновение снова стало очень тихо, и почтальон сказал:

— Спасибо.

Мать закрыла за ним дверь, и я услышал, как она вернулась на кухню. Вскоре после этого я встал и пошёл в ванную. Я побрился, долго и старательно мылся и, закручивая кран, услышал, что мать мелет кофе. Всё было так, будто сегодня воскресенье. Только я не пошёл в церковь.

Хотя этому и трудно поверить, но на сердце у меня вдруг стало тяжело. Не знаю почему, но мне действительно стало тяжело. Я больше не слышал, как мать мелет кофе. Я вытерся полотенцем, надел рубашку и брюки, носки и ботинки, причёсаясь и пошёл в столовую. На столе стояли цветы — красивая розовая гвоздика. Стол был празднично накрыт, и на моей тарелке лежала красная пачка сигарет.

Вошла мать, и я сразу же понял, что она плакала. В одной руке она держала кофейник, а в другой свежую почту — её было совсем мало. Глаза матери покраснели. Я пошёл к ней навстречу, взял у неё из рук кофейник, поцеловал её в щёку и сказал:

— Доброе утро!

Она посмотрела на меня и ответила:

— Доброе утро! Как ты спал?

При этом она попыталась улыбнуться, но это ей не удалось.

Мы сели. Мать налила мне кофе. Я взял с тарелки красную пачку, распечатал её и закурил сигарету. Я почувствовал, что мне расхотелось

есть. Я долго размешивал сахар в своей чашке и несколько раз пытался взглянуть на мать, но тут же быстро опускал глаза.

— Прибыла почта? — спросил я, хотя это был бессмысленный вопрос, потому что маленькая красная рука матери лежала как раз на небольшой стопке писем и газет.

— Да, — сказала она и пододвинула их ко мне.

Я развернул газету, а мать в это время намазывала мне маслом хлеб. На первой странице я увидел жирный заголовок: «Притеснения немцев в Польском коридоре продолжают». Уже много недель пестрели такими заголовками первые страницы газет. Они публиковали сообщения о перестрелках на польской границе и о немцах, которые бежали в «рейх» от преследований. Я отложил газету в сторону. Потом я просмотрел проспект винной фирмы, у которой мы иногда покупали вино, пока был жив отец. Фирма рекламировала какой-то рислинг, продававшийся на чрезвычайно выгодных условиях. Я отложил в сторону и проспект.

В это время мать уже намазала мне хлеб, положила его на тарелку и сказала:

— Поешь же что-нибудь!

Тут она разрыдалась. Я опять не мог заставить себя посмотреть на неё. Я не могу смотреть на человека, который действительно страдает. Только теперь я понял, что рыдания матери были как-то связаны с приходом почтальона. Да, дело было именно в этом. Я смял в пепельнице сигарету, откусил кусочек хлеба и взял следующее письмо. И когда я его взял в руки, то заметил, что под ним ещё лежит почтовая открытка. Но наклейку — этот маленький клочок бумаги, который я храню до сегодняшнего дня и из-за которого слышу сентиментальным, — я увидел не сразу и поэтому не сразу понял, что открытка заказная. Сначала я прочёл письмо. Письмо было от дяди Эди. Дядя Эди был учителем. Он писал, что наконец, после многолетней службы, его повысили в чине. Но в связи с этим ему пришлось согласиться на переезд в захолустную дыру; поэтому в денежном отношении им не стало легче; жить в этой дыре очень трудно. И дети у него болели коклюшем. Нас тошнит от всего, что происходит, писал он. От чего именно, мы, наверное, сами догадываемся. И мы действительно догадывались, потому что самих нас в эти годы тоже тошнило. Тогда многих тошнило.

Когда я протянул руку за открыткой, то увидел, что её уже не было. Открытку взяла мать. Она поднесла её к глазам. А я смотрел на свой хлеб с маслом, от которого уже откусил кусочек, помешивал кофе и ждал. Я никогда не забуду, как всё это происходило. Я только раз слышал, чтобы мать так рыдала. Это было, когда умер отец. И тогда я тоже не осмеливался взглянуть на неё. Чувство смущения, которое я сам не знаю чем объяснить, мешало мне утешать её. Я попробовал опять откусить кусочек хлеба, но у меня сдавило горло, потому что я вдруг понял, что на свете существует только одна причина, которая может так взволновать мою мать. И эта причина была связана со мной. Мать сказала что-то, чего я не понял, и протянула мне открытку. Только теперь я увидел: это была заказная открытка. Увидел обведённую и разделённую красной чертой на два прямоугольника наклейку, в меньшей части которой стояла жирная чёрная буква «Р», а в большей — слово «Дюссельдорф» и цифра «634». В остальном открытка выглядела совершенно обычно.

Она была адресована мне и на оборотной стороне было написано: «Господин Бруно Шнейдер! Вам надлежит явиться 5/VIII-39 в казарму имени Шлиффена в Аденбрюке для прохождения восьминедельного обучения». Слова «Бруно Шнейдер», дата и слово «Аденбрюк» были написаны на машинке, а остальное отпечатано типографским способом. В конце стояли какие-то каракули и после них было напечатано слово «майор».

Сейчас я знаю, что майору не было надобности расписываться, его подпись с тем же успехом могла бы воспроизвести машина. Имела значение только маленькая наклейка. Подписав квитанцию, мать должна была подтвердить, что мы получили открытку.

Я тронул руку матери и сказал:

— Это ведь только на восемь недель.

И мать ответила мне:

— Да, конечно.

— Только на восемь недель, — сказал я, зная, что говорю неправду.

И, вытерев слёзы, мать подтвердила:

— Да, конечно.

Мы лгали друг другу, сами не зная зачем. Казалось, что мы тогда никак не могли подозревать, что говорим неправду. Тем не менее мы хорошо знали, что обманываем друг друга.

Я опять принялся за свой бутерброд, но вдруг вспомнил, что сегодня уже четвёртое число и что на следующий день, в десять часов, мне надо быть за триста километров к востоку. Я почувствовал, что бледнею, положил обратно хлеб и встал из-за стола, не обращая внимания на мать.

Я вошёл к себе в комнату, встал около письменного стола, открыл ящик и вновь задвинул его обратно. Я огляделся вокруг и почувствовал: что-то произошло. Но что именно — я не знал. Эта комната уже не была больше моей. Вот в чём всё дело. Сейчас я понимаю, что суть была именно в этом. Но тогда я делал бессмысленные вещи для того, чтобы убедить себя, что эта комната всё же принадлежит мне. Мне вовсе не к чему было перебирать письма в коробке, приводить в порядок книги. Но ещё не осознав, что я делаю, я уже начал укладывать свой портфель — положил туда рубашку, кальсоны, полотенце и носки, а потом пошёл в ванную, чтобы взять бритвенный прибор.

Мать всё ещё сидела за столом. Она больше не плакала. Кусочек хлеба с маслом, который я ел, и остатки кофе в чашке ещё были на столе.

Я сказал матери:

— Пойду к Гисельбахам. Узнаю по телефону, когда отходит поезд.

Когда я вернулся от Гисельбахов, пробило двенадцать. В коридоре пахло жарким и цветной капустой. Мать разбила в мешочке лёд, чтобы уложить его в нашу маленькую мороженицу.

Поезд отходил в восемь вечера. Около шести часов утра следующего дня я должен был прибыть в Аденбрюк. До вокзала было всего пятнадцать минут ходу, но я ушёл из дому уже в три часа. Я обманул мать, которая не знала, сколько езды до Аденбрюка.

Последние три часа, которые я пробыл дома, показались мне почти такими же долгими и тяжёлыми, как и все те долгие годы, которые последовали за ними. А эти годы тянулись бесконечно. Я уже не помню, что мы тогда делали. Еда казалась нам невкусной. Мать очень быстро отнесла обратно на кухню жаркое, цветную капусту и картошку. Потом мы пили кофе, которое осталось от завтрака; чтобы оно не остыло, мать накрыла его жёлтым колпаком. Я курил сигареты, и время от времени мы обменивались скупыми словами.

— Восемь недель, — сказал я.

И моя мать повторила:

— Да, да, конечно.

Она больше не плакала.

Три часа подряд мы лгали друг другу, пока мне стало уже совсем невмоготу.

Мать благословила меня, поцеловала в обе щёки, и, когда я закрыл за собою дверь, я знал, что она плачет.

Я пошёл на вокзал. На вокзале царило оживление. Было время каникул: всюду сновали загорелые весёлые люди. Я выпил пива в зале ожи-

дания и в половине четвёртого решил позвонить своей маленькой сослуживице, с которой собирался встретиться на пляже.

Пока я набирал номер — никелированный диск с дырочками уже пять раз вернулся в своё первоначальное положение, — я уже почти пожалел, что начал звонить. Но всё же я набрал и шестую цифру. Услышав в трубке её голос, — она спросила: «Кто говорит?» — я с секунду помолчал, а потом медленно произнёс:

— Бруно... Не смогла бы ты прийти? Я должен уехать, меня призывают.

— Сейчас? — спросила она.

— Да. — Она на секунду задумалась, и я услышал в трубке чьи-то голоса — повидимому, кто-то собирал деньги на мороженое.

— Хорошо, — сказала она. — Я приду. На вокзал?

— Да, — сказал я.

Она очень скоро приехала, но даже сейчас, хотя с тех пор, как мы поженились, прошло уже десять лет, я не знаю — сожалеть ли мне об этом телефонном разговоре. Во всяком случае, она позаботилась о том, чтобы за мной сохранилось моё место на фабрике; когда я вернулся домой, она вновь разожгла во мне потухшее честолюбие, и по существу только ей я обязан тем, что возможности продвижения, которые сулила в то время моя работа, осуществились.

Но и с ней я пробыл не всё время, которое мог бы оставаться. Мы пошли в кино, и в пустом тёмном зале, где было очень жарко, я её целовал, но, по правде говоря, мне этого не очень хотелось. Я целовал её много раз, но уже в шесть часов вернулся на вокзал, несмотря на то, что до восьми ещё оставалось много времени. На перроне я ещё раз поцеловал её и сел в первый попавшийся поезд, который шёл на Восток.

С тех пор я не могу видеть пляжа, не ощущая боли. Солнце, вода и зелень кажутся мне фальшивыми. Я предпочитаю один бродить по городу в дождливую погоду и ходить в кино в одиночестве, чтобы никого не надо было целовать. Мои возможности продвижения по служебной лестнице ещё не исчерпаны. Я могу получить должность директора и, наверное, даже получу её, потому что всё удаётся, когда тебе это не нужно, — так шутит над нами жизнь. Все почему-то убеждены, что я предан фирме и сумею для неё что-то сделать. Но в действительности она мне совершенно безразлична, и я не намерен что-либо делать для неё...

В глубоком раздумье я часто разглядываю старую наклейку, которая внезапно изменила всю мою жизнь. Но летом, когда сдают испытания на помощника мастера и ученики приходят ко мне с сияющими лицами, чтобы принять от меня поздравления, я по долгу службы говорю им краткую речь и, как полагается по традиции, всегда напоминаю им о «возможностях продвижения».

Весы Балеков

На родине моего дедушки почти все зарабатывали себе на жизнь обработкой льна. Уже пять поколений моих земляков, задыхаясь от пыли, трепали лён и давали этой пыли медленно убивать себя. Это были терпеливые и весёлые люди; они ели козий сыр и картошку, а иногда лакомились кроликом. По вечерам они сидели у себя дома — пряли, вязали, пели, пили мятный чай и были счастливы; днём в мастерской они допотопными орудиями превращали льняные стебли в волокно, не имея возможности защитить себя от пыли и от жара сушильных печей. В домах у них стояла одна-единственная кровать, напоминающая шкаф. На ней спали родители, а дети укладывались на скамьях, выстроившихся вдоль стен. Уже с утра у них стоял запах супа. По воскресеньям на столе появлялась птичья гузка, а по большим праздникам, когда мать, улы-

баясь, наливала в чёрный желудёвый кофе молоко и он становился всё светлее и светлее, на лицах детей появлялся румянец радости.

Родители рано отправлялись на работу; в их отсутствие дома хозяйничали дети. Они подметали, прибирали, мыли посуду и чистили картошку — драгоценные желтоватые клубни, тонкие очистки от которых они должны были предъявлять родителям, чтобы снять с себя подозрение в расточительности или легкомыслии.

После возвращения из школы дети отправлялись в лес, где они, смотря по времени года, собирали либо грибы, либо травы: мяту, тмин, чебрец, ячменник, а также наперстянку. Летом, когда на тощих лугах уже была скошена трава, дети собирали ромашку. За килограмм ромашки им давали один пфенниг, а в городской аптеке её продавали нервным дамам по двадцати пфеннигов. Особенно ценились грибы: за них платили двадцать пфеннигов за килограмм, а в городе, в магазине, продавали за одну марку двадцать пфеннигов. Осенью, когда сырость выгоняла грибы из земли, дети забирались далеко в зелёную глушь лесов. Почти каждая семья имела «свои» грибные места. Старики по секрету рассказывали о них сыновьям, а те — своим детям.

Леса принадлежали Балекам. Поля, где рос лён, также принадлежали им. Балеки жили в замке. Там, рядом с помещением, где кипятили молоко, находилась каморка, в которой жёны глав семейства Балеков взвешивали грибы, травы, ромашку и платили за них. Там, на столе, висели большие весы Балеков — старинные, с завитушками, окрашенными блестящей бронзовой краской. Перед этими весами стояли ещё прадеды моего деда. В грязных детских ручонках они держали корзинки с грибами и бумажные кульки с ромашкой. Они напряжённо следили за тем, как фрау Балек клала гирьки на весы, до тех пор пока колеблющаяся стрелка не останавливалась на чёрной черте — этой тонкой черте справедливости; каждый год черту эту приходилось рисовать заново. Потом фрау Балек брала толстую книгу в коричневом кожаном переплёте, и прежде чем платить деньги — пфенниги, грóши и лишь очень, очень редко марку, — она записывала в книге вес своих покупок. И уже тогда, когда ещё мой дед был маленьким, рядом с весами стояла большая стеклянная банка, наполненная кислыми леденцами, теми самыми, которые продавались по марке за килограмм. И если та фрау Балек, которая в то время хозяйничала в каморке, была в хорошем настроении, она опускала руку в банку и надеяла каждого ребёнка конфеткой. Лица детей розовели от радости, как в те дни, когда по большим праздникам мать наливала им молоко в кофе, молоко, которое делало его всё светлее и светлее, до тех пор, пока он не становился таким же белёсым, как косы девочек.

Один из непреложных законов, которые установили Балеки, гласил: никому в деревне не разрешается держать весы. Этот закон был установлен так давно, что никто уже не размышлял над тем, когда и почему он появился. Но каждый, кто посмел бы нарушить его, немедленно терял работу, и от него уже не стали бы принимать впредь грибы, чебрец, тмин, ромашку. Власть Балеков простиралась так далеко, что и в соседних деревнях никто не помог бы моим землякам и никто не взял бы у них лесных трав. Но ещё в те времена, когда прадедушки моего дедушки были маленькими, когда ещё они собирали и продавали грибы, из которых в городе делали приправу к мясу или начинку для паштета, с тех незапамятных времён никто никогда не помышлял о том, чтобы нарушить этот закон. Муку насыпали мерками, яйца продавали поштучно, холст мерили локтями, а что касается остального, то старинные, с золотыми завитушками весы Балеков не вызывали никаких подозрений. И пять поколений, сменявших друг друга, доверяли чёрной колеблющейся стрелке всё, что они собирали с детским усердием.

Правда, среди этих тихих людей были и такие, которые пренебрегали законами. То были браконьеры, стремившиеся в одну ночь заработать больше, чем они могли бы получить за целый месяц, обрабатывая лён. Но даже у них никогда не возникала мысль купить или сделать себе весы. Мой дедушка был первым смельчаком, решившим проверить справедливость Балеков, тех самых Балеков, которые жили в замке, имели два выезда и оплачивали одному из деревенских парней учение в духовной семинарии; тех самых Балеков, у которых каждую среду играл в карты священник, к которым приезжал с новогодним поздравлением сам окружной начальник в своей коляске, украшенной гербом кайзера, и которым в новом, тысяча девятисотом году сам кайзер пожаловал дворянство.

Мой дедушка был умный и старательный: он уходил в лес дальше, чем кто-либо из детей в нашей семье. Он даже добирался до самой чащи, где, по преданиям, обитал великан Билган, охранявший там сказочные сокровища. Но мой дедушка не страшился Билгана. Когда он был ещё совсем маленьким, он забирался в чащу и возвращался домой с богатой добычей. Он находил даже трюфели, за которые фрау Балек платила по тридцати пфеннигов за фунт. На чистом листке календаря дедушка записывал всё, что он приносил Балекам: у него был записан каждый фунт грибов, каждый грамм тмина. А справа, рядом, он писал, сколько ему заплатили за всё это. Своими детскими каракулями он записывал каждый пфенниг, который получал с тех пор, как ему минуло семь лет. А когда ему исполнилось двенадцать, наступил тысяча девятисотый год, и Балеки в честь того, что кайзер присвоил им дворянство, подарили каждой семье в деревне четверть фунта настоящего кофе, того, который привозят из Бразилии. Мужчинам дали бесплатно пиво и табак, а в замке устроили большое празднество; множество колясок стояло в тополевой аллее, ведущей к замку.

Кофе начали раздавать ещё за день до праздника в той же маленькой каморке, в которой уже почти сто лет стояли весы Балеков, звавшихся теперь Балеки фон Билган, потому что, по преданию, дворец великана Билгана стоял как раз на том месте, где находился дом Балеков.

Дедушка часто рассказывал мне, как он после школы пошёл к Балекам, чтобы получить кофе для четырёх семей: для семьи Чехов, Вейдлеров, Фоласов и для своей семьи — для Брюхеров. Это было после обеда, в канун Нового года. Соседи хотели прибраться, испечь что-нибудь к празднику и поэтому решили, что не стоит посылать сразу четырёх мальчиков за четвертушкой кофе. Вот почему пошёл один только дедушка. И вот он уже сидит на маленькой узкой деревянной скамейке в знакомой каморке, а служанка Гертруда отпускает ему готовые пакетики кофе, четыре пакетика по четверть фунта. Дедушка посмотрел на весы. На левой чашке ещё лежала фунтовая гиря. Фрау Балек фон Билган не было, как обычно, в каморке, она занималась приготовлениями к празднику, и Гертруда захотела угостить дедушку конфетой. Но когда она опустила руку в банку с леденцами, то заметила, что банка пуста. Эта банка наполнялась раз в год, и в ней помещался ровно килограмм конфет того сорта, которые стоили одну марку.

Гертруда засмеялась и сказала:

— Обожди, я принесу новую порцию.

И мой дедушка остался один со своими четырьмя пакетиками весом в четверть фунта каждый, которые были запечатаны на фабрике. Он стоял перед весами, где лежала оставленная кем-то фунтовая гиря. И дедушка взял четыре пакетика кофе и положил их на пустую чашу весов. Его сердце сильно забилось, когда он увидел, что чёрная стрелка справедливости остановилась слева от черты, а чаша с фунтовой гирей оказалась внизу, в то время как чаша с фунтом кофе поднялась довольно

высоко. Сердце у него билось сильнее, чем в то время, когда он лежал в лесу, спрятавшись в кустах, и ждал, что появится великан Билган. Он вынул из своего кармана камешки, которые он носил с собой, чтобы стрелять из рогатки в воробьёв, клевавших в их огороде капусту. Три, четыре, пять камешков должен был он положить рядом с четырьмя пакетиками кофе, чтобы чаша, где лежала фунтовая гиря, поднялась и стрелка наконец сравнялась с чёрной чертой. Дедушка снял кофе с весов, завернул пять камешков в свой носовой платок, и, когда Гертруда вернулась с большим килограммовым пакетом леденцов, которых опять хватило бы на целый год, — ведь время от времени лица детей должны были покрываться румянцем, — когда Гертруда с шумом начала высыпать эти леденцы в банку, худенький бледный мальчуган стоял перед ней так, словно ничего не произошло.

Но дедушка взял только три пакета кофе, и Гертруда удивлённо и испуганно посмотрела на бледного мальчугана, который бросил на землю кислую конфетку, растоптал её и сказал:

— Я хочу поговорить с фрау Балек.

— Ты хочешь сказать, Балек фон Билган, — поправила его Гертруда.

— Хорошо, пусть будет фрау Балек фон Билган.

Но Гертруда просто высмеяла его.

В наступивших сумерках дедушка пошёл обратно в деревню, отнёс Чехам, Вейдлерам и Фоласам их кофе и сказал, что он должен ещё пойти к священнику. И хотя уже наступила ночь, он ушёл из деревни. Пять камешков, завернутых в носовой платок, он нёс с собой. Ему пришлось проделать немалый путь, пока он нашёл человека, которому разрешалось иметь весы. В деревнях Блаугау и Бернау никто не имел весов, это он знал. И дедушка шёл мимо этих деревень, не останавливаясь, пока после двухчасового пути не достиг маленького городка Дильхейм, где жил аптекарь Хониг.

В доме Хонига пахло свежими блинами, а от самого Хонига, открывшего дверь замёрзшему мальчику, пахло пуншем. В своих тонких губах Хониг держал толстую сигару. Задержав на секунду холодные руки мальчика, он сказал:

— Ну что, твоему отцу стало хуже? Опять что-нибудь с лёгкими?

— Нет, я пришёл не за лекарством, я хотел... — Дедушка развернул платок, вынул пять камешков, показал их Хонигу и сказал: — Я хотел бы взвесить вот это.

Он испуганно посмотрел в лицо Хонига, но, убедившись в том, что Хониг не возражает ему, не рассердился и ничего не спросил, дедушка сказал:

— Они весят столько, сколько недостаёт справедливости.

Лишь теперь, когда дедушка вошёл в тёплую комнату, он понял, как сильно он промок. Снег проник через его худые ботинки. Ветки в лесу обсыпали его одежду снегом, который растаял теперь. Дедушка устал и проголодался. Вдруг он заплакал, потому что ему вспомнилось, сколько грибов, трав и ромашки было взвешено на весах, которым, чтобы быть справедливыми, не хватало веса пяти камешков. И когда Хониг, качая головой и держа в руке пять камешков, позвал жену, дедушка вспомнил о своём отце, деде и прадеде, которые взвешивали грибы и травы на тех же весах, и он почувствовал, как его захлёстывает громадная волна несправедливости. Он заплакал ещё сильнее, сел без спросу на стул в комнате Хонига, не заметив даже, что добрая толстуха фрау Хониг поставила перед ним блины и чашку горячего кофе. Он перестал плакать лишь тогда, когда сам Хониг вернулся из аптеки, потрясая камешками, которые он держал в руке, и тихо сказал своей жене:

— Ровно одна десятая килограмма...

Дедушка проделал двухчасовой путь обратно через лес, вытерпел побои дома, не отвечал, когда его спрашивали про кофе. Всё это время он не произнёс ни единого слова. Весь вечер он считал, сидя над бумажкой, где было записано всё, что он когда-то приносил фрау Балеке. А когда часы пробили полночь и в поместье раздался праздничный салют, когда в деревне слышались приветственные крики и затрещали трещотки, когда вся семья обнялась и поцеловалась, в наступившей новогодней тишине прозвучали слова моего дедушки:

— Балеки должны мне восемнадцать марок и тридцать два пфеннига.

И опять он вспомнил обо всех деревенских ребятах, вспомнил о своём брате Фрице, который приносил так много грибов, о своей сестре Людмиле, о многих сотнях детей, которые собирали грибы, травы, ромашку для Балеков. Но на этот раз он не заплакал, а рассказал родителям, братьям и сёстрам о своём открытии.

Когда Балеки фон Билган в первый день нового года пришли в церковь к обедне — их коляску уже украшал новый сине-золотой герб, на котором был изображён великан, расположившийся под сосной, — они увидели обращённые к ним ожесточённые худые лица людей. Балеки ожидали, что жители вывесят в их честь гирлянды, что утром деревенская капелла проиграет гимн, что они услышат возгласы «Хох!» и «Хейль!». Но когда они проезжали через деревню, она казалась вымершей. А в церкви лица бледных людей глядели на них молча и враждебно.

Сам священник, выйдя на амвон, чтобы произнести праздничную проповедь, почувствовал холод, исходивший от этих людей, обычно столь тихих и мирных. И он с трудом, спотыкаясь и запинаясь, произнёс свою проповедь и, весь взмокший, вернулся к алтарю.

А когда Балеки фон Билган после мессы покинули церковь, они прошли через шпалеры молчаливых, суровых людей. Молодая фрау Балеке фон Билган остановилась около детских скамеек, разыскала глазами моего дедушку — маленького бледного Франца Брюхера — и спросила его громким голосом, прозвучавшим на всю церковь:

— Почему ты не взял кофе для своей матери?

И мой дедушка встал и ответил:

— Потому что вы должны мне столько денег, сколько стоят пять килограммов кофе.

Он вынул из своего кармана пять камешков, показал их молодой женщине и сказал:

— Вот столько — одной десятой килограмма — не хватает на каждый килограмм вашей справедливости.

И прежде, чем женщина смогла что-либо ответить на это, мужчины и женщины в церкви запели:

— «Земная справедливость, о господь, убила тебя...»

В то время как Балеки находились ещё в церкви, Вильгельм Фола — браконьер — проник в маленькую каморку и унёс весы и большую толстую книгу в кожаном переплёте, в которой был записан каждый килограмм грибов, каждый килограмм ромашки и всё, что Балеки скупали в деревне. И всю вторую половину первого дня нового года мужчины из деревни просидели у моих предков, присчитывая к каждому десяти килограммам ещё один килограмм, тот, на который их обвешивали Балеки. И когда выяснилось, что их обсчитали таким образом на много тысяч талеров, — а конца счёту всё ещё не было видно, — прибыли жандармы, посланные окружным начальником. Стреляя, они ввалились с саблями наголо в комнату моего прадедушки и захватили весы и книгу. Они убили сестру дедушки, маленькую Людмилу, и ранили нескольких мужчин. Одного из жандармов заколол Вильгельм Фола — браконьер.

Взбунтовалась не только наша деревня, но и Блаугау и Бернау. Почти целую неделю не работали льняные мануфактуры. Прибыло много жандармов, которые угрожали мужчинам и женщинам тюрьмой, и Балеки вынудили священника продемонстрировать в школе перед всем народом весы, чтобы доказать, что стрелка справедливости правильно показывала вес. Мужчины и женщины снова отправились трепать лён, но никто не пошёл в школу, чтобы поглядеть на священника: он стоял совсем один со своими гирями, весами и пакетиками с кофе, беспомощный и грустный. Дети вновь собирали грибы, ромашку, тмин и травы. Но каждое воскресенье, как только Балеки выходили из своего замка, они слышали:

— «Земная справедливость, о господь, убила тебя...»

Так продолжалось до тех пор, пока окружной начальник не приказал объявить во всех деревнях, что петь это запрещается.

Родители моего дедушки вынуждены были покинуть деревню, покинуть свежую могилу своей маленькой дочери. Они стали корзинщиками, но никогда не жили подолгу на одном месте, потому что им было больно видеть, как повсюду стрелка весов отклонялась от черты справедливости. Они брели за повозкой, которая медленно двигалась по шоссе, таща за собой худую козу. И тот, кто проходил мимо, слышал иногда, как они пели запрещённый стих. И если их спрашивали, то они рассказывали о Балеках фон Билган, чья справедливость на одну десятую не дотянула до полного веса. Но почти никто не хотел слушать моих предков.

Перевод с немецкого Л. Чёрной и Д. Мельникова.



ПУБЛИЦИСТИКА

Т. ЛЕОНТЬЕВА

★

ЛЕНИНСКАЯ ШАТУРА

1

Ранней весной 1918 года инженер Винтер ехал в Шатуру строить электростанцию. Этому предшествовал разговор с Лениным.

В декабре 1917 года, прибыв из Москвы в Петроград, Винтер отправился в Смольный и попросил доложить о себе Владимиру Ильичу.

Секретарь посмотрел на него с недоумением.

— Насчёт строительства электростанции? — переспросил он. — Странно. — И не приметно взглянул в окно.

Издали доносились глухие удары, будто кто-то с яростью хлопал дверь. Это были выстрелы.

Высокий чернобородый инженер со свёртками чертежей подмышкой не вздрогнул, не обернулся. Его сосредоточенный, деловой вид внушал доверие. Если сейчас, когда патрули не сняты и стёкла окон тоненько дребезжат от выстрелов, кому-то приходит в голову, что пора уже решать вопрос о строительстве электростанции, — значит всё в порядке, революция победила, кровь товарищей была пролита недаром.

Секретарь направился в кабинет к Ленину.

Инженер в ту минуту был далёк от мысли о неуместности своего визита. Ход его рассуждений был очень прост.

Уголь Донбасса и нефть Баку были уже отрезаны от центра. Петроград и Москва подбирали последние запасы. Заводы закрывались, железнодорожный транспорт разваливался.

При этих условиях построить электростанцию в 120 верстах от Москвы, на местном топливе — торфе, было задачей поистине революционной.

Винтер wszёл в кабинет Ленина с уверенностью, что всё пойдёт так, как нужно.

Владимир Ильич встал ему навстречу, кутаясь в пальто и потирая озябшие руки.

Заранее подготовленные Винтером слова о том, что электростанция на местном топливе необходима сейчас для защиты завоеваний революции, оказались ненужными. Ещё в ноябре было вынесено решение о расширении добычи торфа. Были выделены кредиты, продовольствие и одежда для торфяников. Строительство электростанции на Шатуре было, таким образом, предрешено.

Ленин усадил Винтера возле себя и внимательно рассматривал чертежи, подвергая англизу практическую сторону дела. Мощность электростанции — вот что его интересовало.

Ни Европа, ни Америка не создавали мощных электростанций на торфе. Виднейшие учёные и инженеры утверждали, что он непригоден для сжигания в котлах. Их расчёты были убедительны. Даже лучшие сорта торфа до сих пор давали возможность снимать с квадратного метра площади нагрева котлов не больше чем 10—12 килограммов пара.

Правда, станция «Электропередача», построенная Классоном и Винтером ещё в 1912—1914 годах близ города Богородска, работала исключительно на торфе, но она была небольшой мощности.

Ленин заинтересовался подробностями строительства «Электропередачи». Винтер охотно рассказал, как в 1912 году Роберт Эдуардович Классон — один из первых рус-

ских инженеров-энергетиков — привёз иностранных капиталистов на торфяное болото Подмосквья и уговорил их дать несколько миллионов на постройку электростанции.

Классона увлекала тогда инженерная задача — отыскать новые способы механизированной добычи торфа. Он упорно работал над применением водяной струи высокого давления для размыва торфяного карьера. Эта его оригинальная идея до революции не нашла окончательного решения. Но станция была построена, пущена в ход. Фабрики Орехова, Павлова, Богородска присоединились к новому источнику энергии. А теперь «Электропередача» буквально спасала Москву.

Винтер рассказал об этом Ленину, подчёркивая энергию и заслуги Классона, которого знал и любил с юношеских лет.

Ленин сказал, что хорошо помнит Классона по первым марксистским кружкам и считает необходимым реализацию его изысканий.

— Желаю вам полного и быстрого успеха,— сказал он, прощаясь и провожая Винтера до дверей.— Будем помогать вам во всём. Обращайтесь прямо ко мне.

Несколько недель спустя для строительства Шатурской электростанции были отпущены кредиты, и, получив в Государственном банке два чемодана денег, Винтер уехал в Москву, а в марте 1918 года — в Шатуру.

Он ехал в поезде, переполненном красноармейцами, мешочниками, строителями и агитаторами. Люди лежали и сидели не только на полках, но и на грязном, затоптанном полу. Холодный вагон они обогрели собственным дыханием. Слабый огонёк фонаря, где плавился огарок свечи, озарял колеблющимся красноватым светом серые ватники, шинели, армяки и, как это ни странно, весёлые лица. Слово ничего особенного и не произошло в России. И раньше так ездили и теперь едут, ну, может быть, с меньшими удобствами, но вполне терпимо... Куда хуже было бы идти пешком... В конце концов можно было пойти и пешком, тоже ничего страшного нет...

И вот эта мысль — что ничего страшного нет ни в холоде, ни в голоде, ни в темноте, ни в бездорожье,— мысль, которую Винтер прочитал на молодых и старых, мужественных солдатских и наивных девичьих лицах, наполнила его ощущением особенной необоримой силы народа, силы, на которую, должно быть, прежде всего рассчитывал Ленин, когда так спокойно и убеждённо говорил с ним в Смольном о перспективах развития энергетического хозяйства страны, хотя для строительства одной лишь Шатурской электростанции не было ни гвоздя, ни доски, и, казалось, неизвестно было, откуда их взять при общей разрухе.

2

Поезд прибыл на разъезд «101-я верста» под утро. Винтер спрыгнул с площадки прямо в снег, ничего не видя и только догадываясь, в какой стороне ждут его лошади, высланные за ним из села Петровского.

Когда глаза обвыкли в темноте, Винтер двинулся к паровозу, с удовольствием вдыхая свежий морозный воздух. После бессонной ночи в духоте вагона он словно окунулся в ледяную воду, пахнущую дымком и окалиной.

Какой-то мальчуган лет тринадцати спустился с тендера и столкнулся с ним на платформе.

— В Москву ездил с отцом? — спросил Винтер.

— А что? — удивился мальчик, стараясь разглядеть, кто с ним говорит.

— В машинисты собираешься? — улыбнулся Винтер.

— Куда же ещё, — спокойным сказал мальчик и исчез, точно провалился в темноту.

Винтер невольно улыбнулся... Всё его детство прошло на узловой железнодорожной станции, и он вряд ли пропустил тогда хоть одну возможность взобраться к отцу-машинисту на паровоз, проехать с ним до круглой кирпичной водокачки, посмотреть в малиновое окошечко топки, потрогать медные и полированные части локомотива.

...Когда сани Винтера, раскатываясь на поворотах, подъехали к Петровскому, рассвело. Сквозь утреннюю синеву ясно проступили редкие низкорослые деревья, чёрные крыши деревенских нищих домиков и накатанная до лилового глянца просёлочная дорога.

Навстречу шли мужики с топорами и лопатами, о чём-то быстро и живо переговариваясь.

Кучер придержал лошадей.

— Куда идёте? — крикнул Винтер.

— Лес валить, — отвечал один из мужиков, подходя и берясь за оглоблю саней. — Десятником определили.

— Как фамилия? — спросил Винтер, предпочитая знакомиться сразу, без промедления.

— Крюков, Кузьма Иванович.

— Я Винтер.

— Уже догадался, — сказал, улыбаясь, молодой десятник. — Сам Ленин, говорят, велел поторопиться. Правда или нет?

— Похоже на то, — сказал Винтер и подумал, что известие о его разговоре с Лениным прибыло, очевидно, сюда раньше, чем он сам.

Это обрадовало его.

3

Весной 1918 года на Шатуру потянулись рязанские плотники, владимирские и шатовские каменщики. Многих из них Винтер знал в лицо ещё по строительству на «Электропередаче».

На них можно было положиться. Ещё с вечера они уходили на болота, выбирали место, ночевали, завернувшись в свои сермяги, у костра, а назавтра, чуть свет, обосновывались, строили землянку, и к полудню она уже была готова. Объяснять, как производить разбивку участков, валку леса, корчёвку пней, планировку улиц, рубку рабочих бараков, было совершенно излишне.

Пионеры Шатуры, они ложились спать в тулупах, умывались, проломив в ведре лёд, наросший за ночь, а в длинные вечера без страха прислушивались к завыванию голодных волчьих стай, бродивших по болоту.

...К маю 1918 года на участке было уже два домика, четыре землянки, тесовая столовая, остов бани. Строился одиннадцатикомнатный дом.

У края просеки возвышался тесовый сарайчик, где разместили верстак с тисками, наковальню и кузнечный горн. Сверлильному станку не нашлось места, и его привернули к ближайшей могучей сосне. В мастерской работали слесарь и кузнец с подручными. Они жили поблизости, в палатке, вечером жгли лучину, раздобыв в деревне светец и корытце.

При столь «высокой» технике нельзя было начинать строительство электростанции. Требовались промежуточные ступени.

Для начала было принято решение подвести на Шатуру электрический ток, затем построить опытную станцию, опробовать работу котлов и только после этого построить станцию проектной мощности.

Заседали мало. Не то что говорить было не о чем, а просто всё было понятно и без лишних слов.

Винтер и присланный сюда ранее Радченко быстро разделили функции: Радченко был занят подготовкой добычи торфа, Винтер — будущей электростанцией.

Инженеры, приехавшие на Шатуру, — Карпов, Мухин, Герман Красин — составляли штаб строительства, и когда весь штаб собирался, разногласий не возникало — дышали единым дыханием.

Взять ток решили с «Электропередачи».

Казалось не слишком трудным протянуть линию на 35 вёрст до села Дулёва. Но прорубить просеку, свалить тысячи деревьев, потом установить на этой просеке в весеннюю распутицу более 600 столбов было далеко не просто.

Вставали каждый день затемно, когда звёзды ещё не погасли; лазили по канавам; подсчитывали, ругались; каждый день обнаруживали тысячи недоделок; делили время на минуты. С утра до поздней ночи стучали топоры и визжали пилы...

Весной, когда на заседании Совнаркома обсуждалась смета Шатурских торфоразработок, представитель Наркомфина потребовал урезать её чуть ли не наполовину.

Стоимость барака Наркомфин определял в две тысячи рублей, а строители настаивали на четырёх тысячах.

Перед голосованием Владимир Ильич послал Радченко записку:
«Вы когда-нибудь строили бараки? Твердо ли знаете, что надо 4 000 р.?»

Иван Иванович Радченко написал в ответ коротко:

«Да, Владимир Ильич! И хорошие бараки строил!»

Ленин прочитал ответ и спросил представителя Наркомфина:

— Скажите, пожалуйста, вы сами когда-нибудь строили бараки?

— Нет... Не строил.

Ленин минуту помедлил, перелистал смету и сказал:

— Есть два предложения. Первое — товарища, который раньше строил бараки, дать четыре тысячи рублей на барак. Второе — товарища, который не строил бараки, дать две тысячи рублей на барак.

Все рассмеялись.

Строители вернулись из Москвы на Шатуру, или, как её называли тогда повсюду уменьшительно, на «Шатурку», с победой.

Вся эта «Шатурка», которая считалась «объектом государственной важности», была небольшим островком среди нескончаемых Петровско-Кобелевских и Шатурско-Хлудовских болот.

Люди селились здесь с незапамятных времён на буграх и суходолах, ковыряли землю сохой и деревянной боронкой, летом работали «на торфе», зимой занимались ткачеством, изготовляли «сарпинку».

Мало кто думал, что жизнь во всех этих местных деревеньках — Чертовихах, Торбеевых, Ботиных — может неузнаваемо измениться в результате решений, принятых в Москве на заседании Совнаркома. Мало кто понимал, почему Шатура стала объектом государственной важности. Однако всё лето работали с подъёмом.

В партийке Шатуры числилось всего девять человек, комсомольской организации ещё не было. Организаторами, агитаторами, партийным авангардом были Аллилуев и Яблонский.

31 августа 1918 года в партийку пришло сообщение о покушении на Ленина.

Жизнь Ленина была в опасности, и тревога переполняла сердца.

Кто-то привёз в Шатуру из Москвы рассказ о том, как Ленина доставили в Кремль после ранения. Ленин нашёл ещё силы подняться на третий этаж. Рабочий, приехавший с ним, заметался по комнате в поисках перевязочного материала и, не найдя, спросил:

— А нет ли у Владимира Ильича «индивидуального пакета»?

И Ленин со своим обычным выражением, чуть насмешливо ответил:

— Я ведь не на фронт собрался, а на митинг.

Этот рассказ передавался из уст в уста. На строительстве ходили все мрачные, работа не клеилась.

Наконец Радченко, который был одновременно управляющим Главторфом, привёз известие, что 17 сентября Ленин председательствовал на заседании Совнаркома.

А в октябре Винтер был вызван в Москву на первую сессию Центрального электротехнического совета.

Владимир Ильич выздоровел. Он собирал, объединял силы электрификации.

И хотя войска иностранной интервенции и внутренней контрреволюции отрезали от центра один за другим продовольственные, сырьевые и топливные районы, хотя всё сильнее и сильнее полыхало пламя гражданской войны и огненное кольцо сжималось возле Москвы и Петрограда, сессия прошла так, как будто никакой войны не было.

Виднейшие русские учёные-электротехники — Александров, Винтер, Графтио, Классон, Кржижановский, Макарьев — и многие другие талантливые теоретики и практики были призваны Лениным к решению грандиозных задач электрификации всей России.

Центральный электротехнический совет должен был разработать технические и сметные вопросы электростроительства. При совете было создано бюро по созданию общего плана электрификации всего народного хозяйства.

Когда Винтер вернулся из Москвы в Шатуру, уже выпал снег и скрипел под полозьями саней. На болоте было срублено много новых барачков, от них на полверсты тянуло смоляным духом. Возле барачков дымились костры, а из леса доносился глухой перестук топоров, визжание пил, смутный гул падающих деревьев.

Просека ушла далеко.

От станции тянулись теперь обозы с кирпичом и железом. Артельщики в полушубках и шапках-ушанках звонко хлопали рукавицами, вваливаясь в контору, что-то рассчитывали, бранились, требовали...

По заснеженному полотну узкоколейки бегали, пронзительно вскрикивая, паровозики и моторные дрезины, и всё это движение, гудки, свистки, шум и гул казались сутолокой, но знающий глаз легко улавливал в этом хаосе целесообразность и дисциплину.

4

Просеку прорубили к весне 1919 года.

Трудно было поверить, что за один год без всяких машин и механизмов свалили 20 тысяч деревьев, поставили сотни двенадцатиметровых опорных мачт и промежуточных столбов и протянули провода через реку Клязьму.

К маю на Шатуру привезли торфяные машины, и артелями-«рамками» стали прибывать торфяницы.

В бараках мест не хватало. Торфяницы брали их с бою. Было много шума и драк. Все сбились с ног — и торфмейстеры и «рамщицы». Слабые агитационные силы партийной организации и женотдела не в силах были охватить эту стихию. Тысячи женщин втискивались в бараки и палатки со своими самодельными сундучками, набивали матрацы сеном, гремели чайниками, развешивали на верёвках бельё, пели песни — знаменитые рязанские частушки и «страдания»...

18 мая вспыхнул электрический свет, пришедший с «Электропередачи».

Свет хлынул на Шатуру, как вода в пустыню, его жгли днём и ночью, не выключал лампочек, расплескивая везде, где нужно и где не нужно, радуясь общей, стихийной радостью.

И Винтер думал не без гордости, что провести сюда электричество было подобно серьёзной военной операции. Правда, теперь было очевидно, что завершить всю операцию будет гораздо труднее.

В конторе у Винтера лежал вычерченный на ватмане чистый, красивый рабочий городок с гостиницей для приезжих, большим Народным домом, школьными и больничными учреждениями и электростанцией на берегу Чёрного озера. Но для того, чтобы осуществить всё это, казалось, не было никаких реальных возможностей.

Однако кто бы мог взяться за подсчёт тех неучтённых душевных сил, которые были уже вызваны к жизни? Для этих неучтённых сил, что теперь направлялись в единое русло, не было выработано единицы измерения.

5

Шёл 1919 год.

Это был год, прошедший в огне грозных испытаний.

Продолжались атаки белых генералов и их приспешников. Григорьев, Петлюра, Махно бесчинствовали на Украине, Колчак и Семёнов — на Урале. Мамонтов дошёл почти до Рязанской губернии. Контрреволюционеры, осевшие в подполье, производили взрывы мостов и военных складов в центре. А главной вражьей силой и опасностью был Деникин.

Все силы Республики были мобилизованы для отпора врагу. Каждый кусок хлеба, каждый кусок угля был на учёте.

Ленин писал: «Побеждает на войне тот, у кого больше резервов, больше источников силы, больше выдержки в народной толще».

Резервы Шатуры были на исходе, но выдержка была, казалось, неисчерпаемой. Строители питались тогда червивой воблой и гнилым горохом. Когда в какой-то праздник артели выдали по четыре куска сахара «на девушку» и по горсти махорки «на курильщика», это было событием. А работа шла, шла так, словно люди в родной земле находили источники новой силы. Добывали торф, стелили, сушили, складывали в штабеля, грузили в вагоны, снова добывали, снова складывали. На дощатых заборах висели плакаты: «Коммунист! Умеешь ли ты обращаться с оружием? Будь готов защищать социализм!»

...В окрестных деревнях ещё молились богу, крестили детей, носили домотканную рядину, коричневые армяки, покроя которых сохранился со времён Петра I. Своего хлеба хватало до ноября. Землю не умели обрабатывать, вместо озимого родилась собачья полевица, осот, чемерица и змеиный корень. Деревня голодала.

Как-то несколько крестьян вошли в коштору.

Они заговорили громко и все сразу. Ничего нельзя было понять.

Винтер сказал, не повышая голоса:

— По очереди давайте!

Широкий в плечах, с крупными чертами лица, чёрными, в палец толщиной, бровями и с чёрной густой бородой, Винтер показался, наверное, очень грозным двум маленьким, щуплым мужичкам в сермягах и лапотках. Оробев, они обернулись к своему вожаку. Мужик с такой же чёрной бородой, как у Винтера, но только подстриженной не острым клинышком, а «лопатой», выдвинулся вперёд.

— Разговор будет сурьёзный! — сказал он.

Винтер нахмурился, взглянул вопросительно в упор.

— Слушаю!..

— В чём дело-то, товарищи? — спросил Радченко мягко.

— Я уже знаю, зачем они пришли и в какую игру играют! — подсказал ему негромко помощник Винтера Карпов.

Бородач бросил на Карпова колючий, оценивающий взгляд.

— Мы к вам с просьбицей... — сказал он, обращаясь к Радченко и сдерживая те слова, которые он, очевидно, хотел бы сказать.

— Слушаю, — сказал угрюмо Радченко.

Мужик отвёл глаза в сторону и начал говорить, как видно, заученное.

— Мы, селяне-хлеборобы, тоже должны получить улучшение своего положения, — сказал он. — Желательно улучшить жизнь селянина-хлебороба, как он есть фундамент государства...

— Вы, товарищи, выражайтесь пояснее, — сказал Радченко, снимая очки и протирая их платком. — Чужие слова говорите.

— Продовольствоваться хотели бы из ваших складов.

— Будете работать — будете получать.

— Зачем вы наши суходолы занимаете? Здесь у нас испокон веков места служили для покосов. Занимаете суходолы — давайте продовольствие или съезжайте отсюда!

— Да ведь ваши же сыны будут здесь на станции работать. Для них верный кусок хлеба, — горячо сказал Радченко.

Бородатый возразил спокойно:

— Что же нам, помирать, пока вы к этому социализму вашему прибудете?!

Радченко, Винтер и Карпов молча переглянулись.

— Чего вы наконец хотите? — спросил Винтер.

— Придётся вам эти работы прекратить!

— Как это «прекратить»? — усмехнулся Винтер.

— А вот так...

— Подите отсюда прочь! — закричал Винтер.

Мужики отступили к двери. Бородач выругался. Дверь за ними резко захлопнулась, и в этом стуке и длительной тишине за дверью было что-то зловещее.

Ночью на строительстве вспыхнул первый пожар.

Огонь быстро распространился в сторону лесных складов на Красных лугах и в сторону болота, где были заросли мелкокося. Были сняты все люди с погрузки торфа.

Работы по тушению пожара были исключительно тяжелы. Воды не было. Люди задыхались в густом дыму — пожар вился по торфяной залежи. Торфяницы тушили огонь, пытаясь забить его ветками...

Пожары пошли один за другим. Большинство их возникало на болоте, то горели пни на дровяном складе, то загорались дрова, то бараки, то мосты через реку Перешву...

Летом на центральном участке было 36 пожаров, на третьем участке — 6 пожаров, на Чёрном озере — 32 пожара.

Особенный едкий запах горелого торфа установился на строительстве. Когда дул ветер, с болота несло много чёрного пепла, он залетал в окна и скапливался кучками на подоконниках.

Управление Шатурстроя запросило из Москвы от Всероссийского пожарного профсоюза специалистов. На строительство прибыли брандмейстер и двенадцать пожарников. Но пожарного инструмента у них не оказалось. Две пожарные машины и часть старого, привезённого ими выкидного рукава к работе были непригодны.

Однако даже и хорошая организация противопожарной охраны мало могла помочь, когда вокруг рыщут враги. А тут ещё зной, засуха. Солнце висит красным диском в небе, на него можно смотреть невооружённым глазом в любой час дня. И торф как порох...

6

Заметка в местной газете была озаглавлена «Рабские привычки шатурских масс» и подписана «Неукротимый».

Вот что было сказано в этой заметке:

«Вообразите неграмотного, тёмного мужика из ближней деревни. Он видит, что кто-то стоит наверху, его заведующий, занимает приличную квартиру в то время, как он живёт в полутёмной палатке, что кто-то ездит на рысаках, что от кого-то одинолично зависит дать или не дать хотя бы пару лаптей, — невольно у такого товарища создаётся понятие о добром или злом барине... Такое представление создаётся не только среди серых масс окрестных крестьян... Наблюдая ежедневно все эти явления, невольно вырывается крик: а где же следы Октябрьской революции? ...лучший слесарь живёт и тесно, и уютно, и бедно, в то время, как заведующий, который помыкал им при власти держиморд, теперь... занял шикарную квартиру...»

Винтер понимал, что написано всё это о нём.

«Нужно уехать отсюда...» — пришла ему в голову неожиданная мысль. И это было самое простое и лёгкое решение.

Но самые простые и лёгкие решения были, как он уже хорошо знал, далеко не всегда правильными.

Совсем недавно на заседании распорядительного бюро Комитета государственных сооружений по докладу Винтера — он был теперь «по совместительству» главой Управления электрооборудований — было принято такое неправильное решение о приостановке Волховских и Свирских работ.

В Комитете государственных сооружений руководствовались простым выводом: можно ли в самом деле вести строительство под обстрелом вражеской артиллерии?

Но как вознегодовал Генрих Осипович Графтио, строитель Волхова! Какие отчаянные записки полетели в Совнарком к Ленину!

«...Война с мировым империализмом и белогвардейскими бандами длится уже второй год и приближается к концу — за это время Советская республика не раз подвергалась внезапным временным опасностям, но с честью выходила из затруднительного положения... Кому и зачем нужно разрушать...»

И Ленин дал указание ВСНХ принять меры к срочному развитию работ на Свири и Волхове. Он согласился с Графтио, который вдохновенно писал: «Мы строим в грозу и бурю великой революции великого народа».

...Уехать из Шатуры?! Нет. Нужно воевать, бушевать, настаивать. Фронт везде. И здесь фронт, а на фронте тебе могут стрелять в спину...

Пока он читал заметку, рядом безмолвно стоял слесарь Козлов, не решаясь начать разговор. Винтер знал, зачем он пришёл. Козлов изобрёл капусторезку. Для изготовления опытного образца ему нужно было листовое железо.

Винтер вздохнул, сел на диван и сказал Козлову:

— Давайте, как у вас там с вашей капусторезкой? Только капусты в этом году не будет — вот в чём дело.

— Знаю я, кто это писал, — мрачно сказал Козлов. — Это Петров писал. Конторщик, что сидит на регистрации. Эсер бывший. Больше некому.

Несколько дней спустя Винтер возвращался из Шатурторфа к себе в контору на Чёрное озеро.

К вечеру разразилась гроза, пошёл крупный косой дождь, всё было мокро, и болото снова стало болотом. Только слабый дымок стлался по нему. Коварное тление торфа, должно быть, ещё продолжалось.

Винтер в мокрой фуражке и мокрой кожаной куртке сидел на передней скамейке дрезины и жевал краюху чёрного хлеба. Хлеб был горький, с лебедой.

По обеим сторонам насыпи, на зелени разнотравья, золотилась россыпь одуванчиков. Невдалеке, на суходоле, мелькали белые стволы берёз, кривые, низкорослые сосенки. За ними вдруг возникло небольшое кладбище. Здесь было много новых крестов, увенчанных бумажными розами, уже слинявшими под проливным дождём.

Сыпной тиф, дизентерия косили людей. Крестьянские семьи держались благодаря пайку «вахтенного». «Вахтенный» — рабочий на наиболее утомительных работах — получал паёк в 3 770 калорий. Крестьяне видели хлеб только по воскресеньям, когда «вахтенный» приходил домой. Питались картошкой, измятой вместе с шелухой, примешивали древесные опилки и пили болотную воду и всё-таки жили, жили здесь, на земле, где были похоронены их отцы и деды. Работали в поле, на строительстве, на торфяных болотах, не разгибая спины.

Нет. Не эти бедняки жгли леса и бараки. Злобная агитация мироедов, которые в строительстве электростанции видели угрозу кустарному ткацкому производству, не могла привлечь к себе их сердца. Поджоги устраивала какая-то вражья группа, заброшенная сюда белогвардейцами или созданная их агентами здесь, в тылу.

С этой новой для него мыслью Винтер сошёл с дрезины и зашагал по направлению к конторе. В её маленьких окнах он увидел свет. Кто там был в такое позднее время?.. Он быстро вошёл, резко открыв дверь.

За канцелярскими столами сидели вихрастые деревенские парни и девушки-торфяницы в платочках, повязанных по самые брови. Одна из них, высокая, с белой косой через плечо, стояла у доски, принесённой, очевидно, из школы, и писала: «Мы не рабы, не бары мы».

Щёки её горели. Руки были вымазаны в чернилах.

Счетовод Саша в красном платочке и косоворотке, голубоглазая и бойкая, смутилась, увидев Винтера.

— А мы тут неграмотность ликвидируем,— сказала она застенчиво.

В это время дверь широко распахнулась и в канцелярию вбежал мальчишка в серой шинели, доходившей ему до пят. Он вытер будёновкой мокрое лицо и крикнул, словно здесь было сто, а не двадцать человек:

— Ребята, айдате на субботник, вагоны разгружать!

— Вот те на!.. Мы же учимся,— хитрецей прозвучал чей-то голос.

— Потом будете учиться... Два вагона всего... На станции ругаются. «Простой», говорят.

— Пойдём, что ли, подождем! — сказала девушка, которая стояла у доски.

Мальчишка в будёновке, запросто улыбнувшись Винтеру, выбежал из канцелярии.

Пожалуй, это был тот самый шустрый мальчишка, который ездил в Москву на паровозе.

— Кто этот паренёк? — спросил Винтер у Саши.

— Комсомолец. Ваня Соловьёв,— сказала Саша и, потуже стянув красный платочек, побежала за своими учениками.

Винтер хмуро посмотрел ей вслед. Каково сгружать под отчаянным дождём, а завтра чуть свет на работу, ведь и одежку не смогут просушить... Нет, ни один народ в истории человечества не знал более высоких задач и более страшных трудностей!..

Вскоре полегчало — Управление Главторфа выдало местным крестьянам — середнякам и беднякам — 400 пудов муки, 300 пудов овса, 60 пудов масла и 300 пудов соли.

8

В августе 1919 года котлован опытной станции был вырыт, и Винтер выписал на Шатуру знаменитых нижегородских кладчиков. Первый кирпич был заложен строителем Хватовым при торжественной обстановке. Начиная от этого первого кирпича, нужно было возвести всё здание. Мастеров кирпичной кладки поселили в лучшем общежитии, дали «паёк вахтенного», спецодежду, спецсапоги, спецрукавицы. Но паёк не удовлетворил кладчиков. Гордые своим мастерством, они были обижены и работали плохо.

Однажды Винтер в пять часов утра приехал смотреть на их работу. Он молча стоял в стороне и дымил самокруткой. Потом полез на леса и локтем оттолкнул одного из кладчиков.

— Не думал я, что мне вас учить придётся,— сказал он мрачно, берясь за ведёрко с раствором.

Конечно, он работал хуже кладчиков, но они не могли потерпеть посрамления от главного инженера строительства.

— А теперь у нас поучись! — сказал старик кладчик и, отстранив Винтера, стал класть кирпичи, только мелькали тяжёлые узловатые руки. — У тебя работа головная и письменная. Ты за нами не утонишься, если мы на полную мощность заработаем! — приговаривал он и тут же продолжал сердито, двигаясь по тесовому настилу: — Меня в этой работе обскакать трудно. Я своего дела профессор, если хочешь знать.

9

Здание электростанции, где работал «профессор» кладчик, росло на глазах, хотя почти все строительные работы выполнялись вручную. В распоряжении стройки — единственный подъёмник для кирпича и одна небольшая бетономешалка.

Были построены новенькие, яичной желтизны домики, баня, пожарное депо, продовольственная лавка.

Повсюду пахло смолой и краской, под ногами шуршала стружка.

Наконец открыли Народный дом.

Участники драмкружка поставили в этот вечер спектакль «Месть судьбы». В день открытия все присутствующие получили чай с мёдом и баранками.

Подписывая ведомость на зарплату строительным десятникам, каменщикам, плотникам, печникам, кузнецам, возчикам, канатчикам, мотористам, кладовщикам, мельникам и конторщикам, Винтер понимал, что никакая заработная плата не могла окупить того, что делали все эти люди.

Пионеры Шатуры — «Робинзоны», как шутя называли себя первые строители, — работали, не считая часов. Мельница размалывала до 1200 пудов зерна в сутки, хлебопекарня выпекала 700 пудов хлеба. Лавка отпускала летом 300 тысяч пайков в месяц. На строительстве летом жило не менее 10 тысяч человек.

Слесарь Козлов, пустивший наконец в ход свою капусторезку, рубившую 800—900 пудов капусты в смену, ушёл с головой в подготовку механического оборудования для электростанции. У Козлова было десять детей, и жена его справлялась с ними одна да ещё пустила в свою квартиру школьников, которым холодно было в палатке.

Энтузиасты стройки не только знали статью Ленина «Великий почин», но каждую минуту чувствовали, что Ленин где-то здесь, рядом.

Ленин помог отыскать в Питере, на Балтийском заводе, турбогенератор Эрликона на 5 тысяч киловатт. Приказал снять один котёл системы Ярроу с броненосца «Наварин» и отдать Шатуре. И, наконец, отправил за границу Роберта Эдуардовича Классона для ознакомления с новейшей торфотехникой.

Классон — «инженер-поэт», или «инженер-орёл», как его называли, — писал Винтеру иронические письма из Берлина.

Радченко ворчал, утверждая, что Классон — человек разочарованный и доходит даже до мрачных опасений о возможности реставрации капитализма в России, если не будет техники и технических кадров. Радченко, который любил говорить о себе: «я — рабочий вол», находил, что Классон — этот «поэт» и «орёл» — слишком долго сидит в Берлине.

Настроения Классона были известны Владимиру Ильичу, но он настоял на командировке Классона за границу и на выдаче солидной ссуды в золоте для Гидроторфа.

Весна 1920 года налетала быстро, обрушившая снеговые массивные горы, плавя золотые сосульки на крышах.

Опытную станцию нужно было пустить во что бы то ни стало, иначе возникла угроза сорвать торфяную кампанию.

Незаметно подошли дни, когда над огромной железной трубой опытной электростанции, которую, казалось, только что принимались устанавливать, появилось первое, едва заметное облачко прозрачного дыма.

...В это время в одном из номеров «Шатурского трудового бюллетеня», на последней странице, где обычно печатались письма в редакцию, Винтер прочёл:

«По поводу статьи «Неукротимого» в № 13 «Шатурского бюллетеня» позвольте заметить, что рысаков и шикарных квартир на Шатуре не имеется. Если ещё замечаются рабские наклонности у тёмных полурабочих масс, то в этом виноваты не рысаки и не руководители работ, а именно темнота этих масс. Значит, надо их просвещать, а не разводить вредную демагогию.

Коммунист».

10

«Опытную» сдавали в эксплуатацию 25 июля 1920 года, в воскресенье. За неделю были разосланы билеты, напечатанные на розовой бумаге, с приглашением прибыть на торжество. Приглашены были все наркомы, представители Московского Совета, видные общественные и государственные деятели.

На Шатуре с утра было праздничное настроение. Возле здания электростанции, показавшегося всем очень красивым и величественным, собирались плотники, столяры, каменщики. Они умылись с мылом, надели вынутые из заветных сундучков слежавшиеся пиджаки, новые ситцевые рубахи и кожаные бахилки.

Веселье перемежалось с торжественностью. Охотно и шумно чествовали героев, которые совершенно не понимали, что они герои, и страшно смущались. Каменщик Хватов, заложивший первый кирпич здания станции, Кузьма Иванович Крюков, Макалкин, Кузин, Воскресенский, Мухин, Библиев, Викулов, Козьмин, Назаров, выбритые, приодетые, стояли здесь или же нарочно проходили мимо.

На праздник пришли и сотни крестьян явля соседних деревень, где уже были поставлены столбы, протянуты провода.

В двенадцать часов прибыл специальный поезд. С ним приехал Михаил Иванович Калинин.

Он обошёл все участки строительства, осмотрел трудовую школу, помещавшуюся всё ещё в просторной «земгорской» палатке, — новое училище достраивалось, — похвалил амбулаторию, построенную, как ему доложили, «по всем требованиям современной санитарии и гигиены».

По его лицу было заметно, что всё нравилось ему здесь — и весёлые золотистые ряды новых домиков, и Народный дом, и баня, и мельница-крупорушка, и, конечно, сама станция. Он пожимал строителям руки и улыбался, словно передавал каждому то ощущение победы, которым была насыщена Москва в этом году.

Михаил Иванович вручил шатурцам знамя Моссовета и огласил грамоту ВЦИК. «Сознавая все трудности, какие стояли перед строителями в осуществлении возложенных на них задач, — говорилось в этой грамоте, — ВЦИК считает всех работников по сооружению Шатурской электрической станции достойными занесения на «Красную доску», как пример подражания для всех трудящихся республики».

Пример для подражания... Люди счастливо переглядывались.

Толпа всё густела возле трибун для ораторов. Когда Калинин закончил свою речь, оркестр заиграл «Интернационал». Но едва музыка замолкла, он наклонился, блестя очками и улыбаясь.

— Ленин поставил задачу построить большую электростанцию на торфе по плану ГОЭЛРО. Построим? — спросил он.

— Построим! — ответило ему несколько тысяч голосов.

11

Едва успели лучшие ударники стройки украсить свои пиджаки бронзовой медалью, по окружности которой было выбито: «В память открытия Шатурской районной электростанции», едва успели проводить Михаила Ивановича Калининна к поезду, раздались яростные звонки и гудки тревоги.

На этот раз враг действовал организованно. Огонь бросился на электростанцию с трёх сторон.

Под напором ураганного ветра он залил громадное, более двух тысяч десятин, торфяное болото и стал беспощадно уничтожать всё, что было на нём создано.

Горели бараки, машины, шпалы узкоколейки; трещали и падали телефонные столбы и столбы воздушной высоковольтной линии; уничтожались штабеля готового торфа, запасы дров. По всему горизонту полыхало грозное рыжее зарево. Волнистые пламенные языки взвивались над бараками. Пламя стлалось по земле, подступало к железнодорожной насыпи, где сбились женщины с детьми. Отсюда, в дыму, от которого ело глаза, шагая по шпалам, можно было ещё выбраться из огня.

Торфмейстеры, артели торфяников и «рамки» торфяниц пытались защитить разработки. С торфяных машин снимали арматуру, элеваторные цепи — всё, что можно было увести.

Спуталось представление о дне и ночи, потому что и ночью было светло в полыхающем зареве пожара... Винтер, Мухин, Карпов не спали несколько суток, отстаивая главное — электростанцию. Они копали канавы, валили деревья, скинув с себя пиджаки и даже рубахи. Ярость владела ими.

Копая канаву, Винтер с трудом узнал «профессора», выкидывавшего навстречу ему землю лопатой. Винтер вытер чёрный пот и сказал дрогнувшим голосом:

— На нашей территории, дед, дают нам бой? А?

— Ну, что это за бой?! Ежели бы ещё стреляли оттуда. А так что же... Потушим!

И такая уверенность была в его простых словах, что Винтер готов был обнять старика. Но дед уже бежал куда-то со своей лопатой и кричал:

— А ну, давай, давай!.. Подмоги! Живы будем, не помрём...

Это относилось к крестьянам, пришедшим на праздник и теперь принимавшим вместе со всеми участие в тушении пожара.

То и дело загоралось деревянное помещение турбинного зала, пристроенного к котельной.

Наконец прибыли войска. В сильнейшем дыму, где ничего не было видно за два шага, вдруг зазвучала песня:

Эй, комроты,
Даёшь пулемёты!
Даёшь батареи.
Чтоб было веселее!

Только что казалось — силы уже истрачены. Нет. Прибыла подмога. И вновь принялись люди за отчаянную работу в своих вконец испорченных праздничных пиджаках, на которых поблёскивали новенькие медали «В память открытия Шатурской районной электростанции».

Только к четвергу удалось затоптать последние искры и оглядеться.

Первые подсчёты испугали всех: 60 процентов имущества на болоте было уничтожено. Сгорели 43 барака со службами, 15 торфяных машин, 2 миллиона пудов готового, сложенного в штабеля торфа, 3 тысячи кубических сажен дров; погибло 10 вёрст узкоколейки, 16 вёрст воздушной линии. И болото на площади до 500 десятин было окружено кольцом горелого леса.

Люди, лишившиеся своего незатейливого скарба, устраивались, как умели. С удивительной быстротой они снова строили землянки, складывали печки, принимались готовить еду.

Петров, бывший эсер, конторщик Червоозёрской конторы, сидевший на регистрации, был арестован. У него было обнаружено несколько квартир и при обыске нашли 20 пар сапог, целый склад продовольствия и бланки Шатурстроя — удостоверения с вымышленными фамилиями. Этими удостоверениями он снабжал дезертиров.

По землянкам ходили агитаторы.

Общее чувство обиды и горечи сыграло роль совершенно обратную той, на которую рассчитывали враждебные силы. Ничто не смогло так сблизить строительный коллектив, управление, парторганизацию, рабочих Шатуры и крестьян окрестных деревень, как эти общие испытания.

В эти дни партийная организация выросла до 30 человек и была создана первая комсомольская организация из 40 человек.

12

В среду 22 декабря 1920 года в Большом театре в Москве открылся VIII съезд Советов.

На этом съезде Ленин сказал:

— Наша программа партии не может оставаться только программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она негодна и как программа партии. Она должна дополниться второй программой партии, планом работ по воссозданию всего народного хозяйства и доведению его до современной техники. Без плана электрификации мы перейти к действительному строительству не можем.

В стране ещё не было радиовещания, детекторные приёмники появились позже, но уже через несколько дней крестьяне далёкой Сибири и пролетарии Сормовского завода, рыбаки Каспия и строители Шатуры знали, что Ленин сказал:

«Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны».

Великая идея сделать Россию электрической стала известна всей стране, докатилась она и до заграницы.

Все белогвардейские газеты злорадно цитировали статью Герберта Уэллса: «Ленин хотя и отрицает, как правоверный марксист, всякие «утопии», но в конце концов сам вдался в электрическую утопию».

Но они почему-то забывали процитировать слова из той же статьи: «Бездарная эмиграция лжёт на всех перекрёстках, приписывая небывалые вины честному, трудолюбивому, пуритански-чистому Советскому правительству».

На второй день съезда на трибуну поднялся Кржижановский, который для многих был ещё «Клэр», как его звали в подполье. Подтянутый, строгий, в крахмальном воротничке, скрывая волнение, он подошёл чётким шагом к гигантской карте РСФСР, где разноцветными кружками были отмечены 27 основных районных электрических станций, сооружение которых должно было закончиться в течение ближайшего десятилетия.

Кржижановский поднял свою указку и коснулся цветного кружка, обозначавшего Лисичанскую электростанцию.

Последовательно вспыхивали лампочки на Волге, в районе Саратова, Сызрани, Казани, около Свияги и Чебоксар, Царицына, Астрахани, Нижнего Новгорода.

Наконец, вспыхнула лампочка № 16.

— Под № 16 загорающаяся лампочка, — сказал Кржижановский, — показывает вам Шатурскую государственную станцию, которая уже сооружена в своей первоначальной ячейке, мощностью в 5 тысяч киловатт, и развитие которой предполагается довести до мощности в 40 тысяч киловатт. Шатурская станция должна посылать электрическую энергию в Москву и обслуживать важные в промышленном отношении Коломенский и Егорьевский районы...

То, что Шатурская станция первой очереди была уже сооружена, вызвало взрыв восторга. Это сообщение переводило всё, что делегаты слушали, из сферы будущего в сферу реального настоящего.

Кржижановский остановился, положил свою длинную указку, за движением которой по карте следили с напряжением две с половиной тысячи человек, и, вытирая лоб платком, подошёл к трибуне.

— Таким образом мы будем лечить ужасные раны войны. Нам не вернуть наших погибших братьев... Но да послужит нам утешением, что эти жертвы не напрасны, что мы переживаем такие великие дни, в которые люди проходят, как тени, но дела этих людей остаются, как скалы.

13

В марте 1921 года шатурцы во главе с Карповым поехали в Питер к Тихону Фёдоровичу Макарьеву.

Он заведовал Второй питерской электростанцией — бывшей «Гелиос». Топки котлов на этой станции были оборудованы подвижными цепными решётками. На этих решётках сжигали уголь, но Макарьев сконструировал оригинальную шахту, из которой на решётку непрерывно падал торф. В топках Макарьева он горел, как антрацит.

На дворе бывшего Франко-русского завода в весенней слякоти, среди разного хлама, шатурцы разыскали обрывки негодных, перегоревших и проржавевших цепных решёток и привезли их в Шатуру.

Начались бессонные ночи в кузнице, доводки, пробы, подгонки и споры до хрипоты... В результате было сделано два комплекта цепных решёток.

Соревнуясь с кузнецами и слесарями, печники принялись выводить по чертежам макарьевскую топку с особыми «висячими» сводами. И хотя до сих пор им приходилось иметь дело только с топкой обычной русской печи, они с этим делом справлялись.

День, когда пробовалась новая топка, был памятен всем строителям Шатуры. Решётки двигались, торф горел, а водомерная трубка показывала чудеса — 30... 40... 45... 50 килограммов пара с квадратного метра нагрева.

Это была победа.

Сообщение о макарьевских цепных решётках привело в Шатуру иностранцев.

Ночью и днём можно было увидеть у котлов инженера Мюллера, приехавшего на Шатуру из Германии.

Когда макарьевская топка вступила в строй и показания манометра стали подниматься, немец забегал по котельной в полной уверенности, что технически невежественные русские мужики вот-вот устроят взрыв котлов.

Монтажник Николай Макалкин пытался его уговорить и успокоить.

И то, что Макалкин, прошедший на Шатуре тот же путь, что и многие строители, — от лопаты землекопа до тайны генератора, — утешал учёного немца, казалось всем очень смешным.

Макалкин хотя и краснел, потому что не любил быть центром внимания, но не соглашался.

— Что ж над ним издеваться? — говорил он. — Человек ещё многого недопонимает. Когда выходишь из рабочей среды, то кругозор у тебя, конечно, пошире. Если бы у нас ему поучиться — другое дело...

...В эти дни Радченко, который окончательно переехал в Москву, вызвал в Главторф Винтера.

— Пригласил я вас для прискорбного разговора, — сказал он, улыбаясь и блестя очками.

— Прискорбного?.. А почему же смеётесь? — удивился Винтер.

— Всего не смеюсь, — возразил Радченко и вынул из стола письмо.

Вот какое это было письмо:

«В Главторф — Радченко.

Образец того, как Вы нарушаете мои советы.

Бумаги о Шатурке послали 14.IV, архиобъемистые. Без отдельно выписанных ясных предложений.

Я был занят, читать не мог; солили до 23.V.

А Вы молчите!

Это безобразно!.. Деловые выводы Вы сами должны делать, а не меня заставлять извлекать из десятка страниц 5 строк деловых выводов.

Прочтите мне Винтеру и пришлите мне Вашу и его расписку в том, что Вы оба свои указания поняли и приняли к исполнению.

23.V.1921 года.

Ленин».

Несмотря на эту основательную проработку, ничуть не было обидно, а даже как-то радостно.

Винтер улыбнулся и расписался на копии.

Ленин знал, что строить нового человека было не менее важно, чем строить новые заводы и электростанции. И он учил каждого из них осторожно и убеждённо, как учил он когда-то Ивана Радченко перевозить через границу «Искру».

14

Однажды Винтер пришёл на станцию ночью. Возле котла под манометром сидел в неудобной позе молодой человек, лет шестнадцати. Он спал, положив голову на столик, где лежала раскрытая тетрадка.

Винтер сел возле него. Перелистав тетрадку, он усмехнулся. Это был практикант технических курсов. Он решал простенькое уравнение с одним неизвестным. Винтер очинил карандаш, переписал на чистом листе уравнение и решил его. Внизу он приписал: «Балда... Неправильно решаешь, да ещё спишь в неподобающее время!»

Вот так же, как этот молодой человек, он когда-то по четырнадцати и шестнадцати часов в сутки не выходил из котельной, изучал работу котлов, замеряя нефть, контролируя горение, следя за водочисткой и опреснителями.

Это было в начале 900-х годов в Баку, куда он был выслан из Киева после тюремного заключения.

Там он и встретился с Классоном.

Электростанция, выстроенная Классоном в Белом городе, казалась ему храмом. Он входил сюда с трепетом. Здесь он начал работать мастером по ремонту машин, увлекаясь ремесленной стороной дела, а отнюдь не какими-либо инженерными вопросами и проблемами.

Классон, увидев его однажды за пришабриванием подшипника, сказал:

— Через месяц вы доложите мне весь цикл работы станции, анализируя потерю воды, работу машин, котлов, измерительных приборов.

...Винтер встал, резко отодвинул табуретку.

Паренёк вскочил.

— Как фамилия? — спросил Винтер строго, когда он стал перед ним навтыжку.

— Соловьёв.

— Ваня Соловьёв, что ли? — спросил Винтер, взглядываясь и узнавая того мальчика, который вбежал когда-то в будёновке и шинели до пят в контору, организуя субботник.

— Ваня... — подтвердил молодой человек, кивнув светлой головой.

Он ждал взрыва возмущения и жёстких слов, как уже было однажды с кем-то из практикантов при обмуровке котлов: «Почему бездельничаете?.. Вы будете исключены с курсов. Лодыри нам не нужны».

— Ты комсомолец? — спросил вдруг Винтер.

Ваня кивнул головой.

— Поедешь учиться на рабфак?

Ваня Соловьёв не нашёл слов и только опять кивнул взъерошенной головой.

Через несколько дней в числе семи человек, командированных на рабфак, Ваня Соловьёв уезжал в Москву.

15

1 мая 1921 года на Шатурском болоте заработал первый торфосос Классона.

Ещё в октябре 1920 года Владимир Ильич смотрел кинофильм «Гидроторф». Прокручивали этот фильм в Кремле.

Приехал смотреть фильм и Горький.

Классон волновался, и всё ему казалось, что высокое собрание не поймёт, не одобрит. Горький сидел с ним рядом, и было слышно, как в полутьме зала вдруг раздавалось его медлительное оканье.

— А что это такое?

— Жидкий торф, торфомасса течёт по карьере.

— А эти краны зачем?

— Это пеньевые краны. Они вылавливают тяжёлые пни и сваливают их в соседний карьер.

— Точно пасть зверя, — сказал Горький.

— Да, похоже. Это грейферы.

Противники Классона, которым надлежало опровергнуть необходимость введения этих удивительных новшеств, сидели в задних рядах, перешёптывались и шуршали бумагами.

Обсуждение происходило после демонстрации фильма.

Выслушав ту и другую стороны, Ленин решил этот вопрос коротко, в пользу Классона.

На следующий день ряду учреждений было разослано письмо Ленина, в котором предлагалось выделить особый завод, изготовить необходимые Классону машины и дать людей.

Совнарком принял декрет о гидроторфе Классона. Была создана организация Гидроторф.

...Классон приехал в Шатуру в это хорошее время, полное надежд и успехов, время, устремлённое в будущее.

Однако он был мрачен, заикался ещё больше, чем обычно, пощипывал тонкими пальцами усы и бородку.

— Да что с вами, Роберт Эдуардович? — спросил Винтер.

Классон молча вынул из внутреннего кармана своего пиджака аккуратно сложенную вчетверо бумагу и протянул её Винтеру.

Это было письмо от Ленина.

Вот что в нём говорилось:

«т. Классон!

Я боюсь, что Вы — извините за откровенность — не сумеете пользоваться постановлением СНК о Гидроторфе. Боюсь я этого потому, что Вы, повидимому, слишком много времени потратили на «бессмысленные мечтания» о реставрации капитализма и не отнеслись достаточно внимательно к крайне своеобразным особенностям переходного времени от капитализма к социализму. Но я говорю это не с целью упрека и не только потому, что вспомнил теоретические прения 1894—1895 годов с Вами, а с целью узко практической.

Чтобы использовать как следует постановление СНК, надо

1) беспощадно строго обжаловать во время его нарушения, внимательнейше следя за исполнением и, разумеется, выбирая для обжалования лишь случаи, подходящие под правило «редко да метко».

2) От времени до времени — опять-таки следуя тому же правилу — писать мне (NB на конверте: лично от такого-то по такому-то делу):

прошу послать напоминание или запрос

такой-то (проект текста на отдельном листке)

такому-то лицу или учреждению по такому-то вопросу, ввиду признания работ «Гидроторфа» государственно-важными.

Если Вы меня не подведете, т. е. если напоминания и запросы будут строго деловые (без ведомственной драки или полемики), то я в 2 минуты буду подписывать такие напоминания и запросы, и они иногда будут приносить практическую пользу.

С пожеланием быстрых и больших успехов Вашему изобретению и с приветом

В. Ульянов (Ленин)».

Винтер прочитал письмо дважды и вернул его Классону, не нарушая сосредоточенного молчания.

Ему было хорошо известно, что Классон участвовал когда-то в марксистском кружке, куда входили Глеб Максимилианович Кржижановский и Надежда Константиновна Крупская, что в питерской квартире Классона на Охте в 1894 году Крупская впервые встретила с Лениным и что осенью того же года на этой квартире Владимир Ильич неоднократно выступал с резкой критикой «легальных марксистов».

Однако Классон примкнул к группе Струве и Потресова и отошёл в конце концов от политической работы.

— Да... Но революция пятого года, — сказал вдруг Классон, точно читая мысли Винтера. — Я был востан с промыслов за то, что отказался применять репрессии к забастовщикам. Не помните?..

Он сильно заикался от волнения.

— Помню, — сказал Винтер.

Он мог бы сказать большее. В 1912 году в Богородске возле Классона объединились многие вчерашние «техники революции» — те, кто перевозил через границу «Искру», организовал подпольные типографии, скрывался от полиции.

Буссе, коммерческий директор «Электропередачи», представитель «Общества электрического освещения 1886 года», либеральный немец, называл строительство «социалистическим городком» и говорил, что русский инженер Классон может держать здесь любых «противоправительственных преступников», — его это не интересует. И Классон, пользуясь этим правом, давал работу каждому товарищу.

Красны, Старков, Радченко — профессиональные революционеры — работали здесь с Классоном. Приезжал сюда и Кржижановский.

После революции Классон работал много и горячо.

Нет сомнений, что он вовсе не мечтал о «реставрации капитализма» и Ленин писал об этом иронически, имея в виду интеллигентские колебания старого специалиста.

Высокую, сухощавую фигуру Классона в болотных сапогах и кожаной куртке можно было увидеть в самые трудные годы не только на заседаниях Центрального электротехнического совета, не только в ВСНХ или ГОЭЛРО, но и на торфяных болотах «Электропередачи», Шатуры, Иваново-Вознесенска, Нижнего Новгорода.

Владимир Ильич иронизировал по поводу «бесмысленных мечтаний», опасаясь, что Классон не проявит необходимой настойчивости и воли к победе.

«...Я говорю это не с целью упрека...»

Да! Ленин умел, как никто, видеть и великое и малое, предвидеть грандиозные исторические переломы и замечать ломку человеческой психики, использовать каждую мелочь для воздействия на эту психику. Винтер понимал, что Классон предпочёл бы теперь прямой упрёк.

Классон покусывал подстриженные усы и не смотрел на Винтера.

В это время на террасу поднимались люди.

— Александр Васильевич, тут вам телеграмма!

Винтер встал, прочитал телеграмму, улыбнулся и протянул её Классону.

Рабочие быв. завода Михельсона сообщали, что ленинский заказ на изготовление торфососов и торфорежных барабанов для гидроторфа выполнен.

В телеграмме не говорилось о том, что рабочие сутками не покидали цехов, чтобы с честью выполнить ответственное задание Ленина. Но это подразумевалось.

Составы с оборудованием для гидроторфа уже следовали на Шатуру.

16

Большая Шатурская электростанция была заложена в июне 1923 года. Это могло бы произойти значительно раньше, если бы не голод в Поволжье. Голод и эпидемии отодвинули многие стройки по плану ГОЭЛРО. В 1920/21 году были введены в действие всего 12 тысяч киловатт новых мощностей.

Вскоре после закладки первого кирпича Винтер уехал в Берлин размещать заказы на оборудование.

Берлин не был тронут войной и разрухой.

Устоявшееся хозяйство, быт, респектабельность царили в нём, несмотря на инфляцию.

Вопрос о заказе котлов для Шатуры прошёл не так легко, как это предполагали.

Профессор Мюнцингер, один из виднейших теплотехников Германии, выразил своё недоверие к возможности построить на торфе электростанцию мощностью в 48 тысяч киловатт.

— Это невысказано,— сказал он,— это какая-то путаница. Торф не даёт нужной температуры!

— Но топки Макарьева позволили нам получать до 60 килограммов пара с квадратного метра нагрева,— сказал Винтер.— Задача эта уже решена нами практически.

Профессор только пожимал плечами и ссылался на длиннейший список литературы, на авторитетнейшие имена. Нигде и никогда он не слышал ничего подобного.

Беседа не привела ни к чему.

Начались длительные переговоры с Москвой, советы и консультации. Комиссия поехала в Лондон. В конце концов заказы были размещены в Чехословакии на заводе Витковицкого. Там согласились принять заказ при условии, что автор топки Тихон Фёдорович Макарьев сам даст эскизы и спецификации.

17

Винтер вернулся в Москву к концу 1923 года.

Когда комиссия уезжала за границу, Ленин был болен, но со второй половины июля в здоровье его наступило улучшение, и эта весть, облетев весь мир, сопровождала Винтера во время поездки.

Теперь было известно, что Ленин передвигается в кресле. Было трудно представить себе Владимира Ильича, с его энергичными жестами, веселостью, с его живой и острой иронией, с его быстрой походкой и стремительной речью, прикованным к креслу. Но он выздоравливал — это было главное.

Винтер решил поехать в Горки, но Радченко перехватил его по пути.

— Вы и не представляете себе, как тяжело болен Ильич,— сказал он с тоской.— И ведь никогда не жаловался. Я столько раз видел: пишет, вдруг схватится за голову, потрёт себе виски — и опять за работу... Думал только о товарищах. Совершенно серьёзно внушал мне, чтобы у каждого спрашивать о здоровье, даже удостоверение требовать после какого-нибудь пустячного гриппа, а без этого удостоверения не допускать к работе. Только о себе не думал.

Радченко неловко закашлялся, и его добрые глаза налились слезами.

— Когда я обратился к Ильичу с просьбой разрешить поездку в германский санаторий тяжело больному туберкулёзом торфоведу Меншикову и дать для лечения две тысячи золотом, он ответил мне запиской: «Я всяко был бы за. Но дать золото может лишь Политбюро, куда и надо внести скоре...» И «скорее» было подчёркнуто. Понимаете?

Справляясь с собой, Винтер спросил:

— Ну, а врачи что говорят?

Но Радченко только пожал плечами.

В декабре в семье Винтера и Германа Борисовича Красина на Шатуре только и говорили о болезни Владимира Ильича, ловили все сведения о признаках выздоровления. Узнавали мельчайшие подробности: Ленин ездил на прогулку в санях... Устраивал для детей ёлку... Жаловался, что врачебный персонал тратит на него слишком много сил.

В субботу, 19 января, и на завтра, в воскресенье, дозвониться в Москву не удалось. А в понедельник, 21 января, ночью из Москвы позвонили...

Ленин умер.

...Тысячи строителей, крестьян, школьников, учителей, рабочих электростанции не могли поместиться в Народном доме. Они безмолвно заполнили площадь. Один выступающий, сняв шапку, сменял другого. Никто не покидал заснеженной, лютотой морозной площади. Было общее безмолвие, внимание, сосредоточенность...

Навсегда запомнились Винтеру слова одного из строителей:

— Мы читали газеты, думали, что Ильич поправится и вернётся к нам. Очень многое нужно было ему сказать. Мы думали, что Ильич приедет к нам на пуск нашей станции. Ведь он обязательно бы приехал. Но вот..

Рабочий вытер слёзы шапкой, не мог сказать больше ни слова и, махнув рукой, сошёл с трибуны.

«Правда» 30 января 1924 года напечатала:

«Товарищи рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки! Большая у меня просьба к вам: не давайте своей печали по Ильичу уходить во внешнее почитание его личности. Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств в его память и т. д.— всему этому он придавал при жизни так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много ещё нищеты, неустройства в нашей стране. Хотите почтить имя Владимира Ильича,— устраивайте ясли, детские сады, дома, школы, библиотеки, амбулатории, больницы, дома для инвалидов и т. д., и самое главное,— давайте во всём проводить в жизнь его заветы.

Н. Крупская».

18

Шёл к концу 1925 год.

Торжественный пуск Шатурской ГЭС был назначен на 6 декабря.

Теперь, когда здание станции было освобождено от лесов, оно поражало своим монументальным величием. Над ним постоянно висело грандиозное облако плотного вязкого пара, словно крутой кипяток кипел неустанно над крышей. И это розовое кипящее облако над серым кубом здания словно вплеталось в архитектурный ансамбль.

В три часа ночи все были на ногах. Винтер, Карпов, Банни стояли у котлов, задавая кочегарам Шмелёву, Рагутнику, Данильцеву каверзные вопросы о давлении пара, о работе питательных насосов, о том, как устроен вентиль, как действует, как с ним обращаться. Кочегары накануне сдали формальный экзамен, теперь это была чистая перестраховка.

Архипов, Ухарцев, Немов, Калинин, Ефремов, осунувшиеся за последние дни, небритые, запыхавшиеся, в который раз проверяли соединения, кабели, узлы проводки. Все были взволнованы, отвечали невпопад. Дежурным по щиту управления был назначен Николай Макалкин.

Праздничная приподнятость царила и в посёлке. В квартирах мыли полы, пекли пироги, бегали с утюгами. Директор школы — та самая комсомолка Саша, которая когда-то ликвидировала неграмотность торфяниц,— украшала школу лозунгами и плакатами. В Народном доме стучали молотки, в районном комитете партии стрекотала машинка. В каждом окне горел свет: никто, очевидно, не спал в эту ночь...

К рассвету Винтер, строгий и молчаливый более, чем когда-либо, обходил площадку. Он вышел на эстакаду. Нагружённая вагонетка тянулась вверх. Молодой парень, заметив Винтера, с нарочитым ухарством вспрыгнул на вагонетку, дёрнул рычаг. Вагонетка открыла боковые стенки, и торф с шумом посыпался в бункер. Всё было правильно, всё было так, как нужно.

Поднявшись на крышу, Винтер осмотрелся. Мороз был несильный, только ветер налетал порывами, обжигал лицо, кружил снежную пыль, свистел в железных конструкциях. И с удивительной ясностью представились Винтеру сотни серых шинелей, армяков, ватников. Люди уходили в холодные сумерки на болото, чтобы переночевать там у костра, назавтра вырыть себе землянку и поселиться в ней... Теперь через болото шагали стальные мачты высокого напряжения. Они словно двигались к Москве. Направо в морозном тумане лежали застывшие озёра и низкие кусты; налево торчала одинокая чёрная труба «Опытной» станции. «Опытная» уже наполовину пустовала. Звёздная цепь фонарей полукольцом опоясала электростанцию, а в небе потихоньку катился медный месяц, словно смущаясь соперничеством с огнями Шатуры.

Теперь в Шатуру ездят по шоссе Энтузиастов.

Путь проходит через Балашиху, Обухово, Ногинск, Орехово-Зуево и затем на Куровскую. Отсюда рукой подать — Шатурторф...

Свет автомобильных фар выхватывает белые столбики на спуске к мосту и лесную сторожку, всю в снегу. Снег не блестит, он пухлый, как вата. Только накатанные колёса вдруг вспыхивают огнём и снова пропадают из глаз...

— А вот и дорога на станцию Классона,— говорит шофёр и тормозит.

Заснеженная дорога уходит налево, в чёрную чашу, и далеко-далеко, где-то в глубине её, словно светлячки, мерцают голубые звёзды электростанции.

Роберт Эдуардович Классон умер в 1926 году, тридцать лет назад. Но электростанция его имени попрежнему даёт свет заводам и фабрикам, колхозам и клубам, зажигает лампочки в домах лесников и дорожных обходчиков, текстильщиков Орехова и стеклодувов Дулёва.

Небо над дальним лесом начинает розоветь, и дорога становится светлее. Машина ещё идёт по лесной просеке, но впереди уже видно, как трепещут тысячи огней над горизонтом. Они всё ближе, ближе... И наконец различаешь их — голубые, жёлтые и оранжевые в окнах домов, зелёные и красные в витринах магазинов и кинотеатров.

Здесь уже нет ни одного из старых барачков. Стоят большие дома. В них живут сыновья и внуки тех крестьян из Торбеевки, Ботина, Петровского, которые пришли когда-то с опаской и недоумением на Шатурскую стройку.

Многие из них учились здесь в Электротехническом техникуме. Залитое светом здание техникума стоит почти рядом с бывшей опытной станцией, занятой теперь Управлением Главторфа.

Хотя архитектор Дубовской, начальник Шатурстроя Винтер и стронтель Крюков не задавались целью прежде всего запечатлеть в камне славу минувшего и величие будущего, надо сказать, что им это вполне удалось. Шатурская электростанция — прекрасный архитектурный памятник героической эпохи.

Электростанция живёт теперь сравнительно тихой, размеренной жизнью.

После расширения и реконструкции она достигла мощности 184,5 тысячи киловатт, подготовила и выпустила в жизнь тысячи квалифицированных энергетиков. По всей стране рассеялись кочегары, машинисты, мастера, техники, инженеры — воспитанники Шатуры. Их найдёшь и на Днепре, где они под руководством академика Винтера строили ДнепрогЭС, и на Волге, и на Ангаре, и на новых стройках атомных станций.

Но что такое маленькая Шатура в сравнении с Куйбышевской ГЭС мощностью в 2100 тысяч киловатт, или со Сталинградской мощностью в 2300 тысяч киловатт, или со знаменитым уже проектом Братской электростанции мощностью в 3200 тысяч киловатт, огни которой осветят сибирские города, заводы, фабрики, деревни в шестой пятилетке!

25 декабря 1955 года, в юбилейный день 30-летия Шатурской ГЭС имени В. И. Ленина, рано утром главный инженер электростанции Аркадий Давыдович Дубинчик сказал мне значительным шепотком:

— Александр Васильевич не сможет приехать к нам на праздник. Он прислал письмо. Но профессор Соловьёв приедет вечером.

...Профессор Иван Иванович Соловьёв — это был тот самый Ваня, которого отправил когда-то Винтер в Москву на рабфак.

Вечером мне пришлось быть свидетелем разговора между ним и начальником энергоцеха Шатуры Николаем Никитичем Макалкиным:

— Мощность атомной станции — пять тысяч киловатт. На редкость примечательная цифра!.. — сказал профессор Соловьёв.

— Чем же? — улыбнулся Макалкин.

— Мощность нашей опытной станции тоже была пять тысяч киловатт.

— Символично! Я уже думал об этом.

— Ну ещё бы... Будущее рисуется, как простейшее уравнение с одним неизвестным: от пяти тысяч к трём миллионам! За сколько же лет мы достигнем таких же мощностей в атомной энергии? Ну-ка, решите это уравнение...

В самом деле, простое уравнение!

Однако для того, чтобы решить это уравнение о времени, которое требуется нам для претворения в жизнь гениального ленинского «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны», нельзя сбросить со счёта опыт Шатуры, героинку Шатуры, огни Шатуры.

Миллионы огней сияют теперь над нашей Родиной.

Они освещают путь народа к коммунизму.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ВИТАЛИЙ ВОЛОВИЧ

★

ГОД НА ПОЛЮСЕ

(Из дневника полярника)

31 марта 1954 года.

Шесть утра.

Нетерпеливый звонок. В дверях стоит Игорь Заведеев — радист будущей станции «Северный полюс-4». «Иду, иду!» — торопливо говорю я и бросаюсь к вещам. Ещё несколько минут — и уже за стёклами машины мелькают голые скверы, первые, ещё полупустые автобусы и троллейбусы... Когда-то мы снова вернёмся на эти улицы, встретим ясное московское утро, вдохнём мартовский предвесенний ветер Москвы?!

Вот уже и окраина. «Победа» мчится мимо пригородных деревянных домиков и, круто повернув, въезжает в редкую рошцу.

Подмосковный аэродром — огромное бурое поле с белыми пятнами ещё не стаявшего снега. Длинная цепь экспедиционных самолётов поблёскивает серебром распластанных крыльев. На носу каждой машины в голубом кругу нарисован вставший на задние лапы белый медведь — эмблема полярной авиации.

В отличие от всех предыдущих, нынешняя высокоширотная воздушная экспедиция, носящая название «Север-6», разбита на три самостоятельных отряда. Один из них, во главе с Героем Советского Союза Ильёй Спиридоновичем Котовым, должен высадить в центральной части Арктического бассейна дрейфующую научно-исследовательскую станцию «Северный полюс-3». Начальником станции назначен Герой Социалистического Труда Алексей Фёдорович Трёшников. Второму отряду, которым руководит опытнейший полярный лётчик Михаил Алексеевич Титлов, поручено организовать дрейфующую станцию «Северный полюс-4» в Восточном секторе океана. Эту станцию возглавит известный полярник, кандидат географических наук Евгений Иванович Толстиков. Третий отряд проведёт научные работы в ещё не обследованных районах Центрального полярного бассейна. Эту группу возглавят два Героя Советского Союза — полярный лётчик Иван Иванович Черевичный и учёный-геофизик Михаил Емельянович Острекин.

...Систематическими исследованиями последних лет был уже собран обширный материал, серьёзно пополнивший наши сведения о ледяном покрове оксана, о гидрологических, метеорологических и иных особенностях Центральной Арктики.

Многочисленные промеры глубин океана доказали ошибочность прежних представлений о том, что центральная часть Арктического бассейна — обширная глубоководная впадина с глубинами более 4 тысяч метров. Оказалось, что от Новосибирских островов к Северному полюсу, в сторону Гренландии и Земли Элсмira, тянется подводный хребет с крутыми склонами, поднимающийся над океанским ложем на высоту до 2 500—3 000 метров. Имя великого Ломонossoва было присвоено этой невидимой могучей горной гряде, разделяющей центральную часть океана на два обособленных бассейна. Это было важное открытие. Ведь рельеф дна и его топография определяют циркуляцию водных масс, что, в свою очередь, сказывается на распределении и дрейфе льдов. Существенно изменились наши представления и о самом ледяном покрове Центрального полярного бассейна. Оказалось, что ледяной покров состоит не из сплошного массива многолетнего пакового льда, а из отдельных полей различной толщины и протяжённости, разделённых трещинами и разводами...

В разное время в сотнях точек садились на дрейфующие льдины советские самолёты, и неутомимые исследователи вели свои наблюдения в воздухе, на льду и в глубинах океана, стирая одно за другим «белые пятна» на картах Центральной Арктики.

Станция «Северный полюс-2», дрейфовавшая с апреля 1950 года по апрель 1951 года, дала науке интереснейшие данные о районе, известном под романтическим именем «полюса недоступности». Теперь, когда в одно и то же время будут дрейфовать две научные станции, практическая ценность получаемых материалов значительно увеличится: ведь все данные будут получаться в двух разных точках одновременно.

Много ещё нужно сделать, чтобы Северный морской путь превратился в надёжную, постоянно действующую транспортную магистраль. Нужно детально изучить законы, управляющие погодой и состоянием льдов, исследовать магнитные особенности Северного полушария. Без этих знаний невозможна работа авиации и флота на трассе Северного морского пути, проходящей через арктические моря, которые представляют собой не что иное, как заливы Ледовитого океана...

Последние минуты перед взлётом. Корреспонденты щёлкают со всех сторон аппаратами, пока не раздаётся команда: «По самолётам!»

Первым в воздух уходит флагманский «ИЛ-12». За его штурвалом — Герой Советского Союза Илья Павлович Мазурук. На борту корабля — начальник Главсевморпути Василий Федотович Бурханов, возглавляющий экспедицию. Самолёты взмывают один за другим. Вот и наша очередь. Земля быстро исчезает в густых облаках, лениво обступающих нас. Механики включают подогрев кабины. Становится тепло, и мы, сбросив тяжёлые полярные одежды, располагаемся со всеми возможными удобствами.

Эта запись начинается собой дневник, который я старался вести в течение всей экспедиции, изо дня в день. Не имея возможности опубликовать этот свой дневник на страницах журнала полностью, я выбрал из него записи дней, наиболее насыщенных событиями.

Несколько дней мы ждали на мысе Челюскин. Прилетев туда, мы с Константином Митрофановичем Курко, начальником будущей радиостанции «СП-3», встретили ещё трёх наших товарищей. Это были: один из старейших полярников, аэролог Платон Платонович Пославский, комсомолец радист Леонид Наумович Разбаш и Евгений Павлович Яцун — кинооператор станции, хорошо знакомый мне по прошлым экспедициям в Арктику.

7 апреля я писал:

До чего утомительны дни ожидания! Когда же наконец мы улетим на льдину?

Трёхников ежедневно много часов подряд летает вместе с Котовым на поиски подходящей для дрейфа льдины. Вот уже который раз возвращаются они «с пустыми руками». Огорчённые и смертельно усталые, молча забираются в спальные мешки, чтобы после короткого сна вновь продолжить разведку. Ледовая обстановка в районе, намеченном для нашей высадки, крайне неблагоприятна: большие пространства чистой воды, исторошенные ледяные поля.

Пока идут бесплодные поиски, Москаленко совершил посадку на лёд почти на середине пути между островами Северной Земли и районом будущей станции. Это будет наша промежуточная база. На неё уже начали завозить бочки с бензином, баллоны с газом и продовольствие.

9 апреля.

Наконец на землю прилетела долгожданная радиограмма: льдина найдена! Её координаты — 86° северной широты и 175° западной долготы.

13 апреля.

С утра задул ветер. Замела позёмка, шелестя потоками снега по насту.

Неподалёку зимовщики убили напавшего на них медведя, и мы отправились было смотреть охотничьи трофеи, но вдруг кто-то воскликнул: «Самолёт!» И действительно, на внезапно очистившемся горизонте появилась приближающаяся чёрная точка. Вскоре мы уже толпились возле машины полярного лётчика Героя Советского Союза Фёдора Анисимовича Шатрова.

В 13.05 самолёт ушёл в воздух.

Слева, то исчезая в тумане, то проглядывая сквозь лохматые облака, долго маячили обрывистые берега Северной Земли. Наконец осталась позади северная оконечность острова Большевик. Прощай, земля!..

В 16 часов мы прошли над промежуточной базой Москаленко. Внизу промелькнули крохотные фигурки людей. А ещё часа через два вдали на снегу показалось чёрное пятнышко: мы у цели! Снизу приветственно машут первые поселенцы льдины. Но мы проходим мимо, чуть дальше, туда, где на ровном ледяном поле виднеется маленькая двукрылая птица «АН-2».

Там — аэродром «подскока», перевалочный пункт, своего рода станция «Северный полюс-товарная». Наш будущий лагерь, который мы только что видели с воздуха, лежит километрах в семи к северо-востоку, на паковой, трёхметровой толщины, старой льдине. На ней слишком много застрогов и «лбов», и тяжёлые самолёты садиться на неё пока не смогут. Придётся грузы возить на подскок, а оттуда перебрасывать в лагерь с помощью лёгкого «АН-2», выполняющего роль грузового такси.

На этой машине и доставляет нас за несколько минут Герой Советского Союза Ступишин прямо к одиноко стоящей маленькой палатке. Навстречу, размахивая шапками, выбегают зимовщики.

В палатке приветливо горит газ, аппетитно шипят бифштексы. Но, как ни широко полярное гостеприимство, в одной палатке нам всем не разместиться, хотя жителей на льдине пока ещё немного: кроме нас, кинооператор Яцун, гидролог Александр Иванович Дмитриев, метеоролог Анатолий Данилович Малков, геофизик Николай Евдокимович Попков и корреспондент «Огонька» Савва Морозов.

Выходим «на улицу». Кружась над головой, падает мелкий снег. Тридцатиградусный мороз, сдобренный изрядной порцией ветра, поначалу заставляет кутаться в шерстяные шарфы. Однако время не ждёт. Мы, новоприбывшие, берёмся за свёртки с палатками... Вот уже собран первый дюралевый каркас. Работать приходится без перчаток, и невыносимо мёрзнущие руки то и дело нужно отогревать за пазухой. Когда наконец натянут верхний тент и завязана последняя петля, бежим греться в палатку «старожил».

Там уютно позванивает крышкой кипящий чайник. От тепла начинает клонить ко сну. Но об отдыхе думать рано. Отогрелись, попили чаю и — снова за дело.

Когда собрана ещё одна палатка, начинаем заносить в неё радиоаппаратуру. Здесь будет наша рация. Затем в палатке появляется лёгкая плитка с газовым баллоном. Первый язычок пламени вспыхивает над горелкой!..

Закончив работу, укладываемся спать. Скоро стенки палатки содрогнутся от богатырского храпа. А за ними будет всё так же шуршать ветер, и тридцатиградусный мороз будет покрывать изморозью всё вокруг. Снег запорошит голубоватые торосы, а льдина, на которой мы поселились, будет всё так же незаметно двигаться. И пока мы спим, она продвинется к северу километров на шесть-семь...

Дрейф начался.

14 апреля.

Сегодня мы не можем сказать, что поднялись чуть свет. Солнце, не заходя за горизонт, бродит вокруг льдины. Два радужных столба по сторонам — ложные солнца — переливаются бледными красками.

В нашем городке высятся уже три палатки, и мы принимаемся с утра за сборку четвёртой, для будущей кухни, или, как мы привыкли говорить на корабельный манер, для камбуза. Это вместительная, овальной формы палатка конструкции Сергея Шапошникова. Тем временем радисты всё готовят для подъёма радисмачты. Каждому из нас вручается длинная стальная растяжка. После первой неудачной попытки мачта медленно поднимается и становится вертикально. Теперь можно налаживать связь со всем миром...

15 апреля.

Ветер усилился, его резкие порывы так раскачивают буханку хлеба, подвешенную для оттаивания в самом тёплом месте — под потолком палатки, — что она грозит сва-

литься на наши головы. Большой фанерный ящик, заменяющий стол, заставлен кружками и тарелками. Изо рта валит пар. Мёрзнут руки. Сильный ветер выдувает из палатки тепло.

Читал в нашем вахтенном журнале первую запись:

«12 апреля в 11.30 по московскому времени начальник дрейфующей станции «СП-3» Трёшников А. Ф., командир лётного отряда центрального направления Котов И. С. и кинооператор Яцун Е. П. высадились на большое поле многолетнего льда... Дополнительный осмотр показал полную пригодность данной льдины для размещения лагеря:

Размер — $2 \times 2,5$ км.

Толщина в пробной буровой — 2,75 м.

В 14.00 на аэродром-подскок сел флагманский корабль, пилотируемый Мазуруком И. П. Прилетевшие с ним начальник экспедиции Бурханов В. Ф. и его заместитель по научной части директор Арктического института Фролов В. В. осмотрели льдину и дали «добро»...»

16 апреля.

Вчера вечером Москаленко посадил на лёд аэрологов Василия Гавриловича Канаки и Игоря Ильича Цигельницкого, а с ними повара нашей станции Ивана Максимовича Шарикова.

Широкоплечий высокий Шариков — по специальности метеоролог. Но — только бы участвовать в дрейфе! — он согласился занять должность повара, единственное место, которое было вакантным. Во время зимовок ему не раз доводилось кухарить, а опыт подсказывал, что и как метеоролог он не окажется лишним на льдине...

17 апреля.

Трудовой день начинается рано.

Аэрологи занялись оборудованием своей площадки: поставили радиомачту для приёма сигналов радиозондов. Метеорологи установили будки, укрепили флюгер и ветромер. Но, кроме прямых, профессиональных обязанностей, у каждого из нас много дополнительных — общелагерных. Вот и аэрологи, кончив свою работу, уходят вместе со всеми остальными выравнивать лётное поле.

Ветер намёл большие заструги; их приходится срезать лопатами, заравнивая снегом ямы и выбоины. Самолёты экспедиции начали летать один за другим: полюс — Диксон, Диксон — полюс, полюс — Челюскин... На береговых базах быстро пустеют склады, ещё вчера до отказа набитые оборудованием для дрейфующей станции. Часть наших товарищей занята там отправкой грузов на лёд, а мы принимаем их в лагере, рассортировывая по назначению. С каждым рейсом на льдине появляются новые обитатели. Сегодня в лагере уже пятнадцать человек — почти две трети полного состава.

Прилетел и Алексей Фёдорович Трёшников.

18 апреля.

Под ярким утренним солнцем умываемся пушистым снегом из свеженаметённого сугроба.

В 8 часов 50 минут над лагерем появился долгожданный вертолёт, похожий на гигантскую стрекозу. Он сел на расчищенную нами площадку; длинные лопасти несущего винта ещё крутились, а когда они замерли, на лёд выпрыгнул командир машины Алексей Фёдорович Бабенко.

Почти 43 часа находился вертолёт в воздухе на трудном и опасном пути от Москвы до полюса. Теперь роль грузового такси вертолёт возьмёт на себя.

Прилетевшие с Трёшниковым гидрологи Владимир Александрович Шамонтьев и Георгий Андреевич Пономаренко вместе с Александром Ивановичем Дмитриевым, одним из первых поселенцев на льдине, торопятся начать промеры глубин океана.

Трос с грузом погружается в воду. Километр! Два! Два с половиной! Три! Дна всё ещё нет... В 12 часов, через 45 минут после начала спуска, груз коснулся наконец твёрдой земли. 3 949 метров!

Для надёжности промер повторяется. Снова та же цифра. Всё правильно...

22 апреля.

Привезли последние детали для трактора. Завтра можно приступать к его сборке. Мы обрастаем техникой, о которой ещё совсем недавно не могли и мечтать полярные экспедиции.

23 апреля.

Задул резкий ветер. У нас по расписанию ещё ночь, но мы работаем и ночью, так как самолёты летают по московскому времени, которое отстаёт от местного на 9 часов. Накануне на подскок снова доставили с земли много груза, и мы с Бабенко непрерывно летаем туда и обратно.

Из кабины вертолёта видны бескрайние ледяные поля и трещины, полукольцом охватывающие нашу льдину с запада. Свежезамёрзшие, чуть убелённые мягким снегом, они ещё не утратили своего океанского зелёного цвета.

Когда рабочий день заканчивается, каждый обнаруживает, что не переделано множество дел, и не только крупных, но и тех, что помельче: надо пришить пуговицу к куртке, зачинить брюки, разорванные при погрузке, направить бритву... Всего не перечислишь.

Понемногу являются и предмайские заботы.

Первого мая в лагере соберётся не менее пятидесяти человек, а помещения для встречи праздника нет. Наша кают-компания мала и неудобна: ночью стены её покрываются густым инеем; уже к завтраку иней оттаивает, и холодные капли то и дело падают за воротник. В такой мало уютной обстановке за праздничным столом не засидишься — тут и в будний-то день задерживаться не хочется.

После долгих обсуждений был разработан грандиозный проект «снежного дворца». Завтра приступим к его постройке.

Между прочим, сегодня наш радист Лёня Разбаш нашёл среди грузов ящик с будильниками. Оттаяв, они затикали на наших столиках совсем по-домашнему.

25 апреля.

Сразу же после завтрака, пользуясь нелётной погодой и теплом (-9°), мы начинаем строить «снежный дворец».

Возле камбуза вычерчивается прямоугольник — 7 метров на 4. Скоро укладывается первый снежный кирпич, за ним другой, третий... По расчётам, их понадобится около трёхсот. Как на солидной стройплощадке, протянуты верёвки с прикреплёнными отвесами. Строители увлечённо возводят стены.

К часу дня тучи немного рассеялись, выглянуло солнце. Сели перекурить. И в эту минуту странный скрип заставил нас насторожиться. Все прислушались. Скрип и визг торосящегося льда стал слышен явственно — он раздавался где-то совсем близко. Вдруг кто-то крикнул:

— Разводит!

Действительно, метрах в семидесяти пяти от палаток зачернела и стала быстро увеличиваться полоса воды. Когда мы подбежали, западный кусок поля уже отошёл метров на тридцать. Обломки льда медленно плыли навстречу ветру; обнажённую поверхность океана покрывала мелкая рябь.

— Рано что-то нас начало ломать...— мрачно произнёс штурман вертолёта Минаков, с опаской косясь на разводье.

Старые полярные волки, стараясь казаться равнодушными, тут же начали припоминать «аналогичные случаи».

— А помнишь, Саша,— сказал Курко, обратившись к Дмитриеву,— как нас в феврале пятьдесят первого ломало? По сравнению с теми неприятностями эта трещина — сущий пустяк...

— Пустяк оно, конечно, пустяк,— вставил Бабенко,— но это дело явно ни к чему! Он с досадой бросил ком снега в разводье и повернулся к трещине спиной.

Трещников решил исследовать ледовую обстановку с воздуха. Бабенко поднял свою «жар-птицу» над океаном. Оставляя за собой голубоватую полоску выхлопа, она понеслась на юг, вдоль трещины, оторвавшей от нашей льдины изрядный кусок.

1 мая.

Погода праздничная, настроение праздничное. У каждой палатки красные флаги. Флаги у трибуны. Флаги над ледяным домиком. Яркокрасное, яркobelое и голубое — прекрасное сочетание цветов.

К 12 часам, когда флагманский самолёт экспедиции сел на подскоке, Трёшников вылетел встречать гостей. И едва показалась над торосами красная точка возвращающегося вертолётa, как все мы, одетые в пушистые олени малицы с отброшенными назад капюшонами, высыпали навстречу.

Со снежной трибуны Трёшников открыл праздничный митинг. Василий Фёдорович Бурханов зачитал поздравительную телеграмму Климента Ефремовича Ворошилова.

После митинга состоялось открытие «снежного дворца». Пронизанные солнечными лучами, сказочно голубели стены. Наш почётный гость, академик Дмитрий Иванович Щербаков, разрезал ленточку перед пологом и, первым войдя в ледяной зал, замер от удивления. Бурханов тоже приостановился и, не находя слов, широко развёл руками. Действительно, было от чего прийти в изумление. На длинных столах, застеленных такими белоснежными скатертями, точно их выкроили прямо из покрывающей льдину чудесной зимней накидки, лежали оранжевые апельсины, розовые свежие яблоки, серебрились горлышки шампанского и пестрели этикетки коньячных бутылок. Что говорить, мы сами, устроители праздничной встречи, были потрясены необычностью обстановки...

Первый праздник на льдине удался как нельзя лучше.

14 мая.

Решено каждую пятницу регулярно проводить лекции и семинары по всем специальностям. Это хорошая идея. Теперь в работу каждой научной группы будет посвящён весь коллектив станции. Сегодня пятница, и после ужина — первая лекция.

Трёшников рассказывает об истории освоения Арктики, этой огромной области земного шара, названной по имени созвездия, под которым она лежит, — Большая Медведица, по-гречески — Арктос. 25 миллионов квадратных километров, из них 15 миллионов водных пространств — таковы её масштабы. Восемь миллионов квадратных километров арктических вод постоянно одеты ледяным панцирем. Некогда южной границей Арктики считали Северный полярный круг, но теперь в качестве этой границы рядом учёных принята «нулевая изотерма» — линия, соединяющая точки, где среднегодовая температура равна 0°.

Алексей Фёдорович вкратце излагает историю арктических экспедиций и того планомерного наступления на Север, которое началось в наши дни. Выросли на берегах северных морей посёлки и полярные станции. Корабли пошли вдоль берегов Советской Арктики. В 1932 году, впервые в истории арктических экспедиций, ледокольный пароход «Сибиряков» прошёл за одну навигацию из Белого в Берингово море. Северный морской путь начал превращаться в судоходную трассу, соединяющую кратчайшим морским путём запад и восток нашей Родины.

Весной 1937 года на дрейфующий лёд у Северного полюса впервые в истории авиации сели тяжёлые многомоторные самолёты — они высадили четвёрку советских учёных. Девять месяцев прожили Папанин, Ширшов, Фёдоров и Кренкель на льдине и, собрав обширный научный материал, были сняты кораблями в Гренландском море. Эта первая дрейфующая станция, получившая название «Северный полюс-1», стала родоначальницей послевоенных подобных же станций. По преемственности и они получили названия «СП-2», «СП-3», «СП-4»...

Так в первой своей лекции Трёшников связал нашу работу со всей историей изучения Центральной Арктики. Мы узнали много интересного в этот вечер... Хорошо, что впереди ещё много пятниц.

19 мая.

Тот, кто хоть однажды видел Арктику в тихий солнечный день, тот никогда не забудет сверкающих серебром огромных пространств, голубых льдов, пронизанных солнцем, и, наконец, чистейшей голубизны неба, переходящей на горизонте в голубоватость отдалённых торосов.

Метеорологи Матвейчук и Малков, прихватив меня с собой, выходят на снегомерную съёмку: надо измерить высоту снега, узнать его плотность. Эти наблюдения, проводимые регулярно, помогут проследить за процессами таяния снегового покрова. Специальный цилиндр погружается в снеговую толщу на всю её глубину. Полученная проба взвешивается на особых весах, а затем по простой формуле метеорологи вычисляют плотность снега. Мы движемся неторопливо вдоль гряды торосов, останавливаясь через каждые 20 шагов, чтобы взять пробу.

Сегодня уже две пуночки, весело щебеча, пролетели над льдиной. Огромное новое разводье, темнея незамёрзшей своей пастью, извиваясь, уходит на запад. Берега его усеяны свежими торосами, и оно странно напоминает спокойную реку, текущую меж заснеженных холмов где-нибудь в средней полосе России.

Когда замолкают на нашей станции движки, всё погружается в глубокую тишину. На небе пылает раскалённый солнечный диск. В такие минуты открывается перед тобой спокойное величие Арктики, по-весеннему великолепной, невыразимо прекрасной.

24 мая.

Мы всё болтаемся возле 87-й параллели. Скоростью и направлением движения нашего ледового «корабля» мы, к сожалению, не управляем. То отъедем на несколько минут на юг, то снова перемахнём через ту же параллель к северу. А всем хочется поскорее «подъехать» ближе к полюсу. Можно подумать, будто от этого что-нибудь изменится вокруг: цвет снега, вид на торосы, погода, или появится вдруг среди океана нечто ещё неизвестное... Но, видимо, это чисто человеческое чувство — достичь наконец заветного!

27 мая.

Вечером в радиорубке Трёшников встретил меня тревожным известием.

— Толстиков сообщил, что их льдину сломало на две части,— хмуро сказал Алексей Фёдорович, протягивая бланк радиограммы.

— А где они сейчас? — спросил я, внимательно перечитав текст.

— На 76-м градусе, вероятно, в полутора тысячах километров от нас. Не так уж далеко...

28 мая.

Очередная пятница начинается лекцией Василия Канаки о проблемах аэрологии, которая стала теперь неотъемлемой частью науки о погоде.

— Погода ведь нужна всем — транспорту, сельскому хозяйству, авиации,— говорит лектор и добавляет с улыбкой: — даже любителям футбола...

Перед тем как синоптики принимаются составлять прогнозы, они обращаются за помощью к аэрологам, «ведающим» облаками, ветрами, температурами и давлениями, столь непостоянными в верхних слоях атмосферы.

Четверть века прошло с того дня, как известный учёный Молчанов сконструировал и запустил первый радиозонд. Теперь сотни аэрологических станций ежедневно отправляют лёгкие шары в поднебесье — туда, где в кухне тропо- и стратосферы готовится погода. Всё новые и новые данные накапливают учёные о строении и составе воздушной оболочки земли. Уходит вверх лёгкий резиновый шар, а специальный аппарат автоматически посылает на землю радиосигналы — точки, тире: сведения о состоянии атмосферы там, наверху. Шар будет подниматься до тех пор, пока где-то на высоте его объём из-за уменьшения внешнего давления не возрастёт настолько, что оболочка, не выдержав, лопнет.

С земли наблюдатель-аэролог следит за полётом радиозонда в теодолит. Каждую минуту он фиксирует в журнале координаты шара, и на миллиметровке рождается кривая пути зонда. Остаётся произвести расчёты, и станет известно, где, на каком уровне от земли и как меняются скорость и направление ветра. А расшифровав радиосигналы зонда, аэролог получит ещё и точное представление о температуре, влажности и давлении на различных высотах в толще атмосферы.

В 1950—1951 годах работами аэрологов на станции «Северный полюс-2» было установлено, что в Арктику на больших высотах проникают тихоокеанские воздушные массы. Долгое время господствовавшее в метеорологии убеждение, что над райо-

ном Северного полюса лежит холодная шапка воздуха, было окончательно разбито. Наши товарищи вписали новую страницу в аэрологию Севера...

Вторая лекция — метеоролога Матвейчука. Он тоже посвящает нас в таинства «самой неточной из точных наук». Он рассказывает, как со всех концов Союза в Центральное бюро погоды слетаются сведения о погоде и опытные техники-синоптики, покрыв цифрами географическую карту, наносят на неё тонкие, извилистые линии равных давлений — изобар, фронты, определяют их перемещение, а затем составляют свои прогнозы. Теперь, когда в океане одновременно дрейфуют две наши станции, эти линии протягиваются далеко к северу. И это очень поможет синоптикам при составлении прогнозов погоды, особенно в период летней навигации по Северному морскому пути...

После лекций сообщение о том, что завтра банный день, возвращает нас на землю. Расходясь по домам, мы заглядываем в круглую палатку, где на импровизированном полу поставлены одна на другую две бочки: верхняя, оцинкованная, литров на двести — для воды; в нижней, размером побольше, находится авиационная лампа подогрева. Все с любопытством осматривают это устройство в предвкушении банных радостей.

1 июня.

Наступил первый день официального календарного лета. Хотя солнце светит всерьёз и мороз не более 9°, всё же холодно, так как дует сильный ветер с юга — юго-запада. Мы снова продвинулись на 10 минут за 87-й градус. Нас несёт теперь то на север, то на восток. Ветер усиливается, и, видимо, мы начнём набирать скорость. Хорошо бы это происходило без поломок и торошений!

Записи, которые регулярно велись в течение всего лета, я здесь опускаю, ибо ничего необычного у нас за это время не происходило. Продолжались повседневные научные работы, прилетали и улетали дорогие гости с Большой Земли. Гидрологи использовали вертолёт, чтобы проводить океанологические исследования не только на нашей льдине, но и вдалеке от неё. Шла обычная, трудная борьба с водой, накапливающейся от летнего таяния льдов. Продолжался дрейф на север.

И вот наступил день, которого мы ожидали так долго.

25 августа.

«Где надо поставить дом, чтобы он всеми четырьмя сторонами смотрел на юг?» Эту загадку многие слышали в детстве. И вот все окна нашей кают-компании обращены к югу. Мы на Северном полюсе. Эту новость принесли астрономы. Они буквально ворвались в кают-компанию и торжественным голосом объявили: «Товарищи, поздравляем с прибытием на полюс!»

Три дня дул устойчивый южный ветер, и наша льдина «на всех парусах» плыла к заветной точке. Низко висели над лагерем тучи. Густо валил снег. Температура упала до —8°... Мы словно и в самом деле приближались к самому сердцу зимнего царства! Но сегодня, словно в честь нашего прибытия, солнце озарило светом вечные полярные льды. Заиграло красками небо. Длинные темносиние облака заблестали по краям золотой парчой.

— Смотрите,— говорит Трёшников, показывая на карту,— за эти дни мы прошли около восьмидесяти километров! С такой скоростью никто раньше не дрейфовал вблизи полюса.

Метеоролог Матвейчук с шутливым удивлением разводит руками:

— Какой же сегодня ветер, товарищи? Ведь все ветры стали южными...

Наступает наша первая ночь на полюсе.

7 сентября.

Во всех домиках и палатках идёт усиленная обработка материалов наблюдений для отправки ближайшим самолётом на Большую Землю.

Во второй половине дня — научно-технический семинар. Шамонтьев, как бы на прощание, рассказывает о широкой программе гидрологических исследований, частью уже проведённых, частью ещё предстоящих.

Восточные склоны хребта Ломоносова, вдоль которых легла линия дрейфа, были изучены нами довольно подробно. Сто сорок один раз опускался лот. Двадцать четыре колонки грунта, представляющего собой желтоватую илистую массу, были подняты на поверхность в точках, отстоящих одна от другой на 30—50 миль. Одиннадцать «гидрологических станций» дополнили нашу коллекцию моллюсками, медузами, водорослями приполюсного района. Ещё раз подтвердилось предположение, что органическая жизнь существует в высоких широтах во всей толще океанских вод. Исследования температуры и солёности водных масс уже позволяют сделать некоторые выводы о влиянии хребта Ломоносова на состав воды и направление течений в полосе дрейфа. В околополюсном районе, несомненно, существует ряд разветвлений этого хребта. Судя по донным отложениям, хребет Ломоносова относится, вероятно, к молодым горообразованиям...

9 сентября.

Вместо Саша Минакова в лагерь прибыл новый штурман вертолёт, Александр Андреевич Медведь. Остряки, разумеется, немедленно отметили, что за пять месяцев дрейфа это первый живой медведь на нашей станции.

С тем же рейсом к нам прилетели на несколько дней доктор физико-математических наук А. М. Гусев, кандидат технических наук Н. Н. Сысоев и мой шеф по микробиологии профессор А. Е. Крисс.

Это одна из характерных особенностей нашей дрейфующей станции — постоянная тесная связь с научными учреждениями Большой Земли. Уже побывали у нас гляциологи и геофизики, геологи и аэрологи.

18 сентября.

Неяркое солнце ходит по самому горизонту. Оно то сплющивается в золотистое веретено, то вдруг вытягивается в оранжевый столб, вершина которого теряется высоко в облаках. Это шутки рефракции — преломления света.

Рефракция настолько сильна, солнечные лучи преломляются так капризно, что вся западная сторона горизонта кажется окружённой высоким барьером из гранитных столбов. Порой создаётся впечатление, что где-то недалеко от нас поднял ледяные берега вынырнувший из океана остров. Но стоит солнцу скрыться — и в серых сумерках мираж исчезает.

Обросли мохнатым инеем растяжки антенн и провисли толстыми белыми канатами, раскачиваясь на ветру. Температура прыгнула вниз. 32° мороза. За ночь вода в умывальнике превращается в прозрачный слиток. Нужно бежать к «проруби» — последней снежнице, из которой ещё можно пополнить наши водные запасы. Но и здесь не обойтись без топора, иначе до воды не доберётся.

Запуржило. Ветер с пронзительным свистом гонит по лагерю снежные смерчи. Возле медленно наполняющегося газгольдера, подтрунивая друг над другом, приплясывают аэрологи. Руки они отогревают о стенки газогенераторов, которые становятся горячими во время добычания водорода. Но ногам от этого не теплее...

Больше всего хлопот доставляют наступившие морозы гидрологам. Пробитые ими лунки то и дело затягивает толстая ледяная кора, и теперь каждому наблюдению предшествует долгая утомительная процедура.

— Ну что, Саша, начнём? — говорит Георгий Пономаренко, усаживаясь на край лунки.

— Начнём, пожалуй... — не слишком весело отвечает Дмитриев.

Лёд крошится под равномерными ударами. Саша, склонившись над водой, вылавливает металлическим сачком ледяные осколки, и у треноги лебёдки постепенно вырастает голубовато-белая груда. А впереди ещё пять таких лунок, которые дожидаются своей очереди.

У вертолёт, до отказа натянув капюшоны, работают члены его экипажа. С гулом вспыхивает лампа подогрева, но её мерный бас не в силах заглушить вой пурги. Ветер рвёт из рук брезент чехлов, покрывает сединой брови, ресницы. Однако, как любит говорить Бабенко: «Полёт состоится при любой погоде!»

До наступления тьмы остались считанные дни Но Алексей Фёдорович Трёшников совершенно спокоен: лагерь уже подготовлен к встрече многомесячной полярной ночи.

25 сентября.

Вот и скрылось солнце, пока ещё оставив над горизонтом тонкую полосу света. Вспыхнула и загорелась зеленоватым светом первая звезда. Она как светофор, открывающий дорогу ночи.

Стало условным понятие «день», как прежде условным было понятие «ночь»... На площадке метеорологов загорается фара, освещая приборы. Потом она гаснет, а по снегу начинает прыгать шустрый зайчик: Малков, освещая свой путь фонариком, возвращается в палатку. Один за другим гаснут жёлтые круги иллюминаторов. Лагерь засыпает.

27 сентября.

Ветер — 20 метров в секунду. На выходе из палатки встречает упругая стена воздуха. До кают-компаний приходится добираться ползком, по-пластунски. Это не преувеличение. Короткий путь превращается в целое путешествие.

Нас гонит на юг. Полюс остался позади, и мы снова обрели страны света. Дрейфуюем в сторону Гренландии. Но точное наше местонахождение пока неизвестно: координат не удаётся определить.

27 октября.

Самолёты летят один за другим. Бурная жизнь нашего аэродрома отражена в вахтенном журнале... В 12.50 прилетели Бахтинов и Котов. Они доставили ещё один домик и четырёх пассажиров... В 14.37 прилетел Мазурук. Попков записал: «Мазурук доставил корреспондента Артёмова и кота Ваську...» В 19.54 сел на аэродроме Черевичный. С ним прибыли новые работники станции: гидрологи — Александр Легеньков и Валентин Булавкин, повар Александр Ефимов. На льдине теперь стало четверо Саш. Из домика радистов доносится голос Курко, ведущего разговор с очередным самолётом: «Я тюлень, я тюлень, — повторяет Костя в микрофон, — слышу вас плохо, дайте настройку». Самолёты приходят уже не с юга, а с севера: ведь мы теперь за Северным полюсом, или, как у нас любят говорить, севернее самого Северного полюса.

30 октября.

С сегодняшнего дня наш повар-метеоролог Иван Максимович Шариков передал бразды правления на камбузе Александру Ефимову, а сам безраздельно вернулся к науке. Теперь он будет выполнять обязанности аэролога вместо улетевшего на Большую Землю Платона Платоновича Пославского. Последний оказался в числе тех, кому пришлось по состоянию здоровья проститься с нашей льдиной.

6 ноября.

С последним самолётом улетели на Большую Землю Владимир Шамонтьев и Георгий Пономаренко. Снова испытали мы грусть расставания с друзьями.

Предзимняя операция окончена. Шестьдесят раз уходили самолёты с Большой Земли на дрейфующие льдины и доставили на обе станции почти сто тонн груза.

Жизнь снова вошла в нормальную колею.

Над нами ясное, иссиня-чёрное небо, словно скованное тридцатидвухградусным морозом. На краю аэродрома моргает «мигалка» — ацетиленовый фонарь; удивлённые псы, усевшись перед ним рядком, лают в такт появляющемуся свету...

7 ноября.

Праздник. Я уже однажды встречал его на льдине, среди безмолвия Ледовитого океана. Это было четыре года назад. В длинной заиндеветшей палатке, служившей нам тогда кают-компанией, несмотря на четыре газовые горелки, работавшие на полную мощь, дыхание наше вырывалось клубами пара. Усталость обвела вокруг глаз тёмные круги... Из тех, кто был за тем столом, сегодня здесь четверо: Миша Комаров, Костя Курко, Саша Дмитриев и я. Думали ли мы тогда, что нам снова доведётся вместе встречать этот торжественный день на дрейфующей льдине?!

В 10.00 радио доносит к нам звон курантов Кремля. В 13.00 все собираются на лагерной площади у снежной трибуны. Алексей Фёдорович поздравляет зимовщиков. Шипя и разбрасывая искры, вспыхивают огни импровизированного фейерверка...

В 16.00 сходимся в кают-компанию на праздничный обед. Вопреки обычаю, не заживаемся: отчаянная усталость, накопившаяся за последние две недели, гонит нас к спальным мешкам.

10 ноября.

Заканчивается переселение в новые домики и переброска грузов с аэродрома в лагерь.

Ярко светит полная луна, окружённая цветными кольцами. Но от красот природы не становится теплее, и, довершая авральные работы по переустройству лагеря, мы быстро обрастаем сосульками.

Погода опять неустойчивая. Ветер часто меняет направление, вызывая сильные подвижки ледяных полей. Льдина всё чаще и чаще начинает трещать. Но у нас это пока лишь предюдия. А вот у Толстикова на «СИ-4» уже сломало поле, на которое весной сажались самолёты. Трещина прошла прямо под самолётом «АН-2», оставленным для работы на станции, и он едва не затонул... Эта невесёлая весть лишний раз напоминает нам, чтобы мы всё время были настороже.

12 ноября.

Открываю глаза и в первую минуту не могу понять, где я нахожусь. Ах, да ведь мы уже в новом домике!

Над моей головой — койка второго яруса, там спит Саша Ефимов. Третья кровать — Жени Яцуна — расположена под углом к нашим. Она тоже во втором ярусе, а под нею — столик. У моего изголовья — полка с медикаментами и книгами. Рядом с дверью — откидной умывальник. На полу — ковровая дорожка, прямо у входа — серебряный щит камина. Так как газ всю ночь горел в полную силу, в домике относительно тепло — можно, не торопясь, одеться и побриться. Приятно впервые за долгое время вбить в стенку гвоздь для вешалки, повесить полочку и знать, что можно войти в своё жилище, не сгибаясь в три погибели. Но благоустроиваться ещё придётся долго. Вот сегодня, вырезав из жести длинную полосу, я делаю жёлоб и прибиваю его под окном: с окна каплет, на столе — лужа, надо отвести стекающую воду в ведёрко...

Однако пора уже итти в кают-компанию. Сегодня мне предстоит подготовить и раздать на руки аварийные запасы: ледовая обстановка делается всё беспокойнее. На юге непрерывно слышится гул торошений, а во время очередного облёта района лагеря обнаружены полыньи с ледовым месивом и открытой водой. Мало ли что может произойти? Обломит часть льдины и унесёт, — надо, чтобы у каждого было при себе всё необходимое до той минуты, пока на вертолёт не придёт помощь. В каждый рюкзак укладывается по два килограмма грудинки, три банки мясных консервов, две банки сгущённого молока, килограмм сахара, полулитровая бутылка спирта, килограмм шоколада, три пачки галет, пачка чаю, папиросы и спички. В аварийный комплект входят ещё пара меховых и пара шерстяных носков, по паре тёплого белья и шерстяных перчаток.

13 ноября.

Давно уже наши радисты мечтали связаться с китобойной флотилией «Слава», работающей в Антарктике. В самом деле, где-то в другом Заполярье, в океане, омывающем земли и льды Южного полюса, кочуют по холодным волнам наши земляки. Разве не заманчиво обменяться с ними в эфире дружеским рукопожатием?

Первые попытки окончились неудачей: мы принимали позывные «Славы», но она нас не слышала. Сегодня Курко снова настроился на нужную волну и заработал ключом. Позвал, прислушался, опять позвал. Молчание. Но вдруг, широко улыбнувшись, он громко воскликнул: «Услышала «Слава», услышала!»

Радисты обменялись первыми приветствиями. Рукопожатие в эфире состоялось.

24 ноября.

Спокойная жизнь окончилась всерьёз и надолго. Она окончилась сегодня среди ночи.

Около 11 часов дежурный Алексей Бабенко зашёл к нам.

— Слышали толчки? Что-то они нынче слишком часты...

— Вероятно, опять идут в стороне подвижки... — произнёс Яцун сонным голосом.

— Ладно, спите, если что — разбужу, — ответил Лёша, скрываясь в дверях.

Прошло немного времени. Вдруг домик сильно встряхнуло. Закачались лампочки, зазвенели на полках склянки. Заскрипело, заскрежетало, точно начали расходиться стены. Нас словно сдуло ветром с коек. Первым вылетел на улицу Саша Ефимов, уже на ходу всовывая ноги в унты... Но толчок не повторился. Кажется, всё успокоилось. Вдруг тишину разорвали громкие крики. Накинув шубу, я тоже выскочил за дверь. Огляделся вокруг и заметил длинные чёрные пятна, появившиеся на снегу рядом с домиком аэрологов.

Трещина! В десяти—пятнадцати шагах от дома аэрологов зияет огромная щель во льду. Она уже успела разойтись метров на 50—70 и медленно ширится, дыша клубящимся чёрным паром.

Полундра! Лагерь разделён на две части. Оторвавшийся кусок льдины быстро смещается на север. На том берегу мелькают фонари, слышатся тревожные голоса. Курко немедленно передал по радио на Землю: «Следите за нами непрерывно!» — и выбежал из радиорубки, одеваясь уже на улице.

Трещина прошла возле самого вертолётки. Он уцелел, но лампы подогрева, находившиеся рядом, оказались отрезанными полосой воды. А без них двигателя не запустить! Вместе с Сашей Ефимовым мы бежим к стеллажу с продуктами — там лежит толстый двенадцатиметровый трап. Ящики летят в снег, и через минуту, едва переводя дух, мы подтаскиваем трап к разводью. Большая ромбовидная льдина то приближается к нашему берегу, то отплывает в сторону, сминая шугу. Нужно перекинуть трап на этот плавающий островок. Когда это сделано, экипаж вертолётки перебирается на ту сторону и исчезает во мраке. Через несколько минут вертолётчики возвращаются, волоча за собою лампы. А доски трапа уже успели обледенеть, одно неверное движение — и люди вместе со своей ношей соскользнут в чёрную маслянистую воду. Но вот последний рывок — и, тяжело дыша, они ступают на наш «берег».

Луч прожектора, вздрагивая, ползёт по льдине. Прервана телефонная связь с геофизиками и метеорологами. Радисты спешат восстановить оборвавшуюся линию. После многократных неудачных попыток они перебрасывают через самое узкое место разводья тяжёлый болт, к которому привязан провод. На той стороне его подхватывает, и скоро Малков, несмотря ни на что, передаёт радистам по телефону очередную сводку погоды для Большой Земли.

Трещина лишила нас нескольких мешков с углем, теодолита, а главное — куска взлётной полосы, метров в двести. На обломке аэродрома остались прожекторы старта. Пришлось итти за ними. Почти у самой цели нам пересекла дорогу новая, узкая, извилистая трещина. С опаской поглядывая — не расходит ли? — мы перешагнули через неё. Погрузили стартовое имущество на нарты и, уставшие донельзя, тронулись в обратный путь. А когда достигли лагеря, у всех было чувство, точно мы прошли не один километр, а добрых три десятка.

Тем временем механики успели прогреть двигатель вертолётки, и Бабенко полетел в «Замоскворечье», как уже кто-то окрестил оторвавшуюся половину льдины. На борту вертолётки — дополнительный запас продуктов, посуды и всего необходимого для наших товарищей, временно отрезанных от «цивилизации» — от камбуза и кают-компаний...

На обратном пути вертолётчики захватили с собой Михаила Комарова: аэрологический домик нужно было трактором оттащить от опасной трещины, прошедшей в нескольких шагах от него. Много часов понадобилось Комарову, чтобы разогреть из тридцатипятиградусном морозе остывший мотор... Но вот и это дело сделано: домик передвинут на новое место. Теперь можно немного передохнуть.

25 ноября.

Утро. Условное утро, ничем не отличающееся от ночи. Молодой лёд на разводье достиг уже 10—15 сантиметров толщины. Спустив на прогибающуюся ледяную корку клиппер-бот — надувную резиновую лодку, — аэрологи на верёвке перетягивают его от берега к берегу, как паром. Туда — грузы, обратно — люди. Переправа оказалась надёжной, и на завтрак все «замосквореченцы», кроме дежурного, уже появляются в кают-компаниях. Если всё пойдёт хорошо, переправленная им вчера посуда останется без употребления. Но что нас ждёт ещё — неизвестно...

Аврал продолжается. Наш участок льдины очень ненадёжен. Это ледяной клин, окружённый разводьями. Надо готовиться к перебазированию на новое место. Но для этого нужно, чтобы прочно замёрзла трещина.

Во второй половине дня большой группой начинаем обход льдины. Вспоминается прошедшая ночь — мелькающие фонари, спешащие к трещине люди, белёсый луч прожектора, шарящий по снегу.

Сейчас здесь, как на поле недавнего боя, стоит зловещая тишина. Загораются факелы. В отвесах пламени на льду видны многочисленные пушистые комочки, усеянные сверху тонкими кристаллами и переливающимися разноцветными огнями. Это «розы севера» — друзы солей, образующиеся при замерзании морской воды.

27 ноября.

Луны всё нет. Кромешный мрак невероятно затрудняет работу.

29 ноября.

Вырываясь из рук аэрологов, вздрагивает на ветру огромный шар. Вот загорелся фонарик и медленно поплыл вверх, едва отличимый от мерцающих звёзд. Но глаз аэролога непрерывно следит за его полётом в окуляр теодолита.

Холодно. Даже тёплая одежда не в силах защитить от ледящего ветра.

Гидрологи подняли со дна трал. Перебирают очередной улов. Сегодня он скуден: всего несколько моллюсков.

3 декабря.

Пишу при свете коптящей свечи. К тусклому пламени трудно привыкнуть после электрических лампочек. Но вот уже третий день, как мы живём в беде. Едва горящий газ бессилен в единоборстве с морозом. В домике — минус 15°. Замерзают чернила в ручке, стынют пальцы. Голова клонится к столу, и ноет всё тело. На столиках, на полках, на кроватях — необычный хаос. Всё опрокинуто, разбросано. В бутылках с растворами поблёскивает лёд... Час за часом припоминаю события прошедших двух суток.

Всё началось 1 декабря.

Женя Яцун заметил тонкую, едва заметную трещину, появившуюся в трёх шагах от порога нашего дома. Вместе с Алексеем Фёдоровичем мы пошли по её следу в сторону аэродрома. Скоро след потерялся.

— Кажется, всё в порядке, — сказал Трёшников, чиркая спичкой и пытаясь закурить на ветру. — Пойдём домой.

Пока мы осматривали льдину, Женя обнаружил ещё одну тоненькую трещину, на этот раз позади нашего домика, всего в одном метре от полозьев, на которых он укреплен. Может быть, это термические трещины, образовавшиеся в результате огромной разницы температур на поверхности льда и у воды, успокоили мы себя и, вернувшись в домик, решили лечь спать, правда, не раздеваясь.

В тревожном сне прошло часа два с половиной. Резкий толчок и зловещий скрип движущегося льда подняли нас на ноги. Перескочив через чемодан, почему-то очутившийся посредине комнаты, я выбежал за порог. Трещины уже не были «волосными» — спереди и сзади дома чернели ручьи примерно полуметровой ширины.

— Трещины разошлись, вещи наружу!

Через разводье полетели из домика чемоданы, ящики, спальные мешки. А к нам уже со всех сторон сбегались люди.

При свете прожектора было видно, как быстро перемещался лёд. Края трещины то сдвигались, то раздвигались. Каждая минута дорога! Кто-то подвёл под полозья домика ваги. Навалились на примёрзшие стены — слышно было хриплое дыхание людей, напугавших все свои силы. И дом заскользил наконец по обледенелому насту, переползая через трещину.

А тем временем вокруг появлялись новые и новые трещины, словно наша льдина рассыпалась на куски. Треснул молодой лёд, покрывший коркой старое разводье, и его заснеженную гладь снова избороздили чёрные полосы воды.

У вертолёта надсадно гудели лампы «АПЛ», прогревая заледеневшие узлы моторов. Комаров, чертыхаясь, грел трактор. Гудение ламп, треск льда, громкие возгласы, отмечающие появление новых трещин, вой ветра — всё это теперь сливается в памяти в мрачную картину борьбы со стихией...

Голосом, глухо звучавшим из-под низко надвинутого капюшона, Трёшников отдал команду:

— Немедленно переезжать. Больше на этой льдине нам делать нечего. Все к кают-компании!

Но её не очень-то просто было сдвинуть с места. Отяжелевшая от наледи, громоздкая, она крепче других домов примёрзла своими полозьями ко льду. Балки, брусья, колья — всё пошло в ход. Рывок, другой, и кают-компания сдвинулась с места и поползла за трактором — подальше от «гнилой льдины». По широким колеям, проделанным ею в глубоком снегу, мы бегом вернулись к старому лагерю. Видя поблевшие лица товарищей, соседи то и дело предупреждали: «Три скорее щёки!» Все забыли и о холоде и о времени.

Вот трактор зацепил тросом радиостанцию, которую радисты успели освободить от опутывающих её проводов. Вслед за кают-компанией и она поползла за трещину, через которую пока ещё можно было переправиться «посуху». Так, домик за домиком, перекочевали на относительно целый остаток льдины. И только когда там уже возник наш новый городок, все набились в кают-компанию, чтобы немного отогреться и перекусить.

Никогда ещё мы так дьявольски не уставали и никогда ещё не подвергались такой опасности. Но на лицах нельзя было прочесть ни подавленности, ни уныния. Остряки немедленно принялись острить по поводу близкой перспективы каждому плавать на своей индивидуальной льдине. Кто-то пустил в обиход словечко «островитяне».

Но отдых был недолог. Надо было возвращаться «на пепелище».

...Давно наступило второе число, а о том, чтобы поспать часок-другой, нельзя было и подумать. Трактор то и дело уходил к новому лагерю в сопровождении четырёх-пяти человек, бежавших по сторонам саней, чтобы уберечь грузы от падения. Сколько уже было совершено таких рейсов, но и до сих пор далеко не всё вывезено из старого лагеря.

На новом месте домики расставили очень кучно — льдина не особенно-то велика. Радисты запустили движок электростанций, однако проводка подведена пока только к кают-компании. Когда в ней снова вспыхнул электрический свет, у всех стало веселее на душе... В часы первой «полундры» почти тонна угля ушла на дно океана, и теперь до появления самолёта, который пополнит наши запасы, придётся экономить топливо. Бурханов, уже знающий о наших бедах, сообщил, что самолёт, по условиям погоды, прибудет, наверное, только в десятых числах.

С наступившими сорокаградусными морозами стены кают-компании покрылись наледью. Растопишь печь пожарче, и они, оттаяв у потолка, тотчас же намерзают снова — стоит только уменьшить огонь в печи.

Пришлось распротгаться на время с кино и магнитофоном — налаживание движка для их питания потребует много времени, а очередной переезд, видимо, не за горами: новое место ненадёжно.

Сегодня в 24.00 я принял дежурство от Лёни Разбаша. В 0.30 Трёшников зашёл в кают-компанию.

— Пойдём посмотрим окрестности,— предложил он, проверяя, горит ли фонарик.— Захвати с собой карабин и ещё один фонарь.

К нам присоединились Яцун и Курко. Свет фонариков скользил по снегу, ныряя в трещину, перескакивая с торосины на торосину...

Мы вернулись к ужину, нагуляв аппетит и порядком промёрзнув. Карабин нам не пригодился, а свет фонарей показал, что в окрестностях лагеря подвижки льда могут вот-вот возобновиться.

В кают-компанию стало сыро, холодно, хотя печь пышет жаром.

— Не сходить ли нам, Саша, за остатками угля в старый лагерь? — говорю я Ефимову.

Он охотно соглашается, хотя к дальним прогулкам в сторону от жилья не питает никакого пристрастия.

Прихватив сани, мы трогаемся в путь. Старый лагерь представляет собой мрачное зрелище. Чернеют на снегу разбросанные ящики, бочки, грузы, не требовавшие первоочередного спасения. Брошенные палатки, запорошённые снегом, сиротливо белеют во

мраке. В котлованах из-под домиков — огромные комья снега, словно в снаряжных воронках. Щемит сердце при взгляде на эту картину запустения.

Пока мы путешествовали, снова «заговорил» лёд. Лязг и рокот перемешиваются со звоном падающих льдин. Как передать этот «голос льда»? Вообразите себе грохот десятков поездов, одновременно проходящих где-то невдалеке.. Это немножко похоже.

Звуки торошения приближаются. Набросив куртку, снова бегу с фонарём к ближайшему разводью. Если его начнёт торосить, мне, как дежурному, надо будет поднимать тревогу. К счастью, здесь всё спокойно. Гладь молодого льда не тронута.

— Сколько продлится этот покой? Синоптические карты не сулят ничего хорошего.

— Даже смотреть не хочется на твою карту, — сказал сегодня Трёшников Матвейчуку. Тот только пожал плечами и улыбнулся: «Не я делаю погоду...»

Результат сегодняшних измерений глубины — 1 473 метра. Стало быть, мы снова дрейфуем над хребтом Ломоносова. Ни полярная ночь, ни торошения не в силах нарушить чёткий ритм жизни станции. Все научные наблюдения проводятся в том же объёме, что и в светлые летние дни, когда круглые сутки светило незаходящее полярное солнце. Даже Яцун то и дело устанавливает факелы и при их свете пополняет запас ночных кинокадров.

7 декабря.

После завтрака должен был прийти на медицинский осмотр Георгий Матвейчук, но его почему-то нет. Ждать надоело, и я, ворча, иду в кают-компанию. Но его нет и там. За столом — один Попков. Он попивает чаёк, вопреки обыкновению, не торопясь.

— Жора не приходил? — спрашиваю я, усаживаясь рядом.

— А он и не придёт... — меланхолично отвечает Николай Евдокимович.

— То есть как «не придёт»?

— А очень просто. Трещину развело на десять метров.

Вот это новость! А мы-то собирались с завтрашнего утра начать строительство дороги через бывшее разводье.

Ко второй половине дня разводье увеличилось до 150 метров, и над ним стоит облако пара. То поднимаясь, то опускаясь, оно зловеще клубится, словно живое. Вертолёт поднимается в воздух, приняв на борт Попкова и обед для «Замоскворечья».

Весь рейс занимает минут десять—пятнадцать, и Бабенко, приведя машину назад, тотчас же снова уходит в полёт, захватив с собой Трёшникова. Они долго кружат над лагерем, а когда Трёшников появляется в дверях радиорубки, где он живёт вместе с радистами, его лицо спокойно. Значит, ледовая обстановка всё-таки благополучна.

— Ну что ж, — говорит он. — Трещина уходит на север. Видимо, она пересекла весь ледяной массив, так как конца её в том направлении не видно. Зато на юго-западе она кончается метрах в восьмистах от станции. Там, при большом желании можно перебраться к соседям. Вокруг нас, вероятно, есть неплохие поля, вид их внушает доверие, насколько можно разобрать с вертолёта...

9 декабря.

Подвижки льда продолжают, хотя погода, как и вчера, стоит преотличная. Когда в 20.00 вертолёт вернулся после часовой ледовой разведки, выяснилось, что на тридцать—сорок километров вокруг лагеря лёд исторосе; есть много новых разводьев и свежих торосистых гряд. К удивлению, аэродром подскока ещё цел.

10 декабря.

Давление внезапно полетело вниз. Этот угрожающий симптом каждому из нас теперь понятен.

Очередные ледовые неприятности начались, как по расписанию. Трещина, прошедшая под нашим домиком 1 декабря, разошлась на десять метров, и на осколок старой льдины теперь не попасть. Вода в разводье необычно беспокойна. Она колыхается, будто кто-то старается выдавить её на поверхность. Это в самом деле дурной признак: поля, стало быть, продолжают непрерывно перемещаться.

Небо заволочло тучами, и всё вокруг потемнело.

Половина лагеря с домами геофизиков и метеорологов всё дальше отходит к югу.

11 декабря.

Проклятые циклоны не дают нам покоя. Давление всё падает, и у нас портится настроение.

Мы летим в «Замоскворечье», так как у аэрологов кончился запас оболочек, радиозондов и химикалий для добывания водорода, а склад — на том куске льдины.

Вертолёт повисает над лагерем. Луна едва просвечивает сквозь густые облака, и в её слабом свете только угадываются смутные очертания домиков. Чуть желтеют огоньки в их замёрзших окнах, и лишь лампа, покачивающаяся на радиомачте, приветно светит нам, как маяк во мраке ночи. Где-то вдалеке с трудом можно разглядеть светлые пятнышки «замоскворецких» огней.

Машина летит очень низко. Время от времени Лёша включает фару, и тогда зловеще вырастают из темноты высокие груды торосов. Вьются чёрные извилистые разводья, местами кажущиеся чуть шире пальца, местами похожие на широкую чёрную дорогу, уходящую в бесконечность... Разводье со стороны домика геофизиков превратилось в громадное озеро. При таком изобилии чистой воды половину поля может отнести очень далеко.

Погрузив всё необходимое, спешим домой: из мотора начало бить масло, и летать становится опасно. Неприятности не ходят в одиночку — в этом мы уже убедились.

12 декабря.

Радисты приняли славную телеграмму от чешских пионеров.

«Мы слушали вчера передачу по радио о вашей экспедиции на Северный полюс,— пишут они.— Очень просим вас напишите нам что-нибудь вашей жизни работе тчк Всё нам будет интересно тчк Мы вам напишем нашей работе в чехословацкой школе тчк Мы хотим каким-нибудь образом расширить свои знания о вашей прекрасной Родине тчк Теперь такой случай воскл знак Вся Прага должна знать воскл знак... Мы любим ежедневно вспоминать о вас воскл знак Желаем вам всего хорошего и много успехов в вашей опасной работе тчк

Ученики ученицы 6 А класса восьмидесятой школы на площади Чапаева Праге 12 тчк»

Мы ответим ребятам подробно — нужно только, чтобы наладилась относительно спокойная жизнь...

Часто возле дома вертолётчиков можно услышать весёлую шенячью возню. Шенки катаются в пушистом снегу, визжат, ворчат и радостно лают тоненькими, неокрепшими голосами, стараясь походить на взрослых собак, которые сидят неподалёку и снисходительно поглядывают на игры малышей. И об этом тоже надо будет рассказать пражским ребятам.

Глубина всё время меняется. Вчера была около 3 тысяч метров, а сегодня — 1 470: мы снова очутились над хребтом, с которым, впрочем, расставались всего на сутки.

Вечером отметили восемь месяцев дрейфа. На этот раз за здоровье льдины тостов никто уже не поднимал.

13 декабря.

Всё вокруг покрыто толстым слоем пушистого снега, который меньше всего нужен нам сейчас: во-первых, молодой лёд под таким покрывалом нарастает на разводьях едва-едва (у рыхлого снега очень низкая теплопроводность), а во-вторых, все трещины и ямы замело, и, даже сохраняя предосторожность, легко провалиться в воду. Это сегодня со мной и случилось.

Трёшников и Матвейчук ушли в «Замоскворечье», чтобы, пользуясь луной, подобрать место для нового лагеря. Пока я забегал за карабином и одевался, они уже переправились на ту сторону. Тропа вела через трещину, и я, ориентируясь по их следам, хорошо видимым под луной на свежем снегу, осторожно переходил молодой лёд. Крак! Лёд не выдержал. На счастье, я успел повернуть карабин поперёк проруби, в которую провалился. Мокрый и злой, выбрался я на лёд и, вероятно от дсады, решил не возвращаться. Ничего, обойдётся... Меня утешил Блудный, выбежавший навстречу из домика метеорологов. Описав несколько приветственных кругов, он повалился на спину и, задрав кверху все четыре лапы, предложил поиграть с ним. Видимо, он не придал зна-

чения моему необычному после купания виду. И вправду, пока всё обошлось без последствий.

16 декабря.

Сегодня обломки поля сошлись; выперло лёд из разводья, отделяющего нас от старого лагеря. Молодой ледок поднялся вверх, и длинный зубчатый забор протянулся до бывшего нашего аэродрома.

Все, кто забыл хоть что-нибудь в старом лагере, помчались туда, торопясь воспользоваться неожиданно образовавшейся переправой. И скоро из темноты стали выныривать фигуры с ящиками и свёртками. Кроме того, мы выяснили, что и после всех разломов от прежнего лётного поля остался кусок, вполне достаточный для приёма самолёта, обещанного Бурхановым. Надо только перенести фонари и прожекторы, выложить новый старт и расчистить площадку от свежих сугробов.

18 декабря.

Хотя лёд и не внушает ещё особого доверия, ждѣть лучших условий для переезда уже нет больше мочи. К месту переправы подогнали трактор и автомобиль. Уложены на лёд трапы, толстые брусья и доски. Трѣшников даѣт знак Комарову. Миша включает полный газ — машина, виляя, проскакивает опасный «ледовый мост». Мы громкими криками приветствуем первую победу. Однако выдержит ли лёд вес трактора?..

Готовый в случае беды выпрыгнуть из кабины, Миша ведѣт трактор по следу автомашины. Лѣд прогибается, скрипит, и позади него образуются волнообразные возвышения. Когда-то капитан нансеновского «Фрама» Отто Свердуп писал в своём дневнике: «Только что замѣрзший молодой лѣд удивительно эластичен и сгибается очень сильно, не ломаясь...» Мы тоже увидели, как молодой лѣд выгибался «очень сильно, не ломаясь». И эта его эластичность весьма нас порадовала.

У самого «берега» льдина всё же всколыхнулась, один её край резко поднялся вверх, другой опустился, гулко плеснула вода. Но, выжав из трактора максимальную скорость, Комаров успел вѣхать на пак.

И всё же судьба не захотела нам благоприятствовать до конца. У трактора «полетело» сцепление. Несколько дней продлится ремонт. С перетаскиванием домиков придѣтся пока повременить, тем более, что трещина снова расплзлась.

22 декабря.

Лѣд непрерывно шевелится. Нет такого звука, которого не издавала бы эта вдруг ставшая вновь подвижной ледяная твердыня. «Замосквореченцы» передвигаются по отношению к нашему «берегу» со стремительностью речного ледохода. Всѣ чаще Лѣня Разбаш связывается с ними по радио, так как телефонная нитка рвѣтся то и дело.

24 декабря.

Штурман Саша Медведь — дежурный — входит в наш домик в 12.00.

— Поднимайтесь! — зычным голосом произносит он. — Спешите на завтрак. Сегодня обширное меню: кофе, пельмени и... аврал!

Пожалуй, последнее блюдо не так уж приятно, но мы его давно дожидались: значит, сегодня начнѣтся переезд. Накануне ночью нас тряхнуло так, что всё население станции высыпало наружу. Снова пошло торошение. Отломил новый кусок поля.

И погода не сулит ничего хорошего. На Диксоне ветер — 40 метров в секунду! Поѣтому и обещанного самолѣта всё нет и нет!..

По авральному сигналу все спешат туда, где на днях сошлись оба ледяных поля. Только дежурному и повару положено оставаться на своих постах.

Удары пещен и лопат обрушиваются на вспученные торосы, и понемногу в их сплошной гряде появляется проход, вполне достаточный, чтобы трактор смог провезти наши домики.

Комаров переправляет их один за другим. Даже кают-компания перевезена без особых хлопот. Полыхают огнѣм заранее заготовленные банки с бензином, и длинные мятущиеся тени на обочине снежного пути спутствуют движению саней, людей, машин. Старый лагерь быстро пустеет.

Вся территория этого «пепелища № 2», как уже сострил кто-то, залита колеблющимся светом костров. Переселяясь, нам приходится заниматься ещё и раскопками. Сугробы укрыли грузы, склады, палатки. Только и слышно: «Ящик с умывальниками нашёлся!» Или: «Даю премию тому, кто скажет, что в этой бочке!»

Трактор, мигая фарами, совершил уже десятки рейсов между старым и новым лагерем, но дел ещё хватит надолго.

29 декабря.

На пороге кают-компания метеорологов встречают десятки вопросительных взглядов, но те молча усаживаются на свои места. Происходит как бы немой разговор: «Когда же вы наконец обеспечите погоду? Неужели самолёт так и не сможет прилететь в этом году?» — спрашиваем мы. «Нам, конечно, совестно, но, честное слово, это не мы виноваты!» — отвечают метеорологи.

Синоптическая обстановка не улучшается. Ветер на побережье продолжает дуть со скоростью 40 метров в секунду.

Тем временем нас всех уже захватила подготовка к Новому году. Выпускается весёлый номер стенной газеты. Наши недавние беды становятся материалом для шуточных стихов, рисунков, пародийных «радиограмм»... Саша Ефимов вместе с Ваней Шариковым сочиняют изысканное праздничное меню. Радисты принимают поздравительные телеграммы, и количество их уже перевалило за пятую сотню! Ответить на все приветствия наша рация не в силах...

А работа идёт своим чередом. Аэрологи выпускают радиозонды, гидрологи прощупывают океанскую бездну, охотится за звёздами астроном, метеорологи, как положено, восемь раз в сутки отправляют на материк данные своих наблюдений.

30 декабря.

С шумом распахнув дверь кают-компания, Разбаш кричит:

— Сегодня вылетает к нам Мазурук!..

И вот Комаров включает электростарт — огни загораются по обоим сторонам посадочной полосы. С севера доносится гудение. Давно мы его не слышали!

Машина — над лагерем. Ярko вспыхивает осветительная ракета и медленно опускается вниз, заливая светом обширное пространство. Впервые за много месяцев мы увидели, как неузнаваемо изменилась наша льдина. Это уже не бескрайнее поле сплошного льда. Огромные ледяные стены торосов замерли по краям, и что там, за этими стенами, нам неизвестно. Чернеют и пропадают вдали широкие трещины.

Когда ракета, шипя, ложится на снег, непроглядная тьма снова окутывает аэродром. Наконец в небе протягивается стремительный луч самолётной фары. Колёса касаются ледяной дорожки, и, поднимая винтами метель, машина катится по аэродрому.

Лёгкая дюралевая лесенка падает из раскрытой дверцы. объятия, поцелуи... Мазурук — в неизменном синем свитере со стайкой самолётов на груди — спокоен и весел, как всегда, точно не он вёл сейчас машину через Северный полюс, пробиваясь сквозь непогоду.

— Кажется, успели во-время? — широко улыбаясь, говорит он. — Принимайте новогодние подарки!..

Скоро выросла на льду возле самолёта гряда ящиков, посылок, оленьих туш. «Прилетели» даже две ёлки, аккуратно завернутые в брезент.

Мазурук торопится с отлётом: стихший на время ветер снова погнало по полю маленькие смерчи. Самолёт вырывается на старт. С сожалением мы провожаем его, в сущности едва успев встретиться...

В лагере — радостное оживление, какого давно уже не было. Каждому есть весточка из дому, гисьма, посылки.

31 декабря.

Время идёт к полуночи. Занудевелые пятнистые обои нашей кают-компания скрылись под волнами белой марли. На столах, покрытых крахмальными скатертями, искрится вино, высятся оранжевые холмики мандаринов, золотятся ломтики балыка. По-

середине два больших шоколадных торта — подарок кондитеров фабрики «Большевик». Вызывая воспоминания о доме, зеленеет ёлка, присланная череповецкими лесоводами. На ней золотые звёзды, цепи бус, серебряные шары. Гирлянды причудливых лампочек, изготовленных руками мастеров Московского электролампового завода, сделали ёлку совсем чудесной...

Зимовщики оделись в лучшие свои костюмы. Иные даже извлекли из рюкзаков шелковые рубашки с галстуками. Возле каждого на столе надписанный конверт с красочной новогодней открыткой и пачкой поздравительных телеграмм.

Когда замер двенадцатый удар кремлёвских курантов, мы вместе с миллионами соотечественников подняли тост за Родину, за Коммунистическую партию, за наше правительство.

— Прошу внимания! — раздался голос Алексея Фёдоровича. — Сейчас будут зачитаны новогодние телеграммы...

Видимо, неспроста эта торжественность тона. Поднимается Матвейчук, и мы слушаем приветствия, присланные нам из Москвы товарищами Ворошиловым и Кагановичем... Дружное «ура» сотрясло стены кают-компания. Зазвенели бокалы. «За Новый год!»

Невозможно было представить себе в те минуты, что всего несколько дней назад закончился один из труднейших этапов нашей борьбы с арктической природой. Впрочем, опасность не миновала и сейчас. Дежурный то и дело покидал праздничный стол и выходил на льдину, насторожённо глядя в темноту и прислушиваясь к отдаённому гулу...

1 января 1955 года.

Кажется, давно не спалось так крепко и спокойно, как в сегодняшнюю новогоднюю ночь. Разошлись все поздно, и только потому, что ведь надо же когда-нибудь и поспать.

В домиках всюду ёлки: хоть и маленькие, но душистые зелёные веточки, наполняющие воздух смолистым запахом леса. Все ходят сегодня друг к другу в гости, и у каждого, совсем как на Большой Земле, припасено домашнее угощение.

После обеда к нам зашёл Георгий Матвейчук, но ещё не успела завязаться беседа, как раздался громкий треск, домик вздрогнул, закачались лампочки. Мы тревожно переглянулись: неужели опять начинается? Опрометью выскочили наружу... Тихо. Ни звука, ни шороха. Молодая луна склонилась над торосами. Несколько человек, вооружившись фонарями, пядь за пядью осмотрели территорию станции. Нет, пока всё в порядке. Это льдина просто предупредила нас, чтобы мы не слишком благодушествовали.

3 января.

На новой льдине уже устроились по-хозяйски все научные группы, за исключением гидрологической. И не удивительно. Если палатки, домики, газгольдеры можно было перенести на другое место, то с лунками этого проделать нельзя. А пробить новые лунки — дело нелёгкое: лёд стал твёрдым, как бетон. Прийти на помощь к гидрологам мы сможем только через пару дней — все заняты сейчас развёртыванием своих плановых наблюдений. Между тем каждый потерянный день — это пробел в исследовании. И вот дважды в сутки гидрологи отправляются за полтора километра к старым лункам. Нелёгок их путь в полном мраке, сквозь мороз и пургу. Огоньки двух фонарей, покачиваясь, удаляются, и закутанные фигуры Булавкина и Легенькова растворяются во тьме. Только через два-три часа наши молодые гидрологи возвращаются обратно, и в журнале глубин появляется ещё одна запись: 3397 метров...

9 января.

В 8.30 над станцией появился самолёт Перова. Как ни мал наш нынешний аэродром, Перов совершил посадку вполне благополучно. Количество обитателей льдины увеличилось на шесть человек: прибыла бригада для ремонта вертолёта, так как его дальнейшие полёты стали небезопасными.

На аэродроме выгрузили уголь и керосин. Последний особенно необходим гидрологам для керогазов, обогревающих лунки, чтобы задержать образование льда на поверхности воды.

Вертолёт со снятыми лопастями стоит на краю аэродрома, и два десятка людей не покладая рук трудятся возле него. У них на лицах уже проступили красноватые пятна обморожений, но ни время, ни погода не позволяют ждать.

Месяцы, прожитые на льдине, не прошли даром для молодых зимовщиков.

Сегодня Игорь Цигельницкий появился в кают-компании неожиданно помолодевшим: сбрил бороду. «А всё общественное мнение!» — пошутил кто-то. Но дело, пожалуй, проще — после девяти месяцев зимовки Игорь по-настоящему повзрослел и ему уже не нужно казаться взрослым...

12 января.

Сорокаградусные морозы мучат аэрологов. При таких температурах тонкая резиновая оболочка воздушных шаров становится хрупкой, как стекло. Порой она неожиданно лопаётся, и тогда надо начинать всё сначала. А это значит — снова часами корпеть на ледяном ветру у газгольдера, мёрзнуть и беспокоиться. «А при повторном запуске всегда беспокоись в тысячу раз больше, чем при первом», — говорят аэрологи.

Снова давление головокружительно полетело вниз и повысилась на 14° температура в высоких слоях атмосферы: было минус 63, стало минус 49. Значит, проходит очередной циклон. Действительно, у нас уже гудит пурга, и ветер несёт через лагерь вихри снега.

Как ни хочется в такую погоду посидеть дома, надо итти: слишком много наружных работ. Плотнее застегнув куртку, завязав капюшон, выхожу из домика и сразу окунаюсь в надвинувшуюся со всех сторон темноту. До площадки, где сложены запасы горючего, всего двести метров, но путь превращается в «скачку с препятствиями»: на каждом шагу спотыкаешься о заступы, проваливаешься в сугробы, принимаешь ямы за бугры и бугры — за ямы.

Гости — ремонтники с Большой Земли — живут в палатке, рядом с нашим домом. Жарко горят полным пламенем обе газовые конфорки. Душно, нечем дышать от табачного дыма и высыхающего обмундирования, развешанного в таком количестве, что палатка кажется обитаемым не шести, а шестидесяти человек. Гости приспособились к тяготам лагерной жизни, но им трудно свыкнуться с круглосуточным мраком, и они стараются пореже отходить от светлого «пяточка», на котором идут ремонтные работы. Сообщение о новых трещинах, появившихся на территории лагеря, подбавило им энергии. Ремонт быстро продвигается вперёд. Довольно часто гости повторяют вопрос: «Может ли лёд разойтись под самой палаткой?» Мы не сознаёмся, но та же проблема беспокоит и каждого из нас.

16 января.

Льдину с такой скоростью несёт на юг, что будь по сторонам берёзки или телеграфные столбы, они, пожалуй, замелькали бы перед глазами. За сутки проходим более 20 километров. Того и гляди очутимся у берегов Гренландии раньше, чем закончится годичный цикл исследований. Единственное, что нас радует, — мы движемся на юг, к солнцу, свету, теплу, весне. Её уже предсказывает Василий Канаки, а гидрологи, впервые за много дней, вновь увидели в лунке рачка-бокоплава, резво скользившего по воде.

Сегодня вечером руководитель ремонтной бригады с довольной улыбкой доложил Трёшникову, что ремонт закончен.

17 января.

Сегодня Перов прилетел за ремонтниками и увёз на Большую Землю.

Вечерами в кают-компании слышны песни, щёлканье костяшек домино и бесконечные споры шахматистов.

Но в домиках идёт аврал за авралом. Всё чаще приходится проводить генеральную уборку, счищать налесь, просушивать спальные мешки, срубить ледовые сталагмиты. Чтобы прогреть домик, мы включаем и плитку, и камин, и паяльную лампу. От жары и сырости невмоготу дышать... Только поздно вечером всё вычищенное и высушенное укладывается по местам. Теперь можно спать.

31 января.

Определив координаты, Попков установил, что впервые за много дней мы стоим почти на месте.

Но океан продолжает свою работу. Сегодня за площадкой метеорологов отчаянно закрипело. Тотчас вспыхнул прожектор и пошёл шарить по льдине: геофизики всегда начеку. Торошение идёт где-то далеко в стороне, и это морозный воздух, хорошо проводящий звуки, заставил нас снова всполошиться.

Во время ледовой разведки Яцун, споткнувшись о торос, разбил свой аккумуляторный фонарь с автомобильной фарой — предмет зависти всей станции. Его смогло утешить только неожиданное открытие Змачинского, шедшего следом: «Смотрите, смотрите, зорька!» Действительно, на юго-востоке узкая алая полоса окрасила горизонт. Краски ещё бледны, и ночь вот-вот сотрёт их с неба, но с какой жадностью уставились мы на эту полосу — предвестницу идущего к нам солнца! К сожалению, это оказалось не зарёй, а всего-навсего отблеском восходящей луны.

6 февраля.

Всё чаще по лагерю разносится стук молотков: мы готовим к отправке на Землю первые грузы. Эти деловитые звуки отзываются в самом сердце, соскучившемся по Земле. Штабель аккуратно сбитых ящиков с адресом «Ленинград-АНИИ» растёт у аэрологического домика.

10 марта.

Ни свет ни заря поднял нас с постелей Василий Қанаки. Он принёс ворох новостей. Во-первых, по всем признакам, солнце должно вот-вот появиться; во-вторых, сейчас с Земли вылетает к нам самолёт; в-третьих, в 17.00 Москва организует для нас передачу в честь прихода солнца; в-четвёртых... Впрочем, достаточно первых трёх новостей, чтобы сон сняло как рукой.

Прошло только двадцать минут с момента подъёма, а все уже позавтракали и вновь разошлись по домам писать письма. Но скоро громкий крик Шарикова заставил нас выскочить наружу:

— Выходите, выходите! Солнце!..

Долго ждали мы этой минуты. И вот за дальними торосами показалась тонкая огненная полоса. Она всё ширится, розовые дорожки бегут по снегу. Это уже не полоса, это огромный багряный шар. Чуть сплюсненный сверху рефракцией, он медленно плывёт вдоль ледяной гряды, зажигая верхушки острозубых глыб.

Над полярным океаном взошло солнце!

22 марта.

Снова наступили беспокойные дни. Неделю назад, в ночь на пятнадцатое, домик так встряхнуло, что закачалось из стороны в сторону всё висящее и зазвенело всё звенящее. Одеться и выскочить на улицу было минутным делом. Но сколько ни искали, нигде нельзя было обнаружить щели. А поутру грохот повторился, и на этот раз не без серьёзных последствий.

Со стороны аэродрома послышались громкие крики: «Трещина, трещина пошла на лагерь!» Через взлётную дорожку протянулась тёмная, извиляющаяся полоса. Возле домика гидрологов она резко повернула обратно и почти параллельно аэродрому ушла к старому разводью, образовавшемуся 24 ноября. Беда в том, что она не миновала ни одной из гидрологических лунок. Общими усилиями удалось спасти и приборы, и «вертушки», и лебёдку, ножки которой оказались по разные стороны трещины, и самые палатки, укрывавшие всё это имущество. Работа шла быстро, без суеты: теперь, когда стало светло, на такие разломы мы реагируем просто, как на «неприятное происшествие».

Три дня спустя образовалось ещё несколько нешироких разводьев. Одно из них сократило аэродром на 150 метров. 20 марта на западе началось новое торошение. А вчера ледяной вал пополз с севера. На подходах к аэродрому поднялась трёхметровая стена. Она движется медленно, с обычным ледовым скрипом и уханьем. Громад-

ные глыбы, вскарабкавшись на самый верх её, тяжело обрушиваются вниз. Лыдина впереди вала избороджена трещинами, из которых бьют фонтанчики воды.

После январско-февральского «броска», когда за двадцать дней мы пересекли 88-й и 87-й градусы, дрейф почти прекратился. Лыдина застряла у 86-й параллели.

4 апреля.

Последний месяц нашего дрейфа начался тревожно.

Первого апреля в полдень трещина разошлась на 50 метров. Глыба льда, поблещивая зелёными боками с грязно-бурыми пятнами водорослей, покачнувшись, с шумом обрушилась в воду. На всякий случай мы прорыли в сугробах проход для домика и освободили полозья от снега.

Сегодня, перед самым подъёмом, всех поднял с постелей нарастающий грохот. Домик покачулся, как корабль на волнах. Обломки полей сошлись, и прямо на лагерь пополз четырёхметровый вал рокошущего льда. Расстояние до него быстро сокращалось — 50, 40, 30 метров! Начало торосить уже не молодой лёд, образующийся в трещинах, а основную лыдину. Над лагерем поплыл тревожный звон рынды. Мы приготовились к худшему, но нам повезло — торошение вдруг прекратилось, и вот уже несколько часов длится эта внезапная передышка.

5 апреля.

То, что произошло сегодня, не скоро забудется...

Погода поутру прояснилась, и Трёшников полетел с Бабенко на поиски ледового поля, удобного для посадки самолётов (на старый аэродром надежды плохи). Вернувшись, Алексей Фёдорович зашёл к нам в домик.

— Вам придётся сейчас слетать на вертолёте вместе с Комаровым, — обратился он к Яцуну и ко мне. — Мы нашли хорошее поле. Длинное, широкое, в общем такое, о каком и не мечтали. Надо его обследовать...

В 19.00 мы поднялись в воздух. Потянулись бесконечные ледяные поля, с хребтами старых торосений, с хаотическим нагромождением лыдин, с чёрными лентами трещин и дымящимися разводьями, пропадающими за горизонтом. Нам было известно, что до нового аэродрома всего около 40 километров — 20—30 минут полёта. Конечно, мы понимали, что найти затерянную в океане лыдину, на которой «для заметки» оставлена бочка из-под бензина, — дело нелёгкое. Но когда прошёл целый час, а полёт всё ещё продолжался, нами стали овладевать сомнения: «А не заблудились ли мы?»

— Ну, как дела, Саша? — спросил Бабенко своего штурмана Александра Медведя.

Тот не ответил — всё его внимание было приковано к радиокompасу. А когда он поднял наконец голову, мы услышали:

— Надо садиться, Лёша. Радиокompас отказал. Мы сбились с курса...

И вот вертолёт садится на мощное паковое поле. Тучи, вдруг затянувшие небо, клубятся низко над головой, Медведю никак не удаётся «поймать солнце», чтобы вычислить координаты. Холодно. Мы бегаем вокруг машины, пытаясь согреться. В фюзеляже — минус 35°. Заново проверяется по карте маршрут — теперь уже с одной целью: найти дорогу домой. Мы снова поднимаемся в воздух, но лагеря нет и в помине. Через четверть часа Бабенко вновь ведёт вертолёт на посадку. Новая лыдина ещё более массивна, чем предыдущая. Метрах в ста от нас возвышается колоссальный десятиметровый вал осевших торосов, а за ним бесконечное нагромождение изломанного пака. Лёша беспокойно ходит взад и вперёд возле машины, по временам останавливается и, покусывая мундштук папиросы, вопросительно смотрит на Медведя.

— Что же, попробуем ещё раз... — говорит Саша. — Если минут через десять не найдём, сядем и будем ждать солнца. Тогда можно будет установить наше местоположение.

И мы снова летим.

Предупреждающе замигал красный глазок сигнальной лампочки: в баке остаётся 280 литров! Больше тянуть нельзя, надо немедленно садиться. А под нами разводья, разводья, едва прикрытые непрочным ледком, чистая вода или острозубые торосы. Положение становится серьёзным. Если через 15—20 минут нам не удастся сесть, то и знание координат уже не поможет — на обратный путь не хватит бензина... Бабенко

круто разворачивает машину и опускает её на открывшийся справа ровный массив старого льда.

Натягиваем на моторы чехлы, затыкаем окна сукном, выгружаем из вертолѐта на лёд всё лишнее: бочки, лопаты, буры, лампу подогрева... Надо готовиться к затяжной остановке. Кто знает, когда прояснится погода? В просветах туч мелькнуло солнце, и Саша Медведь лихорадочно ловит золотистый зайчик секстаном — только бы успеть определиться.

Тем временем мы вытаскиваем аварийный запас и, вскрыв крышки ящиков, выкладываем на пол вертолѐта их содержимое. Двадцать пять банок мясных консервов, двадцать пять банок сгущѐнного молока, два килограмма шоколада, килограмм масла, полкило грудинки, четыре пачки галет, немного какао, кофе, чая и соли.

— Надо разделить это добро на десять суточных порций, а там видно будет,— предлагает кто-то.

Все молчаливо соглашаются. В вертолѐте нашѐлся примус, две кружки и бидон для воды.

Присев на свёрнутые чехлы, Миша Комаров разбирает аварийную радиостанцию.

— На всякий случай надо посмотреть...

На корпусе жѐлтого ящика чернеет несколько ручек с надписями: «настройка», «автоматическая работа», «вкл.», «выкл.». Сбоку, в гнезде, укреплена рукоятка. Стоит надеть на неё шестигранный штырь и начать поворачивать, как загорится сигнальная лампочка: динамо дало ток. Если теперь выпустить антенну и перевести рычаг на «автоматическую работу», в эфир уйдут сигналы — СОС! Десятки раций примут их, на материке начнѐтся тревога, столько людей охватит волнение и беспокойство... Нет, только в крайней нужде можно прибегать к этому сигналу бедствия. А до крайней нужды нам ещё далеко — справимся сами. Если удастся связаться с лагерем и он окажется не слишком далеко, у нас ещё может хватить горячего.

Медведь, примостившись в тесном простенке, настойчиво зовѐт лагерную радиостанцию.

— Клепай, Саша, клепай... Должны же нас в конце концов услышать! — обнадеживающе твердит Бабенко, и Саша «клепает», не отрываясь...

Вдруг он замирает. Честное слово, Разбаш ответил! Остаѐтся «поймать солнце». Вскоре и это удаѐтся Медведю — он быстро вычисляет наши координаты.

Теперь можно греть моторы. На сорокаградусном морозе эта операция отнимает целый час. Наконец двигатель запущен. Гул мотора нарастает, и машина отрывается от льдины. Саша Медведь торопливо говорит: «Курс 275, полетели!»

Только бы хватило бензина, только бы дотянуть! Внизу снова сплошные разводья, свежие торосы. Четвѐртую вынужденную посадку совершать будет негде.

— Лагерь, вижу лагерь! — радостно кричит механик Кунценко, и мы принимаем к иллюминаторам.

Как забилось сердце при виде чѐрной полоски вдали! Она быстро делится на пунктирные чѐрточки домиков и палаток; показываются ряды бочек и штабеля ящиков. Вон и мачта видна. Ещё несколько минут, несколько минут... Бензина уже нет, но и путь кончен! Вертолѐт буквально шлѐпается на снег. Бабенко, переведя дух, вытирает катящийся со лба пот.

Всѐ население лагеря вышло нам навстречу. Мы отсутствовали почти восемь часов, и сейчас уже около трёх утра 6 апреля.

— Ох, и заставили же вы нас переволноваться, черти этакие! — говорит Вася Казинки, радостно хлопая нас по спине от избытка чувств.— Трѐшников за это время есю льдину сто раз ногами перемерил!

Алексей Фѐдорович, тяжело ступая, молча уходит в домик.

А теперь спать! Добравшись до постели, я засыпаю как убитый, едва успев раздеться.

6 апреля.

Как ни крепко спали мы, утомлѐнные приключениями, ночью несколько раз пришлось просыпаться. Льдину начало быстро разводять, и к 11 часам Разбаш бегал по краю трещины, сиюсья расслышать Матвсейчука, чья фигура исчезала в клубах пара,

поднявшегося над разводьем. А в 13 часов соседняя половина льдины сдвинулась к северу, и четырёхсотметровая гладь океана разделила лагерь. С вышки видна бесконечная лента воды, окружившая наш обломок с трёх сторон. Разводья быстро покрываются льдом. Там, где выглядывали успешные появиться первые нерпы, видны холмики, окружившие отдушины, пробитые их головами.

7 апреля.

Прилетел Перов. Садиться на наш слишком уж укоротившийся аэродром опасно. Машина совершила посадку в 35 километрах от станции; там будет перевалочный пункт — новый аэродром подскока.

10 апреля.

Всё новые и новые самолёты садятся на подскок. Они привозят бензин для очередной высокоширотной экспедиции, которая на днях начнёт научные работы в этом районе. А возвращаясь на Большую Землю, самолёты забирают из лагеря палатки, пустые баллоны, освободившееся оборудование. В течение трёх дней перевозки шли, как по расписанию. Но сегодня подскок сломало. Это произошло так быстро, что Перов едва успел взлететь — прямо через расширяющуюся трещину. Только к вечеру было найдено новое поле для аэродрома, на этот раз в 50 километрах от станции.

16 апреля.

Лагерь постепенно пустеет. Какое-то странное чувство сжимает сердце, когда подумаешь, что через каких-нибудь шесть — восемь дней мы навсегда покинем этот непрочный ледяной островок, так долго служивший нам пристанищем.

Недалеке от кают-компания расставлены в снегу таблички с надписями — «СП-5» «Диксон», «Москва», «Ленинград»: сюда сносятся и свозятся грузы, готовые для отправки по разным адресам. Исправное лагерное оборудование, запасное обмундирование, домики и палатки уйдут на новую льдину. Остатки продовольствия и аппаратура, нуждающаяся в ремонте, — на Диксон. Приборы, требующие сверки, — в Москву и Ленинград.

Каждые 40—50 минут у кают-компания, где разбита небольшая посадочная полоса, садится «АН-2». Михаил Николаевич Каминский — командир машины — торопит нас с погрузкой. На подскоке ждут тяжёлые самолёты, чтобы, забрав грузы, доставить их адресатам на материке.

День нашего отлёта назначен на 20 апреля.

Уже радисты демонтируют радиостанцию, и аэрологи, выпустив 749-й зонд, сворачивают своё хозяйство.

20 апреля.

Среди опустевшего лагеря осталась только кают-компания. В последний раз гидрологи измерили глубину — 3 458 метров — и улетели. Только астрономы и метеорологи ведут научные наблюдения до последней минуты.

Мы дрейфовали 376 дней.

Торжественно спускается флаг.

В 19 часов 12 минут последняя группа людей вылетает из лагеря на подскок.

Размашистым почерком Алексей Фёдорович делает последнюю запись в вахтенном журнале: «Вахтенный журнал закрыт. Начальник дрейфующей станции «СП-3» Трёшников».

И в это самое время, как бы приняв из наших рук эстафету ледяной вахты, советские учёные снова подняли флаг нашей Родины на 82-й параллели — на новой дрейфующей станции «Северный полюс-5».

...Самолёт ложится курсом на юг. Прощай, льдина!



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ ЛЬВОВ

☆

БОЛЬШОЙ МИР ГЕРОЯ

Вдумываясь в те критические замечания по адресу литературы и искусства, которые прозвучали с трибуны XX съезда Коммунистической партии в отчётном докладе ЦК КПСС, размышляя над тем, что необходимо сделать, чтобы произведения нашей литературы стали ещё богаче по содержанию и вышли бы — и по художественному мастерству — в первые ряды среди литератур мира, мы снова обращаемся к проблеме всестороннего и глубокого изображения героя — нашего современника, советского человека.

Большой мир героя... Мир, который включает в себя всю полноту его идейной, общественной, личной жизни в живом и неразрывном единстве, в многосложных связях с окружающей действительностью.

Требовать изображения этого большого мира в литературе — не означает ли это ломиться в открытую дверь, доказывать то, что уже давно доказано? Нет, не означает. Потому что до сих пор нередко появляются произведения, а вслед за ними и критические статьи, которые искусственно обедняют жизнь, сужают задачи и возможности литературы. Схематическая односторонность обычно связана с тем шараханьем из крайности в крайность, которое принесло немало вреда нашему искусству.

Так из справедливой неудовлетворённости книгами, которые за одностороннее изображение героев заслужили название «производственного романа» (вначале это определение звучало тематически, а потом стало звучать иронически), родилась мысль, что достаточно писателю перевести внимание — своё и читателя — из сферы практической деятельности персонажей в сферу их личных чувств, чтобы желанный успех был обеспечен. Предположение ошибочное! Оно

исходит всё из того же схематического разделения жизни, со всем её богатством и сложностью, на будто бы не связанные друг с другом, отдельно существующие темы. Но в подлинно художественном произведении, как в жизни, нерасторжимо слиты все стороны существования человека; его мысли, дела, чувства, его работа, дружба, любовь. Не проникнув в мир эмоций, переживаний, раздумий героя, невозможно раскрыть глубокий смысл его деятельности. Но, не нарисовав того, что он делает, нельзя передать и что он чувствует.

При этом созидательная деятельность человека — не фон, на котором он движется, а само существо его жизни!

В большом искусстве всех эпох, в произведениях, которые пережили время своего создания, человек выступает прежде всего в качестве участника общественной жизни, а «общественная жизнь, — как писал об этом К. Маркс в «Тезисах о Фейербахе», — является по существу практической».

Разве можно забыть, что и само искусство своим рождением на заре человеческого общества обязано труду? И древние песни — зародыш будущей поэзии — и древняя пантомима — прообраз будущего театра — возникали из желания изобразить трудовые процессы и помочь им. Конечно, чем дальше развивалось общество, тем сложнее становилась эта связь, но общественная деятельность человека всегда оставалась главной темой большого искусства.

Представим себе на мгновение, что зрителям трагедии Эсхила «Прометей прикованный» неизвестна его вина перед богами и его заслуга перед людьми. А ведь она состоит в том, что Прометей дал людям огонь, научил строить дома, управлять парусом, добывать руду. Исключим всё это, и трагедия перестанет существовать. Пред-

ставим себе «Человеческую комедию» Бальзака — «доктора социальных наук», в которой герои, сохранив свои чувства, лишатся своих профессий, своего общественного положения, и самые чувства испарятся, и эпопея перестанет быть эпопеей. Представим себе «Попрыгунью» Чехова, написанную словно бы Дымов — просто Дымов, а не превосходный врач, и рассказа этого не будет! Представим себе Нила из горьковских «Мещан», лишённого тех красок и черт, которые даны ему тем, что он машинист, человек, осознавший свою власть над металлом и машиной, и образ разрушится!

Но неужели авторитеты Эсхила, Бальзака, Чехова, Горького привлечены нами, чтобы защитить романы и повести, которые читатель неохотно читает, пьесы, которые зритель неохотно смотрит? Нет! Самые авторитетные авторитеты окажутся тут бессильными.

Некоторые писатели обвиняют критику: она-де злокозненно придумала термин «производственный роман» и «производственная пьеса» и этим отпугнула читателей от этих книг, зрителей от этих пьес, а литераторов от этой темы.

Не потому, разумеется, плохи плохие «производственные романы», что в них изображается труд, а потому, что их авторы словно забывали, что в процессе производства за отношениями вещей всегда скрываются отношения людей. Не за то следует упрекать иного литератора, что он привёл своего читателя в цех и подвёл его к станку, а за то, что он ввёл его сюда, как экскурсовод, показывающий техническое оборудование, а не как человек, раскрывающий сердца людей труда. И если некоторые из числа так называемых «производственных романов» критиковались потому, что их авторы не умели в производственном показать человеческое, то критика эта, думается, была справедливой.

Изображение практической деятельности человека (без которого не может быть настоящего произведения современной литературы) только тогда увлекает читателя на сопереживание, когда это изображение одухотворено и лирично. Об этом хорошо написал В. Ермилов, характеризуя книгу А. Малышкина «Люди из захолустья»: «Малышкину удалось рассказать о жизни, о мыслях и чувствах миллионов людей, потому что ему удалось глубоко проникнуть в мысли и чувства одного Ивана Журкина.

Ему удалось показать, что «железная чужбина» — не чужбина, а родина для миллионов людей, родина социализма, родина счастья, удалось потому, что любая мелочь, любая так называемая производственная деталь, рабочий инструмент, станки, машины — всё стало поэтически освоенным, горячим, живым; всё это возникает перед читателем, как живые, горячие знаки судьбы Ивана Журкина — судьбы, которой и мы, читатели, живём. А ведь в иных произведениях, ещё недавно имевших в критике наименование «производственных романов», железная чужбина так и остаётся только железной чужбиной, остаётся поэтически, человечески не освоенной, потому что авторы таких произведений не имеют своей темы-судьбы, темы-жизни, потому что они сверху и акладывают так называемую производственную тему на персонажей...»

Опыт Малышкина, о котором так сильно и увлечённо сказал критик, необыкновенно поучителен: душевный мир героев романа «Люди из захолустья» раскрывается в их общественной деятельности; меняются, растут, обретают крылья понятия о любви, о счастье, о дружбе, с которыми они вошли в книгу; строительство завода и куда более сложное, сопутствующее ему строительство характеров нерасторжимы в ней.

Стоит напомнить о Малышкине ещё раз: мы не решим наших сегодняшних литературных задач, анализируя несколько одних и тех же книг, появившихся за короткое время, не обращаясь к многолетнему опыту нашей литературы. В литературе работает, на читателя воздействует не только тот роман, поэма или пьеса, которые написаны вчера или сегодня, в этом или в прошлом году. Нет, конечно! В ней рядом с вещами, только что написанными, продолжают жить сегодняшней жизнью книги, созданные и много лет назад. Каждый год появляются читатели, в сознание которых лучшие книги советских литераторов входят впервые, воспринимаются, как современные. Опыт советской литературы, путь, пройденный ею, — это не только история, это — сегодняшнее достояние народа, его сегодняшнее богатство!

Приведём несколько примеров, перешагивая через рубрики хронологии и границы жанров и отнюдь не стремясь составить исчерпывающий список. «Темп» и «Мой друг» Н. Погодина, «Дорога на океан» Л. Леонова, «Моё поколение» Б. Горбатова,

«Время, вперёд!» В. Катаева, уже упомянутые «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Цейлонский графит» В. Гроссмана, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова, «Далеко от Москвы» В. Ажаева, «Журбины» В. Кочетова, «Искатели» Д. Гранина.

Главный герой всех этих произведений — человек интенсивнейшего накала общественной жизни, могучего созидательного темперамента! Литература, создавшая такие книги, может сказать о себе словами лирического героя Б. Горбатова: «Я хочу переделать все дела, сработать все работы. Я хочу искать нефть в Стерлитамаке и рыть канал на Беломорье, рубать уголь в Донбассе и мчаться на автомобиле по гудрону Крыма, валить лес под Архангельском и класть рельсы Донецкой магистрали, разносить почту по мордовским селениям, водить трактор, ладить сплавные плоты, бить щебень, трамбовать бетон, мёрзнуть в пограничной заставе,— я хочу стать мастером многих профессий, какие только есть на земле».

Произведения, только что названные, известны. Они переиздаются и перечитываются. Мне хочется напомнить о книге, несправедливо забытой, о «Большом конвейере» Я. Ильина. Эту книгу изредка упоминают в обзорах. В «Очерке истории русской советской литературы» ему посвящён один абзац: «К циклу произведений о труде в годы первой пятилетки примыкает книга Я. Ильина «Большой конвейер» (1933), оставшаяся незавершённой (писатель умер в 1932 году). Созданная в результате длительного пребывания Я. Ильина на Сталинградском тракторном заводе, во многом документальная, эта книга рассказывает о том, как советские люди осваивали новейшую технику, налаживали ритмичную работу конвейера, каков их духовный мир, представление о счастье. Произведение Ильина построено как хроника, как запись живых впечатлений автора. Но материал отобран недостаточно тщательно, многие характеры показаны схематично».

За строчками, состоящими из определённых столь серых и равнодушных, будто их написал не литературовед, а канцелярист, скрывается одно из сильных и глубоких произведений о первой пятилетке.

Опыт этой книги, как и многих других произведений, вдохновлённых подвигами партии и народа в первых пятилетках, поучителен для литераторов, работающих в годы шестой пятилетки. Существеннейшей

стороной этого опыта является то, что герой книги раскрывается в движении, в борьбе, в конфликтах, главным содержанием которых было историческое дело страны, строящей социализм,— преодоление вековой отсталости, создание индустрии, овладение техникой. И эти большие задачи времени герой ощущал как глубоко личные. Они составляли его внутренний лирический пафос. Мы ждём сейчас произведений, где с ещё большей силой тема созидательного труда прозвучит, как лирико-эпическая тема. И поэтому мы снова вспоминаем о книгах, написанных десятилетия назад, но которые могут служить примером в этом отношении.

Книга Я. Ильина рассказывает о последних месяцах строительства и первых месяцах освоения Сталинградского тракторного завода. Но как рассказывает! Драматические столкновения тех, кто хочет с первых же дней работы большого конвейера подчинить всё дисциплине плана и графика, с теми, кем овладела стихия штурмовщины и партизанщины. Трудности, в которых одни характеры выковываются, а другие — слабые — ломаются. Встреча деревенского паренёка, вчерашнего сезонника, с совершеннейшей техникой, хозяином которой ему предстоит стать. Борьба старого путиловского кадрового рабочего с анархизирующей стихией, пытающейся захлестнуть завод, дезорганизовать его работу и быт. Волнения и конфликты в среде инженеров. В их сознании опрокидываются привычные догмы, колеблются авторитеты, казавшиеся незбылемыми. Борьба с врагами. Перестройка заблуждавшихся. И всё это в движении, в столкновении, в сплетении и противоборстве человеческих характеров!

Яков Ильин не боялся повести читателя в литейный цех и рассказать ему, что значит замена ручной подачи литейной земли машинной, не боялся подвести к паровому молоту и показать, что чувствует человек, который впервые становится к нему, не боялся подробно объяснить, что такое для завода задел дефицитных деталей в период освоения и почему лихорадит конвейер в период пуска.

Он вёл читателя на заседание парткома, посвящённое внедрению хозрасчёта, делал его участником партийной конференции, обсуждающей вопросы новой техники. Дискуссион в среде инженеров, борьба течений в градостроительстве, конфликты, связанные с изучением и внедрением зарубежного технического опыта, быт молодого завода со

всеми его контрастами и сложностями, прозаические подробности работы фабриkkухни и трудности с жильём — всё стало строительным материалом романа.

И читателю всё это важно, всё это интересно, потому что герои Ильина, умные, горячие, влюблённые в своё дело люди, не только делают всё то, о чём мы сказали, но, как это и присуще советскому человеку, связывают своё практическое дело с большими задачами всей страны, проблемы овладения техникой и проблемы быта решают, как проблемы политические.

Пусть многое из того, о чём спорят, над чем бьются действующие лица «Большого конвейера», для нас решено, пусть некоторые страницы романа покажутся нам с той исторической вершины, на которой мы стоим сегодня, наивными. Нас не может не привлекать горячая атмосфера исканий, в которой живут герои романа, их активный общественный темперамент, то, как непосредственно и органично связываются в их сознании общие проблемы мировоззрения с повседневными делами тракторного завода.

Не случайно в последних главах романа мысли героев о делах и днях тракторного завода переходят в раздумья о путях истории, об отношении к культурному наследию прошлого, о судьбах поколения, о новом типе человека.

Герои этого романа отнюдь не книжные мечтатели, отнюдь не кабинетные теоретики. Они самые что ни на есть практики, строители первой пятилетки. Но, занимаясь своими практическими делами, они яростно спорят с теориями буржуазных философов и экономистов, испытующе сравнивают свой нравственный кодекс с кодексом Герцена и шестидесятников, вспоминают Маркса не только в порядке изучения на семинаре, а в ходе спора о смысле жизни, осознали себя наследниками, хозяевами всего великого, что открыто и сделано на земле, начинателями всего нового, ещё более великого, что им предстоит сделать.

Роман Якова Ильина «Большой конвейер», написанный куда менее опытным художником, чем «Люди из захолустья», близок ему широтой воплощения темы труда, значительностью общественной проблематики и потому — глубиной, богатством и сложностью душевного мира героя.

Вот чего нам так не хватает во многих книгах. И здесь стоит вспомнить один историко-литературный пример. Кому

известна сейчас фамилия французского писателя Пьера Ампа, кто читает произведения, им написанные? Наверное, только специалисты. А ведь было время, когда в вузовском учебнике западноевропейской литературы его книги объявлялись «истинным памятником во славу труда».

Как писал Пьер Амп о труде? Вот, например, его повесть «Рельсы». В ней со скрупулёзнейшими подробностями описана организация большого железнодорожного узла, охарактеризованы служебные отношения машинистов, стрелочников, контролёров, дежурных по станции. В ткань повести введены отрывки из железнодорожного устава. Некоторые главы представляют собой монтаж из газетных статей, другие содержат статистический материал. В книге нет действующих лиц, которые заслужили бы название художественных образов, характеры которых были бы раскрыты приёмами художественной прозы, нет ничего, что приоткрывало бы душевный мир людей, проходящих на её страницах, нет, наконец, организующего сюжета.

И этот плоский фактографизм в 1926 году вызывал восторги вульгарных социологов, провозглашался художественным новаторством, едва ли не образцом для подражания.

В учебнике В. Фриче «Западноевропейская литература XX века в её главнейших проявлениях» повести Пьера Ампа характеризуются так: «...люди у Пьера Ампа выведены не сами по себе, а лишь как придаток к производству; они и очерчены лишь с профессионально-производственной стороны — и вне профессии и производства не показаны... Нет совершенно традиционных героев, отсутствуют «он» и «она» и т. п. В каждом из его произведений — величайшее множество лиц, и ни одно из них не может считаться центральным. Некоторые лица появляются вначале и со середины исчезают, а в последних главах на сцену выступают новые, о которых вначале не было речи. Люди появляются обыкновенно вместе с новым моментом, наступающим в процессе производства данного продукта».

Вы полагаете, что это сказано, чтобы осудить такой художественный метод? Отнюдь нет! Это сказано, чтобы почтительно противопоставить Ампа «традиционной литературе» с её уже устаревшими-де художественными приёмами. Продолжим выписку, она поучительна: «Труд, производство, наука, отсутствие литературных вымыслов и прикрас, язык, составленный из техни-

ческих и профессиональных выражений, цифры и документы, стремление сблизить в максимальной степени изображение с изображаемым, поэтическое творчество с рационалистическим исследованием — таковы характерные черты производственных повестей Пьера Ампа, этого нового и оригинального повествовательного жанра, который, быть может, наиболее соответствует той стадии индустриально-технически-научного строя жизни и мышления, в полосу которого человечество вступило в XX веке и который завершится социалистическим преобразованием всех общественных отношений».

В повестях Ампа вульгарный социологизм хотел видеть произведения, наиболее соответствующие духу эпохи! На самом же деле они переносили в художественную литературу метод самого плоского буржуазного позитивизма, идеи самой примитивной фетишизации техники.

Не удивительно, что книги Ампа забыты, а «Крестьяне» Бальзака, а «Углекопы» Золя живут!

Стоит призадуматься над тем, почему именно вульгарные социологи восхваляли Ампа. Им казалось, что само обращение писателя к производству служит гарантией художественного новаторства и идейной прогрессивности произведения. Но это совсем не так, как доказывают хотя бы политические идеалы Ампа, считавшего, что технический прогресс сам по себе принесёт решение всех социальных проблем.

Можно было бы не напоминать об этом, если бы в иных наших книгах, когда дело доходит до изображения человека в труде, не появлялся снова унылый фактографизм, — а это отнюдь не столь безобидный художественный просчёт автора, как это может показаться.

Только пусть не будет отрицательное отношение к мелочной детализации в области техники понято как призыв отказаться от конкретности в изображении того дела, которым занимается герой произведения. Ничего подобного я не имел в виду. Среди многих недостатков фильма «Неоконченная повесть» один из наиболее существенных заключается в том, что создатели картины требуют от зрителей, чтобы они на слово поверили в творческие искания и одарённость его главных героев.

Окружающие говорят о Юрии Сергеевиче Ершове как о выдающемся конструкторе-кораблестроителе. С яростными упреками

нападает он на противника своей технической идеи, грозит ему изгнанием из конструкторского бюро, презрительно третирует его как труса и перестраховщика. А смысл технической идеи для зрителя остаётся вполне загадочным. Кажется, речь идёт о том, чтобы отказаться при проектировании корабля от боковых килей. Хорошо это или плохо? Поскольку Ершов положительный герой фильма, поскольку занят в этой роли популярный актёр, поскольку его оппонент наделён мало привлекательной внешностью, мы должны поверить (не разумом, потому что для разума пища в этой сцене нет, а эмоционально), что Ершов действительно является носителем новаторской мысли в кораблестроении. Конечно, в фильме нет необходимости решать проблему боковых килей, но непременно нужно найти черты и краски, которые заставят нас поверить в Ершова как конструктора; иногда же критики считают, что для этого достаточно показать темперамент героя.

В статье Н. Кладо «Человековедение — главная задача искусства» (журнал «Искусство кино» № 12 за 1955 год), где дана восторженная оценка этого фильма, между прочим, говорится: «Не может не покорить и сцена спора с конструкторами, где проявляется полностью могучий темперамент Ершова».

Однако нас интересует не только могучий темперамент. Яростно добиваться признания своей правоты, обрушивая на противника обвинения в трусости, может не только новатор, но и самодур. И чтобы отдать свои симпатии Ершову, мы должны если и не разобраться в его технической идее в деталях, то во всяком случае поверить в его искания, в напряжённую работу его мысли.

Нам могут возразить: ведь Ершов прикован к постели, как же могут авторы фильма показать его в труде, в деле, убедить, что он действительно крупный кораблестроитель, выдающийся, смелый инженер?

А разве полководческий талант Чапаева раскрывается только в тех сценах, где он ведёт войска в атаку? Нет. Ум, характер, талант этого героя мы в не меньшей степени увидели и в той сцене, где он объясняет свою точку зрения на роль командира в бою при помощи нескольких картофелин.

То обстоятельство, что Ершов как конструктор никак не раскрыт, быть может, не так уж важно для основной коллизии фильма. Но вот то обстоятельство, что врач

Елизавета Максимовна Муромцева не просто хороший, внимательный, но и талантливый врач, врач-новатор, составляет самое существо картины. Но и этому мы должны поверить на слово. Да, Муромцева очень красива, очень женственна. Она хорошо играет на рояле. Её любят больные. В неё влюбляется Ершов. Создатели фильма приглашают нас поверить, что коль скоро у неё есть все эти хорошие качества, значит есть и большой врачебный талант, значит она безусловно права, обвиняя в различных грехах своего коллегу, который не верит в то, что возможен благоприятный исход лечения Ершова. А тот, поскольку он мелковат в своих отношениях с Муромцевой и засыпает на симфоническом концерте, разумеется, неправ в медицинском споре. Какая странная логика!

Характерно, что единственная неоконченная линия в «Неоконченной повести» — это важное общественное дело Елизаветы Максимовны. Она решила добиться, чтобы предприятия не загрязняли воздух района дымом. Преуспела она в этом? Неизвестно.

Немало можно назвать повестей, пьес и особенно рассказов, где профессия героя, более того, его жизненное призвание существуют условно, обозначаются своего рода иероглифом. Если врач — белый халат, трубка, упоминание имени Павлова; если геолог — ковбойка, рюкзак, костёр и поиски чего-то скрытого в недрах.

Между прочим, иногда, особенно в театре, приходится слышать рассуждение, что в конце концов не так уж важно, чем именно занимаются персонажи, важны конфликты, переживания, столкновения вокруг этого дела. Неверное представление! В его основе лежит мысль, что дело человека и характер человека существуют сами по себе.

Разве мало в связи с этим можно назвать случаев, когда в художественных произведениях копыя ломались совсем не из-за того, из-за чего им следовало бы ломаться? Можно припомнить, например, книги, где положительные герсы, новаторы, какими они являются в изображении автора, ожесточённо разоблачая своих оппонентов, боролись за внедрение травопольных севооборотов и многолетних трав в местах, где, как показала жизнь, это вполне бесполезно. Можно вспомнить, как приблизительно, без подлинного знания изображены языковедческие споры в романе Г. Свицкого «Здравствуй, университет».

В этом случае, как и в других, сходных и, к сожалению, не столь уж малочисленных, писателей подводило и недостаточное знание материала — научного, народнохозяйственного — и отчасти предположение, что для книги важна самая общая форма конфликта — столкновение нового со старым, а конкретное содержание того, о чём именно спорят, что именно отвергают, что защищают стороны в этом столкновении, не столь существенно. Но ведь, не разобравшись в этом до конца, невозможно определить, где в споре подлинны новаторы, а где новаторы мнимые! И неумение глубоко разобраться в жизненном материале, лежащем в основе спора, готовность быстро и на веру принять то, что лежит на поверхности, это ведь тоже одна из форм отрыва литературы от жизни.

В лучших произведениях советской литературы профессия героя, дело его жизни, всегда раскрывается во всей конкретности и — главное — в неразрывной связи с его характером.

Разве учёная специальность Полежаева в фильме «Депутат Балтики» и пьесе «Беспокойная старость» безразлична для нас, разве для нас не важно, что он не просто некий хороший учёный и даже не просто знаменитый биолог, а человек, работающий в области, где близко смыкаются проблемы узкой специальности с проблемами философии естествознания?

Об этом свидетельствует его выступление перед матросами на, казалось бы, отвлечённую ботаническую тему, которую он связывает с горячей политической проблематикой, его монолог о красном цвете как символе жизни.

Разве для нас несущественно, что мы вполне конкретно, вполне отчётливо понимаем существо спора о двух проектах нефтепровода, в котором раскрывается характер Батманова в «Далеко от Москвы», что мы ясно видим трудности и масштаб его практической деятельности?

Разве можно представить себе конфликт, участником которого является Андрей Лобанов — герой «Искателей», — в отвлечении от того, чем занимается лаборатория, где развёртываются события книги?

Можем ли мы мысленно сделать леоновского Вихрова не лесоводом, а работником другой, пусть близкой, пусть смежной, области или даже лесоводом, но лесоводом вообще, как бываю в наших произведениях геологи вообще, инженеры вообще, лесово-

дом без той определённости во взглядах на проблемы лесоразведения, без тех глубоких познаний в этой области, которыми наделил своего героя Леонов, потому что сам обладает ими?

Думается, что в этих вопросах уже заключены ответы. Нет ничего ошибочнее предположения, что читателя интересуют лишь перипетии спора, а не его существо. Самоцельный спор — удел софистики.

Конечно, читатель бывает справедливо недоволен, когда автор, желая изобразить труд своего героя, начинает соперничать с ведомственными брошюрами и специальными учебниками, он против введения художественно неосмысленных технических подробностей. Но он только тогда сможет следить за борьбой и за исканиями героя в сфере его практической деятельности, сможет сочувствовать этой борьбе, сможет ощутить себя её участником, когда ему совершенно ясны и реальное содержание и общественное значение того дела, которым занят герой произведения.

Когда-то П. Павленко написал статью «Спор с автором». Отмечая многие сильные стороны повести Н. Емельяновой «Хирург» — малонизвестность и остроту материала, скупой и зрелый язык, меткость деталей, — Павленко говорит о том, почему его по большому счёту не вполне удовлетворяют образы центральных персонажей повести. Он пишет: «... окончив повесть, вы так и не можете сказать, положила руку на сердце, — чем же собственно так уж силен Пётр Александрович и чем слабее его Семён Иванович (хирурги, действующие в повести. — С. Л.). А не можете вы этого сказать потому, что не знает этого и сам автор. Он не вводит нас в глубины хирургического искусства, в его сокровенное «тайное тайных», что в данном случае совершенно необходимо».

Это важно прежде всего потому, что герои, прикованные автором к операционному столу, могут себя выразить только в своём искусстве, больше им нечем себя выразить, а книга должна была раскрыть нам творческую лабораторию врача-художника, врача-мыслителя».

Глубина изображения человека в главном деле его жизни, в труде-творчестве, за которую ратует Павленко, появилась бы, по его мнению, если бы в повести, во-первых, было раскрыто сокровенное «тайное тайных» профессии, а во-вторых (об этом он

говорит далее), если бы её персонажи были показаны в связях с жизнью, находящейся за пределами госпиталя.

Глубина раскрытия главного дела героев и многосложность связей этого дела со всей окружающей жизнью — вот путь к раскрытию душевной жизни современника, к созданию характера. Рецензия заканчивалась так: «Автор ещё не уверен, что он в состоянии создавать характеры, и ограничивается тем, что ведёт талантливый дневник, дневник занятий героев. Он — ещё описатель, а не строитель». (С тех пор как была написана эта доброжелательная в своей требовательности рецензия, Н. Емельянова создала много хороших произведений, и, думается, совет Павленко не прошёл для неё бесследно.)

Глубокое изображение общественного дела персонажей достигается там, где автор создаёт роман о героях, а не ведёт дневник их дел, где он не описатель, а строитель! Здесь стоит привести два контрастирующих примера — повесть Л. Соболева «Зелёный луч» и роман С. Колдунова «Солнце, которое не заходит» («Знамя» №№ 11, 12 за 1955 год). Сравнение особенно наглядно потому, что оба произведения посвящены жизни Военно-Морского Флота в годы Отечественной войны.

У Соболева счастливо сочетаются конкретность и точность в изображении дела героев, философская глубина и лирическая взволнованность в осмыслении этого дела. Персонажи повести не просто выполняют некое сложное «особое задание». Они участвуют в вывозке разведывательного десанта, описанной с точными и тонкими подробностями, которые свидетельствуют о доскональном знании материала. Эти достоверные подробности и нужны и интересны читателю, чтобы он не просто на слово поверил, а по-настоящему убедился, что задание было трудное. Ну, а более широкий, обобщённый план, стоящий за этим описанием, план философский, морально-этический, помогает ему, может быть, никогда не ходившему в атаку или ходившему в неё совсем в иных конкретных обстоятельствах, стать не только свидетелем, но и мысленным участником боя, примерить опасность к себе и себя к опасности, ощутить то, что составляет основу повести, — тему долга, подвига, воспитания характера.

Чтобы показать, как осуществлено в повести это единство, приведём страницу, где

речь идёт о первых командирских шагах Решетникова.

«Лейтенант Решетников только что вступил в тот счастливый период флотской службы, который бывает в жизни военного моряка лишь однажды: когда он впервые получает в командование корабль.

...Сколько бы раз ни привелось потом моряку стоять на других мостиках, какие бы огромные корабли ни водил он потом в дальние походы, даже тяжкая громада линкора не сможет заслонить в его сердце тот маленький кораблик, где в первый раз испытал он гордое, тревожное и радостное доверие к самому себе, поняв наконец вполне, всем существом, что он командир корабля.

Это удивительное, ни с чем несравнимое чувство приходит не сразу. Путь к нему лежит через мучительные, тяжёлые порой, переживания. Тут и боязнь ответственности, и опасный хмель власти, и неуверенность в себе, и борьба с самолюбием, и неудержимое желание найти советчика и учителя. Тут и долгие бессонные ночи, полные тревоги за корабль и отчаяния перед собственной неумелостью, ночи, когда мозг горит и в мыслях теснятся цифры и фамилии, снаряды и капуста, механизмы и человеческие судьбы — весь тот клокочущий водоворот трудно соединимых понятий, привести который в систему и направить не мешающими друг другу потоками в мерном течении нормальной службы корабля может только его командир — тот, кто из людей и машин способен создать единый, послушный своей воле организм, чтобы иметь возможность управлять им в любой момент боя или шторма.

Лейтенант Решетников и сам не сумел бы сказать, когда именно он поверил в себя как в командира.

Получилось так, что это особенное, командирское чувство сложилось в нём незаметно — из тысячи мелких и крупных событий, догадок, поступков, удач и ошибок. То, что мучило вчера, сегодня оказывалось будничной мелочью; то, что всякий раз требовало значительного напряжения воли и мысли, вдруг выходило само собой, автоматически, освобождая мозг для решения более сложных задач. Так, подходя однажды к стенке, он с удивлением заметил, что застопорил моторы и скомандовал руля как раз во-время, хотя все мысли его были заняты совсем другим — как разместить на катере десантников. И с этого дня он перестал готовиться «постом и молитвой» к ка-

ждой швартовке, которая обычно заставляла его ещё за пять миль до бухты мучиться в поисках той проклятой точки, где следует уменьшить ход, чтобы не врезаться в стенку, или, наоборот, не остановиться дураком дураком в десяти метрах от неё».

Конечно, не всякий читатель прошёл воинскую и офицерскую школу Решетникова. Почему же так близки, так понятны эти странности человеку другой профессии и другого призвания?

Да потому, что каждый испытал, как испытывают радости и тревоги первой любви, радости и тревоги первого в жизни большого самостоятельного дела; дела, когда проверяется характер, умение, воля; дела, когда держишь свой самый трудный, свой гражданский экзамен!

Роман С. Колдунова повествует о грозных годах войны, о трудных творческих исканиях офицера, который стремится поставить на службу Родине и победе не только своё высокое чувство долга и железную дисциплинированность, но и свой талант, свою боевую инициативу. Интересная, острая, внутренне поэтическая тема. Она важна и понятна не только для изображённых в романе военных лет и военной среды, но и для самых разных областей жизни в наше послевоенное время.

Но как сухо и вяло выражается эта тема в романе! Выступает Шатров — главный положительный герой повести, выступает, как утверждает автор, волнуясь, выступает с дорогими для него, выстрадавшими мыслями. И вот что и вот как он говорит.

«— К сожалению, некоторые истины, — говорил Шатров, — нуждаются в повторении, несмотря на свою очевидность, а может быть, даже именно благодаря этой очевидности. Они слишком легко забываются, а у тех, кто захотел бы их напомнить, всегда есть риск прослыть недалёкими или наивными людьми. Вряд ли, например, кто-нибудь из вас сомневается, что быть человеком самостоятельным и инициативным — это основное качество командира. А между тем неясность в вопросе о границах применения этого качества встречается на практике чаще, чем желательна... Некоторые штабные работники воспитывают офицеров так, что малейшее отступление от инструкции рассматривается ими чуть ли не как дисциплинарный проступок. Казённое отношение они отождествляют с исполнительностью, а соблюдение формальностей — с хорошей службой. Вот почему, я думаю,

будет небесполезным напомнить некоторые общеизвестные аксиомы. Первая из них та, что не существует правил и наставлений, пригодных для всех случаев жизни. И вторая та, что советский моряк и особенно советский офицер по самой своей природе не предназначены для роли слепых автоматов.

Таким же ровным, бесстрастным языком написана вся книга, и вся она представляет собой не более чем иллюстрацию к тем прописным истинам, которые высказывает Шатров.

Жизнь подводников описана в романе С. Колдунова, вероятно, с не меньшей фактической достоверностью, чем жизнь моряков, служащих на торпедных катерах, в повести Л. Соболева. Но второго глубокого плана, подъёма от специфического к общённому, к воинству—гражданину и человеку, в романе нет. В нём есть страницы и даже главы, посвящённые любви, дружбе, семье. Но они никак не сливаются в одно целое с эпизодами штабных совещаний, боевой подготовки и картинами боёв. Эмоциональная еухость и бедность книги особенно заметны там, где автор рисует сложную историю любви Шатрова к замужней женщине. Шатров и Ница — хорошие люди. То, что происходит с ними, даётся им трудно и больно. Но посмотрите, каким языком описываются и выражаются эти чувства.

«— Ничего, всё образуется, Нина,— бормотал он.— Вы добрая, вы хорошая...

Он полагал, что в подобном положении всякому порядочному человеку должно немного помучиться. Он твёрдо верил в право женщины отдавать свою любовь, кому она хочет. Ему казалось, что после этих слёз и душевных терзаний всё как-нибудь устроится.

Однако при прощании Ница сказала:

— Мне очень тяжело, Грица!.. В ближайшее время мы не будем видеться» (разрядка моя.— С. Л.).

Канцелярские обороты в речи любящих, примитивные описания их чувств заставляют думать, что сами герои — люди примитивные, душевно бедные. А ведь автор этого никак не желал.

Книге С. Колдунова — при самых достойных намерениях автора — не хватает поэзии подвига, поэзии раздумья, поэзии любви, и потому многие её главы выглядят как беллетризованное переложение уставов и газетных статей о боевом опыте. Но разве она одинока в этом своём качестве!

Вернёмся, однако, к повести Л. Соболева. Заметим, что её прозрачной поэтичности ничуть не повредили не только военные детали и подробности, но и подробности и детали быта. Впрочем, во всех тех хороших произведениях, которые были уже упомянуты, — в «Людях из захолустья», в «Большом конвейере», в «Танкере «Дербент» — быт написан точно и без прикрас.

Совсем недавно в иных статьях, справедливо напомиавших о главных задачах нашей литературы, вдруг снова появилась непонятная ирония по отношению к деталям быта в произведениях искусства. Конечно, мы против самоцельного бытописательства, против того, чтобы горизонт книги был замкнут стенами комнаты, чтобы бытие сводилось к быту. Но можно ли правдиво изобразить жизнь героя, искусственно освободив её от быта?

Припомним (для этого не надо особенно напрягать память!), в скольких произведениях недавних лет быта не было вообще, в скольких фильмах или спектаклях, где нельзя было не показать обстановку жизни героев, потому что люди должны же были двигаться в каком-то пространстве, они являлись обитателями роскошных палат.

Вспомним, наконец, как часто наша проза стыдливо обходила «прозу жизни». Но ведь высокомерно-пренебрежительное отношение к прозе жизни было всегда свойственно антиреалистическим направлениям в искусстве. Это в произведениях аристократически настроенных романтиков и возвышенно-мистических символистов персонажи ничем не питались, были одеты не в прозаические костюмы, а в абстрактные одеяния, проживали не в домах, а в воздушных замках!

В последние годы наше искусство и литература начали преодолевать пренебрежительное отношение к повседневному быту рядовых советских людей (лакировка жизни тоже была одной из форм этого пренебрежения), и вряд ли есть основания бить тревогу по поводу внимания к быту (если, конечно, оно не становится самоцельным).

Можно привести несколько поразительных примеров, как лакировочный подход к быту оборачивается художественной фальшью, вредит или может повредить самой идее произведения. Прошлым летом в журнале «Искусство кино» была напечатана деловая статья В. Васильева «Насушные вопросы производства и экономики». Автор не ставил своей целью эстетический анализ фильмов последних лет. Его задачей бы-

ло — проанализировать организацию производства и экономическую сторону подготовки новых картин. Приведём выписку из этой статьи: «...в картине «Сельский врач» (режиссёр С. Герасимов) для каждого персонажа планировалась пошивка семи-восьми костюмов, а для главной героини — восемнадцати костюмов общей стоимостью 21.000 руб. (это для врача-то, прямо со студенческой скамьи приехавшей в деревню!); для картины «Испытание верности» намечалась специальная пошивка ста семидесяти шести костюмов стоимостью 185.000 руб., в том числе для главной героини — двадцати костюмов стоимостью 22.000 руб., для главного героя — двенадцати костюмов стоимостью 16.000 руб. и т. д. Не зря зрители упрекают авторов фильмов за то, что киногерои всегда разодеты, как в выставочных ателье!»

Ещё одна поразительная цитата из этой статьи. Речь идёт о постановке фильма из жизни деревни, в котором, по предварительным намёткам постановщиков, «для избы бедняка намечалось шёлковых тюлевых занавесок на 2.000 руб.».

Быть может, несколько прямолинейно, но, пожалуй, справедливо В. Васильев делал из своих выкладок следующий вывод: «Постановочная сложность, помпезность, декоративное украшательство не только непомерно удорожают стоимость фильмов, но и с неизбежностью приводят к отступлению от жизненной правды, к лакировке действительности. Так с экрана уходит живая жизнь, и всё получается, «как в кино»...

Трудно с этим не согласиться. Разве мало мы видели фильмов, постановка которых стоила миллионы, а правды жизни в них не было и на грош!

Говоря об изображении быта в литературе, можем ли мы не задуматься над тем, что на XX съезде Коммунистической партии среди важнейших внешнеполитических, идеологических, организационных проблем с огромным вниманием ставились и решались вопросы быта советских людей: производительность рабочего дня, помощь в воспитании детей, пенсионное обеспечение, повышение зарплаты низкооплачиваемым рабочим и служащим, организация торговли, жилищное строительство, бытовое обслуживание. Да и как могло быть иначе на съезде партии, которая благо народа, благо трудящихся ставит высшей целью своей деятельности! Так разве может литература не заниматься этими сторонами жизни?

...Самолёт, взлетающий в воздух, разбегается по земле. Если не изобразить реальную почву дела, которое делает герой, и реальную почву его быта, вряд ли можно будет добиться окрылённого взлёта к большим художественным обобщениям. Но это сравнение можно продолжить. Фактографические книги, авторы которых никак не могут оторваться от протокольного описания профессии и протокольного описания быта, можно сравнить с самолётом, который не поднимается в воздух обобщения от взлётной полосы факта.

Во времена, когда проза жизни, когда общественное и практическое дело героя почти исключались многими из сферы художественного изображения, Огарёв сказал так: «Мы не устрояем — как ещё недавно было общепринятым мнение — возможность совпадения политического содержания с изящно-поэтической формой. Мы убеждены, что в неё способно облечься всякое живое содержание. Красота женщины, юлхание моря, любовь и ненависть, философское раздумье, тоска Петrarки, подвиг Брута, восторг Галилея перед великим открытием и чувство, внесённое в скромный труд Оуэна, — всё это составляет для человека поэтическое отношение к жизни. Математическая формула скорости падения тел, как общее отвлечённое понятие, остаётся сама по себе, в своей истине, помимо живого человека; но живая жажда знания, сила вдумывания, преданность Ньютона своей задаче — были поэзией его жизни и не враждебны кисти художника».

Как замечательно выражена в этих словах убеждённость передового искусства в том, что практическая общественная жизнь человека является сферой, доступной поэтическому изображению, и что задача искусства состоит в том, чтобы изобразить поэзию этого общественного дела!

Для нас неприемлемы книги, оторванные от реального дела героев, проникнутые беспочвенной мечтательностью и отвлечённостью мысли. Но и бескрылое делчество, перенесённое в литературу, никогда не создаст ничего значительного.

В статье уже был упомянут «Русский лес» Леонова. Почему эта книга вызвала такой интерес при своём появлении, почему она возбуждает желание снова и снова к ней обращаться? Думается, что среди многих причин следует назвать одну, весьма существенную: читателя привлекает и увлекает идейный мир действующих лиц, напря-

жённость и глубина их мышления, сложность и значительность проблем мировоззрения, которые они решают.

Лес в романе Леонова не только биологическое и экономическое понятие, хотя и с этих точек зрения он охарактеризован с необычайной полнотой и пластичностью; он — поэтический образ исторических традиций страны. Отношение к природе становится в романе символом отношения к духовному богатству, к культурному наследию. Так возникает в романе одна из его центральных сцен — спор в музее.

Сергей Вихров, с юношеской запальчивостью повторяя в упрощённом виде рассуждения вульгарных социологов и левовцев, иронизирует над восторгом отца перед Афродитой Милосской. Он говорит: «...какие же ведущие идеи нашего времени прельстили тебя в этом камне? Опять же, никакое произведение искусства не существует вне своей среды... так скажи мне, может ли данное служить мне хотя бы пособием к изучению той отдалённой эпохи? Автор кипел в самом котле жесточайших событий и не заметил ни зверства античного рабства, ни ужасов пелопоннесской войны, ни кровопролитных походов Александра. И вообще это темноватое словцо, отец: красота. Слишком уж часто оно служило маской неправды и преступления! Развалины всегда привлекательны в закате, но присмотришься, какие древние гады притаились в их щелях. Нет, в мою Элладу это не согдится. Всё ещё не сдаёшься, отец?»

Мы не можем процитировать весь спор. Но вот замечательный ответ Морщихина — человека зрелого ума, который не только заучил, но и принял всем существом ленинскую мысль о культурном наследии:

«Я хотел бы удержать вас от вредного удалства в отношении к таким неповторимымкладам прошлого, что образовались из миллионов безвестных человеческих раздумий и трудов... Это касается и наших собственных святынь, очагов национального самосознания. В этой статуе заключена вся ясность античной мысли, вера в красоту человеческого предназначения... тут-то и учтите жестокие условия времени, в которых создавалась эта материнская ладанка предков, повешенная на грудь потомков. Вдобавок, перед вами не аристократка... эта женщина, хоть и безрукая, проработала двадцать два века подряд. Некий Глеб Успенский на свиданья к ней ходил за лекар-

ством от житейских гадостей и говорил, что убить её — значило бы лишить мир солнца. Другой, к сожалению тоже неизвестный вам чудаки, Гейне, плакал на луврском диванчике перед ней... видимо, оба были послабже вас на слезу. Так не угодно ли вам заодно отшлёпать и их, молодой человек, благо мёртвые не сопротивляются? Но эти двое считали себя законными наследниками всего лучшего, скопленного исполнинским трудом предков...

Негромко, чтоб не нарушить музейной тишины, он заговорил о преемственности поколений, без чего всякую новую фазу пришлось бы начинать с изобретения огня и колеса».

Сознательному человеку, в какой бы области он ни работал, не может не быть присущ историзм мышления: ощущение связи своего дела, самой своей жизни с прошлым и будущим страны и мира. И наша литература призвана, изображая идейный мир героя, всячески воспитывать это чувство.

Субъективно идеалистическое представление о мире, который существует, только куда существует «я», выраженное в поэзии декаданса в печально известных строчках Фюфанова:

Покуда я живу, вселенная сияет,
Умру, со мной умрёт бестрепетно она...

в общественной практике оборачивается злостным индивидуализмом, мелкобуржуазным анархизмом. Изучение истории, мышление над историей, — конечно, в связи с живым участием в сегодняшних делах страны, — хорошее лекарство от этой болезни. А вирус индивидуализма, вирус мешанского потребительско-эгоистического отношения к жизни, хоть и в ослабленной, но достаточно вредоносной форме, проникает подчас и в сознание отдельных советских людей, в том числе и молодёжи. Ведь «плесень» — это, к сожалению, не выдумка фельетонистов. «Плесень» — вполне реальные плоды недостатков в воспитательной работе в широком смысле этого слова, в том числе и в той воспитательной работе, которую призвана совершать литература. О недостатках в воспитательной работе на XX съезде Коммунистической партии говорилось прямо и резко. И это относится и к литературе не в меньшей степени, чем к комсомолу, школе, культурно-просветительным учреждениям...

Но вернёмся к роману Леонова. Вдумываясь в те страницы романа, которые содер-

жат язвительную отповедь нигилизму недоучек, их дешёвому скепсису, вдумываясь в страницы, проникнутые трепетным уважением большого художника ко всем подлинным ценностям культуры, мы не можем не пожалеть, что наши писатели не так уж часто показывают философские раздумья и споры своих героев.

А разве перед современным человеком не возникают сложные вопросы мировоззрения? Только начётчики могут думать, что ученье марксизма-ленинизма даёт готовое решение для всех вопросов во всех областях практической и научной деятельности.

Жизнь каждый день ставит перед обществом, а значит, и перед всеми его сознательными членами, новые проблемы, выдвигает требование решить эти проблемы, руководствуясь методом и духом марксистского мировоззрения. Практическая проверка глубины и прочности философской, мировоззренческой закалки людей происходит в жизни постоянно, однако слишком редко отражается в литературе последних лет. Но разве наш современник, человек середины пятидесятых годов, живёт менее интенсивной умственной жизнью, чем герой романа Ильина, о котором мы говорили выше? Почему же герои Ильина — инженеры, конструкторы, партработники — так страстно, с такой личной заинтересованностью спорят и о трудах западных экономистов, и о путях развития современного романа, и о далёких перспективах техники и т. д., а во многих наших произведениях герои ведут себя так, словно им всё уже известно или всё неинтересно?

Думается, что всё это происходит потому, что писателям была свойственна та же самая робость мысли, о которой применительно к философам и экономистам говорил на XX съезде КПСС А. И. Микоян, вскрывая объективные и субъективные причины, её породившие. И критика слишком редко указывает на этот серьёзный недостаток, да и вообще слишком редко связывает анализ произведений с идейными проблемами современности.

Когда мы говорим о широте научных и философских интересов как одной из важных сторон изображения идейного мира героя, это совсем не означает требования, чтобы персонажи и авторы демонстрировали свою эрудицию (хотя, пожалуй, пора бы снять со слова «эрудиция» иронический оттенок, который ему иной раз придают лю-

ди, убоявшиеся бездны премудрости). Дело в том, что читателя привлекает книга, проникнутая атмосферой той напряжённой, сложной, кипучей умственной жизни, которой живёт современный человек.

Возьмём проблему, казалось бы, от литературы далёковатую. За последнее время, вначале в специальных изданиях, а потом и в популярных журналах, появились статьи об электронной автоматике — о машинах, которые молниеносно производят сложнейшие математические расчёты, переводят технический текст с одного языка на другой, осуществляют набор с оригинала, — то есть обо всех тех открытиях, которые объединяются понятием кибернетика.

Для нас, людей, стоящих на позиции материалистического мировоззрения, ясно, что создание этих машин, да и всей этой области науки в целом, ещё одно свидетельство безграничных возможностей человеческого разума, беспредельных перспектив познания. Ведь это же люди обосновали, ведь это же люди рассчитали, ведь это же люди построили все эти машины!

Самая сложная, самая головокружительно хитроумная машина не более чем продукт человеческого труда и его орудие. Так рассуждаем мы. Но по поводу электронных машин есть и другие рассуждения. В США выходит литературный журнал «Саттердей ревью». В прошлом году этот журнал посвятил специальный номер достижениям ядерной физики и кибернетики. В качестве эпиграфа к номеру были помещены следующие слова: «Современная промышленная революция неизбежно приведёт к тому, что человеческая мысль, по крайней мере в её наиболее простых и обыденных проявлениях, лишится какой бы то ни было ценности. Конечно, подобно тому, как высококвалифицированный плотник, высококвалифицированный механик, высококвалифицированный портной в какой-то мере смогли пережить первую промышленную революцию, так высококвалифицированный учёный и высококвалифицированный администратор, вероятно, переживут вторую. Однако, когда вторая промышленная революция будет завершена, средний человек со средними способностями, тем более человек со способностями ниже средних, не сможет продать ничего, что другому стоило бы купить за деньги».

Смысл и назначение этого пророчества вполне очевидны. Хотел журнал этого или не хотел, оно внушает «среднему» человеку

мысль о его ничтожестве перед лицом электронной техники, пугает будущим, когда всё то, чем он может зарабатывать себе хлеб насыщенный, станет делать машина, подсовывает ему между строк мысль, что ежели он в недалёком будущем останется без пропитания, то виноват в этом будет не социальный строй капиталистического государства, а машины!

Технические изобретения и научные открытия, которые могли бы явиться материалом для книг о торжестве человеческой мысли, всё чаще превращаются в буржуазной литературе в повод для создания глубоко пессимистических произведений, где машина торжествует над человеком, где человек повергается на колени перед роботом, где протаскивается реакционная мысль, что во всех бедах человечества виноват технический и научный прогресс.

Могли ли думать разрушители станков «луддиты» — участники первых стихийных рабочих движений, наивно обрушивавшиеся на машины, — что в середине XX века совсем не наивные буржуазные учёные и литераторы попытаются снова отвлечь гнев угнетённых от истинных виновников социального неустройства мира, направив его на машины, на технику?

Размышляет ли советский человек над этими сложными проблемами, где сплетаются история, философия, экономика? Конечно! В любой районной библиотеке, в любом клубном лектории вам расскажут, какой интерес вызывают лекции и книги, связанные с проблемами использования атомной энергии, электронной техники, происхождением земли, космическими путешествиями. И всё это интересует читателей не только с научно-технической стороны, но и со стороны философской, мировоззренческой.

А между тем эта сторона умственной жизни современного советского человека отражена в литературе лишь в очень незначительной степени и присутствует она главным образом лишь в книгах, действие которых происходит в научной среде.

Чтобы показать героя со сложным и богатым умственным миром, писатель должен быть сам на самой высокой высоте умственной жизни своего времени. Здесь снова не лишне вспомнить великие, но не стареющие примеры. Раскроем дневники Герцена наудачу в любом месте. Все значительные умственные течения, все открытия, все политические события современности вызывают отклик его ума и сердца. Он записывает в

дневник мысли о характерных чертах философии XVIII века, оценивает социальное значение перевода части крепостных крестьян на положение «временно обязанных», заносит в дневник свою оценку «Мёртвых душ», размышляет над утверждениями «молодых гегелистов в Германии», оценивает номера журнала «Дейче Ярбухер», сравнивает образы Фоскари у Байрона и Прометей у Эсхила. И это не просто записано в дневнике. Это пережито и персуслововано, будто всё, что происходит в России и во всём мире, в литературе, в науке, в политике и философии, тысячу кровеносных сосудов связано с сердцем писателя.

На это можно возразить, что дневники Герцена нам известны, а дневники наших современников, за редким исключением, ещё не стали достойным печатни. Но писатель пишет картину общественной жизни своего времени не только в личном дневнике, а прежде всего в том дневнике, которым являются страницы его произведений.

Как много великого и значительного произошло в идейной жизни нашего современника за последние годы! Партия решительно осудила культ личности и всё, что было порождено этим культом, разбудила новые источники кипучей инициативы масс, подвергла критике начётничество и догматизм, показала высокие образцы смелости и принципиальности — ленинской смелости и ленинской принципиальности — в решении самых сложных проблем современности.

И сейчас, как никогда, мы жаждем книг, герои которых жили бы яркой и сильной умственной жизнью, а таких героев может создать только литератор, находящийся на высоте идейной жизни своего времени!

...Снова и снова следует подчеркнуть, что хотя мы и рассматривали в этой статье сначала сферу практического общественно-го дела героя, затем сферу его, если можно так сказать, теоретических, размышлений, то это не более, чем неизбежное членение хода мысли. В жизни всё это существует неразрывно, слитно, во взаимопроникновении и живом единстве, составляя тот большой мир героя, изображение которого такая трудная и такая благодарная задача литературы. И если мы лишь сейчас переходим к сфере личных чувств героя, то это не значит, что мы рассматриваем их, как что-то отдельное от общественного — трудового и умственного — бытия героя.

В некоторых статьях, справедливо напомиавших о задачах литературы, связанных с большими делами народа, неожиданно прозвучало пренебрежительное отношение к теме любви. Это противопоставление связано всё с тем же, увы, ещё непреодоленным схематическим разделением литературы на книги, посвящённые производству, и книги, посвящённые личной жизни, в то время как в настоящей литературе есть книги, посвящённые человеку, во всех его общественных и личных взаимосвязях и отношениях.

«Мы не можем мириться с тем, — писал недавно в «Литературной газете» А. Черненко, — что отдельные наши товарищи по ремеслу вдруг начали тяготеть к литературному обозу, отказываются от разработки решающих тем современности, ограничивают свой талант, изображая лишь домашний быт, любовные переживания и цыца» (разрядка моя. — С. Л.).

Упрёк, безусловно, верен, если он касается литераторов, оторвавшихся от больших и острых тем жизни и изображающих «лишь быт». Но вряд ли верно пренебрежительное определение «любовные переживания», употреблённое безо всяких оговорок. Будет очень прискорбно, если оно войдёт в наш литературный обиход. Хочется думать, что это описка.

Но дело, конечно, не в этом неудачном определении. Полемически заостряя своё высказывание, направленное против тех, кто хотел ограничить сферу литературы одной только любовью, Герцен писал в статье «По поводу одной драмы»: «Монополю любви надобно подорвать вместе с прочими монополиями. Мы отдали ей принадлежащее, теперь скажем прямо: человек не для того только существует, чтобы любиться; неужели вся цель мужчины — обладание такою-то женщиной, вся цель женщины — обладание таким-то мужчиной? Никогда! Как неестественна такая жизнь, всего лучше доказывают герои почти всех романов. Что за жалкое, потерянное существование какого-нибудь Вертера, — чтоб указать на знаменитость; сколько сумасшедшего и эгоистического в нём, при всей блестящей стороне, которую всегда придаёт человеку сильная страсть! Не должно ошибаться: это блеск очей лихорадочного; он имеет в себе магнетическое, притягивающее, а между тем он выражает не огонь жизни, а пламя, разрушающее её. При всех поэтических выходяках Вертера вы видите, что эта нежная, добрая душа не может выступить из себя;

что, кроме маленького мира его сердечных отношений, ничто не входит в его лиризм; у него ничего нет ни внутри, ни вне, кроме любви к Шарлотте, несмотря на то, что он почитывает Гомера и Оссиана. Жаль его! Я горькими слезами плакал над его последними письмами, над подробностями его кончины. Жаль его, — а ведь пустой малый был Вертер! Сравните его или Эдуарда и всех этих страдателей с широко развёрнутыми людьми, у которых субъективному кесарю отдана богатая доля, но и доля общечеловеческая не забыта; сравните их с Карлом Моором, с Максом Пикколомини, с Теллем, наконец, с этим добрым патриархальным отцом семейства, с этим энергичным освободителем своего отечества. И, чтоб не обидеть Гёте, сравните с архитектором в «Wahlverwandschaft», и вы ясно увидите, что я хочу сказать».

Казалось бы, пренебрежительное отношение к любовной теме находит могучую поддержку в столь убийственном по содержанию и столь блестящем по форме высказывании. Но вот как заканчивает Герцен: «Любовь вошла великим элементом в их жизнь, но не поглотила, не всосала в себя других элементов. Они любовью не отрезались от всеобщих интересов гражданственности, искусства, науки; напротив, они внесли всё одушевление её, весь пламень её в эти области и, наоборот, ширину и грандиозность этих миров внесли в любовь». Так, даже предельно заостряя своё высказывание против тех, кто стремился ограничить сферу искусства лирической темой в узком понимании этого слова, Герцен завершает его выводом, показывающим, как сливаются темы гражданского и внутреннего мира человека, как одушевление и пламень любви вносятся в сферу «гражданственности, искусства и науки». Думается, что этой широте воззрений на природу образа литературного героя стоит у него поучиться!

Среди прозаических произведений последнего времени справедливо привлекли большое внимание читателей и вызвали добрые суждения критики повести В. Тендрякова «Не ко двору» и повесть С. Воронина «Неужная слава». В обоих произведениях положительный герой сталкивается с живучими и вредоносными пережитками в сознании людей. Молодой тракторист Фёдор Соловейков («Не ко двору») попадает в семью, одержимую жадной стяжания, злобно недоброжелательной к людям. В повести С. Воронина

на демобилизованный офицер Малахов приходит в столкновение с людьми, строящими свою славу на мнимом благополучии, на дутых успехах, на тех самых парадных рапортах, о пагубности которых так сурово говорилось на XX съезде Коммунистической партии. Таковы острые конфликты, которые лежат в основе обоих произведений. Но разве повести эти не стали бы менее значительными, если бы их центральные герои участвовали в этих конфликтах только разумом, а не сердцем, если бы их столкновения с окружающими не затронули бы мира тех самых любовных переживаний, о которых столь пренебрежительно отзываются авторы иных статей?

Ведь самое трудное для Фёдора Соловейкова это не только определить своё отношение к семейству Ряшкиных. Оно для него, в общем, ясно с самого начала. Самое трудное для него — определить своё отношение к жене, которая крепко связана с предрассудками своих родителей. А ведь Фёдор любит её, но, любя, не может не видеть, как много в ней ряшкинского, а видя, не может сразу порвать с ней, и всё это трудно, и всё это сложно, и конфликт, общественный в своей основе, проходит по самому сердцу. А Малахов? Он ведь тоже не просто спорит с Екатериной Романовной. Он спорит с женщиной, о которой мечтал на фронте, к которой вернулся с войны, спорит с любимой, желанной. И это тоже конфликт столько же общественный, сколько и любовный.

Так неужели же нужно все те страницы, где показаны горе, ревность, тревоги и колебания, предшествовавшие разрыву, объявить «переживаньями», недостойными внимания литературы?

И не потому ли киноработники, снимавшие фильм по повести Тендрякова, приклеили к личной драме Фёдора примирительный финал? Вероятно, его переживания показались им «переживаньями», с которыми можно особенно не церемониться.

Мы решительно отвергаем иронически-пренебрежительное, эстетски-высокомерное отношение к книгам, в основе которых лежит созидательный труд человека. Но, справедливо защищая эти книги от наскоков, не стоит вводить ироническую уничижительную терминологию применительно к теме, которую Маяковский назвал «Про это». Чтобы поднять тему труда, совершенно нет нужды принижать тему любви, и прежде всего не следует противопоставлять их.

Читатель ищет в книгах ответа на все сложные и волнующие его вопросы жизни, в том числе и на вопросы жизни личной. От того, что мы презрительно обзовём эти темы, они не перестанут существовать в жизни, следовательно, не перестанут возникать и перед литературой. И если большая литература не будет давать на них ответа, читатели, во всяком случае часть читателей, потянутся к литературе второсортной, которая действительно немедленно превратит чувства в «чувствица», а переживания — в «переживанья». Критика справедливо доказала, что «Елена» К. Львовой — букет пошлости. А между тем в иных библиотеках, книга эта — увя! — идёт нарасхват. Так третьесортная литература «заполняет пустоту», когда литература большая едва прикасается к целой области человеческих отношений.

Несколько лет назад в статье «Опошление важной темы» я резко критиковал роман Антонины Коптяевой «Иван Иванович». Я и сейчас считаю эту книгу слабой. Но когда я писал, что самый конфликт, лежащий в основе этой книги, надуман, что почва для подобных столкновений в жизни уже исчезла и что поэтому читателям роман Коптяевой будет неинтересен, я был, конечно, неправ. И когда мне довелось повстречаться с читателями многих и многих районных библиотек, постоять на выдаче книг, поглядеть записи в формулярах, пришлось убедиться — книга пользуется читательским спросом.

Значит, критикуя роман Коптяевой, нужно было говорить о том, насколько удачно или неудачно рассказано о разрыве людей, некогда любивших друг друга; насколько правильны или неправильны общественные выводы, которые подсказывает книга читателю; с какой степенью мастерства всё это выполнено, а не доказывать, вопреки очевидности, что такого в жизни не бывает, а если и случается, то читателю неинтересно.

В статье «Молодые силы советской прозы», опубликованной в прошлом номере «Нового мира», В. Ажаев пишет: «...писатель порою создаёт полнокровный «трёхмерный» образ, отнюдь не изображая своего героя влюблённым. У В. Овечкина его Мартынов показан преимущественно в сфере общественной деятельности». Это справедливо, хотя заметим, что прозрение жены Борзова, её разочарование в муже составляет важный драматический мотив очерка «Районные будни». Далее В. Ажаев

говорит: «Ставший нарицательным герой гранинских «Искателей» Андрей Лобанов «трёхмерно» вырастает перед читателями именно как деятель, как работник, а не как любовник или семьянин; Лобанов как раз наименее интересно показан в своих личных отношениях...»

Да, это всё справедливо, но разве же образу Лобанова или книге Д. Гранина в целом повредило бы, если бы этот герой был более глубоко показан в своих личных отношениях? Разве Лобанов удался писателю как деятель потому, что он ему не вполне удался как влюблённый? Конечно, нет. «Искатели» Д. Гранина очень хорошая, талантливая книга. В ней достаточно достоинств, чтобы не объявлять достоинствами её недостатки. Объективности ради следует сказать, что это невольное противопоставление появляется у В. Ажаева после совершенно справедливых слов об ошибочности схематического противопоставления личного и общественного.

Современный читатель благодарен книге, которая помогает ему разобраться в сложном и тонком мире интимных чувств, ну, а если писатели отмахиваются сами и призывают своих собратьев по профессии отмахнуться от такой мелочи, как любовь и связанные с нею переживания, третируют эти темы, как «заговскую проблематику», они не перестают от этого существовать.

Решится ли кто-нибудь обвинить Сергея Чекмарёва — автора удивительных стихов, дневниковых записей и писем — в недостаточной общественной направленности характера? Этот человек, каким он предстал перед нами со страниц документов, опубликованных четверть века спустя после его гибели, — воплощённое чувство советского патриотизма, действенного энтузиазма, комсомольского долга. И при всём том он весь во власти любви, постоянно ему сопутствующей, то светлой, то грустной, то способной обрадоваться милому пустяку, связанному с любимой, то возникающей в самую трудную и, казалось бы, в самую неподходящую минуту. И всё это слито в его характере и слито в его жизни. Но если скромные дневники скромного комсомольца Сергея Чекмарёва — недостаточный аргумент против тех, кто склонен трактовать любовные переживания как тему недостаточно почтенную, напомним слова Энгельса, который, говоря о поэзии Георга Веерта, требовал, чтобы пролетариат реабилитировал любовную лирику и, более того, ли-

рику страсти; напомним Маркса, который в ответ на вопрос: «Ваше любимое изречение?» — сказал: «Ничто человеческое мне не чуждо».

Арагон в своих статьях о Втором Всесоюзном съезде советских писателей, в которых очень много интересного, а много и спорного, заметил, что некоторые понятия повторялись в выступлениях столь часто, что их внутренний смысл как бы стирался. Среди таких понятий он назвал требование «многогранности» в изображении героя.

Дело не в словесном выражении, дело в том, что требование многогранности, полноты, всесторонности было действительно одним из самых активно выраженных творческих пожеланий участников съезда. Почему же его нужно было позторять снова и снова? Да потому, что мы ещё до сих пор не до конца преодолели тот схематический, доктринёрский взгляд на литературу, по которому книгу оценить стремятся не по силе и глубине её кокачного воздействия на читателя, а лишь по её теме, искусственно разъединяя в действительности слитые стороны бытия и размещая их по узким тематическим полкам, чтобы затем отдавать предпочтение уже не книгам, а полочкам!

Требование многогранности в изображении героя представляется бесспорным, хотя путь от теоретического его признания и до эстетического его осуществления труден.

Одна из таких объективных трудностей — мера таланта, понятие, которое в критических статьях употребляется крайне редко по соображениям, быть может, и весьма почтенным с точки зрения человеколюбия, но ничего общего не имеющим с настоящей оценкой книги. Но мы отвлеклись в сторону.

Итак, многогранность в изображении жизни героя, в изображении его большого мира.

Самоцельно ли это требование? Разумеется, нет. Оно в конечном итоге имеет в виду одну из важнейших задач литературы — задачу воспитательную, потому что книга, охватывающая образ человека целостно, глубже и сильнее захватит и поведёт за собой читателя.

И здесь стоит назвать, на мой взгляд, очень хорошую повесть Павла Нилина «Испытательный срок» («Знамя» № 1 за 1956 год). Казалось бы, что это всего лишь страничка из прошлого, всего лишь приключения двух совсем молодых парней, которые попадают на работу в уголовный розыск, мечтают о подвигах, а должны пере-

писывать старые протоколы и ездить по моргам. Первое задание, радость и тревога, связанные с ним, тревоги и надежды... Трудное учение в трудные годы на трудной работе... В повести есть превосходные бытовые зарисовки времени, более того, есть ощущение точно переданной его атмосферы, есть незатейливый детективный сюжет.

Но шире и значительнее всего этого глубокая внутренняя тема повести, её центральный конфликт. В чём же он состоит?

Для обоих молодых практикантов уголовного розыска — и для Егорова и для Зайцева — остаться на этой работе, а может быть даже выдвинуться на ней, в это нелёгкое время, когда в городе много безработных и ещё очень неясны перспективы на будущее, очень важно. И они относятся к своей работе с большим рвением, но вносят в неё вначале чуть заметные, потом всё более явные различные нотки.

Зайцев, которому всё здесь легко и быстро даётся, который скоро даже бывалых работников уголовного розыска удивляет своей смелостью и находчивостью, почти не задумывается над тем, во имя чего эта работа, какова её конечная цель, каково её политическое содержание. Для него происшествие или даже преступление, с которым он сталкивается, лишь эпизод в его служебной деятельности, лишь возможность проявить себя, показать, на что он способен.

Совсем иное дело Егоров. Неопытный, неумелый, застенчивый, он всё время старается связать своё скромное участие в работе уголовного розыска с мыслями о большой борьбе страны за нового человека, за лучшее будущее. То, что в образе Егорова существует как задаток, то в образе Жура составляет самое существо. Он всегда и прежде всего коммунист, а уже потом работник уголовного розыска. И отсюда подкупающая в его характере партийная ясность взгляда, железная принципиальность, кристальная чистота.

Черты честолюбия лишь слегка угадываются в образе Зайцева, а властолюбие показано лишь намёком, но мы можем представить себе, как развернётся этот характер, если жизнь не развенчает его индивидуализм, не отучит его от пренебрежения к людям, не накажет его за жестокость.

Так в повести о делах далёких лет, о людях, работающих в угрозыске губернского города, выступает большая и острая тема — столкновения духа честолюбивого ин-

дивидуализма с духом партийности, принципиальности, сознательной веры в людей.

И маленькая повесть становится шире и значительнее своих внешних рамок.

Антону Семёновичу Макаренко, так много размышлявшему над проблемой воспитания нового человека, нового общества и так много сделавшему для этого воспитания, принадлежат удивительные слова о коллективизме и индивидуализме. «...проблема личности, — говорил он, — может быть разрешена, если в каждом человеке видеть личность. Если личность проектируется только в некоторых людях по какому-либо специальному выбору, нет проблемы личности». Литературе нашей предстоит ещё немало сделать, чтобы развить эту большую тему. Мы упомянули повесть П. Нилина именно потому, что в ней звучит эта важная общественная тема.

Когда мы мысленно обращаемся к памятным дням работы XX съезда партии, мы снова и снова вспоминаем, какое большое место занимали в нём вопросы воспитания, особенно вопросы воспитания молодёжи. Товарищ Хрущёв сказал в своём докладе о том, как много ещё необходимо сделать для воспитания «строителей нового общества, людей большой души и возвышенных идеалов, беззаветно служащих своему народу, который идёт в авангарде всего прогрессивного человечества». В воспитании строителей нового общества почётное место принадлежит литературе. Быть может, сейчас, как никогда раньше, призваны писатели ощутить роль книги как учебника жизни в самом высоком смысле этого слова. И мы снова не можем не вернуться к примеру лучших произведений нашей литературы. «Выпускают ориентировочно 10 тысяч экземпляров», — обрадованно писал Николай Островский в 1932 году в письме к своему другу П. Новикову. Во многих миллионах экземпляров вышла с тех пор его книга «Как закалялась сталь», но и сегодня она в любой библиотеке открывает список книг наибольшего читательского спроса!

В чём же тайна её исключительного успеха?

Выбирая путь в жизни, вырабатывая своё отношение к окружающему, формируя характер, молодой человек ищет примеров. Книга для него больше, чем просто чтение. Она участник того постоянного диалога с жизнью, который ведёт молодость: как сделать, чтобы жизнь не была прожита бес-

цельно, что такое подвиг, почему любовь — это так прекрасно, но передко так трудно? И у молодёжи, да и не только у молодёжи, у всякого человека, который продолжает процесс самовоспитания, — а настоящий человек продолжает его всю жизнь, — особенный успех имеют книги, отвещающие на самые большие, самые сложные вопросы.

Роман Николая Островского «Как закалялась сталь» — произведение, которое едва ли не с наибольшей полнотой показывает, как книга превращается в учебник жизни. Только не нужно принимать тезис великих критиков — книга «учебник жизни» — слишком буквально, не нужно представлять себе при этом назидательную книгу с настоятельными прописями.

Если определить тему романа «Как закалялась сталь» самым широким образом, то это будет борьба молодого человека за осуществление своих идеалов.

Но ведь история молодого человека, показанная как история взаимодействия его идеалов — философских, политических, этических — с действительностью, его окружающей, не есть ли это одна из главных тем мировой литературы, магистральная тема европейской прозы XIX—XX веков?

Утраченные иллюзии... Нет, это не только название одного из гениальнейших произведений, не только итог столкновения с действительностью Люсьена де Рюампре. Эти два слова — лейтмотив того, что написано многими большими писателями прошлого — отдалённого и недавнего — на эту тему.

Печально правдивый заголовок романа Бальзака не может не восприниматься как эпиграф к историям многих молодых людей — от стэндалевского Жюльена Сореля и Германна из пушкинской «Пиковой дамы» до драйзеровского Юджина Витлы, до киплингговского Дика Хельдера.

Самоутверждение путём индивидуалистическим, поиски счастья для себя одного приводили к тому, что внутренний мир человека сжимался, как кусок волшебной шагреевой кожи.

Роман о молодом человеке буржуазного общества был чаще всего романом о том, как человека побеждают, или о том, как человек сдаётся, как его надежда на честное самоутверждение оборачивается иллюзией, но и иллюзия утрачивается. Он был романом о том, как гаснет свет. Так назвал свою лучшую книгу Киплинг.

Анна Зегерс, рассказывая года два назад со страниц «Литературной газеты» о своих

творческих планах, сказала между прочим: «Думая о путях европейского романа в конце XIX века, нельзя не заметить, что крупнейшие романисты России, Франции и других стран снова и снова обращались к теме борьбы с наполеоновским деспотизмом и с идеологией завоевателя, созданной этим деспотизмом. Меня поразило в своё время, что роман Толстого «Война и мир» впервые был напечатан в журнале «Русский вестник» одновременно с романом Достоевского «Преступление и наказание» и что, при всём различии этих произведений и мировоззрения обоих писателей, каждый из них по-своему выражает отрицание наполеоновской завоевательной идеологии «сильной личности», ставящей себя над обществом. По-своему эта большая тема занимала и воображение Стендаля». Это — тонкое и точное наблюдение! Образ молодого человека, вступающего в неравную борьбу не для того, чтобы изменить общество, а для того, чтобы изменить своё собственное и только своё собственное место в нём, — этот характернейший образ в литературе XIX—XX веков создал немало поистине трагических фигур.

Но вспомним, что, разъясняя замысел серии романов «История молодого человека XIX века», издававшейся по его инициативе, Горький подчеркнул, что чем дальше буржуазное общество уходило от своего раннего героического периода, тем больше мельчал и вырождался образ молодого индивидуалиста. И это, конечно, так! Недавно мы смогли прочитать в переводе на русский язык замечательный рассказ выдающегося исландского прозаика Халлдора Лакснесса. Рассказ называется «Наполеон Бонапарт». На грани XIX и XX веков юноша из глухой исландской деревушки решает стать великим человеком, полководцем и завоевателем, повелителем людей — новым Наполеоном... Он покидает родину и в трюме иностранного парохода — безбилетным пассажиром — отправляется в дальние страны, надеясь, что добьётся там власти над людьми — единственной формы счастья, которую он может себе представить. Проходят годы, и он вновь появляется на острове в рубище бродяги, голодный, с кровотокающими ранами, выплунутый большим миром, покорить который он собрался. Когда его спрашивают о его имени, он величественно отвечает: «Я Наполеон Бонапарт!» Рассказывает об одержанных победах, о поработённых народах, о дани покорности и трепета

страха, повергнутых миром к его стопам. Так он и доживает свою жизнь безобидным деревенским сумасшедшим, весь во власти иллюзорных представлений о наполеоновском величии и своём человеконенавистническом триумфе над людьми. И только перед смертью — в момент последнего, но уже бесполезного прозрения — Йон Гудмундсон вспоминает своё настоящее имя и понимает, что сам загубил свою жизнь.

История Гудмундсона воспринимается как гротескно-пародийный вариант образа юноши, мечтающего о наполеоновском пути самоутверждения. Она беспощадно рассказана Лакснесом. Так реалистическая литература современности завершает тему молодого индивидуалиста.

Но если образ молодого индивидуалиста в мировой литературе в полном соответствии с исторической правдой мельчал и вырождался, то в противовес ему всё сильнее, всё ярче, всё значительнее становился иной образ — образ борца за прогресс, за свободу, борца не за своё индивидуальное счастье, а за счастье всего человечества.

И если бальзаковское название «Утраченные иллюзии» воспринимается как лейтмотив всей галереи образов индивидуалистов, то лейтмотив великой плеяды борцов слышен в замечательных словах Джордано Бруно, который дал своему философскому трактату заглавие «О героическом энтузиазме». В этом трактате, который и века спустя поражает силой выражения непреклонной свободолюбивой мысли, как о нравственной норме человека говорится о героическом энтузиазме, предпочитающем смерть бесславной капитуляции перед врагами передовых убеждений.

Вот как это звучит: «...героический дух довольствуется скорее достойным падением или честной неудачей в том высоком предприятии, в котором выражается благородство его духа, чем успехом и совершенством в делах менее благородных и низких... Нет сомнения, что лучше достойная и героическая смерть, чем недостойный и подлый триумф».

Спартак Джованьоли, Овод Войнич, Уриэль Акоста Гуцкова, Миссирилли Стендаля — вот несколько образов из той плеяды героев, которые пленяли сердца не одного поколения молодёжи, потому что жизнь каждого из них озарена отсветом того же героического пламени, что бушует в философском трактате Джордано Бруно.

Особенно сильно звучит эта тема — тема героического энтузиазма, тема бескомпромиссной борьбы — в литературе русской.

Вспомним необыкновенно простую и скромную и вместе с тем символическую в своей значительности страницу из мемуаров Герцена «Былое и думы». Как часто западноевропейский роман XIX века изображал молодого человека, только что приехавшего в столицу. Он глядит на огромный город, раскинувшийся под горой у его ног. Он всматривается в скопище домов, размышляет о страстях, бушующих под этими крышами, о преступлениях, сокрытых в закоулках города, о богатствах, накопленных за его каменными стенами, и думает: чтобы не пропасть, чтобы не исчезнуть, чтобы не раствориться бесследно в этом городе, он должен ворваться в него подобно пушечному ядру... Сколько клятв любой ценой добыть себе славу, завоевать деньги, почёт и власть было произнесено на страницах этих романов у заставы, через которую герой входил в город, на холмах, откуда он смотрел на него! И вот другая сцена: «В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку... Отец мой, как всегда, шёл угрюмо и сгорбившись; возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовнёй. Мы ушли от них вперёд и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьёвых горах.

Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас; постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и, вдруг обнявшись, присягнули, в виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу...»

Целые поколения русской, да и не только русской, молодёжи обращались к роману Чернышевского «Что делать?». Он не только ставил перед юностью этот вопрос, но и отвечал на него со всей силой убеждённости, со всей ясностью, на какую был способен писатель и революционер тех времён.

И было ещё одно обстоятельство, необыкновенно усиливавшее воспитательное значение книги Чернышевского. Читатель знал, что слово и дело её автора едины, что он не выдумал высокое мужество своих героев, а сам наделён им в высокой степени, что здесь прославляет борьбу не сторонний созерцатель, но борец!

Бесконечно дорогое читателю единство художника с выражаемым им идеалом особенно полно сказалось в том, что читатели название горьковской «Песни о Буревестнике» — название гимна во славу грядущей революции — перенесли на него самого, нарекли его буревестником революции.

В этом горьковском стихотворении тема героического энтузиазма, нарастающая на всём протяжении XIX века и ставшая ведущей темой русской литературы, гремит с торжествующей силой.

Вот та линия развития, на протяжении которой возник образ Павла Корчагина — героя романа Николая Островского «Как закалялась сталь». Эта книга воспринимается молодёжью как учебник жизни, потому что пронизана героическим энтузиазмом. Ясность мироощущения, огромная нравственная стойкость, органическое чувство своей связи с коллективом, с товарищами, со всей страной — вот качества, подсказавшие Островскому гениальные слова, которые стали высоким воплощением морального кодекса советского человека: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...»

Когда мы размышляем над большими задачами, стоящими сегодня перед нашей литературой, над задачами, связанными с воспитанием, мы снова и снова думаем о том, как необходимы книги, где героический энтузиазм созидателей будет побеждать дешёвый скепсис эгоистов, где духовное богатство индивидуальности, живущей в коллективе и для коллектива, будет торжествовать над нищетой индивидуализма.

Когда мы вдумываемся в задачи шестого пятилетнего плана, определённые XX съездом партии, когда размышляем над формулами, в которых сжато выражена суть шестой пятилетки — преимущественное развитие тяжёлой промышленности, непрерывный технический прогресс, повышение производительности труда, крутой подъём сельского хозяйства и на этой основе повышение благосостояния народа, дальнейший расцвет

советской культуры, — мы видим за этими формулами неоглядные горизонты, широкий простор для труда и творчества, для дерзания, для подвига.

Чем сложнее и чем прекраснее задачи, которые решает в шестой пятилетке советский народ, тем большие надежды возлагает он на литературу и искусство, тем большие требования предъявляет к писателям и книгам.

Постоянный призыв «ближе к жизни!» означает не только желание увидеть оперативный отклик литераторов на практические дела сегодняшнего дня, хотя такой отклик — боевой очерк, газетное стихотворение, рассказ-разведчик темы — нужен и важен. Но по большому счёту требование «ближе к жизни!» означает прежде всего желание, чтобы литература глубоко, всеохватно, полнокровно, не упрощая сложного, не замалчивая трудного, с ясным ощущением исторической перспективы, рождала в читателях волю, энтузиазм, передала бы всё поистине новаторское значение периода, который мы переживаем, — в его великих задачах, в его славных делах, в его окрылённом порыве.

Создать книги, которые останутся в нашей литературе на годы и десятилетия, заняв в ней по праву место рядом с лучшими книгами, прославившими подвиг первых пятилеток, — благодарная задача и трудная, конечно. Но «где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?»

Итти вперёд непроторённым путём, а не топтаться в кругу привычных схем и застаревших представлений — это и есть само существо жизни литературы, которая призвана отразить сознательное историческое творчество народа-строителя.

Размышляя сейчас над путями создания образа нашего современника во всём богатстве и полноте его жизни — над изображением его большого мира, его мыслей, его чувств, — мы с радостью видим, что сама жизнь властно зовёт сейчас писателей к смелости, к новаторству, к новым дерзаниям на дороге к вершинам мирового художественного творчества.



ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

г. Саратов,
Вольская ул., д. 18/2, кв. 31
Рязановой Екатерине Михайловне

ПО ПОВОДУ РАССКАЗА Е. РЯЗАНОВОЙ

Уважаемая Екатерина Михайловна!

Я знаю Ваши рассказы, многие из них, например, такие, как «По-настоящему прочно», запомнились мне, и, судя по откликам, они «дошли» и до читателя.

Теперь Вас уже нельзя рассматривать, как начинающего автора: Вы член Союза писателей, уже издана книга Ваших произведений. Всё это может только порадовать тех, кто следил за Вами, начиная с первых Ваших творческих шагов.

Но естественно, что уже с большей требовательностью подходишь к новым Вашим вещам. Вот мне и захотелось, используя трибуну «Нового мира», поделиться с Вами некоторыми соображениями по поводу Вашего рассказа «Последнее испытание», опубликованного в книге № 22 саратовского альманаха «Новая Волга».

На мой взгляд, в рассказе «Последнее испытание» есть немало хорошего — того, что ощущалось и в первых Ваших произведениях.

Вас попрежнему интересует жизнь рабочих людей, причём Вы стараетесь показать многогранность этой жизни, раскрыть душевный мир Ваших героев.

Интонация Ваших рассказов свободна от той «возвышенной», а по сути дела холодной риторики, которая, к сожалению, нередко звучит в произведениях на производственную тему. Своих героев Вы стремитесь нарисовать прежде всего живыми людьми с их индивидуальными особенностями, иногда слабостями, подчас заблуждениями. В то же время Вы не упускаете того главного, что в конечном счёте определяет жизненный путь Ваших героев, формирует их внутренний мир. В тех Ваших произведениях, которые мне известны, это преданность делу коммунизма, органическая близость каждого трудящегося с производственным коллективом. Та же примерно тема развёртывается в Вашем рассказе «Последнее испытание», о котором я и хочу поговорить.

Рассказ, в общем, читается, как принято выражаться, «легко». Довольно значительное его содержание Вам удалось развернуть на тринадцати страницах. В рассказе как будто всё на месте. Есть сюжет: отличному производственнику, творцу тонких механизмов Алексею Прошину вскружила голову пришедшая к нему «трудовая слава»; он стал запивать, да так, что его вынуждены уволить с завода. Но в последний день своего пребывания на заводе Прошин, рискуя жизнью, тушит возникший в цехе пожар и тем самым снова получает признание коллектива. Снова открывается перед Прошиным прежняя честная, трудовая жизнь...

Соблюдена в рассказе и известная живость диалога, почти всегда во-время прерывающего описания, встречаются выразительные строчки, меткие эпитеты, как, например, такой: когда тушили пожар, то «огонь отступал, увёрты в а л с я».

И всё же, несмотря на частные удачи, несмотря на остроту сюжета, рассказ читаешь без того душевного волнения, с которым было бы естественно читать произведение на подобную тему.

Думается, происходит это потому, что к подлинному, живому материалу Вас на этот раз не подпустили некие уже «олитературенные» представления, а порой и прямые штампы. В этом рассказе, многое верно наметив, Вы всё же не сумели раскрыть простую, а поэтому такую впечатляющую правду жизни, правду человеческих характеров.

В чём же заключается порой весьма ошутимая «олитературенность» «Последнего испытания»? Ведь она создала преграду между Вами и читателем.

Прежде всего она в излишне явной за да н н о с т и темы. В рассказе «Последнее испытание» Вы не избегли некой хрестоматийной слащавости, хотя и прилагали все старания её избежать.

Словно под рукой опытного постановщика, Ваши герои послушно выполняют всё то, что по авторскому замыслу они должны выполнять.

Как, например, увязать, что замечательный мастер своего дела, не жалеющий сил на тяжёлый, сложный труд, Алексей Прошин так легко превратился в запойного пьяницу? «Такие случаи бывают», — возразите Вы. Конечно! Это хорошо, что Вы не закрываете глаза и на такие горестные случаи. Но тут как раз и возникает сложнейшая для писателя задача — создать характер Прошина таким, чтобы мы увидели и поверили, что именно этому характеру оказалась свойственной подобная «слабинка». Простите за великий пример — в своё оправдание замечу, что это пример для всех нас, — но как глубоко, психологически убедительно Л. Толстой объяснил такую «слабинку», скажем, в характере Поликушки.

Думается, Ваш рассказ звучал бы сильнее, если бы для грядущего исправления Вашего героя Вы привлекли бы не «внезапно» вспыхнувший в цехе пожар, а нечто несравненно более повседневное и простое. Как увлекательно для художника показать те в н у т р е н н и е силы, которые всё же присущи Прошину, в е д и н о б о р с т в е с его «слабостью». Какой благодарный материал для интересного психологического рисунка!

Но Прошин обречён выполнять свою роль, так как это нужно автору короткого и поучительного рассказа.

Эти же жёсткие каркасы авторской схемы проступают и в облике «положительного» парторга завода Григория Ивановича Панкова, и «ершистого черноусого» мастера Васильевича, и «вихрастого» Володьки, и добродетельной жены Прошина, Ксении, глаза у которой «одновременно и ласковы и серьёзны». Когда-то Антон Павлович Чехов составил шуточный список того, «что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.», — это была остроумная опись скомпрометированных литературных банальностей его времени. Здесь были: «Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты... Герой — спасающий героиню от взбешенной лошади... Белокурые друзья и рыжие враги... Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину... Нечаянное подслушиванье, как причина великих открытий», и т. д.

В сравнительно короткий срок наросли новые банальности, которых следует остерегаться писателям наших дней. Вот у Вас вахтер — «пожилой, суровый мужчина», конечно, при случае «усмехается в седые усы»; технический секретарь, машинистка Сонечка «бойко выстукивала что-то на машинке», она же, «просунув в щель кудрявую (обязательно! — В. Г.) голову, с к о р о г о в о р к о й (тоже обязательно! — В. Г.) произнесла...»; мастер Иван Васильевич «всегда хранит на усатом лице выражение строгости, важности» и «поглаживает рукой свои чёрные усы и седую голову», а маленькая дочь Прошина, Маринка, говорит или «сердито, по-взрослому», или «щебечет». Впрочем, и то и другое её состояние оставляет читателя холодным, потому что это описание идёт от литературы, от слишком явного желания растрогать читателя, н а в я з а т ь ему авторскую эмоцию, а не в ы з в а т ь её из глубины его сердца.

Прошу извинить меня, что снова ссылаюсь на А. Чехова, но мне кажется, что это естественно, поскольку речь идёт о маленьком рассказе, непревзойдённым мастером которого он был. Вспомните, как он говорил писательнице Л. Авиловой: «Чем чувствительнее положение, тем холоднее следует писать и тем чувствительнее выйдет. Не следует обсахаривать». И настойчиво, очень настойчиво, предостерегал от всевозможных «рутинных приёмов», от литературно заштампованных выражений: «афиша на заборе гласила», «бледное лицо, обрамлённое тёмными волосами»...

В Вашем же произведении, где речь идёт о н о в ы х рабочих новой страны и даже н о в о й техники, многое сказано вот такими стёртыми, до полной невыразительности заштампованными фразами: «смотрела с портрета к а к ж и в а я», «подавить в себе прилив горечи и обиды», «звучный низкий голос спрашивал с х в а т а ю щ е й

за душу грустью», «Володя... с ужасом смотрел на огонь» и через три строчки: «Володя с ужасом смотрел Алексею в лицо», «волосы на голове Алексея зашевелились» и, наконец, заключительный аккорд рассказа: у Вашего героя Алексея Прошина «глаза вдруг повлажнели и стали по-детски светлыми».

Как ослабляет впечатление от Вашего рассказа то, что Вы отклоняетесь от чеховской заповеди: о «чувствительном» писать сдержанно, «почти протокольно».

А вот когда Вы упоминаете о том, что рабочему близко по самому роду его деятельности, что является результатом его напряжённого труда, Вы не находите ничего, кроме безликого слова «продукция».

«Сюда давайте! Здесь г о т о в а я п р о д у к ц и я!» — кричит, «задыхаясь от дыма», Алексей пожарным, «Володя стоял у верстака с готовой продукцией», «Алексей всегда любил рассматривать готовую продукцию» и т. д.

Повторяю, всё это не значит, что в рассказе «Последнее испытание» совсем нет свежих строк, живых наблюдений. Так, например, и драматично и психологически верно то, что неожиданно вспыхнувший пожар в цехе «вихрастый» Володя хотя бы на мгновение приписал пьянице Прошину и тот, «будто споткнувшись», прочитал в глазах Володи это оскорбительное подозрение.

Если говорить о композиции Вашего рассказа, следует заметить, что Вам, возможно, лучше было бы ограничиться тем или иным его моментом, развить его, углубить, не пытайтесь всё рассказывать «в последовательном порядке».

Начав же свой рассказ с размышлений парторга завода Григория Ивановича Панкова, с описаний его кабинета, секретарши Сонечки и т. д., Вы невольно увлекаете читателя в сторону, заставляете предполагать, что и в дальнейшем Панков будет центральной фигурой повествования.

Вот почему, как это ни странно, Ваш маленький рассказ местами кажется растянутым. Думается, что Ваше «Последнее испытание» могло бы стать несравненно сильнее, если бы, отбросив всё лишнее, чувствительное, ненужное, Вы сосредоточились на чём-нибудь одном: Панков — Прошин, или Прошин — семья, или тот же «пожар в цехе» (поскольку уж Вам захотелось внести в повествование и этот «эффектный» момент).

И всё же, несмотря на те недостатки, которые, как мне думается, сильно снизили художественную силу и правду рассказа, Ваше неизменное стремление, осязаемое и в «Последнем испытании», писать о людях труда, об их повседневной жизни и работе — ценно и плодотворно. Но тем более важно Вас предупредить: предмет Вашего творческого внимания требует, чтобы о нём говорили словами точными и свежими.

Думаю, Вы такие слова найдёте.

Желаю творческих успехов.

Валерия ГЕРАСИМОВА.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Письменный. Повесть о гуманности. — **Б. Бялик.** Ошибка Геннадия Гора. — **Н. Грибачёв.** Степь и человек. — **И. Рахтанов.** Для любого возраста... — **М. Чарный.** Вдохновение и упорство. — **И. Лежнев.** Биография Чернышевского. — **Л. Копелев.** Летопись отчаяния и страха. — **Говард Фаст.** Литературная трагедия.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук **Е. Черняк.** Из истории международных литературных связей. — **В. Корнилов.** Послевоенная Корея. — Заслуженный деятель науки профессор **А. Цейтлин.** Путь учёного — Доктор географических наук **Э. Мурзаев.** Географические исследования в Китае. — Инженер **М. Голей.** Издание второе, ухушенное.

Литература и искусство

Повесть о гуманности

В жизни двух молодых людей происходит важнейшее и вместе с тем не бог весть какое хитрое событие: они поступают на работу. Но дело всё в том, что устраиваются они на работу в особенное учреждение — в уголовный розыск большого сибирского города — и в особенное время — в годы становления Советской власти, суровой борьбы с бандитизмом, в период непманского разгула, материальной необеспеченности большинства населения.

Они совершенно разные, эти два молодых человека. Один, Егоров, наивный, тихий, очень душевный парень. Он настолько стеснителен и скромн, что в дежурной комнате угрозыска его легко принять не за сотрудника, а за потерпевшего.

Другой, Зайцев, его прямая противоположность — хваткий, расторопный, быстро осваивающийся в любой обстановке, лишённый каких бы то ни было сомнений, колебаний. Пока Егоров в ожидании поручений сидел в дежурной, Зайцев уже побы-

вал на четырёх происшествиях; встретив в коридоре торговку, пришедшую заявить о краже со взломом, подверг её допросу, прежде чем отвести к дежурному по городу; успел перезнакомиться с сотрудниками угрозыска, раздобыть пригласительные билеты на праздничный вечер, «взяться» на комсомольский учёт, получить комсомольское задание.

А примут ли их на работу — ещё неизвестно. В губкоме комсомола по ошибке написали две путёвки на одно вакантное место, и молодым людям назначен испытательный срок.

Развитие и становление характеров двух юношей, тяжёлая и опасная работа в уголовном розыске, выявляющая душевные качества человека, работа людей, очищающих молодое советское общество от грязи, — таково содержание небольшой повести Павла Нилина «Испытательный срок».

В чём своеобразие и прелесть этого произведения? Идеиная целеустремлённость, ясность замысла, раскрытого в очень конкретной «земной» обстановке, живая непосредственность авторской интонации, точ-

ность психологического рисунка — вот достоинства повести, покоряющие читателя.

В повести «Испытательный срок» не происходит каких-нибудь чрезвычайных событий, читатель не найдёт в ней каких-нибудь сюжетных хитросплетений; в ней нет и намёка на детектив, несмотря на все соблазны этого жанра. Но это не только не ослабляет читательского интереса, а, напротив, в данном случае усиливает его, придавая естественность, правдивость описываемым событиям. С сочувствием и важными для себя эмоционально-идейными выводами следит читатель за развитием действия.

И хотя в повести нет открытого конфликта между действующими лицами, и даже Егоров с Зайцевым, поставленные в положение «конкурентов», не проявляют себя как борющиеся друг с другом силы, повесть глубоко драматична. Драматизм её состоит в решении вопроса: в чём сущность подлинно революционной гуманности и революционного насилия?

Зайцев точно создан для работы в угрозыске. Он рвётся «к деятельности, бурной, рискованной, головокружительной, готовый хоть сейчас поставить на карту всю свою восемнадцатилетнюю жизнь». Его влечёт сыскная романтика. Он не только быстро осваивается в угрозыске, хотя пребывает ещё в положении стажёра, но и выказывает определённые способности в сыском деле, и старшие товарищи по работе называют его уже «огневым пареньком».

А у Егорова для работы в угрозыске нет призвания, как без обиняков определяет уполномоченный Воробейчик, невзлюбивший Егорова с первых же минут. И действительно, сыщицкая романтика Егорову в сущности ни к чему. Ему просто нужна работа, зарплата, чтобы помогать сестре Кате, у которой трое малых ребят и нет мужа. С детских лет Егоров хорошо знает все тяготы жизни трудового человека, но, прочтя в одной книжке, что человек создан для счастья, как птица для полёта, он прочно уверовал в эти слова и даже выписал их в тетрадку. До своего прихода в угрозыск Егоров, однако, не подозревал, сколько в одном лишь городе может быть несчастий. Сидя в дежурке угрозыска, он впервые в жизни задумывается о том, «откуда появляются воры, грабители, убийцы или вот такие женщины, как эта, что стоит сейчас у стола дежурного в сбивой на затылок шляпке и рыдает, и сморкается, и

опять рыдает?» И Егорову неловко признаться, что его печалит судьба этих людей, «словно они ему родные, словно он, Егоров, чего-то недоглядел, и вот из-за этого произошло несчастье или ещё произойдёт».

Доброта Егорова иногда ставит в тупик даже секретаря партийной организации Жура. И правда: то Егоров, беспокоясь, чтобы не простудился на сильном ветру пойманный бандит, вдруг сам подаёт ему пальто, то он забирает к себе домой, в до-бавление к трём голодным катинным детям, обнаруженного в воровском притоне брошенного мальчика Кешу. Что это — непротивление злу, всеядность, неуместная жалость?

Нет, такое впечатление может возникнуть только у хлыщеватого, равнодушного Воробейчика. По мере развития образа, всем ходом повествования читатель убеждается в том, что различие между человечностью и мягкотелостью Егоров со временем поймёт, но именно он, с его добрым, отзывчивым сердцем, с его глубоко гуманистическим взглядом на мир, именно он хорош для работы в уголовном розыске, потому что, как говорит Жур, «никому не интересно мусор убирать. Но кому-то же это надо делать пока. И надо учиться так делать, чтобы мусор убирать, но самому не измараться...»

А Зайцев, смелый, находчивый Зайцев, с первых же шагов выказывающий «сыщицкие» способности, мгновенно завоевавший симпатию Воробейчика, да и не только Воробейчика, но и Жура, всем развитием своего характера начинает внушать сомнения: соответствуют ли его «таланты» облику подлинного советского работника уголовного розыска?

Прямого осуждения Зайцева читатель в повести, пожалуй, не найдёт. Зайцев действительно находчивый, смелый, да и безусловно честный человек. И вместе с тем атмосфера осуждения незримо присутствует и постепенно сгущается вокруг него. То это насмешливая реплика Жура, когда Зайцев крадётся во время операции и как-то странно горбится и озирается: «Ты что думаешь, ты похож на Пинкертона? Ты сейчас на собаку-ищейку похож. А человек должен всегда походить только на человека...» То это замечание Воробейчика о том, что Зайцев мировой парень. «Вы не смотрите, что он стажёр. Мы все ещё на-

служимся под его начальством. Вот припомните мои слова. Он далеко пойдёт...»

Тонкими, выразительными штрихами автор подводит читателя к мысли, что именно Егоров, мягкий, чувствительный Егоров, прав в своём отношении к реальному миру, а Зайцев не прав, потому что он умеет точно и чётко соблюдать инструкцию, но не способен «согласовывать инструкцию со своим умом, со своей совестью и с сердцем...», как говорит ему однажды Жур. И почти так же одобрительно, как и Воробейчик, относившийся к нему Жур в дальнейшем поставлен перед необходимостью вместе с читателем резко осудить Зайцева за его бездушие, склонность к безапелляционному, формальным решениям. С преступниками нечего церемониться, считает Зайцев. «Убийство за убийство. Я бы даже и разбираться не стал...». «Видишь, Серёга,— трогает его за колено Жур.— Это вот они, Фриневы, не разбирались. Они хапуги, жулики, воры и убийцы. А мы представляем здесь наше государство. Оно нас обязало разбираться...». «Но ведь сказано: карающий меч революции,— напоминает Зайцев». «Меч, ведь он очень острый, Серёга,— ходит по узенькой своей комнатке Жур.— Особенно, если он карающий. С ним требуется большая осторожность. Очень большая осторожность. Нам наша партия на это прямо указывает...». «Но партия не указывает цацкаться со всякими отравителями,— возражает Зайцев.— Когда я ещё хотел поступить в уголовный розыск, у меня было такое представление, что здесь в случае чего сразу кончают...». «Тогда ты ошибся, Зайцев,— вдруг останавливается Жур и смотрит на Зайцева в упор. Лицо у Жура становится каменным.— Тогда тебе всего лучше было пойти в палачи...»

Таково распределение света и теней в повести «Испытательный срок». И то, что Жур не поставлен в позу руководителя, безупречно знающего все причины и следствия и изрекающего истины наподобие непогрешимого оракула, а порой сам ищет ответа на поставленный жизнью вопрос, придаёт ему особую живость и привлекательность.

Вообще образ Жура — большая удача П. Нилина. Сын бондаря, бывший молотобоец, посланный партией на работу в уголовный розыск, он изображён в повести как умный партийный руководитель, мудрый воспитатель, сильный своим партийным сознанием.

В положении, в котором находится Жур по отношению к двум юношам стажёрам, он легко мог впасть в пресный, надоедливый дидактизм, ничего не говорящий ни уму, ни сердцу. Автор сумел уберечь Жура от этой пагубной черты.

В повести П. Нилина происходят события, отдалённые от наших дней более чем на тридцать лет. Только что разгромлены банды генерала Пепеляева, но его единомышленники ещё орудуют в окрестностях города, внушая кулакам и изпманам надежду на возвращение старого порядка. Только что в далёкой Лозанне убит Воровский. В большом сибирском городе — безработица, убийства, кражи, нужда. Но ярко освещены витрины частных магазинов, в ресторане «Калькутта» всю ночь гремит музыка, в казино идёт крупная игра. Людям старшего поколения хорошо ещё памяты характерные для тех дней и внезапные ночные перестрелки между преступниками и агентами угрозыска, и диспуты «Был ли Христос?» с участием А. В. Луначарского и митрополита Введенского, и старые кинокартины с названиями, вроде упомянутого в повести: «И сердцем, как куклой, играя, он сердце, как куклу, разбил».

Но, несмотря на эти точные и выразительные приметы времени, «Испытательный срок» не кажется читателю произведением историческим. Оно звучит сегодня со всей эмоциональной, идейной злободневностью. Сегодня, когда преодолено подавляющее большинство трудностей, стоявших перед героями повести, это давно прошедшее время, время становления Советской власти, объединяет с нашими днями стремление к одной цели, общей для всей почти сорокалетней истории Советской страны. Эта общая цель — перестроить испокон веков сложившуюся жизнь на разумный и справедливый, коммунистический лад. Именно поэтому мысли и чувства героев П. Нилина близки и дороги читателям, живущим в нашем сегодняшнем социалистическом обществе.

«В этом городе всегда, как во всём мире, были воры, грабители, убийцы. Но должны ли они быть всегда? Всегда ли сильный будет обижать слабого? Слабый всегда ли будет хитрить, чтобы обмануть сильного? Всегда ли человеческую жизнь будут омрачать звериные нравы?!» — вот к чему сводится в сущности художественная идея повести. И на последней странице эта идея

как бы резюмируется в словах Жура, обращённых к Егорову: «Это очень приятно, что ты уже закончил испытательный срок. Но все главные испытания впереди. Нас теперь с тобой будет испытывать сама жизнь. До самой смерти, однако, будет испытывать. Со всей строгостью...»

Было бы неверно представить дело так, что всё безупречно в повести П. Нилина. Придирчивый критик может упрекнуть автора в том, что иногда интонационная, в духе мышления Егорова, манера изложения несколько огрублённо подчёркивает несущественные для психологии героев детали, допускает тавтологию. Например, П. Нилин пишет: «Они ещё в тринадцатом году, в тысяча девятьсот тринадцатом вместе работали в экипажной мастерской», — точно речь могла бы идти о тысяча восемьсот тринадцатом годе. Или П. Нилин пишет: «На узкой деревянной лестнице было темно. Пахло мышами и лекарствами» — и уточняет: «Мышами сильнее», — хотя эта подробность художественного значения не имеет, это уж так, завиток, кокетство интонацией.

Упрёк можно предъявить автору и по

поводу неясности, какими мотивами руководствовался Воробейчик, настаивая, чтобы с последним, решающим заданием Егорова послали в казино, на так называемый «Золотой стол». Читатель знает Егорова как честного, неподкупного человека. Если Воробейчик по своей склонности к цинизму и неверию в добрые качества людей сомневается в неподкупности Егорова и для этого хочет искушить его, то об этом, вероятно, следовало бы сказать точнее, а не ограничиваться констатацией факта. В противном случае у читателя возникает впечатление, что Воробейчик в последний момент изменил своё дурное отношение к Егорову, что психологически неверно.

Но все эти мелкие погрешности не могут, конечно, повлиять на общую положительную оценку повести П. Нилина.

Повесть о гуманности советского человека, кто бы он ни был, какой бы работой ни занимался, в какое бы время ни протекала его деятельность, всегда будет встречена с большим интересом нашими читателями.

А. ПИСЬМЕННЫЙ.

★

Ошибка Геннадия Гора

Небольшая, но содержательная повесть Геннадия Гора сразу овладевает вниманием читателя. Автор ведёт нас на исторический факультет университета и знакомит с разными представителями археологической науки. Перед читателем проходят и старые, заслуженные профессора и овладевающие азами археологии студенты. Рядом с честными талантливыми учёными, которые пролагают новые пути в науке и задают тон в коллективе факультета, читатель видит проникших в этот коллектив ловкачей и карьеристов, живущих чужими наблюдениями и крадеными мыслями. Рассказ о том, как профессор Орочев написал диссертацию для своего бездарного в науке, но весьма предприимчивого ученика Степанова и как тот (в порядке благодарности) чуть не обвинил в плагиате самого Орочева, — этот рассказ интересен и поучителен. Автор понимает (и показывает это), что людей, подобных Сте-

панову, в нашей научной среде не много. Но это его не успокаивает. Он ставит своей повестью вопрос: почему же всё-таки эти люди могут спокойно пребывать и даже иной раз преуспевать в наших научных учреждениях? Почему им иногда удаётся подолгу оставаться неразоблачёнными и мешать развитию передовой науки?

Отвечая на этот вопрос, Геннадий Гор делится с читателем наблюдениями, которым нельзя отказать в меткости. Он показывает, как помог Степанову заместитель декана Захар Захарович Овчаренко — человек, которого как учёного и педагога никто в грош не ставит, которого все считают пустым болтуном, но держат на ответственном посту для того, чтобы сваливать на него все неприятные административные дела. Такие люди есть, и нельзя не согласиться с автором повести, что эти деятельные бездельники приносят немало вреда. В сущности оказывает помощь Степанову и профессор Андрухин, который легко мог бы вывести его на чистую воду, но не хочет, боясь, что эта «скучная канитель» может отвлечь от творческой работы. Он

Геннадий Гор. Ошибка профессора Орочева. Редактор И. Меттер. 196 стр. «Советский писатель». Л. 1955.

успокаивает свою совесть такими рассуждениями: «Я учёный, а не прокурор... пусть занимаются разоблачением прохвоста те, у кого есть на это время...» Да, так рассуждают иногда и очень большие учёные, со званием выше профессорского... И уж конечно, возвышение Степанова — вина, а не только ошибка профессора Орочева. Большой вред приносит стремление многих научных руководителей во что бы то ни стало «дотянуть» любого «своего» аспиранта до учёной степени, даже в том случае, если выяснилась полная неспособность этого аспиранта принести пользу науке.

Всё это заставляет задуматься. Во всём этом много правды. И читатель уже готов благодарить автора за смелость, за активное вмешательство в жизнь и даже готов простить ему отдельные неудачные обороты речи, как и целый набор сентенций, отнюдь не украшающих повесть («Девушки, как правило, не любят слишком счастливых, одержимых своими знаниями или занятиями людей»; «От ненависти и презрения иногда бывает не так далеко и до восторга»; «Между образом жизни и течением мысли, несомненно, существует взаимное влияние»; «Да, странно устроена жизнь»; «Да, на свете много странного»; «Да, на свете случаются подчас странные вещи!»; «Да, жизнь полна противоречий»; «Жизнь сложна, подчас печальна»; «Интересно устроена жизнь...» и т. д. и т. п.).

Но одно обстоятельство вызывает у читателя недоумение, которое усиливается с каждой новой прочитанной страницей: в повести Геннадия Гора есть ряд несомненных, трудно объяснимых противоречий.

Прежде всего остаётся всё-таки неясным, насколько велик тот «подарок», который сделал профессор Орочев своему ученику. С одной стороны, как будто очень велик. Автор повести утверждает, что «степановская» книга — это «лучшее, что создал в жизни» Орочев. Далее выясняется, что это не только лучший труд Орочева, но и труд, открывающий совершенно новую главу в его научной деятельности, да и в науке вообще. Недаром Степанов получает после издания «его» книги столько восторженных писем из всех уголков страны. Недаром в печати эту книгу теперь противопоставляют трудам Орочева. «Что Орочев! — говорит один из студентов, и это мнение разделяют многие. — Устарел! После книги Степанова кто станет читать его статьи?»

С другой стороны, орочевский «подарок» оказывается не таким уж огромным. Довольно быстро становится ясно, что Степанов носит «костюм с чужого, орочевского, плеча», что в его книге «слишком явна связь с концепциями Орочева». Это замечает и часть студенческой молодёжи. Конечно, бывает и так, что одни что-то видят, а другие не видят или не хотят видеть. Но как быть с тем, что сам автор видит это по-разному? Умный и честный юноша Рязанцев, прочитав книгу Степанова, пишет ему: «...Ваша книга написана неровно... удивительно неровно. В ней есть не только отдельные неудачные страницы... Есть просто провалы». Степанов весьма обеспокоен: значит, читателям видна разница между главами, написанными Орочевым, и другими, которые написал сам Степанов. Но Геннадий Гор по этому поводу замечает: «Сгоряча Степанов забыл, что в этих главах, подвергавшихся неоднократной переработке, от него, от Степанова, осталось всего несколько фраз». Так что же осталось в книге от самого Степанова: несколько фраз или целые страницы и даже «просто провалы»? Недоумение усиливается от того, что в другом месте Геннадий Гор, словно забыв о написанном ранее, утверждает, что Рязанцев, любивший спорить с авторами на полях их книг, «не посмел сделать ни одного критического замечания» на полях степановской книги — так она ему вся понравилась. Откуда же взялись выводы того же Рязанцева о «провалах»?

Само по себе всё это не так уж существенно. Мы могли бы предоставить разбор этого дела Высшей аттестационной комиссии, куда поступают все защищённые — правдой или неправдой — диссертации. Однако непоследовательность Геннадия Гора не случайна. Он колеблется в оценке «подарка» Орочева потому, что колеблется в оценке самого Орочева и, главное, в оценке его преуспевающего ученика — Евгения Архиповича Степанова. Что Степанов плохой человек и что он глубоко антипатичен автору повести — это вне сомнений. Но вот насколько он опасен — ответить трудно, ибо на это не даёт ответа повесть. Вернее, она даёт сразу два ответа, совершенно различных, в сущности взаимно исключающих.

Один ответ, сформулированный в повести устами профессора Андрюхина, состоит в том, что Степанов — «гений ловкости и образец нахальства», «ловкач и

деляга», «прохвост», с которого надо сорвать маску.

Орочеву тоже становятся в конце концов ясны «беззастенчивость» и «ловкость» Степанова, «его коварство, его бездарность, его карьеризм». Да и автор говорит от себя, что профессор был «ловко обманут» Степановым. С этой характеристикой Степанова связаны все замечания о его незаурядных актёрских способностях, о его умении скрывать за внешней благовоспитанностью и даже обаятельностью нечто «неприятное, хищное», свойственное его натуре. С этой характеристикой связаны и те особенности Степанова, которые со всей явственностью возводят этот образ к самгинскому типу. Степанов, «умел быстро схватить чужую, ещё не вполне оформленную мысль, чётко изложить её, перекроить и незаметно выдать за свою»; «каждый человек стал для него чем-то вроде зеркала, в котором он искал своё отражение». Это почти цитаты из «Жизни Климса Самгина», и сделано это, повидному, демонстративно — в одном месте есть прямая ссылка на роман Горького. Что ж! Можно было бы только приветствовать такой замысел — показать одного из самгинских в современных условиях, разоблачить одну из новых разновидностей этого типа.

Однако если такой замысел и был у Геннадия Гора, то получилось нечто совсем другое. Автор повести в явном противоречии с многими своими утверждениями пишет, что только после защиты диссертации Степанов «заметил в своём характере неожиданную, в сущности неизвестную до сих пор черту — огромное честолюбие». И разве Степанов совершил плагиат? Геннадий Гор иногда так рассказывает об этом, что Степанов начинает казаться виновным только в слабости (о нём так и говорится: «Успех окрыляет даже слабых людей»). Более того, он начинает выглядеть просто невинной жертвой орочевской щедрости. До последней минуты его обуревают сомнения: имеет ли он право печатать за своей подписью чужой труд? Он готов отказаться от этого, покаяться, оплатить типографские расходы. «Но на это, — сообщает автор, — не хватило силы воли, мужества, порядочности. Слишком уж заманчива была возможность увидеть обложку и титульный лист со своей фамилией». В дальнейшем Степанов ведёт себя так «глупо и легкомысленно», что его и не

приходится разоблачать: он с головой выдаёт себя сам.

Не будем спорить — в жизни встречаются и такие люди, у которых плохое вырастает из их слабости, из недостатка силы воли, из неспособности отказаться от тех благ и почестей, которых они не заслужили, или от тех постов, которые превышают меру их знаний и способностей. Они не добиваются всего этого активно сами; в их действиях нет никакой хитрости, никакого коварства. Но если на таких людей — по недосмотру одних или по злой воле других — сваливается счастье в виде тёпленького местечка, учёной степени и т. п., они не отказываются от подарка и потом крепко держатся за него. Геннадий Гор изобразил такого человека в лице Захара Захаровича Овчаренко, и изобразил неплохо, показав, как слабость перешла у Овчаренко в беспринципность. Конечно, Захар Захарович — паразит и может приносить в иных случаях вред отнюдь не меньший, чем самые опытные и наглые ловкачи и деляги. Он вреден уже тем, что создаёт условия для деятельности этих деляг и ловкачей. Но сваливать их в одну кучу всё же не следует: плохие и вредные люди бывают плохи и вредны по-разному.

Как же соединить в одно целостное представление всё то, что мы прочитали о Степанове? Как объяснить самую попытку наделить один характер столь разными чертами, дать столь разные толкования одних и тех же событий? Неужели мы должны успокоиться на какой-нибудь из сентенций автора повести: «Да, жизнь полна противоречий», «Да, на свете много странного» и т. д.?

Желая изобличить одно из вредных явлений в жизни наших учебных и научных учреждений, Геннадий Гор остановился на полпути. Он не сказал всего того, что мог и должен был сказать, когда начал раскрывать характер одного из активных носителей зла, одного из тех предпринимателей от науки, которые ещё существуют в нашей среде. Точнее: сказав много верных слов, он стал затем часть их брать назад, а часть — снабжать оговорками. Орочев так определяет Степанова: «Явление без сущности. Одна видимость... Нечто кажущееся». То же самое говорит о Степанове и другой учёный: «Это же ошибка профессора Орочева. Нечто вроде тыняновского подпоручика Кижке». С этим соглашается и автор пове-

сти. Он старается доказать, что стоило только Орочеву признать свою ошибку — и всей карьере Степанова сразу пришёл конец. В повести так и сказано: «Разоблачение пришло само». И в самом деле, разве подпоручика Кижэ надо разоблачать? Разве против него надо бороться? Здесь требуется только одно: исправить допущенную опisku.

Ошибка Геннадия Гора заключается в том, что он, поняв нехарактерность такого явления, как Степанов, для нашей науки, слабость его перед лицом коллектива советских учёных, не понял, что явление это всё же имеет собственную сущность, собственную силу, что это — явление отнюдь не кажущееся, а вполне реальное, реально сопротивляющееся, реально мешающее всему

лучшему, честному, творческому, чем так богата наша наука. Нет, недостаточно объяснить такое явление, как Степанов, чтобы оно исчезло,— необходимо бороться против него. И объяснение должно быть более точным, без преувеличений, но и без недомолвок.

Делегаты XX съезда КПСС встретили аплодисментами слова замечательного учёного-новатора Терентия Мальцева: «Советская наука — здоровая творческая наука. Надо предохранять её от всякой накипи и ржавчины». Наша литература может и должна участвовать в этой предохранительной и очистительной работе ещё активнее, ещё последовательнее и смелее, чем она это делала до сих пор.

Б. БЯЛИК.

★

Степь и человек

Есть поэты, которые всю жизнь пишут стихи, как собственную биографию, стараясь объяснить миру самих себя. У них бывают порою значительные успехи — когда личное совпадает с общественным и общечеловеческим; но так как случается это не часто, искусство от поэзии такого рода в конечном счёте не бывает в большом выигрыше. Есть поэты, которые понимают поэзию, как средство живописать словом весь окружающий их большой мир, многообразно показать и объяснить жизнь. Для литературы такой путь предпочтительнее, для поэта — труднее; от него требуется больше знаний и специфического умения проникать в судьбы и психологию других людей.

Яков Вохменцев, который выпустил в Челябинске книжку «Степная песня», ещё раз подтвердил, что он предпочитает второй, более трудный путь. В книжке его происходят любопытные вещи: новорождённому привозят люльку на трёхтонке, потому что в новом совхозе другого транспорта ещё нет; в степи не увидишь грачей — за трактором, как за кораблём, летят чайки и ныряют в волны борозд за добычей, а рядом:

Ложатся брёвна плотно в крепкий сруб.
Тут будет баня. Там, поодаль, клуб.

Яков Вохменцев. Степная песня. Стихи. Редактор М. Гроссман. 91 стр. Челябинск. 1955.

Там встанет школа. Там родильный дом,
Уже потребность появилась в нём...

Поэт любит ясный, точный язык, без мёртвых петель умозрительности и отвлечённости. Книжка, полная жаркого солнца, густого ветра и ощущения радости жизни, взывает к добрым чувствам и побуждает к признательности. А при всём том наводит и на мысль, что хорошие намерения поэта, соединённые со знанием жизни и немалым литературным опытом, могли бы принести и гораздо лучший результат...

В поэзии всегда на первом плане человек, его мысль и чувство, а природа — с ним и за ним. В книге «Степная песня» природа сильно потеснила человека на второй план, от этого ступевалась неповторимость его облика и характера, а стало быть, в известной степени пострадала и вся книга. В некоторых строфах краски для изображения целины кажутся взятыми не с палитры природы, а импортированными из других поэтических сборников, заимствованными на литературной Смоленщине. Нужен ли Якову Вохменцеву такой «импорт»? Нам кажется, что при его опыте и несомненном таланте было бы полезнее, если бы поэт смелее пользовался натурной живописью.

Поэтические воплощения колхозных тем, ещё не так давно очень сильные, уравнились сейчас с поэзией, посвящённой рабочей тематике, — и те и другие темы робко отступают перед лирическим многоводьем.

Поэтов, пишущих на эти темы, всё критиковали да критиковали, наваливая в оценках на один плюс десять минусов, и начало оскудевать то главное, без чего большая поэзия просто немислима. Книга Якова Вохменцева написана на тему, для нашей литературы плодотворную; искренняя любовь поэта к родной земле, к народу и его

делам, стремление к классическим традициям, хотя и не полностью осуществлённое, поддерживает надежду на то, что и многие другие поэты предпочтут вместо малого и замкнутого мира собственного «я» живописать дела и жизнь своего поколения и события своего времени.

Н. ГРИБАЧЕВ.

★

Для любого возраста...

Начнём разговор о книге с одного известного письма:

«25 сентября 1886 года.

Многоуважаемый Николай Николаевич!

Очень благодарен за присылку ваших брошюр. Я с радостью их прочёл и нашёл в них кое-что из того, что меня интересует. Интересует — не интересуется, а умиляет и приводит в восхищение в вашей деятельности то, что, сколько мне известно, вы первый несомненно опытом доказали, что человек везде человек, т. е. доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой. И вы доказали это подвигом истинного мужества, которое так редко встречается в нашем обществе, что люди нашего общества даже его и не понимают. Мне ваше дело представляется так: люди жили так долго под обманом насилия, что наивно убедились в том, и насилующие и насилуемые, что это-то уродливое отношение людей, не только между людоедами и нехристианами, но и между христианами, и есть самое нормальное. И вдруг один человек под предлогом научных исследований (пожалуйста, простите меня за откровенное выражение моих убеждений) является один среди самых страшных диких, вооружённый вместо пуль и штыков одним разумом, и доказывает, что всё то безобразное насилие, которым живёт наш мир, есть только старый, отживший *humbug* (обман, вздор.— *И. Р.*), от которого давно пора освободиться людям, хотящим жить разумно. Вот это-то меня в вашей деятельности трогает и восхищает, и поэтому-то я особенно желаю вас видеть и войти в общение с вами. Мне хочется вам сказать следующее: если ваши коллекции очень важны, важнее всего, что со-

брано до сих пор во всём мире, то и в этом случае все коллекции ваши и все наблюдения научные ничто в сравнении с тем наблюдением о свойствах человека, которое вы сделали, поселившись среди диких и войдя в общение с ними и воздействуя на них одним разумом; и поэтому, ради всего святого, изложите с величайшей подробностью и свойственной вам строгой правдивостью все ваши отношения человека с человеком, в которые вы вступили там с людьми. Не знаю, какой вклад в науку, ту, которой вы служите, составят ваши коллекции и открытия, но ваш опыт общения с дикими составит эпоху в той науке, которой я служу, — в науке о том, как жить людям друг с другом. Напишите эту историю, и вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. На вашем месте я бы описал подробно все свои похождения, отстранив всё, кроме отношений с людьми. Не взыщите за нескладность письма. Я болен и пишу лёжа, с неперестающей болью. Пишите мне и не возражайте на мои нападки на научные наблюдения. Я беру эти слова назад, а отвечайте на существенное. А если заедете, хорошо было бы».

Письмо это написано Л. Н. Толстым и адресовано Н. Н. Миклухо-Маклаю.

Нам оно представляется драгоценным, ибо в нём два замечательных человека предстают во весь свой рост.

Подвиг Миклухо-Маклая удивил и потряс мир.

Этот человек был исполнен неторопливого, планомерного мужества: не мгновение, не час, даже не месяц длился этот подвиг и мог оборваться каждую секунду, потому что жизнь учёного зависела от множества случайностей. Свидетелями мужества были лишь девственные глухие леса Новой Гвинеи.

Путешественник отправился туда один.

С ним остались только двое слуг, из которых первый — швед Ульсон — оказался

Л. Тынянова. Друг из далёка. Повесть о путешественнике Н. Н. Миклухо-Маклае. Редактор Г. Малькова. 230 стр. Детгиз. М. 1955.

отъявленным трусом и больше мешал, чем помогал хозяину, а второй — полинезийский мальчик Бой — вскоре заболел жесточайшей тропической лихорадкой и умер.

Гигантские деревья окружали маленькую хижину — «таль Маклай» (дом Маклая); за их стеной жили папуасы, о которых предыдущие путешественники написали, что они «вероломные и кровожадные дикари».

Миклухо-Маклай отправился к ним без пистолета; только карандаш, записную книжку, полоски красной материи и бусы для подарков нёс он в полевой сумке.

Отсюда началось знакомство с папуасами, перешедшее в дружбу, в преклонение, в веру, что гость их пришёл из страшного далёка, с луны.

Образ Миклухо-Маклая, как отмечает Л. Толстой, не может не восхищать. Жизнь этого человека, с такой самоотверженностью пошедшего на подвиг, нуждается в подробном освещении. И мы рады сообщить читателю, что недавно в Детгизе вышла книга, автор которой — Л. Тынянова — со всей тщательностью и скрупулёзностью воссоздала детство, отрочество, юность и первые путешествия Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Книга называется «Друг из далёка».

В последние годы у нас вышло не только академическое собрание сочинений великого путешественника, но и немало книг, рассказывающих о его научном подвиге.

Л. Чуковская в издательстве «Молодая гвардия» опубликовала выборки из дневника Н. Н. Миклухо-Маклая, снабдив их обстоятельно написанным предисловием. Книга эта была, без сомнения, удачей и имела успех. В ней словами самого Маклая рассказывалось о его жизни и приключениях среди папуасов. Благодаря очень тонкой и точной работе редактора, выразившейся в изменении пунктуации, разбивке на главы и абзацы и другим чисто текстологическим приёмам, академические дневники превратились в книгу для чтения.

Детская писательница А. Чумаченко рассказала о Миклухо-Маклае самым маленьким читателям. Её книга «Человек с луны» в короткое время выдержала, кажется, семь изданий и принадлежит к числу тех, которые и часу не стоят на библиотечной полке.

Книга Л. Тыняновой отличается от всего написанного и изданного об этой уди-

вительной жизни до сих пор тем, что в ней прослежен рост учёного с самой ранней его поры. Подзаголовок книги — «Повесть о путешественнике Н. Н. Миклухо-Маклае». И именно широкая, свободная повествовательная манера отличает книгу Л. Тыняновой от книги А. Чумаченко, которая начинается сразу с путешествия и в которой Миклухо-Маклай с первых страниц показан вполне сложившимся. У Л. Тыняновой он в становлении, в движении, в росте.

О детстве учёного до сих пор было известно очень немного. Даже наиболее полная академическая биография Н. Бутинова, напечатанная в собрании сочинений, торопливо пробегала этот период жизни героя. Книга Л. Тыняновой знакомит нас с Маклаем-подростком. От главы к главе определённое становятся стремления молодого человека, точнее и выпуклее вырисовывается его характер.

Нет нужды пересказывать книгу. Прелесть её не в общем движении фабулы, а в тех драгоценных частностях, которые в изобилии отысканы автором и щедро рассыпаны по всему тексту. Глава о встрече Миклухо-Маклая с адмиралом Ф. П. Литке занимает всего три странички, но для того, чтобы с такой сжатостью их написать, требовалось, повидимому, перерывать огромную литературу о путешествиях и открытиях вице-председателя Русского географического общества.

Вы не найдёте в книге длиннот, не найдёте в ней следов непереваренного материала. Отсюда такая ясная ритмичность стиля, выводящая её далеко за пределы среднего возраста, которому она адресована Детским издательством.

Миклухо-Маклай на Новой Гвинее проделал большую эволюцию. Он ехал туда вовсе не тем, кем оттуда возвращался. Первоначально папуасы занимали его не больше, скажем, губок Красного моря, которыми он интересовался до того. И лишь впоследствии, пережив на острове то, что довелось ему там пережить, подружившись с папуасами, он вырос в защитника их интересов.

Знаменитую телеграмму Бисмарку, требующую независимости для Новой Гвинее, он отправил не в начале, а в конце своей жизни. К этому познанию он пришёл в результате длинного пути. Тут была двойная победа: и Миклухо-Маклай победил сердца папуасов, и папуасы победили его сердце.

Нам хотелось бы, чтобы из повести был устранён лёгкий привкус сладости, который присущ некоторым её страницам.

В 1944 году в Австралии Ф. С. Гриноп издал английскую биографию Миклухо-Маклая. Она называется «Тот, кто путешествовал в одиночку», и пафос её, как явствует даже из самого заглавия, в том,

чтобы доказать, что не наука, а боязнь городского шума, боязнь города вообще, его культуры двигала этим одиноким характером.

В опровержение этой идейки и должны быть направлены следующие части большой работы Л. Тыняновой.

И. РАХТАНОВ.

★

Вдохновение и упорство

Под таким заголовком вышла в свет книга очерков Е. Строговой, одного из опытейших наших очеркистов. Тема творческого труда, романтика поисков, дерзких замыслов, пафос преодоления препятствий — вот что больше всего привлекает Строгову. Своих героев она находит и на заводе художественного стекла в Ленинграде, и на Московском Трёхгорном комбинате, и среди знаменитых павловских кустарей, и в отдалённых обсерваториях, расположенных в горах Крыма и Армении.

Слова Горького о том, что основоположниками искусства были гончары, кузнецы, ткачихи, плотники, являются не только формальным эпиграфом к книге. Поэзия труда очень близка автору, и, взглядевшись в такой, например, будто бы прозаический материал, как обыкновенное стекло, она и в нём находит много поводов для интересных размышлений.

Оказывается, уже тысячу лет назад на Руси умели не только изготавливать стекло, но и делать из него подлинно художественные вещи. При раскопках в древнем Киеве, Новгороде, Пскове археологи обнаружили стеклодельную мастерскую, много витых браслетов, бус, колец. Эти вещи, сделанные с искусством и любовью, до сих пор не потеряли ни формы, ни красок. В киевском Софийском соборе до сих пор радуют глаз мозаики XI века.

Сейчас, в наше время, возрождается старое искусство мозаик и витражей. Тысячи людей любят мозаиками на plafонах станций метро «Маяковская» и «Комсомольская-кольцевая», витражами станции «Новослободская». Огромный многовековой опыт обогащается с каждым годом. Художественное цветное стекло, изготавливаемое на ленинградском заводе, имеет более ты-

сячи цветов и оттенков... Е. Строгова не только сообщает эти интересные факты — она увлекает читателя своим страстным отношением к чудесным техническим и художественным возможностям стекла; она вмешивается в споры архитекторов; она горячо высказывается за то, чтобы грубые, а порою пошлые вещи, нередко проникающие в наш быт, были наконец заменены вещами, радующими глаз и воспитывающими вкус.

Е. Строгова пишет о людях, влюблённых в свою работу, в свою профессию, в материал, над которым они работают. Таков профессор Николай Николаевич Качалов, энтузиаст художественного стекла, таков и старый рабочий-столяр Семячкин, таковы академик Гребенщиков, для которого «стекло стало страстью его жизни», создатель менниковых телескопов Дмитрий Дмитриевич Максutow...

От стеклодувов и столяров автор переходит к павловским кустарям, а от их труда — к вдохновенным поискам учёных, работающих в области спектрального анализа звёзд. Е. Строгова не только интересно рассказывает о значительных фактах, но умеет и показать эти факты в широкой исторической и социальной перспективе.

В конце прошлого века село Павлово, что на берегу Оки, посетил В. Короленко и написал свои «Павловские очерки». Мысль отправиться сейчас по тому же адресу и посмотреть, как живут нынче, шестьдесят лет спустя, знаменитые кустары, естественна и плодотворна.

О каторжных условиях, в которых трудились кустары в старину, об эксплуатации этих кустарей скупщиками, о старом быте теперешнее поколение узнаёт только по экспозициям местного музея. Там, где в подвалах и хибарках ютились мастерские одиночек, освещённые керосиновыми копилками, выросли большие индустриальные предприятия.

Короленко посетил избушку вдовы Прянишниковой, что на Семённой горе. А Строгова повстречала сейчас младшую дочь этой вдовы; та самая «худенькая девочка» с «жалкими глазами», которой писатель дал когда-то несколько монет, сама вырастила двух дочерей; одна из них окончила Институт иностранных языков и учителствует, другая работает нормировщицей на заводе и с успехом исполняет комические роли, участвуя в самостоятельном драматическом коллективе.

Показывая павловскую новь, автор очерков рассказывает и о том, как сохраняются там лучшие из вековых традиций. Мы читаем о традициях семейного пения, которое процветает и поныне, о страсти ко всякому изобретательству, которое проявилось, между прочим, в том, что чуть ли не всё Павлово занимается сейчас комнатным разведением лимонов. Но, разумеется, важнейшими являются исконные павловские традиции чудесного мастерства. Павловские замки, ножи, вилки были известны на всю Россию. А потомки павловских умельцев делают сложные машины, справляются с производством самых точных инструментов, в частности хирургических.

Но, рассказывая обо всём этом, Строгова подымает свой голос публициста также и для того, чтобы отметить явления, нуждающиеся в критике. В 1945 году в Павлове было создано художественное ремесленное училище. Оно уже дало пять выпусков. Однако талантливые молодые павловцы работают не в полную силу. Некоторые хозяйственники полагают, что художественная отделка изделий слишком дорога. Строгова совершенно права, когда говорит, что лучше бы деятелям промышленной кооперации думать о том, как удешевить художественные изделия, чем вообще от них отказываться.

Как ни увлекателен творческий труд мастера, ещё больше привлекает автора очерков сложный путь изобретателя, поистине учёного.

Оптика — это, как известно, «глаза армии и глаза науки». Ни микроскопа, ни современных артиллерийских и авиационных прицелов не создать без оптического стекла. В дореволюционной России не умели его производить, а капиталистические монополии Англии, Германии, Франции так охраняли свои секреты, что сплошь и рядом да-

же отказывались продавать за золото предметы этого важного производства.

Очерк «Магия зеркала» раскрывает эпопею борьбы за создание в нашей стране оптического стекла. Здесь были свои энтузиасты — герои, отдавшие любимому делу всю жизнь, прошедшие через немалое количество неудач и разочарований, но добившиеся в конце концов блистательной победы. Как характерно, что оптический институт был создан у нас в 1918 году, в самый разгар гражданской войны.

На опыте известных ныне учёных (инженеров, физиков, астрономов) Строгова убедительно раскрывает процесс изобретения, научного открытия, самый процесс научного мышления. Популярна мысль о минуте вдохновения, о случайной находке, но не все представляют себе, что в науке, так же как и в искусстве, счастливые случайности и находки не случайны, а приходят закономерно, в результате огромной предварительной работы.

Рассказав об изобретателе менискового телескопа Максутове, — о том, как в вагоне железной дороги ему «вдруг» пришла мысль о новом принципе телескопа, — Строгова верно пишет: «Эти краткие минуты прозрения были подготовлены всей жизнью Максутова, постоянными размышлениями о преимуществах и недостатках разных систем телескопов...»

И уже к области, пожалуй, этической относится рассуждение о том, что такое счастье и не являются ли минуты вдохновения, открытия самыми счастливыми минутами жизни.

Эта мысль имеет большое воспитательное значение для нашей ищущей, талантливой молодёжи.

Значительная часть книги посвящена рассказу об астрономах. Здесь автор вводит нас в мир чрезвычайно малых и чрезвычайно больших величин. Мы узнаём об ангстреме, единице для измерения световых волн, равной одной стомиллионной части сантиметра; о температурах, близких к 10 миллионам градусов; о солнечных фонтанах высотой в полтора и более миллиона километров; о тайне рождения звёзд. И о людях, занятых бесконечно далёкими от нас звёздами и космическими туманностями, автор книги рассказывает содержательно и интересно, показывая их как участников общей нам борьбы и строительства. Заголовок «Астрономы водят корабли и стреляют из пушек» довольно то-

чен. Но ещё интереснее, как и в этой области науки проявляется характер советского человека, и его общие черты, воспитанные всем строем нашей жизни, и характер мышления, воспитанного школой диалектического материализма.

Строгова хорошо владеет пером, фраза у неё легка и свободна, но порою описание производственного процесса или раскрытие какого-либо научного положения так увлекает её, что очерк начинает превращаться в научно-популярную статью,

требующую от читателя — при всей популярности изложения — основательного знакомства с физикой. В таких случаях научная проблема оттесняет человека, занимающегося этой проблемой, на второй план. Некоторые претензии могут быть предъявлены и к композиции очерков. В них есть порой некоторая рыхлость, повторения, чрезмерная многоплановость, которые иногда затрудняют развитие главной темы.

М. ЧАРНЫЙ.

★

Биография Чернышевского

Книга Н. Богословского о жизни Н. Г. Чернышевского проникнута любовью к великому революционному демократу, написана с хорошим знанием дела, живым и литературным языком. Правда, это язык публицистики, а не беллетристики, но книга доходит до читателя-школьника, которому она адресована (книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей»), благодаря простоте изложения и занимательности фабулы; «фабулой» же здесь является биография не одного только Чернышевского, но и целого поколения революционеров.

Автор развёртывает перед читателем картины жизни и быта «новых людей» — «новых» в далёком прошлом, сто лет назад.

По стиливым своим особенностям книга соответствует требованиям, какие предъявлял к детской литературе А. С. Макаренко: сюжет, как схема развития идей и отношений, здесь прост, а фабула, как схема событий, внешних столкновений, наоборот, сложна, многостороння, действенна.

Знаменитый писатель-педагог, выдвигая эти требования, исходил из того, что «в детском возрасте опыт идейной жизни и опыт человеческих отношений ещё весьма незначителен», что, с другой стороны, «ребёнок любит движение, любит события, он горячими глазами ищет в жизни перемены и происшествий, его воля требует движения и перемены мест, и поэтому в детской книге не нужно бояться самой сложной фабулы...»

Философские идеи и эстетические воззрения Чернышевского, содержание его работ по вопросам политики, экономики, истории,

его литературно-критических статей изложены Н. Богословским в самой популярной, доступной форме; зато обстоятельно рассказаны факты биографии «мужицкого демократа».

Читатель знакомится с фактами творческой биографии Добролюбова, поэтов Некрасова, Шевченко, Михайлова, Плещеева, художника Александра Иванова, историка Костомарова. Ценны приведённые в книге данные о крестьянских волнениях после реформы 1861 года, о польском восстании 1863 года и с польском революционере Сигизмунде Сераковском, повешенном после восстания, о брожении среди студентов Казанского университета, о демонстрации петербургских студентов.

В книге живо описан круг людей, с которыми общался и дружил Чернышевский, которые находились под его идейным влиянием. В галерее друзей, единомышленников и учеников великого демократа рядом с Добролюбовым и Сераковским мы видим таких людей, как офицер Владимир Обручев, будущий член нелегального общества «Великорус», или братья Серно-Соловьёвичи, заодно с Ал. Слепцовым участвовавшие в революционной организации «Земля и воля».

Лагерю революционной демократии противостоят с одной стороны Николай I, Александр II, их жандармы и следователи, губернаторы и провокаторы (вроде Севолода Костомарова); а с другой — либералы-дворяне, пытавшиеся сохранить под флагом реформы крепостное право по возможности в неприкосновенном виде.

Ярко описаны Н. Богословским картины расправы с петрашевцами, обыска, ареста и гражданской казни Чернышевского. Широко используя многообразный архивный и

Н. Богословский. Николай Гаврилович Чернышевский. Редакторы А. Лаврецкий и А. Стекольников. 576 стр. «Молодая гвардия». М. 1955.

мемуарный материал, автор показывает жестокость и вероломство царского правительства в борьбе со всем наиболее честным, передовым, революционным, что выдвигал из своей среды русский народ.

Н. Богословский не упускает случая рассказать читателю, что обыск у Чернышевского производил тот самый жандармский полковник Ракеев, который по назначению шефа жандармов сопровождал тело убитого Пушкина и хоронил его. Дальше приводится отрывок из письма царя Александра II своему брату Константину об аресте Серно-Соловьёвича и Чернышевского и ответ Константина: «Как я рад известию... Давно бы пора с ними разделаться». Попытка писателя Алексея Константиновича Толстого, одного из друзей детства и отрочества Александра II, заступиться за Чернышевского оказалась безрезультатной. Когда А. К. Толстой во время охоты зимой 1864—1865 года сказал царю: «Русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского...», то Александр II не дал поэту окончить фразу. «Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском», — проговорил он недовольно и затем, отвернувшись в сторону, дал понять, что беседа их окончена.

В то время как царское правительство принимало всё новые меры к предупреждению возможности побега Чернышевского, революционеры-народники делали героические попытки организовать этот побег. С захватывающим интересом читаются страницы, где рассказано об удачном побеге Лопатина из заключения в Ставрополе, о том, как он помог сосланному народнику Лаврову бежать и перебраться в Париж, о побеге за границу и самого Лопатина.

«В Лондоне.— рассказывает Н. Богословский,— Лопатин познакомился с Карлом Марксом, который сразу же полюбил его и приблизил к себе». Беседуя с Лопатиным, Маркс не раз с восхищением говорил своему молодому другу о великом русском учёном, томившемся в сибирской глуши. У Лопатина возникло страстное желание вернуть миру великого человека; он решил ехать в Россию, чтобы освободить Чернышевского.

Однако осуществить этот благородный замысел Лопатину не удалось. Он был арестован, трижды пытался бежать и только на третий раз вырвался за границу.

Рассказано в книге ещё об одной смелой попытке — революционера Мышкина — организовать побег Чернышевского уже из Виллойска, тоже не удавшейся.

Чтобы возможно полнее обрисовать жизнь великого революционного демократа, автор наряду с архивными данными и мемуарной литературой использовал рассказы разных лиц, с которыми общался Чернышевский в заточении: воспоминания политического заключённого Стахевича, воспоминания участника каракозовского дела Николаева, рассказ бухгалтера Нерчинской каторги, виллойского старожила, даже рассказ жандармского унтер-офицера Шёкина, записанный В. Г. Короленко, и т. д.

Из книги Н. Богословского читатель узнает о прототипах героев романов Чернышевского «Что делать?» и «Пролог»: Рахметова, Лопухова, Кирсанова, Веры Павловны, Левицкого. Так, например, прототип Веры Павловны — Мария Александровна Бокова-Сеченова, одна из первых женщин в России, посвятивших себя медицине. Прожив долгую жизнь, Бокова-Сеченова была свидетельницей Великой Октябрьской революции и скончалась в феврале 1929 года — 90 лет от роду.

Факты биографии Чернышевского, вся атмосфера жизни поколения «шестидесятников» воспринимаются читателем особенно живо ещё и потому, что автор любовно описывает многие характерные для того времени подробности быта: детские игры, катание на салазках, кулачные бои, поездку на «троешных» из Петербурга в Москву и на «долгих» из Москвы в Саратов, обстановку в университете, газетные залы в кофейных и т. д.

Значительную роль во всех описаниях, само собой разумеется, играют краски языка Н. Богословский изучил и хорошо освоил обширный документальный материал, и это позволило ему для воспроизведения духа эпохи свободно использовать также стиль её языка, окрашивая им и собственное повествование.

Однако местами в книге чувствуются отголоски современных газетных штампов, кое-где проскочили плоские сентенции («В жизни юноши важен каждый час...») или спорные, малоубедительные положения. Автор приводит, например, то место из дневника Чернышевского, где о Лермонтове и Гоголе сказано: «Они наши спасители, и тут же высказывает такую догадку: «Не говорит ли это слово «спасители» о том, что

уже тогда Чернышевский был знаком с «Письмом к Гоголю» Белинского? Ведь именно там говорится, что публика видит в русских писателях своих «единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия». В текстах Белинского и Чернышевского тут общим является одно только слово «спасители»; этого слишком мало для обоснования вывода, какой делает автор.

Однако это мелкие и легко устранимые недостатки. В целом книга Н. Богословского неоспоримо заслуживает одобрения. Она помогает популяризации великого революционного демократа, которого горячо любят, высоко ценят сменяющиеся на протяжении столетия поколения передовых людей в России и за рубежом.

И. ЛЕЖНЕВ.

★

Летопись отчаяния и страха

Старый пятиэтажный дом на окраине Мюнхена. Грязноватые лестницы, грязный, тесный двор с единственным чалым деревом. Этажи начинены пёстрым крошевом человеческих судеб. Здесь живут рабочие, мелкие чиновники, ремесленники, торговые служащие, старухи-пенсионерки, метельщик улицы, точильщик и даже один «богач на три четверти» — коммивояжёр с собственным автомобилем. Обильная нищета и убогая роскошь, постоянные лишения и редкие радости, семейные ссоры, горечь разбитых надежд, чад жарящегося, прогорклого смальца, кислые запахи лежащей ветоши...

На этом фоне развиваются события, описанные в первой книге западногерманского писателя Зигфрида Зоммера. Сам автор называет её романом. Но не менее оправданно было бы называть её повестью, серией очерков или даже летописью, хроникой. Пожалуй, летопись или хроника — наиболее близкие к истине определения. Летописец бродит по этажам, заходит из квартиры в квартиру, заглядывает во двор, в подвалы и на ближайšie улицы и прослеживает жизнь обитателей старого дома год за годом, иногда неделю за неделей и даже день за днём... В беспорядочном чередовании этих семейных, квартирных хроник (автор даже приводит схематический план дома, чтобы читатель не слишком пугался) постепенно всё более выпукло проступает несколько личных судеб. Летописец старается отмечать свои наблюдения, словно бы и впрямь «добру и злу внимая равнодушно», но всё же не может скрыть, что ближе всего ему дети и подростки, что с пристальным и тре-

вожным вниманием следит он за жизнью Лео (Леонгарда) Кни, Марилли Коземунд и их сверстников и приятелей.

Лео — внук слепой старухи, никогда не знавший своего «незаконного» отца, давно покинутый матерью. Впечатлительный и мечтательный мальчик становится юношей, одержимым смутными стремлениями к большой, яркой жизни, тоской по счастью, по любви и дружбе.

Марилли тоже «незаконный» ребёнок, удочерённая отчимом-рабочим. Эта «рыжая красавица» как бы своеобразный противовес Лео — её первому «дружку». В отличие от него — постоянно сомневающегося, порывистого, ищущего, пытающегося «подняться над самим собой», всегда неудовлетворённого, — Марилли воплощает безоговорочное приятие окружающей действительности. Но действительность — это прежде всего грязь, мелкий разврат, пустое, бессмысленное существование.

И оба они, такие разные, погибают — погибают одинаково нелепо. Лео, став безработным, опускается на дно, связывается с проституткой, заболевает сифилисом и, терзаемый мучительным страхом одиночества, кончает самоубийством. Марилли становится проституткой-любительницей, ищет сильных ощущений, но наконец сходится и живёт с тупым и драчливым торговцем бубликами. И её, никогда ничего не боявшуюся, спокойно принимавшую все пакости, все уродства своей бессмысленной жизни, убивает тяжёлое полено, сброшенное в погреб, куда она спустилась за углем...

Итак, ничто не может спасти от бессмысленной гибели — ни беспокойные стремления и искания, ни бездумная покорность судьбе.

Ощущение тоскливой обречённости прорывается почти все страницы летописи до-

Siegfried Sommer. Und keiner weint mir nach. Roman. Berlin. 1955 (Зигфрид Зоммер. И никто по мне не заплачет. Роман. Берлин. 1955).

ма на Мондштрассе («Лунной улице»). И самое страшное в этой летописи то, что не великие бедствия, не катастрофы обрушиваются на её главных героев, не какие-либо таинственные «роковые» силы ведут их к гибели, — нет, их калечат и убивают самые обыденные, самые мелкие события.

Нарочито мелки события, которые решают судьбы не только Лео и Марилли, но и многих других обитателей старого дома. Автор явно старается обойти всё, что связано с явлениями общественной, политической действительности.

Трудно даже представить, в какое время происходят описываемые события. Только упоминания об автомобилях, самолётах, джазе, а затем о безработице, о кризисе позволяют определить, что большая часть книги относится к концу двадцатых и началу тридцатых годов нашего века. Ничем почти не отмечено, как отразилось на судьбах жильцов дома гитлеровское господство. А ведь именно гитлеровский фашизм с его всеобъемлющей организационной системой — с его «блоклейтерами» (то есть квартальными и домовыми «вождями»), женскими, молодёжными, детскими и другими учреждениями — властно вторгнулся во все закоулки частной жизни немцев всех возрастов. Можно было внутренне отстраняться от этой системы, даже пытаться избегать вовлечения в неё, но не замечать её, не испытывать её проявлений было просто невозможно. Однако, к сожалению, именно так старается писать Зоммер.

И лишь в конце, когда речь идёт уже о военных судьбах некоторых действующих лиц, в одном коротком эпизоде прорывается отзвук большой исторической темы.

«На одной из войн погибли танкист-стрелок Макс Йоганн Рупп и санитарный унтер-офицер Бертольд Леер. Это называлось — пали на поле чести.

Когда старый чиновник землемерного управления получил письмо от капитана, начальника своего сына, он долго стоял перед портретом верховного руководителя всех немцев, который у него, как у добропорядочного чиновника, висел над кушеткой в кухне. Он стоял там, а его тихая жена лежала в спальне на застеленной постели и кричала. И тогда чиновник Рупп сказал шипящим шёпотом, обращаясь к портрету: «Ты грязный пёс, ты пёс, ты пёс...»

И ещё в одном месте, в конце книги, находим несколько строк, как бы связывающих летопись дома с жизнью страны. Умерла слепая бабка Лео Кни.

«Когда её закапывали, некоторые из старых жильцов вспомнили о внуке, покончившем с собой много лет тому назад. «Он, во всяком случае, избавил себя от многого...» — сказал господин Рупп... А пенсионер Леер даже добавил: «Он оказался умнее всех...»

Таким образом, в ироническом эпосе Зоммера его подчёркнутое, намеренное отстранение от конкретной исторической действительности отнюдь не означает примирения с ней. Даже из этих кратких отрывков, а также из отвлечённых озорных философско-исторических рассуждений пьяного точильщика Вивиани совершенно очевидно, что автор решительно и непримиримо отвергает фашистскую идеологию и фашистскую государственность. Но он нигде не говорит об этом прямо, он явно и упорно обходит все проблемы политической злобы дня. Видимо, он хочет придать своему роману-летописи некий более широкий, обобщающий смысл, превратить его в символическое воплощение бессмысленности жизни маленьких людей вообще.

Именно такой цели, такой «сквозной идее» отвечает и самая тема, и предмет, и построение книги Зоммера. Летопись-хроника одного дома совершенно произвольно, но в то же время правдиво сочетает множество образов и эпизодов, не связанных между собой ничем иным, кроме простого «соседства», то есть общего дома и случайных соприкосновений — случайных, но вместе с тем естественных в условиях постоянного существования во времени и пространстве.

Это подлинное здоровое правдоподобие самого материала служит талантливому автору для того, чтобы сделать возможно более правдоподобной нездоровую идею — идею безнадежной обречённости маленьких людей, идею бессмысленности самого человеческого существования.

Книга Зоммера написана в тоне наивного и вместе с тем иронического эпоса, спокойно, без нажимов, без выкриков. Но именно поэтому от неё с особой силой исходит ощущение страха, отчаяния, безнадежной тоски.

Когда-то известный прусский военный деятель Г. Мольтке призывал историков «писать правду и только правду, но не всю»

правду». Это остроумное наставление таит в себе, однако, серьёзную угрозу. Писать только часть правды опасно для историка (как выглядела бы, скажем, «правдивая» история гитлеризма, если бы в ней была опущена правда о лагерях смерти?). Но не менее опасно это и для художника. Такая опасность может стать гибельной, если «опускаемая» им часть правды имеет решающее значение для общей картины, если без неё немислимо правильное восприятие и «не опущенной» части.

Именно такая опасность подстерегает Зоммера. Уже в этой своей первой книге он сказал не всю правду, он произвольно сместил масштабы и в летописи одного немецкого дома, в летописи, охватывающей четверть века немецкой истории, неправдиво, мало и слабо отразил самые значительные для его страны и для предмета его книги — для судеб маленьких людей — события и проблемы этого времени. Но ещё более опасно то, что он не видит и не говорит правды о силах, которые противостоят и противоборствуют той бессмысленной и

бесчеловечной действительности, которую он сам так сурово и непримиримо изображает.

В этом умолчании, в этой общественно-исторической близорукости или слепоте талантливого художника — основная слабость его мировоззрения, которая определяет художественные слабости его творчества, такие, как рыхлое, произвольное построение (когда многие элементы легко «взаимозаменяемы» или без ущерба устранимы), искусственно прерывистое повествование, сумрачная монотонность общего звучания, которую не могут изменить даже самые удачные иронические ужимки.

В первой книге Зоммера есть только часть большой правды. Хотелось бы верить, что это всё же добрый почин и в новых его произведениях дарование писателя будет развиваться и обогащаться за счёт подлинно проникновенного раскрытия всех и прежде всего самых основных, самых значительных для будущего закономерностей живой действительности.

Л. КОПЕЛЕВ.

★

Литературная трагедия

Не будет преувеличением назвать положение американской литературы за последнее десятилетие трагическим, потому что даже временный упадок искусства — тревожный симптом, а разложение литературы свидетельствует об утрате многих иных ценностей.

Поэтому новый роман Джона О'Хара — «Дом № 10 по Северной улице Фредерик» — я считаю плодом целого ряда обстоятельств. Было время, когда имя О'Хара рядом с именами молодого Колдуэлла и начинающего Стейнбека освещало ярким светом надежды будущее американской литературы, и хотя в некоторых кругах он был известен как «писатель для писателей» — благодаря немислимо обострённой чуткости и такому мастерству диалога, которое могло бы посрамить самого Хемингуэя, — тем не менее, его популярность постоянно возрастала. Его первый роман — «Свидание в Самарре» — был встречен заслуженным одобрением, ибо, повествуя о неумолимом случае, он не только изобра-

жал определённый круг общества, но и обнаруживал понимание сил, воздействующих на этот круг людей. После первого романа появились новые книги, свидетельствующие об удивительном мастерстве О'Хара, хотя, впрочем, каждая из этих книг оставалась всего лишь многообещающим предвестником будущих успехов.

Роман «Дом № 10 по Северной улице Фредерик» был воспринят как свершение этих обещаний, и это в самом деле впечатляющая и значительная книга; но вместе с тем это книга слабая, незавершённая, трагично звучащая во многих своих аспектах, и, как ни странно, этот роман уже ничего не обещает нам в будущем. Если задуматься над иронической противоречивостью упомянутых выше достоинств и недостатков, придётся подумать также и над тем, куда может привести Джона О'Хара избранный им путь, если он вообще способен привести куда-либо. Собственная трагедия писателя достойна рассмотрения, так как она проливает свет на литературную обстановку во всём мире.

Роман «Дом № 10 по Северной улице Фредерик» повествует о судьбе некоего Джозефа Б. Чэпина, богатого адвоката, самоуверенного человека, представителя

John O'Hara. Ten North Frederick. Pp. 415. „Random House“. New York. 1955 (Джон О'Хара. Дом № 10 по Северной улице Фредерик, 415 стр. Издательство «Рэндом хаус». Нью-Йорк. 1955).

правлящего класса Америки; быть может, Джо Чэпин самоуверен сверх меры, слишком высоко оценивает себя как представителя правящих кругов. Он стал миллионером в ту пору, когда миллионеров было куда меньше, чем в наши дни, но к этому, пожалуй, и сводится его единственное достоинство. Провинциальный аристократ из Гибсвилла (штат Пенсильвания), человек ограниченный и глубоко невежественный, он с таким же успехом мог проживать, скажем, и в Аллентауне или Скрентоне. Книга показывает жизнь Чэпина и жизнь правящих кругов Гибсвилла на протяжении первых четырех десятилетий нашего века. Это необычный и в своём роде единственный для нашей литературы анализ снобизма, анализ нравов и поведения богачей.

Именно в этом заключается важность книги, ибо ни один американец никогда ещё не достигал такой силы и точности в описании верхушки среднего класса. И ни один писатель не изображал её с такой беспощадностью. Справедливость требует отметить, что ни одного другого современного писателя не привлекают в такой степени мельчайшие детали этого бессмысленного существования. Что касается О'Хара, то почтительное внимание, которое он уделяет этой бессмысленной рутине, уравновешивается чувством правды, которое неотступно, как демон, следует за автором по пятам.

Трагедия Джозефа Б. Чэпина становится одновременно трагедией самого Джона О'Хара; отсутствие цели, каких бы то ни было стремлений в жизни Джозефа Б. Чэпина превращает этого героя в литературного двойника автора. О'Хара с фотографической точностью воспроизвёл, или, вернее сказать, записал — ибо он преимущественно прибегает к диалогической форме и неспособен к прозаическим описаниям, — жизнь группы мужчин и женщин, но зачем он сделал это, остаётся загадкой, и точнейшая запись бесед героев не помогает постигнуть смысл этого произведения.

Роман открывается картиной похорон Джозефа Б. Чэпина, и последующие 120 страниц дают достоверные портреты участников похоронной процессии. Здесь талант О'Хара звучит в полную силу, наблюдательность художника поразительна, и на этих страницах возникает непревзойдённая в современной литературе галерея обра-

зов — представителей американского правящего класса, диких и бездушных людей, превращающих жизнь в «благопристойный» разврат, а смерть — в повод для постыдного надругательства. Остальная часть книги восстанавливает жизнь самого Джозефа Б. Чэпина на протяжении пятидесяти лет, предшествовавших его кончине. Но на всём повествовании лежит тот же тлетворный дух смерти, каким проникнуто начало романа. Действие развивается вяло, в нём нет динамичности, потому что в жизни Чэпина и в жизни окружающих его людей нет наполнения, нет цели.

Очевидно, что О'Хара восхищается своим героем, даже любит его, только не умеет выразить эту любовь и в качестве единственной черты, заслуживающей восхищения, предлагает читателю «томные манеры» героя, давным-давно заимствованные у англичан. На протяжении всего романа никто из действующих лиц не раскрывает книги, не поёт песен, не смотрит на картины, не любит закатом солнца, не слушает музыки; вместо любви — патетические половые терзания, усугублённые гнетущим страхом бесплодия; и среди всего этого нет даже ни малейшего намёка на радость жизни.

Это эпитафия погибшему классу, который оставил о себе мало воспоминаний. И если вы хотите провести ночь в аристократическом кошмаре, после которого у вас останется ощущение большой радости от сознания, что вы не родились в доме, подобном дому № 10 на Северной улице Фредерик, тогда книга О'Хара заслуживает вашего внимания. Эту книгу нельзя назвать хорошей, потому что, хотя Джон О'Хара и видит, что представляют собой эти люди, он не может объяснить, почему они стали такими. Отсутствие в книге социальных мотивировок делает её бессмысленной и заводит в безвыходный тупик одного из больших писателей Америки.

Вот о какой трагедии, а не о бессмысленном существовании Джо Чэпина идёт речь. Мир существует вне Гибсвилла, но и этот маленький городок также является его частицей, однако Джон О'Хара никогда не понимал этого. Гибсвилл — это шахтёрский городок, но ни один шахтёр ни разу даже не упоминается на страницах этой книги, и все, кто не принадлежит к «аристократии», говорят на дурном английском языке.

Джейн Остен создала некогда замечательные и совершенные романы о своём классе. И хотя действие этих романов не выходило за пределы садика английского коттеджа, это были великие книги, потому что они объясняли, что делало людей такими, какими они были в действительности.

Это было в начале эпохи; теперь, в сумерках её заката, один из самых талантливых американских писателей создаёт кладбищенскую эпитафию, не интересуясь даже причиной гибели своего любимого героя.

Нью-Йорк.

Говард ФАСТ.

★

Политика и наука

Из истории международных литературных связей

Моё сердце всегда с Вашей Россией, с Россией Толстого, Тургенева и Достоевского, Горького и Чехова, Московского Художественного театра». Эти слова Б. Шоу, обращённые к его русским друзьям, могли бы повторить многие выдающиеся писатели Англии и США, всегда придававшие громадное значение культурным связям с Россией.

Поборникам «холодной войны», упорно твердящим, будто для англо-саксонских стран был важен только культурный обмен внутри «атлантического мира», очень не нравится этот бесспорный исторический факт. Не удивительно, что им пришлось не по вкусу и монография профессора Колумбийского университета Д. Брюстер, посвящённая истории русско-английских и русско-американских литературных связей.

В этой книге Д. Брюстер сосредоточила внимание на мало ещё разработанной теме — влиянии русской классической литературы в Англии и США. Её книга — серьёзное и добросовестное исследование, заслуживающее внимания всех интересующихся историей международных культурных связей.

Исторически интерес в Англии к русскому народу и его культуре восходит ещё ко второй половине XVI века, когда были впервые установлены прямые торговые связи между двумя странами. Брюстер приводит немало примеров заимствования русских слов английскими авторами той эпохи. Д. Тэрбервилл, секретарь английского посольства, направленного к Ивану Грозному, оставил даже стихотворное описание русского государства. Следы этого интере-

са можно найти и у Шекспира в комедии «Тщетные усилия любви». Русско-английские культурные связи заметно расширяются после петровских реформ.

В начале XIX века английские и американские читатели познакомились с первыми переводами произведений русских писателей. В 1821 году Д. Боуринг издал «Антологию русской поэзии», в которую вошли отрывки из сочинений Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, Крылова и других русских авторов. Известный английский либеральный журнал «Вестминстерское обозрение» в 1824 году использовал литературные материалы, печатавшиеся в декабристской «Полярной звезде». Развитие русской литературы, писал орган английских либералов, свидетельствует о подготовке в России «важных изменений в интересах человеческого благополучия». В тридцатых—сороковых годах XIX века не только возрастает количество сведений, появляющихся в английской и американской периодике о русских писателях, но и завязываются личные связи, например, между Тургеневым и Теккереем. В последующее десятилетие быстро увеличивается число переводов на английский язык произведений Пушкина, Гоголя, Герцена, молодого Льва Толстого.

Горячие симпатии к русскому народу и его культуре сквозят в ряде произведений американских писателей, в частности Твена, написанных во время гражданской войны 1861—1865 годов, когда Россия поддерживала Север и правительство Линкольна. В отличие от западноевропейских стран, готовивших интервенцию в пользу рабовладельческого Юга. В 1866 году популярный американский писатель О. У. Холмс в поэме «Америка—Россия» провозглашал: «Хотя океаны разделяют западный и восточный мир, одинаковое человеческое сердце

D. Brewster. East-West Passage. A Study in Literary Relationship. London. 1954 (Д. Брюстер. Сношения между Востоком и Западом. Исследование литературных связей. Лондон. 1954).

бьётся в груди каждого гордого народа». А несколько позднее великий американский поэт У. Уитмен писал в обращении «К русскому народу»: «Мне всего более дорога мечта о международном единстве поэзии и поэтов, связывающем страны земного шара теснее, чем любые договоры и дипломатия... поэтому я счастлив, что устанавливаю духовный контакт с великими народами России».

Шестидесятые—восьмидесятые годы прошлого столетия были временем дальнейшего усиления влияния русской классической литературы на литературный процесс в странах английского языка. Только за 1867—1873 годы в США было издано шестнадцать переводов произведений Тургенева. Американская критика давно уже показала, сколь многим обязан ему замечательный новеллист Генри Джеймс. То же самое признано английским литературоведением в отношении Голсуорси. Американский критик Гетмен, например, писал о Тургеневе: «Романист, который способствовал влиянию Хоуэлса, сыграл большую роль в творчестве Генри Джеймса, создал идеал для Джорджа Мура, вызвал восхищение или подражание со стороны Арнольда Беннета, Фрэнка Суиннертона, Форда Мэдокса Форда, Виджинии Вулф,— такой романист заслуживает благодарности любителей английской литературы». Общий вывод критика хорошо отражает влияние творчества русского писателя на развитие английской и американской литератур.

В ещё большей степени это следует сказать о творчестве Л. Толстого. Появление каждого нового его романа становилось событием в культурной жизни Англии и США. В 1887 году английский критик М. Арнольд указывал, что русский роман приобрёл в Англии «популярность, утраченную французским романом». В восьмидесятых годах во время оживлённой литературной дискуссии о реализме сторонники реалистического направления опирались на творческий опыт русских писателей, противопоставляя его принципам французской натуралистической школы.

В начале нынешнего столетия в литературную жизнь Англии и США прочно входят имена Чехова и Горького. Русские пьесы завоёвывают английскую сцену. Видный английский критик Дюкс в книге «Современные драматурги» (1911) ставил Толстого, Чехова и Горького на первое место среди драматургов мира.

Крупнейшие английские и американские писатели выражали своё глубокое сочувствие гуманистическому характеру русской литературы, её органической связи с освободительным движением народа. Приезд в 1906 году в США М. Горького, где он выступал от имени русской революции, стал и политическим и большим культурным событием.

Можно было бы без труда добавить к фактам, приводимым в книге Д. Брюстер, множество других, свидетельствующих о тесных литературных связях, взаимном обогащении русской, английской и американской литератур. Заслуживала бы внимания, например, тема влияния Л. Толстого на Гарди, который с таким сочувствием писал об «общем осуждении войны» в произведениях великого русского писателя (журнал «Фри раша», октябрь 1904 года). А как много можно сказать о влиянии Горького в Англии, где он широко читался рабочими и где лет пятьдесят назад развернулась полемика между прогрессивной и реакционной печатью в связи с оценкой его творчества.

Стремление реакционных кругов после Великой Октябрьской социалистической революции порвать культурные связи с Советской страной принесло несомненный вред английской и американской культуре. Сознание этого ярко отразилось в той восторженной встрече, которую устроила американская общественность посланцу русской литературы и искусства — МХАТу, приехавшему в 1923 году на гастроли в США. «Каждый, кто не забыл истерический страх перед «большевизмом», который преобладал в США после Октябрьской революции, — пишет в своей книге Д. Брюстер, — мог отзываться с приятным удивлением о возможности приветствовать Московский Художественный театр».

В исследовании Брюстер, к сожалению, совсем мало говорится о литературных связях последних десятилетий, о поездках в СССР Шоу, Драйзера и других английских и американских писателей, о распространении в Англии и США советского романа и т. д. Можно согласиться с автором, что его работа должна лишь «стимулировать дальнейшие изыскания».

После 1945 года враги мира приложили немало усилий, чтобы развернуть «холодную войну». Судьба рецензируемой книги, для которой не нашлось издателя в США и которую поэтому пришлось печатать в

Англии, сама может служить примером стараний американских реакционеров не допустить ознакомления общественности с вопросом об историческом значении литературных связей между США и СССР.

Советский Союз доказал на деле своё стремление к расширению экономических и культурных связей со всеми странами независимо от их общественно-политического строя. В СССР находят тёплый приём писатели и артисты из десятков стран, в том числе из Англии и США. Советская общественность недавно отметила юбилей Фильдинга и Уитмена, готовится отметить юбилей Шоу. С 1918 по 1955 год у нас изданы

произведения 432 английских и американских авторов общим тиражом в 113 миллионов экземпляров. Только книги Твена, Лондона, Драйзера вышли тиражом, превышающим 32 миллиона экземпляров. По изданию сочинений Вальтера Скотта, Байрона, Диккенса, Шоу Советский Союз занимает первое место в мире.

Культурные и, в частности, литературные связи между нашей страной, Англией и США, имеющие глубокие корни в истории, должны способствовать ликвидации разобщённости и недоверия, интересам мира и прогресса.

Кандидат исторических наук
Е. ЧЕРНЯК.

★

Послевоенная Корея

Ещё накануне военных событий в Корею мне довелось познакомиться с преподавателем истории одной из пхеньянских школ Ли Бон Еном. Мы просиживали с ним целые вечера — так много интересного рассказывал он о своей стране, о её людях. Потом Ли Бон Ен стал солдатом. Он был разведчиком, стрелком-охотником за самолётами, а после ранения — военным шофёром.

В часы короткого отдыха Ли раскрывал толстую, в кожаном переплёте тетрадь и делал в ней какие-то записи. «О чём ты пишешь?» — спрашивали товарищи. Он отвечал: «О, это мне очень пригодится в недалёком будущем... Для занятий со школьниками». И Ли взволнованно прочитывал нам свои заметки о воинских подвигах фронтовиков, о крестьянах-патриотах, славших рис в фонд победы, о смельчаках, обезвреживающих вражеские бомбы замедленного действия.

По случаю десятой годовщины освобождения Кореи Советской Армией Ли Бон Ен прислал мне в подарок эту тетрадь. За время нашей разлуки в ней появилось много новых записей. Вот некоторые из них.

«...Уже через три-четыре месяца после подписания перемирия многие восстановленные предприятия Северной Кореи начали нормально работать. К концу 1953 года сталевары сварили первые тонны стали, а завод цветных металлов в Нампхо выплавил первую медь... 1954 год. Пхеньян.

Б. Орехов. В Народно-Демократической Корею после войны. Записки советского журналиста. Редактор О. Вадеев. 72 стр. Госполитиздат. М., 1955.

Из подземелья перенесены прядильные и ткацкие станки; они установлены в новых, просторных заводских корпусах. Увеличивается выпуск тканей. Из Пхеньянского завода сельскохозяйственных машин отгружаются в деревню долгожданные плуги, бороны, молотилки... Январь 1955 года. В КНДР восстановлено уже сто шестьдесят промышленных предприятий. В апреле на заводе имени Ким Чака дала плавку доменная печь. Спустя месяц начала работать целлюлозная фабрика в Килчу; газетная и писчая бумага пошла потребителям...»

Мне показалось уместным упомянуть об этом дневнике, где каждая строка наполнена пафосом мирного, созидательного труда свободного корейского народа. Записи скромного учителя из Пхеньяна как бы продолжают хронику трудовых побед, о которых рассказывает советский журналист Б. Орехов в своей книжке «В Народно-Демократической Корею после войны».

На протяжении долгих тридцати семи месяцев взоры людей всех стран мира были неотрывно обращены к маленькому полуострову, население которого с изумительным мужеством и стойкостью отстаивало свободу и независимость своей родины. Шла жестокая война, но народ Кореи, чувствуя братскую поддержку стран демократического лагеря, верил в победу и жил мыслями о мирной жизни. Взрывы бомб рушили стены домов в столице республики, а на рабочем столе архитектора О Сам Ена уже лежал проект нового Пхеньяна, который встанет из руин и пепла. Крестьянин, заравнивая на поле воронки от артил-

лерийских снарядов, думал о том дне, когда на этом поле снова начнёт работать трактор.

И вот пришёл этот знаменательный день — 27 июля 1953 года. Советскому человеку особенно понятны и близки чувства, которые охватили корейцев, услышавших по радио приказ о прекращении военных действий. С великим энтузиазмом взялся героический корейский народ за восстановление городов и сёл, заводов и шахт, культурных учреждений и памятников старины. Из Москвы, Пекина, Варшавы, Праги, Бухареста, Софии шли эшелоны с оборудованием, строительными материалами, продовольствием.

В главе «Пхеньян в строительных лесах» автор показывает быстрое возрождение города-героя, разрушенного более чем на девяносто процентов. Только за первый год, прошедший после подписания перемирия, в Пхеньяне было сооружено около тридцати тысяч жилых домов, восстановлено сто двадцать крупных административных зданий, вступили в строй десятки предприятий. В августе 1954 года был открыт новый большой театр, закончилось восстановление Центрального пхеньянского стадиона на тридцать пять тысяч мест. А осенью сотни юношей и девушек заполнили аудитории заново отстроенного университета имени Ким Ир Сена. К началу 1956 года в Пхеньяне насчитывалось уже шесть вузов, восемь средних учебных заведений и около ста школ.

«Поднимитесь в эти дни на седой Моранбон (гора, расположенная в восточной части города.— В. К.),— пишет Б. Орехов,— и вашему взору откроется гигантская стройка. Многоэтажные здания в строительных лесах, десятки стрел башенных кранов, яркие вспышки электросварки, шагающие по улицам люди с лопатами, пилами, кирками на плечах — таков сегодняшний Пхеньян».

Успешно решается важнейшая задача, поставленная Трудовой партией Кореи,— быстрое развитие тяжёлой промышленности. Значительные успехи достигнуты в сельском хозяйстве. Общая посевная площадь в Северной Корее увеличилась только за 1954 год почти на сорок тысяч гектаров. Возрос валовой сбор зерновых культур. Построены и восстановлены десятки водохранилищ и оросительных систем. Большое внимание уделяется внедрению передовой агротехники.

В книге широко показан поворот крестьянства в сторону коллективного ведения сельского хозяйства.

Убедительны факты, свидетельствующие о росте благосостояния трудящихся, о расцвете национального искусства, о подъёме культуры населения. В заключительной части книги автор показывает борьбу корейского народа за мирное объединение страны.

Книга «В Народно-Демократической Корее после войны» написана журналистом, хорошо знакомым с жизнью страны и в целом верно нарисовавшим на значительном фактическом материале трудовые будни Кореи. Но далеко не всегда читателю удаётся почувствовать непосредственность авторского восприятия. Слишком перечислительно, в ряде мест языком газетной информации, сообщается о тех или иных явлениях, характеризующих послевоенную Корею. Думается, что книга должна была быть написана несколько по-иному, более задушевно, быть более впечатляющей. Ведь к этому обязывала сама тема — тема о героическом народе, спасшем ценой тяжчайших испытаний свою родину.

Наибольшие претензии следует предъявить автору по поводу главы «В корейской деревне». Обильный цифровой материал не очень помогает читателю создать представление о подлинной жизни корейского крестьянства, о его радостном труде и вместе с тем о тех трудностях, которые ещё стоят на пути перехода к коллективному полеводству. Значительно шире и глубже следовало показать руководящую и направляющую роль Трудовой партии Кореи в послевоенном строительстве.

Не так давно корейская печать опубликовала данные по восстановлению и развитию народного хозяйства за 1955 год. Эти данные рисуют картину широкого размаха восстановительных работ и нового подъёма экономики республики.

В 1955 году продукция машиностроения и металлообрабатывающей промышленности возросла в три с половиной раза. Освоено производство новых токарных станков, рыболовецких судов, генераторов постоянного тока, появились новые сорта тканей и других предметов массового потребления.

Значительны успехи и сельского хозяйства. В 1955 году получен хороший урожай, расширены посевы на орошаемых землях, освоено 17 тысяч гектаров целинных и залежных земель. К началу 1956 года в

КНДР насчитывалось 12 132 сельскохозяйственных производственных кооператива, что составляет половину всех крестьянских хозяйств. Растёт техническая оснащённость сельского хозяйства. Сейчас в стране почти в четыре с половиной раза больше тракторов, чем в 1953 году.

Расширяется культурное строительство. Непрерывно растёт число школ, сельских

клубов, библиотек, увеличивается сеть больниц и медицинских пунктов.

Трудолюбивый корейский народ при братской помощи СССР, народного Китая и всех стран социалистического лагеря успешно залечивает тяжёлые раны войны, уверенно строит новую жизнь.

В. КОРНИЛОВ.

★

Путь учёного

В народных легендах и сказках, воплощающих мечту о человеческом счастье, нередко можно встретиться с чудесным избавлением от большого несчастья — слепоты. Вспомним хотя бы лермонтовского Ашик-Кериба.

Ассоциация со сказочными сюжетами невольно возникает, когда знакомишься с книгой всемирно известного деятеля медицины В. П. Филатова, научный подвиг которого вернул зрение тысячам людей.

Как и другие новаторы в науке, Владимир Петрович Филатов достиг своих великолепных успехов не сразу. Они пришли после длительных наблюдений, глубоких исследований, точных экспериментов. С ослабевающим интересом читаются страницы книги, рисующие искания учёного, первые его победы.

Множество крупных открытий сделано В. П. Филатовым, но наибольшую популярность принесли ему работы по возвращению зрения ослепшим от бельма. А эта считавшаяся неизлечимой болезнь — удел миллионов несчастных. Только в России в 1910 году из общего числа трёхсот тысяч слепых сорок тысяч потеряли зрение в результате бельма.

Настойчиво и страстно искал В. П. Филатов путей исцеления таких слепых. Ведь при бельме все основные жизненные элементы глаза здоровы, но свет не может проникнуть внутрь, к сетчатке, только из-за плотной перепонки на роговице, закрывающей зрачок. Ещё в далёком прошлом делались попытки оперативным путём «снять» эту перепонку. Но если это и удавалось, то лишь на недолгое время. Вскоре больной опять лишался зрения. Нельзя без волнения

читать рассказ профессора Филатова о больном, который умолял сделать такую операцию, чтобы он хотя бы на короткий срок мог вновь увидеть своих близких.

Но «короткий срок» В. П. Филатова не устраивал. Он искал радикального и поющего решения. Оно заключалось в замене помутневшей роговицы новой, прозрачной. Но где взять такую роговицу и притом в достаточном количестве? Ведь в ней нуждаются тысячи и тысячи людей.

И вот В. П. Филатову пришла поистине блестящая идея: использовать для пересадки роговицу от трупа, но сделать это не сразу после смерти человека, а после того, как роговица будет подготовлена особым способом.

Первая пересадка трупной роговицы была произведена в 1931 году. «Не скрою,— писал учёный,— что приступил к этой операции не без волнения, тем более, что слышались голоса, предупреждавшие о «трупном заражении», о «трупном яде» и т. д. Но всё обошлось благополучно».

Как почти всякое новое начинание, идущее вразрез с установившимися взглядами, смелый опыт В. П. Филатова получил признание не сразу. Но ряд операций, произведённых в Москве учёным и его последователями, нанёс решающий удар скептикам и проложил прочный путь новой методике. Теперь не только в столичных, но и во многих больницах других городов с успехом осуществляются подобные операции. Уже десяткам тысяч слепых возвращено зрение. Своеобразный рекорд поставил сам В. П. Филатов: в 1949 году он сделал тысячную операцию пересадки роговицы. «Наша школа,— пишет он,— до сих пор занимала первенствующее положение по количеству операций пересадки роговицы. Но мы будем рады, если её рекорд будет превзойдён. Мы — чемпион, который хочет быть побитым!»

В. П. Филатов. Мои пути в науке. Редакторы В. Шевалев, А. Шевалев и С. Виницкий. 164 стр. Одесское областное издательство. 1955.

Научные достижения профессора Филатова не ограничиваются победой над бельмом. В области хирургии им усовершенствован метод так называемой пластической восстановительной операции с помощью «круглого стебля». Этот метод позволяет с успехом восстанавливать различные дефекты ткани носа, щеки, губы, кожных покровов. В книге приводится целый ряд удивительных примеров таких операций. Их сопровождают фотографии, наглядно показывающие эффективность метода В. П. Филатова. «Чем крупнее открытие,— сказал виднейший советский хирург Н. Н. Петров,— тем меньше нужно слов, чтобы его охарактеризовать. Круглый стебель Филатова — это новая эпоха пластической хирургии лица».

Большой интерес в медицинских кругах всего мира вызвал предложенный В. П. Филатовым в 1933 году новый метод тканевой терапии, который сам учёный считает наиболее значительным своим достижением. Действительно, тканевая терапия получила широкое применение при лечении самых различных заболеваний внутренних органов, нервной системы, кожных болезней и т. д. В чём же её сущность?

Внимание учёного привлек следующий факт: кусочек трупной роговицы, сохранявшейся некоторое время на холоде, не только не уступал по своим качествам роговице, взятой от здорового живого глаза, но при пересадке способствовал просветлению бельма на большом пространстве. В. П. Филатов сделал отсюда теоретический вывод о наличии в кусочке «мёртвой» ткани каких-то особых веществ, стимулирующих восстановительные процессы в изменённых тканях. Многочисленные последующие эксперименты и наблюдения полностью подтвердили это. В медицинских журналах были опубликованы сотни фактов, показывающих, что смелый вывод учёного подтверждается практикой.

Так родилось новое учение о «биогенных стимуляторах», возникающих при известных условиях в живой ткани. Такие стимуляторы, введённые в организм больного, усиливают жизненные реакции и способствуют выздоровлению.

Крупные усовершенствования внесены В. П. Филатовым в способы лечения глаукомы — тяжёлого заболевания глаз, наиболее часто ведущего к инвалидности и даже к полной потере зрения,— а также в методику оперативного вмешательства при этой

болезни. Для ранней диагностики глаукомы профессор Филатов совместно с доктором С. Ф. Кальфа предложил точный и удобный способ измерения давления в большом глазу и сконструировал специальный прибор — эластонометр.

Значителен и вклад учёного в дело борьбы с трахомой. Это серьёзное заболевание глаза было широко распространено в дореволюционной России, особенно на её окраинах. Нередко целые деревни и сёла были поражены трахомой, которая при отсутствии правильного лечения ведёт к слепоте. В наше время заболеваемость трахомой значительно снизилась. Этому помог и метод лечения В. П. Филатова. Теперь больному достаточно посещать врача раз в четыре — шесть недель и самый процесс лечения длится всего несколько минут.

Поистине замечательны научные победы Героя Социалистического Труда Владимира Петровича Филатова. Он не только внёс личный крупнейший вклад в отечественную медицину, но и создал школу своих последователей и учеников, с успехом продолжающих его прекрасное и гуманное дело. К ним в заключение своей книги взволнованно обращается восьмидесятилетний учёный:

«На вас падает важная и почётная роль — дальше двигать нашу науку, находить новые методы предупреждения и лечения болезней глаз, новые способы борьбы со слепотой... Да здравствует наша советская медицина на благо трудящихся!»

Своим трудом и талантом учёныйнискал мировую славу. Во время пребывания руководителей нашего государства в Афганистане Н. С. Хрущёв обратился к работникам медицинской академии в Кабуле с вопросом, каких советских специалистов лучше всего знают в Афганистане. Виднейший афганский специалист по глазным болезням Исмаил Алам прежде всего назвал Филатова: «Мы учимся у него совершать пересадку роговицы».

Книга маститого советского учёного издана в Одессе, где он живёт и работает. Тираж её невелик — двадцать тысяч экземпляров. Несомненно, книгу следует переиздать в Москве. Строго научная по содержанию, она написана хорошим, популярным языком и поэтому доступна не только специалистам, но и широким кругам читателей.

*Заслуженный деятель науки
профессор А. ЦЕЙТЛИН.*

Географические исследования в Китае

Известно, что китайская культура древнее европейской. Когда Марко Поло, долго проживший в Китае, рассказал в своей книге об этой великой стране и её народе, сообщения очевидно были восприняты с большим недоверием; порой их просто считали небывицами, впрочем, обычными в воспоминаниях средневековых путешественников.

Между тем ещё за пять — восемь веков до нашей эры в Китае уже составлялись капитальные исторические и географические сочинения, часто переиздававшиеся. При этом границы описываемых территорий неизменно расширялись, приводившиеся данные обновлялись. Первая китайская географическая энциклопедия «Юйгун», например, ещё не показывает западных округов современного Китая, так как в то время они были неизвестны самим китайцам.

В России и в других странах Европы мало знали о трудах китайских географов и энциклопедистов. Среди русских синологов первое место принадлежит, конечно, Н. Я. Бичурину (1777—1853), имеющему большие заслуги в области перевода древних китайских источников на русский язык.

Географические труды китайских учёных на протяжении многовековой истории Китая постепенно достигали объёма огромных энциклопедий, насчитывающих сотни томов и охватывающих не только земли Китая, но и Среднюю Азию, Южную Азию, Японию, Монголию, Дальний Восток.

Географии в Китае, её развитию посвящена книга В. Зайчикова, написанная при консультации видных китайских географов. Книга начинается с характеристики важнейших древнекитайских географических сочинений, среди которых основным является «Описание местности» («Дифанчжи»). Этот труд насчитывает 93 237 томов, занимающих целый этаж в огромном книгохранилище в Пекине. Он начал составляться ещё в III веке нашей эры, а последний его том, посвящённый описанию провинции Юньнань, вышел в 1951 году. «Дифанчжи» охватывает все провинции, почти все уезды и города Китая, а также отдельные сельские населённые пункты, географические районы

и местности. Значение этого колоссального, не имеющего себе равных труда огромно.

Среди географических исследований древнего Китая особое место занимают описания путешествий. Китайские путешественники, купцы и монахи, пешком, на лошадях, на кораблях проделали многие тысячи километров и по родной стране и далеко за её пределами. Это способствовало накоплению обильного материала, созданию карт.

Одним из выдающихся путешественников Китая был Чжан Цянь, который ещё во II веке до нашей эры первым проделал удивительный по тем временам маршрут по Центральной и Средней Азии, пройдя от берегов Жёлтой реки до Аму-Дарьи. В IV веке смелое и плодотворное путешествие, продолжавшееся пятнадцать лет, совершил Фа Сянь. Он побывал в пустынях Лоб, в горах Восточного Тянь-Шаня и Кунь-Луня, в Индии, Афганистане, на Цейлоне. В результате появилось его «Описание буддийских государств».

Особый интерес представляет путешествие Сюань Цзана, относящееся к VII веку. Он направился из Китая на запад — в Центральную Азию, а затем и в Среднюю Азию, где побывал на берегах Иссык-Куля, в Чуйской долине, в долинах Чирчика и Зеравшана, а затем через территорию современного Таджикистана прошёл в Афганистан и Индию. На обратном пути в Китай Сюань Цзан пересек Памир и Кашгарию. Этот путь, полный лишений, занял двадцать лет. Но зато его «Записки о странах Запада» стали классическим произведением китайской географической и исторической литературы и были переведены на некоторые европейские языки.

Автор рассказывает также о Чжэн Хэ — командире кораблей, избородивших в XIV веке дальневосточные и южные моря и дошедших на западе до берегов Африки. Значительное место уделено в книге и Сюй Ся-кэ, который в течение тридцати лет путешествовал по просторам своей отчизны, собирая материалы для ставших знаменитыми «Записок о путешествиях».

«Исследования Сюй Ся-кэ, — сообщает В. Зайчиков, — внесли крупный вклад в географическую науку. Особенно велика их ценность как первой попытки выявить связи и закономерности в горных и речных системах, остававшихся в Китае долгое время

В. Т. Зайчиков. Путешественники древнего Китая и географические исследования в Китайской Народной Республике. Редактор **К. А. Важенин.** 88 стр. Географгиз. М. 1955.

неизученными. Сюй Ся-кэ были сделаны и крупные географические открытия... Сведения Сюй Ся-кэ всегда поражали своей исключительной достоверностью и точностью... Единственной целью его странствований было стремление познать свою родину, которую путешественник страстно любил; описанию её природы он посвятил большое число вдохновенных страниц».

Почётное место занимает география и в новом Китае. В Академии наук Китайской Народной Республики работает специальный Институт географии, в высших учебных заведениях насчитывается около тридцати географических факультетов. Всекитайское географическое общество издаёт два журнала.

Характеризуя основные направления работ современных китайских географов и крупнейших географических учреждений, автор рассказывает и о состоянии главных отраслевых дисциплин: экономической и физической географии, климатологии, гидрологии, геоморфологии и биогеографии.

Отдельные очерки книги посвящены географическим работам в районе реки Хуанхэ и в Сикан-Тибетском нагорье. Читатель с интересом узнаёт об обуздании великой и своенравной реки, а также о том, как в процессе комплексных экспедиционных исследований стираются «белые пятна» с карты Сикан-Тибетского нагорья. Эти исследования способствуют подъёму экономики и культуры обширного и труднодоступного района Китая.

Сикан-Тибетское нагорье — далёкий и суровый край. Снежные горы поднимаются своими скалистыми вершинами в заоблачное небо. Жёсткий климат, большая разреженность и сухость воздуха, отсутствие дорог, головоломные тропы всегда затрудняли исследование этого района. Всё же в прошлом веке сюда проникали экспедиции Русского географического общества.

Китайские учёные, оказывающие активную практическую помощь развивающемуся народному хозяйству страны, разрабатывают и ряд теоретических проблем. Одна из существеннейших — разделение всей страны с её исключительным природным разнообразием на ряд физико-географических районов. Детальное знание специфики отдельных частей Китая позволяет научно и более широко планировать весь хозяйственный комплекс. В основу этого районирования, широко обсуждавшегося китайской географической общественностью, положе-

ны климатические особенности тех или иных частей страны.

Новой схемой природного районирования Китайской Народной Республики посвящён последний очерк книги. В заключение автор рассказывает много любопытного о своеобразии географических названий Китая, их возникновении.

Несколько критических замечаний. Не все очерки написаны занимательно. Если рассказы о географии древнего Китая и о работах на Хуанхэ читаются с интересом, то очерк о новом районировании Китая больше похож на хроникальную информацию в научном журнале. Это же можно сказать об очерке «Географическая наука в Китайской Народной Республике».

Книга В. Зайчикова фрагментарна. Она страдает отсутствием систематического изложения, последовательно раскрывающего тему о древних китайских путешественниках или показывающего современное состояние географической науки в Китайской Народной Республике. Впрочем, автор и сам пишет, что «брошюра не ставит целью дать исчерпывающую картину состояния и достижений географической науки в древнем и современном Китае. Помещённые в ней очерки кратко знакомят советского читателя лишь с некоторыми работами китайских географов».

Нашим издательствам следовало бы подготовить и опубликовать записки китайских путешественников, в частности Сюань Цзана, а также систематический труд, рассказывающий о развитии географии в Китае с древних веков до нашего времени. Для этого должны быть использованы обширные фонды китайских источников. Такой труд откроет нашим читателям одну из сторон культуры и науки Китая, где с древних времён география была почётной и важной отраслью знания. Мы широко издаём книги по истории географических открытий, выполненных европейцами. Между тем достижения китайцев, народов Индии и Индонезии в этой области науки пока известны лишь немногим. Мало известно и современное состояние географии и географических исследований, проводимых в этих странах. Настало время изменить такое положение. Рецензируемая книга в какой-то мере помогает развитию этого процесса, и в этом заслуга её автора.

Доктор географических наук
Э. МУРЗАЕВ.

Издание второе, ухудшенное

С чувством живого интереса раскрыли мы книгу Г. Зарницкого «Энергетика будущего». Увлекательнейшая тема! Кому не хотелось бы приподнять завесу завтрашнего дня и хотя бы краешком глаза взглянуть на сверхтехнику грядущего?

Как многие читатели, знакомство с книгой мы начали с оглавления — и сразу же невольно насторожились: из тринадцати названий глав в десяти неизменно присутствовало слово «использование». Не таким, подумалось нам, должен быть язык популярного издания. На соседней странице нас ожидала ещё одна неожиданность.

В списке рекомендуемых книг наряду с изданиями 1948—1953 годов (более поздние почему-то не приведены) значится и книга Г. Гюнтера «Энергетика будущего». Она привлекает внимание не только тем, что точно повторяет название рецензируемой книги, но и тем, что вышла ещё в 1936 году. В какой мере может быть сегодня полезной читателю книга о технике будущего, увидевшая свет целых двадцать лет назад?

Получить ответ на этот вопрос оказалось нелегко — книга Гюнтера давно уже стала библиографической редкостью. Она вышла (в переводе с немецкого) в юношеской научно-технической библиотеке Госэнергоиздата и имеет подзаголовок «Через сто лет».

О труде, затраченном на поиски этой книги, жалеть не пришлось. Начиная с первой и до последней страницы, книга держит читателя в напряжении, живым, увлекательным словом утверждая грядущую прочную победу человека над всеми стихиями.

Книге (мы познакомились с изданием 1934 года) предпослано предисловие академика Г. М. Кржижановского, характеризующее её с самой лучшей стороны. «Литературный талант автора несомненен, а тема, которой посвящена его работа, — великая тема... Побольше бы таких работ», — писал наш виднейший энергетик.

Ко многому обязывает такой призыв. Откликнуться на него решил Г. Зарницкий. Прежде чем рассказать, как он это сделал, перелистаем ещё раз страницы книги Гюнтера. Мы знакомимся со многими дерзновенными проектами.

...Плотина перегородила Гибралтарский пролив, и воды Атлантического океана, низвергаясь с высоты двухсот метров, вращают гигантские турбины. Электрические станции используют энергию морского прилива, океанских приливов и отливов. Порабощённые циклоны и ветры совершают полезную для человека работу. Внутреннее тепло Земли приводит в действие машины вулканической электростанции. Источниками энергии становятся тропические моря и даже арктический холод... Мечтает автор об энергии покорённого атома и о многом другом.

Ряд проектов, о которых рассказал Гюнтер, давно воплощён в жизнь. Перед человечеством открылись теперь новые увлекательнейшие перспективы использования неисчерпаемых природных энергетических ресурсов. Энергетика будущего поможет изменить климат нашей древней планеты, растопить вечные льды арктических морей, совершить гигантский прыжок в космическое пространство... Читатель мог ожидать, что об этом и о многом другом — новом, неведомом, манящем — он прочтёт в книге Г. Зарницкого.

Однако после того, как книга будет прочитана, разочарованный читатель вправе будет сказать: это — переработанное, незначительно дополненное и значительно ухудшенное издание книги Гюнтера. Новым у Г. Зарницкого является рассказ о гелиоэлектростанции, электростанции, работающей на «атомном горючем» (которую Гюнтер вообще не мог описать, так как в его время конкретных путей использования энергии атома не знали), и некоторые примеры из практики советской техники.

Нужно, впрочем, заметить, что новизна раскрытия темы о гелиоустановках весьма условна. Автор забыл о том, что ныне известно уже ученикам ремесленных училищ. В своём журнале «Знание — сила» они прочитали, что с помощью полупроводниковых приборов солнечные лучи смогут быть превращены непосредственно в электрический ток. В книге же Г. Зарницкого идёт речь об обычных солнечных нагревателях.

Разве можно было умолчать о такой области современной науки и техники, как полупроводниковая энергетика? Полупроводниковые термо- и фотоэлементы позволяют создавать новые типы мощного энергетического оборудования.

Можно ли было уделить вопросу непосредственного преобразования атомной энергии в электрическую всего лишь один абзац из трёх с половиной строк?

Можно ли было почти ничего не сказать о грандиозной проблеме передачи энергии на сверхдальние расстояния при помощи постоянного тока сверхвысокого напряжения и о беспроводной электропередаче?

Этим проблемам даже Гюнтер отвёл гораздо больше места. Пытливо вглядываясь в будущее, он писал об осуществлении беспроводной электропередачи и о передаче по проводам при напряжении в миллион вольт. Г. Зарницкий ограничивается рассказом о линии с напряжением в четыреста тысяч вольт, которая уже строится в СССР.

Энергетика будущего... Это — ёмкое понятие, непрерывно расширяющееся с прогрессом техники, с каждым новым открытием или изобретением. И если работа Гюнтера — это смелый полёт инженерной мысли, то рецензируемая книга — это всего лишь топтание на месте.

Не чужд Г. Зарницкий текстуальных заимствований.

Читаем у Гюнтера: «Сначала скажем несколько слов о морских волнах. Запас их энергии наиболее ярко выступает там, где

они в виде ревущего прибоя разбиваются о скалистые берега с мощностью, достаточной для того, чтобы подхватить и разрушить большие суда».

А вот как «творчески переработал» эту мысль Г. Зарницкий.

«Запасы энергии, содержащейся в морских волнах, — пишет он, — наиболее показательны в тех местах побережья морей и океанов, где волны в виде ревущего прибоя разбиваются о скалистые берега с мощностью, достаточной для разрушения даже крупных океанских судов».

Примеры подобных «совпадений» мы находим и на других страницах. Из книги Гюнтера целиком взяты рисунки 1, 4, 5, 12.

Оставляет желать много лучшего и язык книги. Ограничимся одним примером. Игнорируя правила русской грамматики, автор пишет: «В СССР, а не где в другой стране мира, была пущена первая в мире атомная электрическая станция» (стр. 73). Любопытно было бы узнать, какую работу над рукописью Г. Зарницкого проделал редактор издательства И. П. Лотышев?

Нужная и большая тема — «энергетика будущего» — ждёт своего полноценного воплощения.

Инженёр М. ГОЛЕЙ



ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

В. Г. КОРОЛЕНКО В ГОСТЯХ У СЕРБОВ И ХОРВАТОВ

Тёплым августовским вечером 1907 года в небольшом славянском городе Липике вышел из поезда плотный приземистый человек с огромной шапкой волос и широкой окладистой бородой. Это был Владимир Галактионович Короленко.

«Случилось мне, — писал он впоследствии, — попасть в маленький чисто славянский курорт, очень мало кому из нас известный. Называется он Липик, обладает превосходными иодистыми источниками, прекрасным климатом и живописным парком Публика — хорваты, сербы, славонцы, босняки в фесках и широких штанах, по-турецки суживающихся книзу. Даже рослые красивые албанцы в своих живописных костюмах. Всё в этом славянском курорте как-то удивительно просто и демократично».

Слова эти взяты из до сих пор ещё не опубликованной статьи В. Г. Короленко, посвящённой впечатлениям от поездки в Сербию и Хорватию. Написанная в 1912—1913 годах, она не была завершена и окончательно озаглавлена автором. Только на первой странице, сбоку, рукой писателя сделана карандашная пометка: «У славян». Помимо этой статьи, в Отделе рукописей Библиотеки СССР имени В. И. Ленина (фонд В. Г. Короленко) хранятся среди других две записные книжки писателя, связанные — правда, лишь в небольшой своей части — с его пребыванием у южных славян. К сожалению, этот интересный материал до сих пор ещё не вошёл в оборот нашего литературоведения.

...Перед нами записная книжка-календарь на 1907 год в красном матерчатом переплёте. Из заметок, сделанных Короленко, видно, что 7 июня 1907 года русский писатель выехал с семьёй из Полтавы для лечения в немецкий город Наугейм, 25 июля, по окончании курса лечения, уехал из Наугейма, а 1 августа остановился в Липике (Славония). Здесь В. Г. Короленко провёл двадцать шесть дней. Ещё на пути

в Липик в его записной книжке появляется заметка: «29 (11) июля. Интересные картинки в вагоне: сербы-славонцы ехали на военную службу: песни, шумные разговоры» («dievojka mila, dievojka draga», — записывает он начало одной сербской песни).

С любовью встретили представители сербской и хорватской интеллигенции выдающегося русского писателя. Вот как сам Владимир Галактионович рассказывает в статье «У славян» об этом сердечном приёме.

« — Липик!

Нам пришлось выходить. Был тихий и мягкий южный вечер. Станционный фонарь, соперничая с луной, освещал маленькое станционное здание и густую толпу, ожидавшую поезда...

Мои знакомые, единственные русские, быть может, с самого основания курорта, встретили меня у выхода из вагона и объяснили причину многолюдства на станции; оказалось, что в маленьком городишке происходил митинг антивоенского протеста, на котором обсуждалась какая-то злоба дня. Большинство участников митинга были иногородние и теперь разъезжались. Какой-то красивый молодой человек спешил наскоро досказать речь, начатую до приезда поезда, и закончил её возгласом... что-то вроде: «живео Русиа» и наконец:

— Живео русски дописник... имярек!

Дописник — значило, конечно, писатель, а имярек не оставляло никаких сомнений: речь шла обо мне».

Чрезвычайно тронутый этим сердечным приёмом, В. Г. Короленко произнёс ответную речь, в которой от имени прогрессивной России приветствовал братские славянские народы и их освободительную борьбу против австро-венгерской монархии.

В. Г. Короленко, приехав в Сербию, начал изучать сербский язык и вскоре мог читать местные радикальные газеты. Зоркий наблюдатель, он видел тот широкий отклик, который получила русская революция 1905 года у балканских славян. Так, в той же неоконченной статье «У славян» читаем:

«Вообще бап (речь идёт о хорватском реакционном правителе К. Хедервари. — А. Р.) в союзе с «сеймом» держали страну в положении не лучшем, чем Россию держало дореформенное правительство. Но

вот — у нас пошатнулся, казалось, такой прочный и устоявшийся порядок, — и отголоски наших событий 1905 года разнеслись по Балканам. Вздрыгнула султанская Турция, усилилось брожение в славянских государствах, даже в Венгрии наши события способствовали усилению радикальной партии Кошута. Та же искра пробежала по Хорватии и Славонии, призывая к объединению все партии против «Народной страны» и тирании Хедервари.

Насколько широким был интерес писателя к жизни южнославянских народов, показывает и записная книжка маленького формата, в чёрной клеёнчатой обложке, с наклейкой и надписью рукой автора: «Хорватия. Славония. Сербия. Буковина». В. Г. Короленко жадно следит не только за политическими событиями и освободительной борьбой на югославской земле. Он интересуется литературой сербского и хорватского народов, историей южнославянских языков, состоянием просвещения в стране.

Рядом с именами известного сербского поэта Джуро Якшича и Стевана Сремаца (крупнейшего реалиста, автора повести «Поп Чира и поп Спира») В. Г. Короленко вносит в свою записную книжку имена хорватских писателей: выдающегося беллетриста Козараца и поэта Петара Прерадовича.

Русскому художнику слова особенно импонировало то, что некоторые видные сербские писатели переводили произведения русских классиков. Так, отмечая в своей записной книжке имя талантливейшего сербского поэта Иована Иовановича-Змая, Короленко тут же добавляет: «серб<ский>

поэт — перев<ёл> Полтаву, Дем<она> Лерм<онтова>».

Слово «перев<ёл>» «одчик» стоит и вслед за именем Л. Лазаровича. Делая эту отметку, Короленко имел в виду, что сербский писатель Л. Лазарович перевёл главу из романа «Что делать?» Чернышевского, а также некоторые произведения Гоголя и Писемского. О хорватском писателе Шандоре Ксавере Дяльском Короленко записывает: «под влиянием русских писателей и вводит в беллетристику русские слова (напр. «порыв»)».

Непосредственное общение с местными интеллигентами помогло русскому писателю глубже узнать жизнь страны, её литературу, историю литературных южнославянских языков.

Природа Сербии напоминала Короленко родную природу русского юга, а широкий, полноводный Дунай — величавую Волгу.

Он пишет: «28 (10) вторник. По Дунаю... Свежий ветер волнует желтоводный простор, Дунай стал мутен, кое-где пески и ивы... Очень похоже на нашу Волгу, где-нибудь около Саратова...»

Одну из записей Короленко сопровождает собственным рисунком.

Пребывание великого русского писателя в гостях у южных славян, любовь простых людей Сербии, Славонии и Хорватии к выдающемуся представителю демократической России, пристальное внимание русского художника слова к жизни южнославянских народов, к культуре страны — одна из интересных страниц в истории дружественных связей двух братских славянских народов.

А. РУБИНШТЕЙН



Р Е П Л И К И

КНИГИ-СПУТНИКИ

Недавно с группой туристов нам пришлось путешествовать по Югославии. Свыше трёх тысяч километров проехали мы на автобусах общества «Путник» по дорогам этой очень красивой страны. Это было стремительное путешествие, во время которого впечатления грозили захлестнуть друг друга. Однако нас выручали маленькие книжки с яркими обложками, с цветными схемами и картами — путеводители по городам и дорогам страны. Ещё не прибыв в город, мы уже знали, что интересного должны мы встретить в нём; мы знали историю этого города, его достопримечательности.

Каждому из нас много приходится путешествовать по родной стране. Но наших туристов и любителей путешествий не сопровождает желанный спутник — узенькая книжка в ярком переплёте. Их просто нет — путеводителей по нашим городам, дорогам и рекам.

Кроме хорошего путеводителя Георгия Кублицкого «Большая Волга» да несравненно более скудных путеводителей по Днепру и Черноморскому побережью Кавказа, за все последние годы не было издано ничего в помощь путешественнику.

Помимо практических путеводителей, могут и должны быть изданы книги-путеводители особого жанра, созданные талантливыми писателями и журналиста-

ми, такие, как «Путешествие по Советской Армении» Мариэтты Шагинян, или отличные очерки Константина Паустовского о поездке по белорусским и прибалтийским дорогам, или очерки Валентина Катаева об автомобильном путешествии из Москвы в Симферополь, или коллективно написанная Н. Грибачёвым, А. Кривицким и С. Смирновым книга «Десна-красавица», где живой рассказ о летнем отдыхе на реке сочетается со множеством конкретных сведений, сообщаемых читателю.

Перечисленные нами произведения, конечно, не путеводители, но все они говорят о том, сколь увлекательными и романтическими могли бы быть книги, специально адресованные путешественнику.

Путеводитель не может объять необъятное. Он должен нести путешественнику только самое интересное и самое необходимое, но не дай бог, чтобы по форме своею он был только справочником.

Заинтересовавшись вопросом о книгах-путеводителях, мы обратились в те издательства, которые, как нам представляется, должны бы взять на себя это дело.

Госкультпросветиздат не обрадовал нас. Путеводители по Сельскохозяйственной выставке и по литературным музеям Москвы — вот всё, что создано в недрах издательства.

Географиз. Пока что он только обещает дать путешественникам-читателям первые книги. Должен появиться в свет путеводитель по Волго-Дону, напи-

санный Евгением Рябчиковым, путеводитель по Кавказским Минеральным Водам, написанный Евгением Симоновым; ожидаются книги-спутники в будущих поездках по Южному берегу Крыма, из Москвы в Уфу, по Черноморскому побережью и такая нужная книга, как «На автомобиле по родной стране».

Читатель-путешественник ждёт выхода не только этих книг. Он хочет объездить все наши республики, Север и Юг, Восток и Запад. Он хочет, чтобы во всякой дороге его сопровождал умный, знающий, талантливый спутник.

Вас. ЗАХАРЧЕНКО.

★

КТО ПОСТРОИЛ ЭТОТ ДОМ?

Мы справедливо восхищаемся многими зданиями, сооружёнными по проектам лучших зодчих. Но, любуясь этими зданиями, всегда ли мы знаем имена их строителей и архитекторов? Доска с именем архитектора Рерберга на здании Московского центрального телеграфа является счастливым исключением.

За последние годы не раз говорили о том, что следует на законченных зданиях устанавливать такие специальные доски с именами архитектора и всех тех, от чьих таланта, знаний, опыта и умения зависит в основном качество законченного архитектурного произведения. Это было бы правильно не только в тех случаях, когда здание заслуживает хорошей оценки современников, но даже и тогда, когда оно вызывает справедливые упреки. Плохую книгу лег-

ко забыть, плохую картину можно не смотреть, но в плохом доме приходится жить, и пусть создатели его знают, что каждый день их кто-то поминает недобрым словом. Ещё более справедливо это в тех случаях, когда, пользуясь зданием, удобным для нас, и любуясь его красивым видом, мы знаем имена тех людей, чей коллективный труд принёс нам эту житейскую и эстетическую радость.

Доктор архитектуры

А. ГЕГЕЛЛО.

★

НЕПОНЯТНО!

Восьмого марта 1956 года в «Литературной газете» напечатана «Реплика на реплику», автор которой, И. Зильберштейн, спорит с редакционным примечанием к опубликованной в февральской книге «Нового мира» реплике А. Вруштейн и высказывает опрометчивое утверждение, будто бы, называя в числе журналов, посвящённых публикации исторических документов, воспоминаний и дневников, также и журнал «Старые годы», «автор редакционной заметки говорит о журнале, которого никогда не видел».

Зачем же так?

И. Зильберштейн пишет о «Старых годах»: «Издание это... было целиком посвящено вопросам изобразительного искусства». Это справедливо. Но, говоря о публикации документов прошлого, мы, естественно, имели в виду все сферы общественной жизни, в том числе и искусство.

В «Старых годах», продолжает И. Зильберштейн, «ни-

когда не печатались воспоминания». Но, приведя выше цитату из редакционной заметки «Нового мира» о журналах, посвящённых публикации исторических документов, воспоминаний и дневников», И. Зильберштейн сам напомнил читателям, что речь шла не только о воспоминаниях, но и документах. Открыв же наугад комплект упомянутого журнала за любой — скажем для примера, за 1914 год, — мы обнаружим там ряд публикаций, основанных на первоисследовании исторических документов. В январской книжке — публикацию С. Эрнста о художнике А. П. Лосенко, в февральской — Дени Роша о пребывании в России живописца Паризо, в апрельской — исследование Н. Лернера о так называемом «Лжебрюлловском» портрете А. С. Пушкина, в выпуске за июль—сентябрь — документы павловской эпохи, публикуемые С. Казнаковым в его обширной статье о Гатчине, и т. д. и т. п. Не меньше полезных материалов мы обнаружили бы, открыв любой другой годовой комплект упомянутого журнала. Позволительно спросить: кто же не видел журнала, о котором пишет?

Но чем же вызвана запальчивость автора «Реплики на реплику»?

Ответ на это даёт вторая половина его заметки. Тут-то и обнаруживается её пафос, заключающийся в выражении против несправедливого якобы умолчания о том, что «Литературное наследство», сотрудником которого состоит И. Зильберштейн, также публикует исторические документы и воспоминания.

Но можно ли было называть хорошие, содержатель-

ные сборники «Литературного наследства» в числе журналов, о которых шла речь в реплике?! Ведь «Литературное наследство» отнюдь не принадлежит к числу временных изданий. За четверть века, как свидетельствует сам И. Зильберштейн, выпущено 62 тома «Литературного наследства», причём было немало лет, когда читатель не видел ни одного нового тома этого издания. Не о таком типе изданий говорилось в примечании к реплике, на которое так необоснованно обрушился И. Зильберштейн.

Что касается наших «тслстых» журналов, в которых И. Зильберштейн советует публиковать мемуары, историко-литературные документы и т. д., то, между прочим, они это и делают в меру отгущенной им площади. Только в 1955 году, например, в «Октябре» были напечатаны записки В. Лидина о его встречах со многими замечательными писателями, в «Знамени» — воспоминания Л. Сейфуллиной о Маяковском и Л. Пасынкова о М. Горьком; в «Новом мире» есть специальный раздел «Дневники, воспоминания, документы».

И вот возникает законный вопрос: чего ради И. Зильберштейн написал свою «Реплику на реплику»? То ли для того, чтобы возразить против нашего предложения о расширении профиля «Исторического архива», прежде чем будет решён вопрос об издании журнала с преобладающим вниманием к мемуарно-документальной литературе, то ли для прославления «Литературного наследства», которое вовсе не нуждается в таком экстренном мероприятии. Непонятно!



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

УТРАЧЕННЫЙ ВКУС

«Утраченные грёзы»... Не правда ли, неплохое название для душещипательного романа, из тех, которые, как свидетельствуют историки, пользовались большой симпатией у сентиментальных девиц на выданьи в середине прошлого века? Подходит это название и для недорогих духов. Работники парфюмерной промышленности обожают поэзию этого сорта.

Как странно, что Джузеппе де Сантис, итальянский кинорежиссёр, великолепный мастер реалистического киноискусства, назвал так свою картину, которая говорит о нелёгкой судьбе итальянской девушки. Как жаль, что ему изменило чувство стиля и вкуса!

Нет, не изменяло Джузеппе де Сантису это чувство. Не называл он свою картину «Утраченными грёзами». Он назвал её совсем иначе — резко и смело; «Дайте мужа Анне Заккео».

Слово «муж», а тем более требование «дайте мужа», видимо, шокировало стыдливых киноработников, и они выпустили фильм Джузеппе де Сантиса под названием столь же своеобразным, сколь и пошлым.

Недавно подобные вольности позволяли себе наши издательства. Издательству иностранной литературы показалось, например, что на-

звание романа Митчела Уилсона «Live with Lighting», которое примерно переводится, как «Жизнь среди молний» или «Живи среди молний», недостаточно передаёт ту тяжёлую обстановку, в которую поставлены его герои — американские учёные, и оно переименовало название на... «Жизнь во мгле». Заглавие романа Ренаты Вигано «Аньезе идёт на смерть» показалось чрезмерно пессимистическим, и его переделали в «Товарищ Аньезе».

Литературная общественность и печать осудили подобное усердие не по разуму. Но теперь своевольничают работники кино. Как странно, что фильм «Отелло» не вышел на экраны под названием «Безумный ревнивец». Это было бы вполне в стиле «Утраченных грёз».

Л. С.

★

СПОР ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ 1956

«Показав нам с такой наглядной «бытовой» убедительностью, как начинается формирование характера человека, В. Панова словно бы захотела ограничить этого человека пределами улицы Дальней... Ведь и поездка в совхоз написана не затем, чтобы шире распахнуть перед маленьким человеком большой мир, а только для того, чтобы Серёжа ещё лучше разглядел Коростелёва. И хотя писательница показывает впечатление Серёжи от совхоза, как от чего-то очень большого, ни-

что, кроме Коростелёва, не привлекает там активного непосредственного внимания ребёнка. И тут начинается моё решительное несогласие с В. Пановой. Я не могу согласиться с ней, так же как не согласилась бы с микробиологом, который стал бы отрицать Галактику на том основании, что она непостижима для его микроскопа».

(З. Кедрина. «Маленький человек и большой мир». «Литературная газета» от 31 января 1956 года).

1856

«Мы любим не меньше кого другого, чтобы в повестях изображалась общественная жизнь; но ведь надобно же понимать, что не всякая поэтическая идея допускает внесение общественных вопросов в произведение, не должно забывать, что первый закон художественности — единство произведения, и что потому, изображая «Детство», надобно изображать именно детство, а не что-либо другое, не общественные вопросы, не военные сцены, не Петра Великого и не Фауста, не Индиану и не Рудина, а дитя с его чувствами и понятиями. И люди, предъявляющие столь узкие требования, говорят о свободе творчества! Удивительно, как не ищут они в «Илиаде» — Макбета, в Вальтере Скотте — Диккенса, в Пушкине — Гоголя!»

(Н. Г. Чернышевский. «Детство и отрочество». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Спб. 1856. «Военные рассказы» графа Л. Н. Толстого. Спб. 1856. «Современник», 1856, № 12).



КОРОТКО О КНИГАХ

☆

Ал. АЛТАЕВ. Памятные встречи. «Советский писатель». М. 1955. 364 стр. Цена 6 р. 95 к.

«26 октября Вера Михайловна поздравляет:

— Победа! Зимний дворец взят. Власть в руках большевиков!

А вечером того дня я, гордая и счастливая, как и все окружавшие меня, слушаю Ленина, его знаменитое выступление на Всероссийском съезде Советов. Мне кажется, что и сейчас, тридцать лет спустя, я чётко вижу плотную, как бы вылитую и вместе с тем стремительную в движении фигуру Владимира Ильича, вижу его глаза, в которых горит мысль, часто меняя выражение глаз. Я слышу гул овалей, я вижу восторг в глазах людей — они все на ногах, стоя приветствуют вождя победоносного восстания.

...Благословенны пути жизни, приведшие меня в штаб пролетарской революции».

Последние слова заключают воспоминания Маргариты Владимировны Алтаевой-Ямщиковой (Ал. Алтаев). В этих строчках — пафос книги и смысл большой и долгой жизни автора, начавшего печататься в шестнадцать лет, а сегодня, спустя почти семь десятилетий, продолжающего плодотворный литературный труд.

В книге собраны воспоминания о художниках Агине, Максимове, Репине; об актрисах Сантаганно-Горчаковой, Савиной, Кузьминой; о русском живописце Клодте; о шестидесятинице Толиверовой — прекрасной русской женщине, принимавшей участие в гарибальдийском движении в Италии; о коммунистке Вере Михайловне Величкиной. Какая галерея разнообразных типов старой России, какие разные индивидуальности и какие яркие характеры!

И самое важное и значительное в аннотируемых воспоминаниях — это заключительные, к сожалению немногочисленные, страницы о днях революции 1917 года, о Ленине и Крупской, о работе в первых газетах того времени — «Солдатской правде» и «Деревенской бедноте».

КЛАССИКИ ТУРКМЕНСКОЙ ПОЭЗИИ. Махтум-Кули. Молла-Непес. Кемине. Государственное издательство художественной литературы. М. 1955. 328 стр. Цена 4 р. 10 к.

Творчество корифеев туркменской классической поэзии, представленных в настоящем сборнике, давно привлекало внимание

исследователей. В произведениях Махтум-Кули, Молла-Непеса, Кемине нашли своё отражение общественные идеалы передовых людей их времени, народные чаяния об объединении туркменских племён.

Стихи, включённые в книгу, даны в переводах А. Тарковского и М. Петровых. Сборник снабжён предисловием и примечаниями Л. Климовича и пояснительным словарём.

АМИРХАН ЕНИКЕЕВ. Спасибо, товарищи! Повесть и рассказы. Авторизованный перевод с татарского. «Советский писатель». М. 1955. 260 стр. Цена 4 р. 70 к.

В повести «Спасибо, товарищи!», открывающей книгу Амирхана Еникеева, показана жизнь сегодняшней татарской деревни. Главный герой её — заведующий животноводческой фермой Нургали Мингалеев — после долгих дней мучительных раздумий под влиянием деловой критики находит в себе силы по-новому взглянуть на свою работу. Та же тема критики и самокритики лежит и в основе рассказа «Болотный цветок», где повествуется о втором секретаре райкома Мостафине, которого за утрату принципиальности и отрыв от народа заслуженно «прокатили» на выборах.

Другие рассказы сборника — «Девочка», «Только на час», «Одинокая гусыня» и «Знакомая девушка» — представляют собой эпизоды из жизни фронтовиков. Районные будни послевоенной Татарии получили своё отражение в рассказах «Солнечное утро», «Зимняя дорога» и «У моста».

ПЬЕСЫ. ДРАМАТУРГИЯ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ. Издательство иностранной литературы. М. 1956. 654 стр. Цена 19 р. 50 к.

Сборник пьес, выпущенный Издательством иностранной литературы, знакомит читателей с сегодняшним днём стран народной демократии, с борьбой людей за новую жизнь и новые человеческие отношения.

В сборник входит восемь пьес разных авторов. Весёлая комедия польского драматурга Ежи Юрандота «Такие времена» рисует жизнь предприятия в маленьком городке, то новое, что появилось в человеческих отношениях. Комедия чеха Милослава Стеглика «Орденосцы» рассказывает о доблести шахтёрского труда и больших переменах в психологии людей. Борьбе с диверсантами посвящена пьеса другого чешского драматурга, Павла Пасека, «Капитан пришёл во-время». Переведённая с венгерского сатирическая комедия «Огуречное

дерево» Эрне Урбана едко высмеивает самодурство и бюрократизм. В комедии румынского писателя Аурела Баранга «Взбесившийся ягнёнок» говорится о борьбе изобретателей с косностью. Всё это пьесы о сегодняшнем дне. Но и остальные пьесы сборника, посвящённые недавней истории, так же пронизаны чувством современности. Они утверждают идеи социализма и международной солидарности трудящихся. Это драма «Счастье» болгарина Орлина Василёва, драма молодого албанского драматурга Сулеймана Петарки «Семья рыбака». Пьеса немецкой писательницы Гедды Циннер «Чёртов круг».

Пьесы сборника отличаются тематическим и жанровым разнообразием. Сборник будет интересен не только для деятелей театрального искусства, но и для самого широкого читателя.

В. ЖУКРОВСКИЙ. Сказки Вьетнама. Перевод с польского. Государственное издательство детской литературы Министерства просвещения РСФСР. М. 1956. 64 стр. Цена 3 р. 40 к.

Польский писатель Войцех Жукровский находился во Вьетнаме в самый разгар «грязной войны», развязанной колонизаторами. Он был свидетелем многих жестоких боёв и героического сопротивления Народной армии войскам колонизаторов. Он рассказал о виденном в своей книге «Три тысячи километров по Вьетнаму». Встречаясь с простыми людьми Вьетнама, Жукровский записал много старинных сказок и легенд. Детиздат выбрал из них несколько и, отлично проиллюстрировав, издал для младших школьников. Но сказки эти так поэтичны, мудры и остроумны, а интерес к вьетнамскому народу и его культуре так велик, что их небезинтересно будет прочитать и взрослым.

ПОЭЗИЯ ХАКАССИИ. Государственное издательство художественной литературы. Переводы под редакцией А. Ойслендера. М. 1955. 176 стр. Цена 5 р.

Хакасская литература — одна из самых молодых советских национальных литератур. Большое место в ней занимает поэзия. По сравнению с ранее вышедшими сборниками переводов стихов хакасских поэтов настоящий сборник является наиболее обширным и даёт представление о путях развития хакасской поэзии и о её достижениях за последние годы.

Отрадно отметить, что в работе над переводами стихов наряду с молодыми переводчиками большое участие приняли опытные мастера поэтического перевода.

СОВЕТСКАЯ ДЕТСКАЯ КНИГА. Детгиз. М. 1955. Цена 10 р. 75 к.

Этот альбом, в котором портреты любимых писателей соседствуют с репродукциями иллюстраций к их произведениям. Высказывания классиков и советских писателей о значении детской литературы подкрепляются цифрами тиражей. Цифры эти говорят о многом. За годы 1918—1954 в СССР издано 45 062 названий книг для детей тиражом 1 318 295 тысяч экземпляров.

Любопытны помещённые в альбом отзывы ребят о книгах. «Я прочла роман, который написал А. Фадеев,— пишет из г. Чарджоу ученица пятого класса Валя С.— Дорогой Деггиз! Я даже Вам не могу передать, как мне этот роман понравился. Я читала, а сама думала: сумею ли я так поступить, как поступили юные молодоговардейцы? Да! Я не пожалею своих сил, но если понадобится и жизнь, то я отдам её без минуты колебания на благо своей страны».

РАССКАЗЫ ПИСАТЕЛЕЙ-ВОЛЖАН. Куйбышевское книжное издательство. 1955. 255 стр. Цена 6 р. 25 к.

РАССКАЗЫ. Алтайское книжное издательство. Барнаул. 1955. 83 стр. Цена 1 р. 25 к.

По примеру «Советского писателя» некоторые местные издательства стали выпускать сборники рассказов. Рассказы эти, различные по художественному уровню, мастерству, тематике, дают известное представление о процессах, происходящих сейчас в деревне, о труде и быте рабочего класса и интеллигенции. Рассказы вместе с тем позволяют судить об уровне литературной жизни в крае или области.

Надо отметить, что сборник Куйбышевского издательства подобран более тщательно, с большим разнообразием и лучше оформлен, чем подобный сборник, выпущенный Алтайским издательством.

РУССКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ УДАРЕНИЕ И ПРОИЗНОШЕНИЕ. Опыт словаря-справочника. Под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова. Государственное издательство иностранных и национальных языков. М. 1955. 576 стр. Цена 7 р. 50 к.

Нередки споры о произношении тех или иных слов, об ударении. Это и понятно. Язык постоянно развивается вместе с обществом. Случается, два варианта произношения равноправно сосуществуют в современном языке.

Кроме того, бывают просто неправильно, ошибки в произношении, особенно нетерпимые в устной публичной речи.

Аннотируемый словарь даёт ответы на конкретные вопросы о правильном произношении отдельных слов и выражений и вместе с тем служит пособием по общим вопросам русского литературного произношения и ударения.

СПРАВОЧНИК ПРОПАГАНДИСТА И АГИТАТОРА. Госполитиздат. М. 1955. 372 стр. Цена 6 р. 50 к.

В этой не столь уж большой по объёму книге компактно размещён обильный цифровой и фактический справочный материал. Таким образом, у беседчика, агитатора, докладчика, журналиста окажутся всегда под рукой обычно необходимые ему сведения. Они позволят сообщить аудитории те или иные данные в их динамике, сделать интересные сопоставления, выводы и обобщения.

Справочник состоит из трёх основных разделов: «Союз Советских Социалистических Республик», «Краткие сведения о некоторых зарубежных странах» (включено

19 государств), «Международные организации». Читатель найдёт достаточно подробные сведения об ООН, о Всемирном Совете Мира, Всемирной федерации профсоюзов и других демократических организациях, а также сведения о важнейших международных совещаниях.

В конце книги помещены тематически подобранные пословицы и поговорки.

И. БЕНЕДИКТОВ. Что мы видели в Англии. (Впечатления советской сельскохозяйственной делегации.) Госполитиздат. М. 1955. 80 стр. Цена 85 к.

По инициативе редакции «Ньюс кроникл» летом 1955 года Англию посетила советская сельскохозяйственная делегация. Советские специалисты получили достаточно полное представление о животноводстве, растениеводстве и механизации английского сельского хозяйства. Члены делегации побывали в различных научно-исследовательских институтах, промышленных фирмах, на выставках, ознакомились с рядом приёмов и методов, которые с успехом могут быть применены в СССР.

Всюду они встречали дружеский приём. Учёные и фермеры делились своим опытом и в свою очередь проявляли живой интерес к достижениям советского сельского хозяйства. Как известно, прошлой осенью Советский Союз посетила английская сельскохозяйственная делегация, радушно встреченная нашей общественностью.

Отдельные главы книги посвящены различным отраслям английского сельскохозяйственного производства.

В. МАЕВСКИЙ. На Британских островах. «Молодая гвардия». М. 1955. 256 стр. Цена 5 р. 70 к.

В качестве корреспондента «Правды» автор книги прожил на Британских островах более трёх лет, побывал в пятидесяти крупных городах Англии, Шотландии и Уэльса, беседовал с сотнями англичан — от рабочих до министров. Авторский рассказ — это результат длительных наблюдений и раздумий. Не только конкретные судьбы рядовых тружеников, но и ряд сторон политической и культурной жизни страны получил отображение в книге. Читатель знакомится с борьбой английского народа за мир.

И. КОБЗЕВ, Г. ОСТРОУМОВ. Тысяча миль по Англии. Госполитиздат. М. 1955. 88 стр. Цена 1 р.

Группа советских студентов — и среди них авторы будущей книги И. Кобзев и Г. Остроумов — по пути в Англию встретилась на аэродроме в Праге с английскими студентами, направлявшимися с «обменным визитом» в СССР. Многие из англичан отнеслись к своим советским коллегам насторожённо. Через три недели на том же аэродроме состоялась вторая встреча: экс-

курсанты возвращались на родину. Встреча вышла совсем иной — тёплой, дружеской, непринуждённой. «Москва — прекрасный город! Мы видели много красивого... Замечательно отдохнули в Сочи!» Так непосредственное общение растопило лёд недоверия.

Книга И. Кобзева и Г. Остроумова имеет подзаголовок «Из путевых заметок». Она составлена из непосредственных впечатлений об «увиденном своими глазами» во время краткого пребывания авторов в Англии.

Г. А. СОКОЛОВ. Леса-сады. Географгиз. М. 1955. 176 стр. Цена 2 р. 70 к.

Что мы знаем о деревьях, кустарниках? Далеко не всем, очевидно, известно, что кедровое «молоко» значительно питательнее мяса и яиц; что клейкая жидкость, выделяющаяся при надрезах на коре кедра, быстро заживляет раны у людей.

А вот «дерево-комбинат». Это грецкий орех. С его помощью можно восстанавливать силы уставшего человека, улучшать сердечную деятельность, лечить зрение. Один урожай десяти взрослых деревьев ореха может дать столько же масла, сколько целый гектар подсолнечника. Из скорлупы плодов этого дерева изготавливается много полезных вещей.

О том, какое неисчислимо богатство представляют собой дикие, созданные самой природой лесосады, и о том, как мало ещё мы используем их в хозяйственных целях, рассказывается в книге Г. Соколова.

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ КИТАЯ. Сборник статей. Издательство Академии наук СССР. М. 1955. 183 стр. Цена 7 р. 75 к.

Великий китайский народ подарил миру много замечательных открытий. О некоторых из них рассказывает сборник Института истории естествознания и техники Академии наук СССР.

Сто с лишним лет назад в «Трудах Общества русских врачей» была опубликована статья «О состоянии медицины в Китае». Автор её — А. А. Татаринов, — проживший десять лет в Пекине, много и плодотворно занимался этим вопросом. Материалы, собранные и опубликованные Татариновым и другими русскими врачами, участвовавшими китайскую медицину, легли в основу главы сборника «Общебиологические взгляды врачей древнего Китая».

Большая статья посвящена истории гидротехнических сооружений Китая. Ряд материалов повествует о достижениях китайских химиков и математиков.

К сожалению, в сборнике нет статей о великих китайских изобретениях — книгопечатании, компасе, бумаге и фарфоре (о последних двух вкратце рассказывается в главе по истории химии).



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. 690 стр. Цена 12 р.

В. И. Ленин. О производительности труда. 152 стр. Цена 1 р. 75 к.

В. И. Ленин. О развитии тяжелой промышленности и электрификации страны. 212 стр. Цена 4 р. 25 к.

Воспоминания о Марксе и Энгельсе. 424 стр. Цена 16 р.

Н. С. Хрущёв. Отчётный доклад Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза XX съезду партии. 144 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. А. Булганин. Доклад о Директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 годы. 80 стр. Цена 1 р.

Н. И. Беляев. Речь на XX съезде КПСС. 20 стр. Цена 25 к.

К. Е. Ворошилов. Речь на XX съезде КПСС. 24 стр. Цена 25 к.

Л. М. Каганович. Речь на XX съезде КПСС. 36 стр. Цена 40 к.

А. И. Кириченко. Речь на XX съезде КПСС. 24 стр. Цена 25 к.

Г. М. Маленков. Речь на XX съезде КПСС. 32 стр. Цена 35 к.

А. И. Микоян. Речь на XX съезде КПСС. 40 стр. Цена 45 к.

В. М. Молотов. Речь на XX съезде КПСС. 24 стр. Цена 30 к.

М. Г. Первухин. Речь на XX съезде КПСС. 32 стр. Цена 30 к.

М. А. Сулов. Речь на XX съезде КПСС. 32 стр. Цена 30 к.

Н. М. Шверник. Речь на XX съезде КПСС. 32 стр. Цена 30 к.

Д. Т. Шпилов. Речь на XX съезде КПСС. 32 стр. Цена 30 к.

Заседания Политического Консультативного Комитета, учреждённого в соответствии с Варшавским договором. 64 стр. Цена 70 к.

Об итогах выполнения Государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1955 году. Сообщение Центрального статистического управления при Совете Министров СССР. 32 стр. Цена 35 к.

О Государственном бюджете РСФСР на 1956 год и об исполнении Государственного бюджета РСФСР за 1954 год. Доклад Министра финансов РСФСР депутата И. И. Фадеева на второй сессии Верховного Совета РСФСР 23 января 1956 года. Закон

о Государственном бюджете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики на 1956 год. 36 стр. Цена 40 к.

И. Г. Блюмин. Очерки современной буржуазной политической экономии США. 280 стр. Цена 6 р. 75 к.

Большевистские организации Украины в годы первой русской революции. 232 стр. Цена 5 р. 80 к.

Вопросы экономики промышленности и строительства. Сборник статей. 424 стр. Цена 8 р. 60 к.

Вопросы экономики сельского хозяйства. Сборник статей. 376 стр. Цена 7 р. 60 к.

И. А. Гладков. Очерки советской экономики 1917—1920 гг. 504 стр. Цена 12 р. 50 к.

И. Дудинский. Социалистическая индустриализация европейских стран народной демократии. 116 стр. Цена 1 р. 35 к.

Ю. Конюшая. КПСС — организатор творческого содружества работников науки и производства. 128 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Корнилов. Семнадцатая конференция ВКП(б). 36 стр. Цена 45 к.

В. Мацкевич. Что мы видели в США и Канаде. 240 стр. Цена 5 р. 40 к.

В. Московский. Партия и народ. 72 стр. Цена 90 к.

Партийная работа в промышленности. 336 стр. Цена 6 р.

Партийная работа на селе. 240 стр. Цена 4 р. 80 к.

В. Прокофьев. Атеизм русских революционных демократов. 152 стр. Цена 2 р.

ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Заседания Верховного Совета РСФСР четвёртого созыва. Вторая сессия (23—24 января 1956 г.). Стенографический отчёт. 216 стр. Цена 5 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ахавни. Ширак. Роман. Перевод с армянского. 448 стр. Цена 7 р. 50 к.

Л. Вышеславский. Простор. Стихи и поэмы. 104 стр. Цена 2 р. 50 к.

Б. Галанов. С. Я. Маршак. Очерк жизни и творчества. 200 стр. Цена 4 р. 85 к.

В. Дружинин. Путешествие по Чехословакии. 288 стр. Цена 5 р. 10 к.

А. Каххар. Огни Кошчинара. Роман. Перевод с узбекского. 300 стр. Цена 5 р. 35 к.

Э. Межелайтис. Братская поэма. Перевод с литовского. 212 стр. Цена 5 р.

М. Никитин. Здесь жил Достоевский. Повесть из 33 сцен. 200 стр. Цена 3 р. 75 к.

Н. Ф. Рылеев. Стихотворения. 416 стр. Цена 5 р.

Я. Смуул. Я комсомолец. Поэма. Перевод с эстонского. 132 стр. Цена 3 р. 10 к.

Л. Хаустов. Черты биографии. Стихи. 104 стр. Цена 1 р. 35 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Яков Баш. Горячие чувства. Авторизованный перевод с украинского. 328 стр. Цена 6 р. 75 к.

С. Борщевский. Шедрин и Достоевский. История их идейной борьбы. 392 стр. Цена 10 р. 25 к.

Михай Верешмарти. Избранное. Перевод с венгерского. 644 стр. Цена 15 р. 35 к.

Тодор Влайков. Избранное. Перевод с болгарского. 487 стр. Цена 7 р. 85 к.

Илья Ильф и Евгений Петров. Двенадцать стульев.—Золотой телёнок. 656 стр. Цена 11 р. 20 к.

Лао Шэ. Рассказы. Пьесы. Статьи. Перевод с китайского. 336 стр. Цена 7 р. 50 к.

Литературная Москва. Литературно-художественный сборник московских писателей. 832 стр. Цена 18 р. 50 к.

П. Мауев. Художественная литература. Русская и переводная. 1938—1953. Библиография. Том 1 (1938—1945 гг.). 548 стр. Цена 15 р.

Н. П. Огарёв. Избранные произведения. В двух томах. Том I. Стихотворения. 492 стр. Цена 7 р. 35 к. Том II. Поэмы. Проза. Литературно-критические статьи. 540 стр. Цена 10 р. 50 к.

Константин Паустовский. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Повести. 548 стр. Цена 10 р. 60 к. Том 2. Маленькие повести, рассказы. 352 стр. Цена 7 р. 15 к.

А. Ф. Писемский. Сочинения в трёх томах. Том 1. 544 стр. Цена 9 р. 40 к. Том 2. 407 стр. Цена 10 р. 10 к. Том 3. 551 стр. Цена 9 р. 35 к.

М. М. Пришвин. Собрание сочинений в шести томах. Том 1. Кашеева цепь. 576 стр. Цена 13 р.

Ингер Хагеруп. Стихотворения. Перевод с норвежского. 72 стр. Цена 85 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Георгий Гулиа. Леночка. Повесть и рассказы. 272 стр. Цена 5 р. 20 к.

Л. Жигарев. Начало века. 192 стр. Цена 4 р. 90 к.

М. Ольминский (М. Александров). В тюрьме (1896—1898). 168 стр. Цена 1 р. 95 к.

Александр Пунченко. Несколько историй. 272 стр. Цена 5 р. 40 к.

Мужество побеждает. Сборник. 272 стр. Цена 6 р. 5 к.

В. Сафонов. Рассказ о крутых вершинах. 96 стр. Цена 1 р.

Б. Сметанин. Юный радиоконструктор. 288 стр. Цена 7 р. 25 к.

Юмор и сатира. Сборник. 96 стр. Цена 1 р. 60 к.

Юрий Усыченко. Когда город спит. Повесть. 192 стр. Цена 2 р. 80 к.

ДЕТГИЗ

А. Барто. Стихи детям. 384 стр. Цена 7 р. 95 к.

И. Волк и Е. Смирнова. Повесть о московском школьнике. 216 стр. Цена 4 р. 25 к.

Волшебная чаша. По мотивам индийских сказок. 160 стр. Цена 5 р. 45 к.

Ю. Герман. Рассказы о Феликсе Дзержинском. 276 стр. Цена 5 р. 40 к.

К. Гильзин. Путешествие к далёким мирам. 280 стр. Цена 10 р. 85 к.

Л. Голосницкий. Жизнь на других мирах. 72 стр. Цена 3 р. 10 к.

Ян Грабовский. Режся и Пуцек. Перевод с польского. Рассказы, 96 стр. Цена 2 р. 45 к.

В. Катаев. Хуторок в степи. Роман. 368 стр. Цена 7 р. 50 к.

Ю. Либединский и Э. Блок. Сын партии. Повесть. 316 стр. Цена 7 р. 40 к.

Л. Пантелеев. Весёлый трамвай. Сказки, стихи, рассказы. 88 стр. Цена 4 р. 35 к.

В. Пистоленко. Товарищи. Повесть. Книга первая. 352 стр. Цена 8 р. 20 к.

М. Прилежаева. С берегов Медведицы. 248 стр. Цена 6 р.

Рассказы венгерских писателей. Предисловие А. Гидаша. 136 стр. Цена 2 р. 55 к.

Д. Родари. Приключения Чиполлино. Под редакцией С. Маршак. Перевод с итальянского. 232 стр. Цена 5 р. 5 к.

Хоровод. Чешские народные песенки. Пересказал С. Маршак. 32 стр. Цена 2 р. 75 к.

Э. Эмден. Школьный год Марины Петровой. Повесть. 256 стр. Цена 5 р. 10 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. И. Векслер. Ускорители атомных частиц. 47 стр. Цена 70 к.

Л. Ф. Верещагин. Высокие давления в технике будущего. 36 стр. Цена 55 к.

А. А. Елистратова. Байрон. 263 стр. Цена 5 р. 25 к.

Г. М. Кржижановский и В. И. Вейц. Единая энергетическая система СССР. 54 стр. Цена 85 к.

С. А. Лебедев. Электронные вычислительные машины. 47 стр. Цена 65 к.

Очерки по истории философской и общественно-политической мысли народов СССР. Том II. 895 стр. Цена 35 р. 20 к.

Очерки по радиобиологии. 311 стр. Цена 18 р. 45 к.

Применение атомной энергии в мирных целях. 157 стр. Цена 2 р. 20 к.

Радиотехника и электроника и их техническое применение. 126 стр. Цена 1 р. 90 к.

В. С. Фурсов. Уран-графитовые ядерные реакторы. 39 стр. Цена 60 к.

А. В. Шубников. Кристаллы в науке и технике. 45 стр. Цена 80 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Ходжа Ахмад Аббас. Сын Индии. Перевод с английского. 358 стр. Цена 11 р. 45 к.

Иво Андрич. Мост на Дрине. Вышеградская хроника. Перевод с сербско-хорватского. 342 стр. Цена 10 р. 70 к.

Отто Винцер. 12 лет борьбы против фашизма и войны. Очерки по истории Коммунистической партии Германии в период с 1933 по 1945 год. Перевод с немецкого. 256 стр. Цена 6 р. 45 к.

Стетсон Кеннеди. Путеводитель по расистской Америке. Перевод с английского. 318 стр. Цена 7 р. 20 к.

Конституция и основные законодательные акты Китайской Народной Республики. Перевод с китайского. 690 стр. Цена 21 р. 55 к.

Манфред Ляхе. Женевские соглашения 1954 г. об Индо-Китае. Перевод с польского. 193 стр. Цена 6 р. 50 к.

Факты о положении трудящихся в США (1953—1954). Перевод с английского. 219 стр. Цена 8 р. 50 к.

Добрица Чосич. Солнце далеко. Роман. Перевод с сербско-хорватского. 332 стр. Цена 11 р. 20 к.

Ганс Шерфиг. Ботус окситанус, или восьмиглазый скорпион. Перевод с датского. 291 стр. Цена 8 р.

ГЕОГРАФИЗ

К. Бадигин. По студёным морям. 423 стр. Цена 14 р. 10 к.

Г. М. Игнатъев. Гренландия. 246 стр. Цена 7 р. 65 к.

Путешествия и исследования лейтенанта Лаврентия Загоскина в русской Америке в 1842—1844 гг. 454 стр. Цена 19 р.

Страны Азии. Географические справки. Китай. 39 стр. Цена 60 к.

Альфред Р. Оуллес. Тропическая природа. 223 стр. Цена 5 р. 15 к.

ГОСКУЛЬТПРОСВЕТИЗДАТ

В. Ф. Дробот. Лесные богатства СССР. 56 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ал. Канторович. По Тимирязевской академии. 320 стр. Цена 8 р. 60 к.

В. Ф. Ключко. Культурное строительство в советской деревне в годы второй пятилетки (1933—1937). 144 стр. Цена 4 р. 15 к.

Ю. М. Лауфер. Издания сочинений русских писателей. 40 стр. Цена 90 к.

Л. С. Фрид. Культурно-просветительная работа в России за годы революции 1905—1907 гг. 48 стр. Цена 90 к.

ГОСТЕХИЗДАТ

В. Ф. Каган. Основания геометрии. Том II. 344 стр. Цена 15 р.

Краткий политехнический словарь. 1136 стр. Цена 50 р.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Записная книжка агронома. 335 стр. Цена 5 р. 50 к.

Илья Зверев. В Мосбассе. Очерки. 233 стр. Цена 2 р. 45 к.

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. А. Иванов, Н. В. Шивцов. Местные строительные материалы и их применение. 192 стр. Цена 6 р. 80 к.

Литература народов Сибири. Сборник. 184 стр. Цена 5 р. 10 к.

Я. М. Скибинская. Сибирский сортимент яблони. 176 стр. Цена 3 р. 90 к.

ЧЕЛЯБИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Южный Урал. Литературно-художественный альманах № 13—14. 204 стр. Цена 7 р. 10 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов,**
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв,**
М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

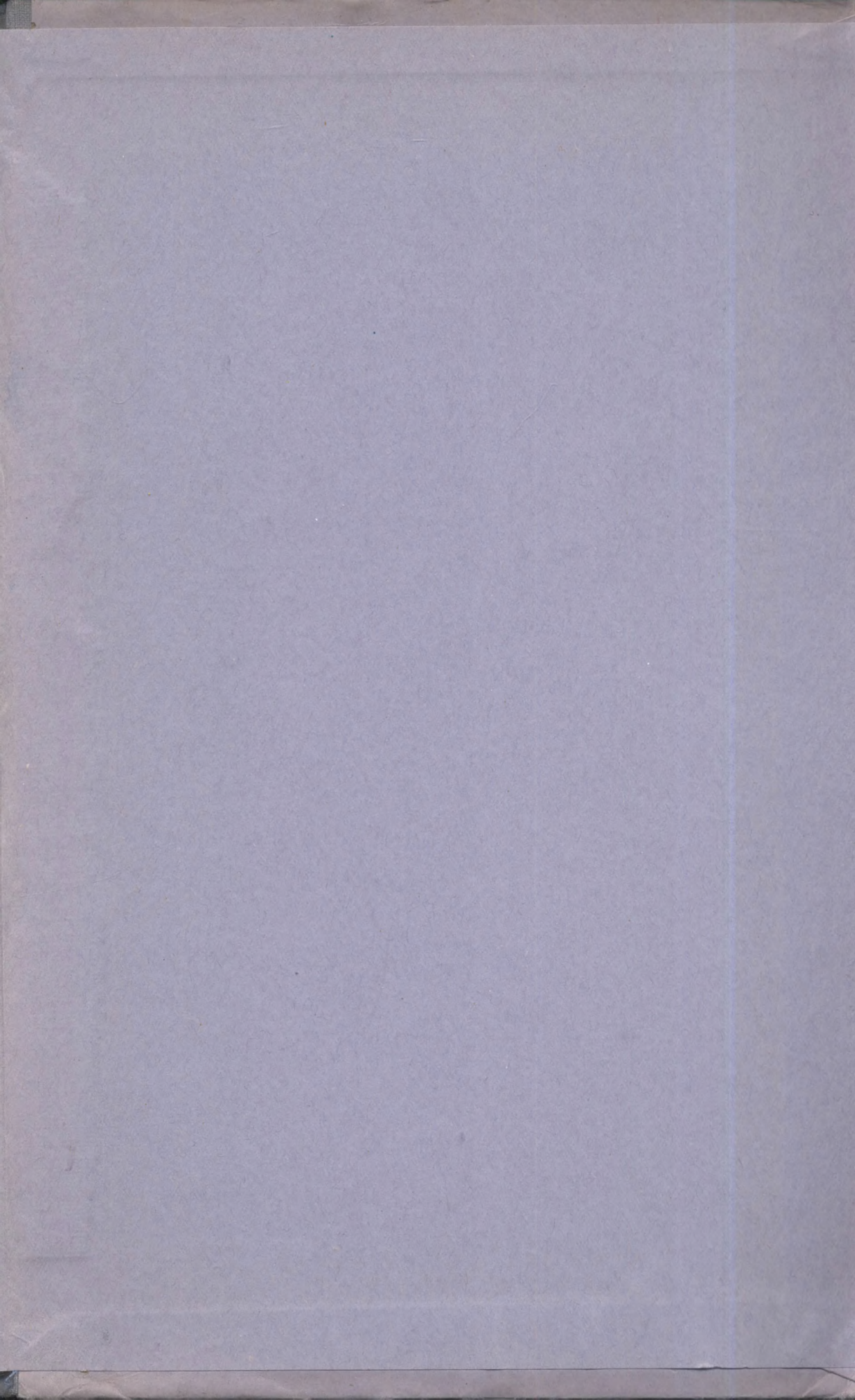
Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-78-97.

Сдано в набор 24/II-56 г.

А 02685. Формат бумаги 70×108¹/₁₆, 9 бум. л. — 24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 514.

Подписано к печати 3/IV-56 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени **И. И. Скворцова-Степанова.** Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 9 руб.